Б 21
Б 21

БАЛЬЗАК

ОНОРЕ БАЛЬЗАК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 24 ТОМАХ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1960

Составитель собрания сочинений
Д. Д. Обломиевский.

Портрет Бальзака
работы художника
С. Я. Яковлева.

ЖИЗНЬ БАЛЬЗАКА

«Главные события моей жизни — мои произведения».

Бальзак

«Его жизнь была коротка, но полна, больше наполнена трудами, чем днями».

Гюго

Оноре Бальзак родился 20 мая 1799 года в городе Туре. Отец его, Бернар-Франсуа Бальзак, чиновник военного ведомства, занимался поставкой провианта для 22-й дивизии, расквартированной в Туре. Сын крестьянина из Лангедока, Бернар-Франсуа в детстве пас скот на отцовской ферме. Окончив школу, он вначале работал писцом у местного нотариуса, а затем отправился в Париж, где в конце концов добился должности канцеляриста при королевском совете Людовика XVI. Тогда-то он придал своей фамилии Бальса более аристократическое звучание, переделав ее на Бальзак. Революция 1789 года прервала его столь блестяще начатую карьеру, но вскоре опытный делец Бернар-Франсуа служил уже республиканскому правительству. Однако из осторожности он предпочел столице спокойную провинцию. К моменту рождения первенца, Оноре, ему было 53 года, его жена Анна-Шарлотта Саламбье, дочь парижского суконщика, была моложе его на 32 года. Бернар-Франсуа слыл в Туре оригиналом и вольтерьянцем. Его знали как неистощимого фантазера и рассказчика, он был автором многочисленных брошюр по самым различным вопросам, начиная от способов борьбы с бешеными собаками и кончая планами архитектурного переустройства французских городов.

Раннее детство Оноре прошло вне родительского дома. Вначале он жил у кормилицы, простой туренской крестьянки. Здесь, в маленькой деревушке недалеко от Тура, открылась перед ним впервые красота родного края, веселой Турени. Когда Оноре исполнилось четыре года, его отдали в пансион Леге. Одиннадцать лет с небольшими перерывами, лучших лет детства и отрочества, провел Бальзак за унылыми стенами различных пансионов и интернатов. Самыми мрачными были для него семь лет пребывания в Вандомском коллеже, закрытом учебном заведении, руководимом монахами-ораторианцами. Двести воспитанников коллежа должны были беспрекословно подчиняться суровому монастырскому режиму. За малейшую провинность следовала порка или темный сырой карцер. У Бальзака было мало друзей. Он слыл угрюмым, нерадивым учеником.

В эти годы мучительного детского одиночества Бальзак приобщается к миру книг. Он читал все, что попадалось ему в библиотеке коллежа. Он сам пробует писать, но это вызывает только насмешки товарищей, которые наделяют его ироническим прозвищем «поэт». Однажды один из воспитателей отобрал у тринадцатилетнего писателя «Трактат о воле» и разорвал его на глазах юного автора. Пребывание в коллеже закончилось для Бальзака серьезным нервным заболеванием, и родители ненадолго берут его домой, чтобы затем отдать в другой пансион.

Бальзаку было пятнадцать лет, когда его отца перевели по службе в Париж. Шел 1814 год. Только что рухнула империя Наполеона. Франция вновь стала королевством Бурбонов. Вслед за королем Людовиком XVIII в Париж хлынули толпы дворян-эмигрантов. Началась Реставрация. Семья Бальзака поселилась на улице Тампль в старинном квартале Марэ, во многом еще сохранившем облик старого Парижа XVI—XVII веков.

Отец Бальзака хотел видеть своего сына уважаемым нотариусом или известным адвокатом. По его настоянию Оноре в 1816 году поступает в Школу права и одновременно работает писцом в конторе адвоката Гильоне де Мервиля, который позже появится на страницах «Человеческой комедии» под именем Дервиля. Годы, проведенные в конторе Мервиля, а затем нотариуса Пассе, чрезвычайно расширили жизненный кругозор юноши. Здесь Бальзак познает те скрытые пружины человеческих поступков, те трагедии обыденной жизни, знанием которых он будет впоследствии так поражать своих читателей. Не очень прилежный писец Мервиля большую часть своего времени отдавал книгам. В тайне

от родителей Бальзак посещает лекции по литературе в Сорбонне, долгие часы проводит в библиотеке Арсенала, штудируя философов и историков.

1819 год начался для него выпускными экзаменами. К радости отца, Оноре успешно заканчивает Школу права; теперь перед ним открыта спокойная карьера нотариуса, частного поверенного или адвоката. Но неожиданно для родителей Бальзак заявляет о своем твердом решении заняться литературой. Ни угрозы и проклятия отца, ни просьбы и слезы матери не смогли сломить воли двадцатилетнего юноши. Побежденные его упорством, родители пошли на уступки. На семейном совете было решено дать сыну два года испытательного срока, чтобы он мог проявить свой талант. Отец Бальзака в это время уходит в отставку, и вся семья переселяется в маленький городок Вильпаризи, недалеко от столицы.

Бальзак остается в Париже один, упоенный чувством полной свободы. Он поселяется в рабочем Сент-Антуанском предместье, на улице Ледигьер, в маленькой мансарде, где было нестерпимо холодно зимой и душно летом. Сквозь щели крыши просвечивало небо и капал дождь. Денег, получаемых от родителей, едва хватало на самое скудное пропитание. В те годы в письмах к сестре Лауре он с неизменным юмором рассказывал о своей жизни: «Твой брат, которому суждена такая слава, питается совершенно как великий человек, т. е. умирает с голоду». В мансарде на улице Ледигьер начинается для Бальзака трудный и долгий путь литературного ученичества. Вначале молодому писателю кажется, что слава близка и что дорога к ней не так уж трудна. У него возникает множество самых различных замыслов. Он начинает роман, комедию, либретто комической оперы. Но более всего его влечет слава великих трагических поэтов Франции Корнеля и Расина. Бальзак решает тоже писать трагедию. Около года он живет отшельником, погруженный в прошлое, в тайны александрийского стиха, создавая трагедию из истории английской революции XVII века — «Кромвель».

Трагедия — первый литературный опыт Бальзака — оказалась неудачной. Семейный суд отверг ее, а уважаемый профессор колледжа де Франс Андриё закончил свой отрицательный отзыв советом молодому человеку заняться чем угодно, но только не литературой.

Бальзак не собирался уступать. Он решает, что ошибся в выборе жанра, и задумывает написать роман. Его интересуют модные в то время «готические или черные романы», в которых дей-

ствовали бессердечные злодеи, совершались ужасные преступления, раскрывались зловещие тайны и вознаграждались добродетельные красавицы. Сначала в соавторстве с опытным литературным дельцом Ле Пуатвеном Сент-Альм, а затем самостоятельно Бальзак создает подобные произведения. За пять лет (1821—1825) он выпускает около десятка романов: «Наследница Бирагского замка», «Жан-Луи, или Найденная дочь», «Клотильда Люзиньян», «Последняя фея, или Новая волшебная лампа» и др. Романы эти выходили под псевдонимами: лорд Р'Оон или Орас де Сент-Обен. Славы своему создателю они не принесли так же, как и столь желаемой им независимости. «Я надеюсь разбогатеть при помощи этих романов! Какое падение! Почему у меня нет 1 500 франков ренты, чтобы я мог работать достойным образом! Но нужно же стать независимым, и для этого у меня есть только этот отвратительный способ»,— с отчаянием писал Бальзак сестре Лауре Сюрвиль. Его литературный заработок очень скуден, и он по-прежнему бедствует в своей мансарде.

Иногда Бальзак живет у родителей в Вильпаризи. Здесь в 1821 году он знакомится с Лаурой де Берни. Это была уже немолодая, сорокатрехлетняя женщина, мать шестерых детей, очень несчастная в своей семейной жизни. Лаура де Берни — первая любовь Бальзака — сыграла большую роль в его жизни. Она с искренним сочувствием отнеслась к мечтам и планам молодого писателя, ободряла его, помогала ему как только могла, поддерживала в трудные минуты жизни, до своей смерти, в 1836 году, была ему преданным, искренним другом. Бальзак всегда с большой признательностью и нежностью говорил о Лауре де Берни.

Стремясь во что бы то ни стало добиться независимости, заняться серьезным литературным трудом, Бальзак решает стать издателем. В 1825 году он входит в компанию с неким Канелем по изданию иллюстрированных однотомников классиков: Мольера, Лафонтена и др. Однако это предприятие заканчивается финансовым крахом. Бальзак предпринимает еще одну попытку. Одолжив деньги у отца и Лауры де Берни, он покупает типографию, а затем словолитню, печатает книги, брошюры, справочники, каталоги торговых фирм, но предприятие приносит только одни убытки. После продажи типографии и словолитни у Бальзака остается долг более 50 тысяч. Это — начало того многолетнего долга, который, все возрастая, будет висеть над писателем почти до конца его жизни.

Но Бальзак был глубоко прав, говоря, что основа его характера — упорство, упрямая вера в будущее. Летом 1828 года он начинает писать роман из истории французской революции XVIII века — «Шуаны», тщательно изучает исторические материалы, едет в Бретань на место действия своего произведения. Весной 1829 года «Последний Шуан, или Бретань в 1800 году» — первое произведение, подписанное именем Бальзака,— выходит в свет. Критика встретила роман довольно сдержанно, однако читателям он понравился. Это был первый успех писателя после десяти лет упорного труда и разочарований. Имя Бальзака становится известным в литературных кругах. Он бывает в доме Виктора Гюго, в салоне журналиста Эмиля Жирардена, художника Франсуа Жерара и др. Успех окрыляет писателя. Он полон замыслов, он нашел свой путь в литературе. «Шуаны», роман о событиях недавнего прошлого, был для него первым шагом к овладению главной темой его творчества — темой современности.

1830 год — год большого творческого подъема писателя. Он создает первые повести и рассказы из цикла «Сцены частной жизни» («Гобсек», «Вендетта», «Дом кошки, играющей в мяч» и др.), рисующие современную Францию, в которой он открывает неисчерпаемое богатство и разнообразие типов, страстей, ситуаций... Интерес к современности находит свое выражение в интенсивной журналистской деятельности Бальзака. Он сотрудник различных еженедельников: «Силуэт», «Мода» и др.,— где помещает очерки, сценки из жизни Парижа, написанные часто в духе так называемых физиологий, то есть сатирических или просто шутливых бытовых зарисовок, вроде «Физиологии туалета», «Физиологии брака», «Очерка нравов по перчаткам» и т. п. С конца 1830 года Бальзак — постоянный сотрудник и один из редакторов сатирической газеты «Карикатура», основанной республиканцем Шарлем Филиппоном и вскоре ставшей органом республиканской оппозиции правительству короля Луи-Филиппа. За год Бальзак печатает в «Карикатуре» более сотни очерков и заметок, подписывая их различными псевдонимами, вроде Альфред Кудре, Эжен Мориссо, Анри Б. и др. Журналистская деятельность обогащала Бальзака знанием фактов, характеров, сталкивала его с различными сторонами общественной жизни.

В этом же 1830 году на его рабочем столе в доме на улице Кассини появляется толстая тетрадь с надписью «Сюжеты, фрагменты, мысли». Среди первых записей — набросок сюжета нового романа «Шагреневая кожа». В августе 1831 года это создание

большого и уже зрелого художника увидело свет. «Шагреневая кожа» сделала Бальзака знаменитым писателем, открыла перед ним двери не только литературных, но и светских салонов. Правда, следует отметить, что, несмотря на декларированные им монархические взгляды, Бальзак не был принят в салонах как равный, он был только туда допущен как модная знаменитость, и ему не раз давали это почувствовать. Писатель познакомился тогда с многими из будущих персонажей своей «Человеческой комедии». В эти столь бурные для него годы, 1831 и 1832-й, Бальзак много работает: переделывает «Шуанов» для второго издания, готовит тома «Философских повестей и рассказов», публикует первые выпуски брызжущих весельем и жизнерадостностью «Озорных рассказов», пишет повести «Луи Ламбер», «Полковник Шабер» и др., активно сотрудничает в газетах и журналах.

В 1832 году произошло незначительное на первый взгляд событие, сыгравшее, однако, впоследствии большую роль в жизни писателя. 28 февраля 1832 года издатель Бальзака Госслен передал ему письмо с почтовым штемпелем «Одесса». Письмо было от неизвестной читательницы, подписавшейся: «Иностранка». Через некоторое время от нее пришло второе письмо с просьбой подтвердить получение писем через распространенную в России газету «Котидьен», что Бальзак и сделал. Вскоре он узнал имя своей корреспондентки. Это была богатая польская помещица, русская подданная Эвелина Ганская, урожденная графиня Ржевусская. С начала 1833 года начинается постоянная переписка Бальзака с Ганской. На протяжении пятнадцати лет Бальзак пишет ей почти ежедневно. Осенью этого же года в небольшом швейцарском городке Невшателе происходит первое свидание Бальзака с Ганской.

1833 год — год начала великого творческого подвига Бальзака, его титанического писательского труда. Забыты светские увлечения, он целиком отдается работе. «...я весь ушел в работу и поглощен замыслами, идеями, планами, которые непрерывно возникают в моей голове, сталкиваются и бурлят, доводя меня до сумасшествия»,— писал Бальзак в письме к своему большому другу Зюльме Карро в феврале 1833 года. Бальзак работает теперь сразу над несколькими произведениями: «История тринадцати», «Сельский врач», «Турский священник»,— он создает один из своих шедевров, роман «Евгения Гранде». Бальзак все чаще возвращается к мысли, возникшей у него еще в 1831 году, во время работы над «Шагреневой кожей»,— к мысли об объединении своих произведений в один огромный цикл, подчиненный единому за-

мыслу. Лаура Сюрвиль вспоминает, что однажды летом 1833 года к ней вбежал брат, сияющий и радостный, и возбужденно стал рассказывать о своих планах: «Пусть близорукие люди называют меня фантазером. Я заранее наслаждаюсь их изумлением, когда внезапно перед их глазами воздвигнется колоссальное здание, камни для которого я теперь обтесываю».

Первым шагом на пути к осуществлению этого замысла было начатое в 1833 году издание «Этюдов о нравах XIX века», состоящих из сцен частной жизни, сцен провинциальной жизии и сцен парижской жизни. В письме к Ганской от 26 ноября 1834 года Бальзак сообщал, что «Этюды о нравах XIX века» будут дополнены философскими и аналитическими этюдами. Будущая «Человеческая комедия» постепенно обретала свои контуры. Бальзак готовит одновременно тома «Этюдов о нравах» и «Философских этюдов». Это требует от него огромного напряжения всех творческих сил, невероятно упорного, можно сказать, героического писательского труда.

В начале тридцатых годов складывается тот лихорадочный, напряженный темп работы, который будет характерен для Бальзака на протяжении многих лет. Он пишет обычно ночью, при плотно закрытых шторах и свете свечей. Быстрым, порывистым почерком исписывает он страницу за страницей, едва поспевая за стремительным бегом своего воображения и мысли, и так десять, двенадцать, четырнадцать, а иногда шестнадцать, восемнадцать часов в сутки, день за днем в течение месяцев, поддерживая силы огромным количеством крепчайшего черного кофе. Потом он разрешал себе две — три недели отдыха, поездку к друзьям. Особенно любил Бальзак бывать в Сашэ, около Тура. «Я всегда езжу туда, когда обдумываю какое-либо серьезное произведение... Небо там так чисто, дубы так прекрасны, а тишина такая полная».

После короткого перерыва, вернувшись в Париж, Бальзак вновь склонялся над страницами новых рукописей, над кипами корректур, в который раз переделывая уже написанное. Он приводил в отчаяние наборщиков и повергал в ужас издателей своими многочисленными правками и переделками. Письма Бальзака этих лет содержат волнующую летопись его титаиического труда. «С полуночи до полудня я работаю, то есть сижу двенадцать часов в кресле, творю и переделываю. Затем с полудня до четырех часов исправляю гранки, в пять часов обедаю, в половине шестого я в кровати, а в полночь встаю и вновь начинаю работать».

В январе 1835 года, заканчивая роман «Отец Горио», он в течение месяца спит лишь два — три часа в сутки. В начале 1836 года за одну ночь он создает один из лучших своих рассказов — «Обедня безбожника». «У меня только работа, работа всепоглощающая, страстная, полная ожесточенной борьбы, которая только бывает на полях сражений»,— пишет он Ганской. Бальзак работает, подгоняемый нетерпеливыми издателями, неумолимыми кредиторами, возрастающими долгами, своими мечтами о славе, независимости и богатстве. Но главная причина все же иная: он весь во власти величия своего замысла, который все полнее и отчетливее вырисовывается в его воображении.

Несмотря на то, что ежегодно появляется несколько новых произведений, Бальзак все еще далек от желанного спокойствия и независимости.

Нередко он вынужден отрываться от рукописей, чтобы вести процессы с издателями, добиваться отсрочки векселей. Скрываясь от кредиторов, в 1835 году он переезжает на окраину Парижа, в Шайо, где снимает дом на имя вдовы Дюран. Новыми долгами заканчивается его попытка издавать газету «Кроник де Пари». Непомерная работа, бессонные ночи, беспрестанные заботы и тревоги — все это расшатывает могучее здоровье писателя. Все чаще жалуется он на усталость, на головные боли. Он оставляет работу, едет или в милую его сердцу Турень, или же на несколько дней мчится в Германию, Италию для короткого свидания с Ганской. Эти путешествия требуют больших расходов. Он возмещает их усиленной, лихорадочной работой. В конце 1837 года Бальзак в двадцать два дня пишет роман «Величие и падение Цезаря Биротто».

Особенно тяготит его постоянная зависимость от издателей. Бальзак начинает активную деятельность в защиту авторских прав писателей, которые в те годы целиком зависели от всевозможных коммерсантов от литературы. Он один из инициаторов созданного в 1838 году Общества литераторов, бессменный член его комитета.

В начале 1838 года Бальзак покупает крошечный участок земли около городка Севра — Жарди. На участке домик, по словам писателя, скорее похожий на нашест для попугая — три этажа по две комнатки в каждом. Писатель мечтает о тишине и спокойствии для работы. Жарди представляется ему в недалеком будущем благоухающим садом, где будут расти даже ананасы. Но дом надо заканчивать, а у Бальзака нет для этого денег. «Денежные затруднения преследуют меня, как фурии Ореста»,— пи-

шет он. В октябре 1839 года на площади Св. Лорана в Севре с аукциона продавалась за долги мебель Бальзака. Спустя некоторое время был продан и дом в Жарди. Несмотря на все заботы и неприятности, контуры «Человеческой комедии» вырисовываются все отчетливее. Летом 1839 года, еще когда Бальзак жил в Жарди, его посетил профессор Московского университета С. П. Шевырев. Писатель в дружеской беседе с гостем из России, где, он знал, читают и любят его книги, рассказал о своих замыслах: «План мой велик. Я намерен обнять всю историю современных нравов во всех подробностях жизни, во всех слоях общества».

После продажи Жарди Бальзак поселяется в пригороде Парижа — Пасси, на улице Басс [1]. Он делает еще несколько попыток покончить с денежными затруднениями. Большие надежды возлагает он на театр, однако драмы его успеха не имеют. Бальзак решает еще раз попытать счастья на журналистском поприще. В 1840 году он начинает издавать ежемесячный журнал «Ревю де Пари», но после трех номеров журнал прекратил свое существование, еще больше увеличив сумму долга писателя. Бальзака преследуют кредиторы, зависть и злоба литературных врагов. В 1839 году, после выхода в свет 2-й части романа «Утраченные иллюзии» — «Провинциальная знаменитость в Париже»,— где показаны нравы буржуазной прессы, бульварные газеты начинают ожесточенную травлю Бальзака, его осыпают насмешками, клеветой. Его третируют как писателя. Критик Сент-Бёв выступает со статьей, полной грубых и резких выпадов против него. Эти нападки больно ранят самолюбие писателя, и он особенно ценит поддержку друзей: Виктора Гюго, Жорж Санд, Генриха Гейне, Леона Гозлана, Шарля Нодье, Джоакино Россини, Теофиля Готье, менее известного Лоран Жана и скромной Зюльмы Карро. Дружба с Гюго возникла в ожесточенных спорах, и хотя оба писателя в понимании искусства остались на противоположных точках зрения, Бальзак, посвящая Гюго свой роман «Утраченные иллюзии», писал: «Я счастлив... принести Вам дань моего искреннего восхищения и дружбы».

Познакомившись с Жорж Санд еще в 1831 году, в год ее приезда в Париж, Бальзак всегда с радостью следил за ее литературными успехами, хотя и не всегда был согласен с ней. В начале 40-х годов он частый гость в доме Жорж Санд на тихой улице Пигаль, где собирались писатели, артисты, музыканты. Но

---

[1] Ныне это улица Ренуар. В доме, где жил Бальзак, в 1908 году был организован музей его имени.

среди своих друзей Бальзак не имел единомышленников в вопросе о характере художественного творчества. Пожалуй, наиболее близким ему оказался малоизвестный в те годы Стендаль. Бальзак восторженно приветствует в 1840 году его роман «Пармский монастырь». Особенно высоко ставит он описание битвы при Ватерлоо. «Это место из Вашего романа привело меня в восторг, огорчило, восхитило и повергло в отчаяние»,— пишет он Стендалю. В своем «Этюде о Бейле» он чрезвычайно высоко оценивает творчество писателя-реалиста.

В 1841 году для Бальзака становится совершенно ясным весь замысел грандиозного цикла, который наконец обретает и свое окончательное название — «Человеческая комедия». Это «история общества, изображенного в действии». «Мой труд,— говорил Бальзак,— имеет свою географию, так же как и свою генеалогию, свои семьи, свои местности, обстановку, действующих лиц и факты, так же он имеет свой гербовник, свое дворянство и буржуазию, своих ремесленников и крестьян, политиков и денди, свою армию — словом, весь мир». Когда Бальзак писал, он знал все: хитрости ростовщиков, тайны банкиров, секреты парфюмеров, цены картин и сукон. В «Человеческой комедии» Бальзака живет и действует около двух тысяч персонажей. Две тысячи человеческих характеров, портретов, две тысячи историй человеческих жизней создано писателем. Эти персонажи были для него живыми людьми. Он радовался их успехам, переживал их горести и неудачи. Один из друзей Бальзака рассказывал, что однажды он очень обеспокоился, застав писателя в весьма подавленном состоянии. Оказалось, что тот все еще был под впечатлением только что написанной им сцены печальной смерти отца Горио, брошенного дочерьми. И когда через несколько лет Бальзак будет метаться в предсмертном бреду, то с губ его будет срываться имя доктора Бьяншона, Бьяншона, который, он верил, мог бы один его вылечить.

Бальзак напряженно работает, пишет новые романы и повести, и каждый день на его письменный стол ложатся новые кипы гранок первых томов «Человеческой комедии», которая начала выходить в 1842 году [1]. Включая ранее написанные произведения в «Человеческую комедию», он тщательно все просматривает, переделывает. Он писал Ганской: «Предстоит полная переработ-

---

[1] За 1842—1846 годы вышло 16 томов. В 1848 году вышел 17-й (1-ый дополнительный том). Это— единственное прижизненное издание «Человеческой комедии». После смерти Бальзака в 1855 году вышли еще 3 дополнительных тома первого издания.

ка всех произведений, их классификация, завершение отдельных частей общего здания, все это явится для меня огромной, всепоглощающей работой, сложность которой только я один сейчас могу себе представить». Помимо этого, за 1842 год Бальзак написал повести «Мнимая любовница», «Альбер Саварюс», «Первые шаги в жизни», «Онорина», роман «Жизнь холостяка», начало романа «Депутат от Арси», закончил роман «Утраченные иллюзии», начатый еще в 1836 году, комедию «Надежды Кинолы», «Предисловие к «Человеческой комедии». Трудно даже поверить, что все это сделано за год одним человеком.

Но все чаще и чаще Бальзак жалуется на боль в сердце, у него сильные головные боли. Личная жизнь его по-прежнему не устроена. В июне 1843 года Бальзак выезжает из Парижа к Ганской в Петербург. Вслед ему летит шифрованное послание поверенного в делах России во Франции Киселева, адресованное министру иностранных дел графу Нессельроде. Киселев предлагает «использовать перо этого автора, чтобы написать опровержение враждебной нам и клеветнической книги господина де Кюстина «Россия в 1839 году». Писатель Кюстин вызвал большое неудовольствие русского правительства, поэтому другой французский писатель, Бальзак, был встречен официальными кругами Петербурга очень холодно. В Петербурге Бальзак живет в доме Титова на Большой Миллионной (теперь улица Халтурина), напротив дома, где жила Ганская. Ганская, презиравшая русскую культуру, сделала все, чтобы отгородить Бальзака от русских читателей, от передовой общественности, которая хорошо знала его книги как в переводах, так и в оригинале [1].

Осенью 1843 года Бальзак возвращается в Париж. Год идет за годом в непрерывной работе. У писателя по-прежнему много различных замыслов. В 1845 году он составляет перечень произведений, которые должны войти в состав «Человеческой комедии»,— всего 144, ему миогое еще надо написать. Бальзак пишет одновременно романы «Блеск и нищета куртизанок», «Мелкие буржуа», «Модеста Миньон», заканчивает роман «Беатриса», начинает роман «Крестьяне». С большим подъемом работает он в 1846 году над романами «Кузина Бетта» и «Кузеи Понс», но

---

[1] Переводы произведений Бальзака стали появляться в России с 1831 года, как в журналах, так и отдельными изданиями. В 1844 году был опубликован перевод «Евгении Гранде», сделанный Ф. М. Достоевским. Журнал «Ревю этранжер», выходивший в Петербурге на французском языке, печатал романы Бальзака одновременно с их выходом во Франции. Когда стали выходить тома «Человеческой комедии», Бальзак сообщал Ганской, что за пределами Франции их больше всего покупают в России.

здоровье его ухудшается. Бальзак часто покидает Париж, сопровождает Ганскую в Италию, в Германию. Вернувшись, усталый, больной, он стремится напряженной работой наверстать время, но писать все труднее и труднее. И хотя его денежные дела намного лучше, он даже покупает дом в Париже, на улице Фортюне, собирает картины, но жизнь для него становится настоящей трагедией. Физические и творческие силы его сломлены. Вопль отчаяния слышится в его письмах конца сороковых годов: «...Опять ни строчки. Даже потоки кофе не в состоянии возбудить мой мозг... Я не знаю, что делать... у меня нет больше сил ждать будущего года. Во мне все умерло. Только счастье сможет вернуть мне жизнь и способность творить».

Брак с Ганской, которую он идеализировал силой своего богатого воображения, кажется ему теперь единственным спасением. В сентябре 1847 года, несмотря на болезнь, Бальзак решает ехать в имение Ганской в Верховню, в шестидесяти километрах от Бердичева. Кареты, повозки, пограничные столбы, шлагбаумы, ухабы. Путь его лежит через Брюссель, Кельн, Краков, Вену, Броды, Дубно, Житомир, Бердичев. С сентября по февраль 1848 года он живет в Верховне. За ним установлен по распоряжению Николая I негласный надзор полиции. Бальзак посещает Киев, знаменитую контрактовую ярмарку. Россия, ее просторы, ее богатства, контрасты ее общественной жизни поражают Бальзака, об этом он пишет в письмах к сестре, к Зюльме Карро. Но «Письма о России», обещанные для «Журналь де Деба», остаются ненаписанными. Бальзак знает, что от характера этих писем зависит его брак с Ганской. От него ждут выражения восхищения царским самодержавием, и поэтому Бальзак молчит. В Верховне он работает над повестью «Посвященный», рукопись которой датирована: декабрь 1847 года. Это последняя рукопись «Человеческой комедии». Ганская все еще колеблется. Она не хочет лишиться своих огромных поместий на Украине, выходя замуж за иностранца, ее страшит буйная, неуемная натура писателя. Бальзак уезжает из Верховни, так и не получив решительного ответа.

В Париже его ждет первый театральный успех — успех драмы «Мачеха». В феврале 1848 года Бальзак — свидетель бурных дней революции, сокрушившей Июльскую монархию. Вслед за толпой восставших он попадает в маршальский зал Тюильрийского дворца, куда его привело неодолимое стремление увидеть, понять, запомнить события этих дней. Однако ни в политиче-

ской борьбе, ни в общественной жизни последующего времени он не принимает активного участия. Обострение сердечной болезни заставляет его уехать в Сашэ, а вернувшись в Париж, он начинает хлопотать о разрешении въезда в Россию. (После февральской революции 1848 года царское правительство запретило французским подданным въезд в Россию.) Николай I на докладе шефа жандармов графа Орлова по поводу просьбы французского литератора Бальзака разрешить ему приехать в Россию наложил резолюцию: «Да, но со строгим надзором».

В сентябре 1848 года Бальзак вновь в Верховне. Это совершенно больной человек, он неделями не встает с постели, его мучают боли в сердце, приступы удушья. Ночами он все же пытается пересилить себя и садится писать, но перо его теперь бессильно. Весь год проходит в борьбе с болезнью. За 1849 год Бальзак ничего не написал. В этой короткой фразе заключена трагедия последних лет жизни великого писателя, творческие и физические силы которого были разрушены непосильным трудом, бесконечными заботами и волнениями. Видя непоправимое ухудшение здоровья Бальзака, неотвратимо приближающегося к смерти, Ганская решается на брак. 14 марта 1850 года состоялось венчание Бальзака с Ганской в костеле св. Варвары в городе Бердичеве. Он вновь полон радужных надежд на будущее и пишет Зюльме Карро: «Я не знал ни счастливой юности, ни цветущей весны, но теперь у меня будет самое солнечное лето и теплая осень».

Однако его мечтам не суждено было сбыться. Около месяца длилось путешествие больного Бальзака с женой из Бердичева в Париж. С конца июня он уже не выходит из комнаты. В эти дни Теофиль Готье получает от него письмо, написанное рукой Ганской. В конце письма приписка Бальзака: «Я не могу ни читать, ни писать». Около двух месяцев борется Бальзак со смертью. 18 августа, вернувшись от умирающего Бальзака, Виктор Гюго сказал своим друзьям: «Господа, в эти минуты мир теряет великого человека».

В этот же день в одиннадцать часов тридцать минут вечера Бальзак умер. Он не успел завершить все задуманное, но и то, что он создал, огромно и значительно. Его творения поставили его в число величайших писателей Франции. 21 августа состоялись похороны Бальзака на кладбище Пер-Лашез.

«Господин де Бальзак был одним из первых среди великих, одним из лучших среди избранных... Все его произведения составляют единую книгу, полную жизни, яркую, глубокую, где

движется и деиствует вся наша современная цивилизация, воплощенная в образах вполне реальных, но овеянных смятением и ужасом... Неведомо для себя самого, хотел он того или нет, согласен он с этим или нет, автор этого грандиозного и причудливого творения принадлежит к могучей породе писателей-революционеров. Бальзак идет прямо к цели, он вступает в рукопашную с современным обществом. У каждого он вырывает что-нибудь — у этого иллюзии, у того надежды, одного заставляет исторгать вопль, с другого срывает маску».

Так говорил Виктор Гюго на его могиле. И история подтвердила эту высокую оценку творчества Бальзака.

И. Лилеева

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

СЦЕНЫ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ

ПРЕДИСЛОВИЕ К «ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КОМЕДИИ»

Называя «Человеческой комедией» произведение, начатое почти тринадцать лет тому назад, я считаю необходимым разъяснить его замысел, рассказать о его происхождении, кратко изложить план, притом выразить все это так, как будто я к этому не причастен. Это не так трудно, как может показаться широкому кругу читателей. Малое количество произведений питает большое самолюбие, большая работа внушает скромность. Это наблюдение объясняет тот анализ, которому подвергали Корнель, Мольер и другие великие авторы свои произведения; если невозможно сравняться с ними в их прекрасных творениях, то вполне допустимо желание походить на них в этом чувстве.

Первоначальная идея «Человеческой комедии» предстала передо мной как некая греза, как один из тех невыполнимых замыслов, которые лелеешь, но не можешь уловить; так насмешливая химера являет свой женский лик, но тотчас же, распахнув крылья, уносится в мир фантастики. Однако и эта химера, как многие другие, воплощается: она повелевает, она наделена неограниченной властью, и приходится ей подчиниться.

Идея этого произведения родилась из сравнения человечества с животным миром.

Было бы ошибочно думать, что великий спор, вспых-

нувший в последнее время между Кювье и Жоффруа Сент-Илером, основывается на научном открытии. *Единство организмов* уже занимало, но под другими названиями, величайшие умы двух предшествующих веков. Перечитывая столь удивительные произведения писателей-мистиков, занимавшихся науками в их связи с бесконечным: Сведенборга, Сен-Мартена и др.,— а также книги талантливейших естествоиспытателей: Лейбница, Бюффона, Шарля Бонне и других,— находишь в монадах Лейбница, в органических молекулах Бюффона, в «растительной силе» Нидгема, в *связи* подобных частиц Шарля Бонне, имевшего смелость еще в 1760 году заявить: «Животное развивается, как растение»,— находишь, повторяю, зачатки замечательного закона: *каждый для себя*,—на котором зиждется *единство организма*. Есть только одно живое существо. Создатель пользовался одним и тем же образцом для всех живых существ. Живое существо — это основа, получающая свою внешнюю форму, или, говоря точнее, отличительные признаки своей формы, в той среде, где ему назначено развиваться. Животные виды определяются этими различиями. Провозглашение и обоснование этой системы, согласной, впрочем, с нашими представлениями о божьем могуществе, будет вечной заслугой Жоффруа де Сент-Илера, одержавшего в этом вопросе высшей науки победу над Кювье — победу, которую приветствовал великий Гете в последней написанной им статье.

Проникнувшись этой системой еще задолго до того, как она возбудила споры, я понял, что в этом отношении Общество подобно Природе. Ведь Общество создает из человека, соответственно среде, где он действует, столько же разнообразных видов, сколько их существует в животном мире. Различие между солдатом, рабочим, чиновником, адвокатом, бездельником, ученым, государственным деятелем, торговцем, моряком, поэтом,

бедняком, священником так же значительно, хотя и труднее уловимо, как и то, что отличает друг от друга волка, льва, осла, ворона, акулу, тюленя, овцу и т. д. Стало быть, существуют и всегда будут существовать виды в человеческом обществе так же, как и виды животного царства. Если Бюффон создал изумительное произведение, попытавшись в одной книге представить весь животный мир, то почему бы не создать подобного же произведения об Обществе? Но разнообразию животного мира природа поставила границы, в которых Обществу не суждено было удержаться. Когда Бюффон изображает льва-самца, ему достаточно всего нескольких фраз, чтобы определить и львицу, между тем в Обществе женщина далеко не всегда может рассматриваться как самка мужчины. Даже в одной семье могут быть два существа, совершенно не похожие друг на друга. Жена торговца иной раз достойна быть женой принца, и часто жена принца не стоит жены художника. Общественное состояние отмечено случайностями, которых никогда не допускает Природа, ибо общественное состояние складывается из Природы и Общества. Следовательно, описание социальных видов, если даже принимать во внимание только различие полов, должно быть в два раза более обширным по сравнению с описанием животных видов. Наконец, у животных не бывает внутренней борьбы, никакой путаницы; они только преследуют друг друга— вот и все. Люди тоже преследуют друг друга, но большее или меньшее наличие разума приводит к гораздо более сложной борьбе. Если некоторые ученые и не признают, что в великом потоке жизни Животность врывается в Человечность, то несомненно, что все же лавочник становится иногда пэром Франции, а дворянин иной раз опускается на самое дно. Бюффон обнаружил у животных исключительно простую жизнь. Животное наделено немногим в смысле умственного развития, у него

нет ни наук, ни искусств, в то время как человек, в силу закона, который еще надлежит изучить, стремится запечатлеть свои нравы, свою мысль и свою жизнь во всем, что он приспособляет для своих нужд. Хотя Левенгук, Сваммердам, Спалланцани, Реомюр, Шарль Бонне, Мюллер, Галлер и другие терпеливые зографы показали, насколько занимательны нравы животных, все же повадки каждого из них, по крайней мере на наш взгляд, одинаковы во все времена, а между тем обычаи, одежда, речь, жилище князя, банкира, артиста, буржуа, священника, бедняка совершенно различны и меняются на каждой ступени цивилизации.

Таким образом, предстояло написать произведение, которое должно было охватить три формы бытия мужчин, женщин и вещи, то есть людей и материальное воплощение их мышления,— словом, изобразить человека и жизнь.

Кто не замечал, читая сухой и досадный перечень фактов, именуемый *историей*, что во все времена — будь то в Египте, Персии, Греции, Риме — писатели забывали изображать нам историю нравов? Отрывок Петрония о частной жизни римлян скорее возбуждает, чем удовлетворяет нашу любознательность. Заметив этот огромный пробел в истории, аббат Бартелеми посвятил свою жизнь восстановлению картины древнегреческих нравов в своем «Анахарсисе».

Но как сделать интересной драму с тремя—четырьмя тысячами действующих лиц, которую являет любое Общество? Как одновременно понравиться поэту, философу и массам, которые требуют поэзии и философии в захватывающих образах? Если я и понимал значительность и поэзию этой истории человеческого сердца, то не представлял себе способов воспроизвести ее: ведь вплоть до нашего времени самые знаменитые рассказчики употребляли свое дарование на созидание одного или

двух типических лиц, на изображение какой-нибудь одной стороны жизни. Именно с такими мыслями читал я произведения Вальтера Скотта. Вальтер Скотт, этот современный трувер, придал гигантский размах тому жанру повествования, которое несправедливо считается второстепенным. В самом деле, разве не труднее вступать в соперничество с живыми эпохами, создавая Дафниса и Хлою, Роланда, Амадиса, Панурга, Дон-Кихота, Манон Леско, Клариссу, Ловласа, Робинзона Крузо, Жиль Бласа, Оссиана, Юлию д'Этанж, дядюшку Тоби, Вертера, Ренэ, Коринну, Адольфа, Павла и Виргинию, Дженни Динс, Клеверхауза, Айвенго, Манфреда, Миньону, чем правильно располагать факты, почти одинаковые у всех народов, истолковывать устаревшие законы, выдумывать теории, вводящие народы в заблуждение, или, подобно некоторым метафизикам, объяснить то, что есть? Существование такого рода персонажей почти всегда становится более длительным, более несомненным, чем существование поколений, среди которых они рождены; однако живут они только в том случае, если являются полным отображением своего времени. Они зачаты в утробе определенного века, но под их оболочкой бьется всечеловеческое сердце и часто таится целая философия. Вальтер Скотт возвысил роман до степени философии истории, возвысил тот род литературы, который из века в век украшает алмазами бессмертия поэтическую корону тех стран, где процветает искусство слова. Он внес в него дух прошлого, соединил в нем драму, диалог, портрет, пейзаж, описание; он включил туда и невероятное и истинное, эти элементы эпоса, и подкрепил поэзию непринужденностью самых простых разговоров. Но он не столько придумал определенную систему, сколько нашел собственную манеру в пылу работы или благодаря логике этой работы; он не задумывался над тем, чтобы связать свои повести одну с другой и таким образом со-

здать целую историю, каждая глава которой была бы романом, а каждый роман — эпохой. Заметив этот недостаток связи, что, впрочем, не умаляет значения Шотландца, я в то же время ясно представил себе и план, удобный для выполнения моей работы, и самую возможность его осуществления. Хотя я и был, так сказать, ослеплен изумительной плодовитостью Вальтера Скотта, всегда похожего на самого себя и всегда своеобразного, я не отчаивался, потому что объяснял особенности его дарования бесконечным разнообразием человеческой природы.

Случай — величайший романист мира; чтобы быть плодовитым, нужно его изучать. Самим историком должно было оказаться французское Общество, мне оставалось только быть его секретарем. Составляя опись пороков и добродетелей, собирая наиболее яркие случаи проявления страстей, изображая характеры, выбирая главнейшие события из жизни Общества, создавая типы путем соединения отдельных черт многочисленных однородных характеров, быть может, мне удалось бы написать историю, забытую столькими историками,— историю нравов. Запасшись основательным терпением и мужеством, я, быть может, доведу до конца книгу о Франции девятнадцатого века, книгу, на отсутствие которой мы все сетуем и какой, к сожалению, не оставили нам о своей цивилизации ни Рим, ни Афины, ни Тир, ни Мемфис, ни Персия, ни Индия. Отважный и терпеливый Монтейль, следуя примеру аббата Бартелеми, пытался создать такую книгу о Средних веках, но в форме малопривлекательной.

Подобный труд был бы еще ничем. Придерживаясь такого тщательного воспроизведения, писатель мог бы стать более или менее точным, более или менее удачливым, терпеливым или смелым изобразителем человеческих типов, повествователем интимных житейских драм,

археологом общественного быта, счетчиком профессий, летописцем добра и зла, но, чтобы заслужить похвалы, которых должен добиваться всякий художник, мне нужно было изучить основы или одну общую основу этих социальных явлений, уловить скрытый смысл огромного скопища типов, страстей и событий. Словом, начав искать — я не говорю: найдя — эту основу, этот социальный двигатель, мне следовало поразмыслить о принципах естества и обнаружить, в чем человеческие Общества отдаляются или приближаются к вечному закону, к истине, к красоте. Несмотря на широту предпосылок, которые могли бы сами по себе составить целое произведение, труд этот, чтобы быть законченным, нуждался в заключении. Изображенное так Общество должно заключать в себе смысл своего развития.

Суть писателя, то, что его делает писателем и, не побоюсь этого сказать, делает равным государственному деятелю, а быть может, и выше его,— это определенное мнение о человеческих делах, полная преданность принципам. Макиавелли, Гоббс, Боссюэ, Лейбниц, Кант, Монтескье дали знание, которое государственные деятели осуществляют на практике. «Писатель должен иметь твердые мнения в вопросах морали и политики, он должен считать себя учителем людей, ибо люди не нуждаются в наставниках, чтобы сомневаться»,— сказал Бональд. Я рано воспринял как правило эти великие слова, которые одинаково являются законом и для писателя-монархиста и для писателя-демократа. Поэтому если вздумают упрекать меня в противоречиях, то окажется, что недобросовестно истолковали какую-либо мою насмешку или некстати направили против меня слова кого-либо из моих героев, что является обычным приемом клеветников. Что же касается внутреннего смысла, души этого произведения, то вот на каких принципах оно основывается.

Человек ни добр, ни зол, он рождается с инстинктами и наклонностями; Общество отнюдь не портит его, как полагал Руссо, а совершенствует, делает лучшим; но стремление к выгоде с своей стороны развивает его дурные склонности. Христианство, и особенно католичество, как я показал в «Сельском враче», представляя собою целостную систему подавления порочных стремлений человека, является величайшею основою социального порядка.

Внимательное рассматривание картины Общества, списанной, так сказать, с живого образца, со всем его добром и злом, учит, что если мысль или страсть, которая вмещает и мысль и чувство,— явления социальные, то в то же время они и разрушительны. В этом смысле жизнь социальная походит на жизнь человека. Народы можно сделать долговечными, только укротив их жизненный порыв. Просвещение, или, лучше сказать, воспитание при помощи религиозных учреждений, является для народов великой основой их бытия, единственным средством уменьшить количество зла и увеличить количество добра в любом Обществе. Мысль — источник добра и зла — может быть воспитана, укрощена и направлена только религией. Единственно возможная религия — христианство (смотри в «Луи Ламбере» письмо, написанное из Парижа, где молодой философ-мистик объясняет по поводу учения Сведенборга, что с самого начала мира была всегда только одна религия). Христианство создало современные народы, оно их будет хранить. Отсюда же, без сомнения, вытекает необходимость монархического принципа. Католичество и королевская власть — близнецы. Что же касается того, до какой степени они должны быть ограничены учреждениями, чтобы не развиться в абсолютную власть, то каждый согласится, что это краткое предисловие не следует превращать в политический трактат. Поэтому я не

могу касаться здесь ни религиозных, ни политических распрей нашего времени. Я пишу при свете двух вечных истин: религии и монархии,— необходимость той и другой подтверждается современными событиями, и каждый писатель, обладающий здравым смыслом, должен пытаться вести нашу страну по направлению к ним. Не будучи врагом избирательной системы, этого превосходного принципа созидания законов, я отвергаю ее как *единственное социальное средство*, и в особенности, если она так плохо организована, как теперь, когда она не представляет имеющих столь значительный вес меньшинств, о духовной жизни и интересах которых подумало бы монархическое правительство. Избирательная система, распространенная на всех, приводит к управлению масс, единственному, ни в чем не ответственному, чья тирания безгранична, так как она называется *законом*. В связи с этим я рассматриваю как подлинную основу Общества семью, а не индивид. В этом отношении я, хоть и рискую прослыть отсталым, примыкаю к Боссюэ и Бональду, а не к современным новаторам. Избирательная система стала единственным социальным средством, и если я сам прибегаю к ней, в этом нет ни малейшего противоречия между моей мыслью и поступками. Допустим, инженер заявляет, что такой-то мост грозит обвалом, что им пользоваться опасно, и все же он сам идет по нему, когда этот мост является единственной дорогою в город. Наполеон изумительно приспособил избирательную систему к духу нашей страны. Поэтому самые незначительные депутаты его законодательного корпуса стали самыми выдающимися ораторами палаты при Реставрации. Ни одна палата не может сравниться по своему составу с Законодательным корпусом,— следовательно, избирательная система Империи, бесспорно, самая лучшая.

Некоторые найдут это заявление высокомерным и

хвастливым. Будут осуждать романиста за то, что он хочет быть историком, потребуют разъяснения его политических взглядов. Я повинуюсь здесь долгу — вот весь ответ. Труд, начатый мною, будет столь же обширен, как история: я должен изложить его смысл, пока еще неясный, общие начала и нравственную цель.

По необходимости принужденный изъять предисловия, напечатанные в свое время в ответ случайным критикам, я хочу остановиться только на одном замечании.

Писатели, имеющие какую-нибудь цель, будь то возвращение к идеалам прошлого (именно потому, что эти идеалы вечны), всегда должны расчищать себе почву. А между тем всякий, кто вносит свою часть в царство идей, всякий, кто отмечает какое-либо заблуждение, всякий, кто указывает на нечто дурное, чтобы оно было искоренено,— тот неизменно слывет безнравственным. Впрочем, упрек в безнравственности, которого не удалось избежать ни одному смелому писателю,—последнее, что остается сделать, когда ничего другого не могут сказать автору. Если вы правдивы в изображении, если, работая денно и нощно, вы начинаете писать языком небывалым по трудности, тогда вам в лицо бросают упрек в безнравственности. Сократ был безнравствен, Христос был безнравствен, обоих преследовали во имя социального строя, который они подрывали или улучшали. Когда кого-нибудь хотят изничтожить, его обвиняют в безнравственности. Этот способ действия, свойственный партиям, позорит всех, кто к нему прибегает. Лютер и Кальвин прекрасно знали, что̀ делают, когда пользовались, как щитом, затронутыми материальными интересами. И они благополучно прожили всю жизнь.

Когда дается точное изображение всего Общества, описываются его великие потрясения, случается — и это неизбежно,— что произведение открывает больше зла,

чем добра, и какая-то часть картины представляет людей порочных; тогда критика начинает вопить о безнравственности, не замечая назидательного примера в другой части, долженствующей создать полную противоположность первой. Поскольку критика не знала общего плана, я прощал ей, и тем более охотно, что критике так же нельзя помешать, как нельзя человеку помешать видеть, изъясняться и судить. Кроме этого, время беспристрастного отношения ко мне еще не настало. Впрочем, писатель, который не решается выдержать огонь критики, не должен вовсе браться за перо, как путешественник не должен пускаться в дорогу, если он рассчитывает на неизменно прекрасную погоду. По этому поводу мне остается заметить, что наиболее добросовестные моралисты сильно сомневаются в том, что в Обществе можно найти столько же хороших, сколько дурных поступков; в картине же, которую я создаю, больше лиц добродетельных, чем достойных порицания; поступки предосудительные, ошибки, преступления, начиная от самых легких и кончая самыми тяжкими, всегда находят у меня человеческое и божеское наказание, явное или тайное. Я в лучшем положении, чем историк,— я свободнее. Кромвель здесь, на земле, претерпел только то наказание, которое на него наложил мыслитель. И до сих пор еще длится спор о нем между различными школами. Сам Боссюэ пощадил этого великого цареубийцу. Вильгельм Оранский, узурпатор, Гуго Капет, другой узурпатор, дожили до глубокой старости, не больше боясь и опасаясь, чем Генрих IV и Карл I. Жизнь Екатерины II и жизнь Людовика XIV при сравнении ее с их деятельностью свидетельствует о полной безнравственности, если судить с точки зрения морали, обязательной для частных лиц, но, как сказал Наполеон, для монархов и государственных деятелей существуют две морали: большая и малая. *Сцены политической жизни*

основаны на этом прекрасном рассуждении. История не обязана, в отличие от романа, стремиться к высшему идеалу. История есть или должна быть тем, чем она была, в то время как *роман должен быть лучшим миром*, сказала г-жа Неккер, одна из самых замечательных женщин последнего времени. Но роман не имел бы никакого значения, если бы при этом возвышенном обмане он не был правдивым в подробностях. Принужденный сообразоваться с идеями глубоко лицемерной страны, Вальтер Скотт был неправдивым в отношении людей, в изображении женщин, так как его образцы были протестантами. У женщины-протестантки нет идеала. Она может быть целомудренной, чистой, добродетельной, но любовь не захватывает ее всю, любовь ее всегда остается спокойной и упорядоченной, как выполненный долг. Может показаться, что дева Мария охладила сердце софистов, изгнавших ее с неба вместе с сокровищами милосердия, исходящими от нее. В протестантстве для женщины падшей все кончено, в то время как в католической церкви надежда на прощение делает ее возвышенной. Поэтому для протестантского писателя возможен только один женский образ, между тем как писатель-католик находит новую женщину в каждой новой ситуации. Если бы Вальтер Скотт был католик, если бы он взял на себя труд правдивого изображения различных обществ, последовательно сменявшихся в Шотландии, то, может быть, автор Эффи и Алисы (два образа, за обрисовку которых он упрекал себя в старости) признал бы мир страстей с его падениями и возмездием, с добродетелями, к которым ведет раскаяние. Страсть — это все человечество. Без нее религия, история, роман, искусство были бы бесполезны.

Заметив, что я собираю столько фактов и изображаю их, как они есть на самом деле, включая и страсть, некоторые ошибочно вообразили, будто я принадлежу к шко-

ле сенсуалистов и материалистов — к этим двум видам одного и того же направления — пантеизма. Но, быть может, они могли, они должны были заблуждаться на этот счет. Я не верю в бесконечное совершенствование человеческого Общества, я верю в совершенствование самого человека. Те, кто думает найти у меня намерение рассматривать человека как создание законченное, сильно ошибаются. «Серафита» — это воплощение учения христианского Будды — кажется мне исчерпывающим ответом на это, впрочем, довольно легкомысленное обвинение.

В некоторых частях моего большого произведения я пытался в общедоступной форме рассказать о поразительных явлениях, можно сказать — чудесах электричества, которое в человеке преображается в неучтенную силу; но разве мозговые и нервные явления, свидетельствующие о существовании иного, духовного бытия, разрушают определенные и необходимые отношения между мирами и богом? Разве этим поколеблены католические догматы? Если благодаря неоспоримым фактам мысль когда-либо займет свое место среди флюидов, которые обнаруживаются лишь в своих проявлениях и чья сущность недоступна нашим чувствам, даже усиленным столькими механическими способами, то это открытие будет подобно открытию шарообразности земли, установленной Колумбом, и ее вращения, доказанному Галилеем. Наше будущее останется тем же. Животный магнетизм, с чудесами которого я близко соприкасаюсь начиная с 1820 года, прекрасные разыскания продолжателя Лафатера — Галля, все те, кто в продолжение пятидесяти лет работал над мыслью, как физики работают над светом — этими двумя едва ли не сходными явлениями,— все они говорят в пользу мистиков, учеников апостола Иоанна, и в пользу всех великих мыслителей,

раскрывших духовный мир — ту область, где становятся явными отношения между богом и человеком.

Поняв как следует смысл моего произведения, читатели признают, что я придаю фактам постоянным, повседневным, тайным или явным, а также событиям личной жизни, их причинам и побудительным началам столько же значения, сколько до сих пор придавали историки событиям общественной жизни народов. Неведомая битва, которая в долине Эндры разыгрывается между госпожой Морсоф и страстью («Лилия в долине»), быть может, столь же величественна, как самое блистательное из известных нам сражений. В этом последнем поставлена на карту слава завоевателя, в первой — небо. Несчастья обоих Бирото, священника и парфюмера, для меня — несчастья всего человечества. «Могильщица» («Сельский врач») и г-жа Граслен («Сельский священник») — это почти вся женщина. Мы тоже всю жизнь страдаем. Мне пришлось сто раз сделать то, что Ричардсон сделал только однажды. У Ловласа тысячи воплощений, ибо социальная испорченность принимает окраску той социальной среды, где она развивается. Наоборот, Кларисса, этот прекрасный образ страстной добродетели, отмечена чертами подавляющей чистоты. Чтобы создать много таких девственниц, нужно быть Рафаэлем. Быть может, литература в этом отношении ниже живописи. Да будет же мне позволено отметить, сколько безупречных (в смысле добродетельности) лиц находится в опубликованных частях этого труда: Пьеретта Лоррен, Урсула Мируэ, Констанция Бирото, «Могильщица», Евгения Гранде, Маргарита Клаэс, Полина де Вильнуа, г-жа Жюль, г-жа де Ла Шантери, Ева Шардон, девица д'Эгриньон, г-жа Фирмиани, Агата Руже, Ренэ де Мокомб, наконец, значительное количество второстепенных действующих лиц, которые, будучи не столь заметны, как перечисленные, тем не менее являют читателю образец

семейных добродетелей. Жозеф Леба, Женеста́, Бенасси́, священник Бонне, доктор Миноре, Пильро, Давид Сешар, двое Бирото, священник Шаперон, судья Попино, Буржа́, Совиа́, Ташероны и многие другие не разрешают ли трудную литературную задачу, заключающуюся в том, чтобы сделать интересным добродетельное лицо?

Это не малый труд — изобразить две или три тысячи типичных людей определенной эпохи, ибо таково в конечном счете количество типов, представляющих каждое поколение, и «Человеческая комедия» их столько вместит. Такое количество лиц, характеров, такое множество жизней требовало определенных рамок и, да простят мне такое выражение, галерей. Отсюда столь естественные, уже известные, разделы моего произведения: *Сцены частной жизни, провинциальной, парижской, политической, военной и сельской.* По этим шести разделам распределены все *очерки нравов,* образующие общую историю Общества, собрание всех событий и деяний, как сказали бы наши предки. К тому же эти шесть разделов соответствуют основным мыслям. Каждый из них имеет свой смысл, свое значение и заключает эпоху человеческой жизни. Я повторю здесь кратко то, что высказал посвященный в мои планы Феликс Давен, талантливый юноша, преждевременно похищенный смертью. *Сцены частной жизни* изображают детство, юность, их заблуждения, в то время как *сцены провинциальной жизни* — зрелый возраст, страсти, расчеты, интересы и честолюбие. Затем в *сценах парижской жизни* дана картина вкусов, пороков и всех необузданных проявлений жизни, вызванных нравами, свойственными столице, где одновременно встречаются крайнее добро и крайнее зло.

Каждая из этих частей имеет свойственную ей окраску: Париж и провинция, социально противоположные, послужили здесь неисчерпаемыми источниками. Не только люди, но и главнейшие события отливаются в типиче-

ские образы. Существуют положения, встречающиеся в жизни любого человека, это типические фазы жизни: именно в обрисовке их я старался быть возможно более точным. Я старался дать представление о различных местностях нашей прекрасной страны. Мой труд имеет свою географию, так же как и свою генеалогию, свои семьи, свои местности, обстановку, действующих лиц и факты, также он имеет свой гербовник, свое дворянство и буржуазию, своих ремесленников и крестьян, политиков и денди, свою армию — словом, весь мир.

Изобразив в этих трех отделах социальную жизнь, мне оставалось показать жизнь совсем особую, в которой отражаются интересы многих или всех,— жизнь, протекающую, так сказать, вне общих рамок,— отсюда *сцены политической жизни*. После этой обширной картины Общества надо было еще показать его в состоянии наивысшего напряжения, выступившим из своего обычного состояния — будь то для обороны или для завоевания. Отсюда *сцены военной жизни* — пока еще наименее полная часть моей работы, но которой будет оставлено место в этом издании, с тем чтобы она вошла в него, когда я ее закончу. Наконец *сцены сельской жизни* представляют собой как бы вечер этого длинного дня, если мне позволено назвать так драму социальной жизни. В этом разделе встречаются самые чистые характеры и осуществление великих начал порядка, политики и нравственности.

Таково основание, полное лиц, полное комедий и трагедий, над которым возвышаются *философские этюды*, вторая часть работы, где находит свое выражение социальный двигатель всех событий, где изображены разрушительные бури мысли, чувство за чувством. Первое произведение этого раздела — «Шагреневая кожа» — некоторым образом связывает *сцены нравов* с *философскими этюдами* кольцом почти восточной фантазии, где сама

Жизнь изображена в схватке с Желанием, началом всякой Страсти.

Еще выше найдут место *аналитические этюды*, о которых я ничего не скажу, так как из них напечатан только один: «Физиология брака».

Скоро я напишу два других произведения этого жанра. Во-первых, «Патологию социальной жизни», затем— «Анатомию педагогической корпорации» и «Монографию о добродетели».

Видя все, что мне еще остается сделать, быть может, мне скажут то, что говорят мои издатели: «Да продлит господь вашу жизнь». Я желаю только одного: чтобы меня в дальнейшем не терзали люди и обстоятельства так, как это было с самого начала этого ужасного труда. Но, слава богу, меня поддерживало то, что самые крупные дарования нашей эпохи, самые прекрасные люди, самые искренние друзья, столь же великие в частной жизни, как иные в жизни общественной, пожимали мне руку, говоря: «Мужайся!» И почему бы мне не признаться, что выражения дружеской привязанности, отзывы, полученные с разных сторон от неизвестных, поддержали меня на моем пути и против меня самого и против несправедливых нападок, против клеветы, часто преследовавшей меня, против отчаяния и против той слишком живой надежды, проявления которой принимаются за признак чрезмерного самолюбия? Нападкам и оскорблениям я решил противопоставить стоическую невозмутимость; однако в двух случаях подлая клевета сделала защиту необходимой. Но сторонники всепрощения сожалеют, что я обнаружил мое искусство в литературных поединках, а многие христиане считают, что мы живем в такое время, когда хорошо дать понять, что и молчанию присуще благородство.

В связи с этим я должен обратить внимание, что признаю своими произведениями лишь те, которые но-

сят мое имя. Кроме «Человеческой комедии», мне принадлежат только «Сто озорных рассказов», две пьесы и отдельные статьи — впрочем, подписанные. Здесь я пользуюсь неоспоримым правом. Но это отречение, даже если оно относится к произведениям, в которых я принимал участие, продиктовано не столько самолюбием, сколько истиной. Если будут упорствовать в приписывании мне книг, которые в литературном смысле я не могу признать своими, но права собственности на которые были мне доверены, то я оставлю это без внимания по тем же основаниям, по каким позволяю свободно клеветать на меня.

Огромный размах плана, охватывающего одновременно историю и критику Общества, анализ его язв и обсуждение его основ позволяют, мне думается, дать ему то заглавие, под которым оно появляется теперь: «Человеческая комедия». Притязательно ли оно? Или только правильно? Это решат читатели, когда труд будет окончен.

Париж, июль 1842 г.

ДОМ КОШКИ, ИГРАЮЩЕЙ В МЯЧ

Посвящается Марии де Монто.

Посреди улицы Сен-Дени, почти на углу улицы Пти-Лион, еще недавно стоял один из тех достопримечательных домов, по которым историки могут воссоздать облик старого Парижа. Грозившие обвалом стены, казалось, были испещрены иероглифами; как мог бы иначе назвать любопытный наблюдатель римские цифры X и V, покрывавшие фасад,— следы поперечных или продольных креплений, обозначавшихся на штукатурке мелкими параллельными трещинами? Очевидно, при проезде даже самого легкого экипажа каждая из балок шаталась в своем гнезде. Почтенное здание увенчивала треугольная крыша, какой теперь уже не сыщешь во всем Париже. Кровля эта, покоробившаяся от переменчивой парижской погоды, выступала на целых три фута над улицей, защищая крыльцо от струившейся во время дождя воды, укрывая стены чердака и слуховое окошко. Чердак был сколочен из дощечек, набитых одна на другую подобно шиферным плиткам,— вероятно, не хотели обременить каменной кладкой ветхие стены дома.

В одно дождливое мартовское утро какой-то молодой человек, плотно закутавшись в плащ, стоял под навесом лавки, напротив этого старого дома, и рассматривал его с восторгом археолога. Действительно, этот обломок буржуазного уклада XVI века предоставлял наблюдателю разрешить не одну загадку. В каждом

этаже какая-нибудь особенность: в первом — четыре высоких узких окна, прижавшихся друг к другу и снизу забранных деревянными щитами,— вероятно, для того, чтобы создать в лавке выгодный полумрак, при котором ловкий торговец придает тканям оттенок, требуемый покупателем. Молодой человек, казалось, был исполнен презрения к этой существенной части дома, — его взгляд не задерживался на ней. Окна второго этажа, где жалюзи были подняты и сквозь большие бемские стекла виднелись желтые кисейные занавесочки, интересовали его не больше. Все его внимание было устремлено на третий этаж, на его жалкие окна с грубо сделанными рамами, которые были бы на месте в музее ремесел и искусств в качестве образца первых опытов французского столярного мастерства. Маленькие стекла в переплетах рам были почти зеленого цвета, и, если бы не превосходное зрение молодого человека, он не мог бы рассмотреть белых холстинковых занавесок в голубую клетку, скрывавших тайну этого помещения от взоров непосвященных. Порой наш наблюдатель, соскучившись от долгого бесплодного созерцания, от безмолвия, царившего и в доме и во всем квартале, опускал глаза вниз. Невольная улыбка появлялась на его губах, когда он снова смотрел на лавку, где действительно можно было видеть довольно забавные вещи. На толстой деревянной балке, подпертой четырьмя столбами, казалось, сгибавшимися под тяжестью дряхлого дома, наслаивалась подновлявшаяся краска, как румяна на щеках какой-нибудь старой герцогини. Посредине этой широкой балки, украшенной причудливой резьбой, находилось старинное изображение кошки, играющей в мяч. Эта картина и возбуждала веселость молодого человека. Нужно сказать, что даже самый остроумный современный художник не придумал бы более смешного шаржа. Кошка держала в передней лапе ракетку величиной с себя и, стоя на задних лапах, задорно готовилась отбить огромный мяч, брошенный дворянином в шитом кафтане. Рисунок, краски, подробности — все наводило на мысль, что художник хотел поиздеваться и над самим купцом и над прохожими. Время, изменив наивную живопись, сделало ее еще более забавной, придав ей некую загадочность, которая должна была заинтересовать любознатель-

ного наблюдателя. Пестрый хвост кошки был выписан таким образом, что его можно было принять за какого-нибудь одушевленного зрителя,— очевидно, хвосты кошек, водившихся у наших дедов, были необыкновенно объемисты, длинны и пушисты. Направо от картины, на лазоревом поле, плохо скрывавшем гнилое дерево, прохожие читали: *Гильом,* а налево: *Преемник господина Шевреля.* Солнце и дождь вытравили большую часть позолоты, скупо наложенной на буквы этой вывески, где, согласно правилам нашего старинного правописания, U и V заменяли друг друга. Чтобы умерить гордость людей, полагающих, что мир с каждым днем становится все более изобретательным, а современное шарлатанство ни с чем не сравнимо, уместно тут же отметить, что подобные вывески, содержание которых кажется странным парижским торгашам, являются картинами с живой натуры, служившей нашим шутливым предкам для привлечения покупателей в свои лавки. «Прядущая свинка», «Зеленая обезьяна» и т. д.— все это были животные в клетках, ловкость которых изумляла прохожих, а дрессировка доказывала терпение купцов XV века. Подобные диковинки обогащали своих владельцев быстрее, чем какое-нибудь «Провидение», «Добросовестность», «Милость божия», «Усекновение главы Иоанна Крестителя», и посейчас еще встречающиеся на улице Сен-Дени. Все же незнакомец не стал бы так долго любоваться этой кошкой,— достаточно было разок взглянуть на нее, и она навсегда запечатлелась бы в памяти. У молодого человека тоже были свои странности: из-под его плаща, падавшего складками наподобие античной тоги, виднелись изящные бальные туфли, тем более бросавшиеся в глаза на неопрятной парижской улице, что белые шелковые чулки были покрыты брызгами грязи — обстоятельство, выдававшее нетерпение этого молодого щеголя. Наверное, он пришел сюда прямо со свадьбы или с бала: несмотря на такой ранний час, он держал в руке белые перчатки, а черные развившиеся кудри, рассыпавшиеся по плечам, указывали на прическу а-ля Каракалла, ставшую модной благодаря школе Давида и тому увлечению всем греческим и римским, которое отличает начало нашего столетия.

Несмотря на шум, поднятый телегами запоздалых огэ-

родников, мчавшихся галопом на главный рынок, улица, обычно столь оживленная, была теперь полна тишины, прелесть которой известна только тем, кто блуждал по опустевшему Парижу в часы, когда городской шум, на некоторое время притихший, снова воскресает и доносится издали, подобно мощному рокоту моря. Странный молодой человек, наверное, казался не менее занимательным торговцам из «Дома кошки, играющей в мяч», чем сама «Кошка, играющая в мяч» — для этого зрителя. Ослепительно белый высокий галстук подчеркивал матовую бледность его лица. То мрачный, то сверкающий блеск черных глаз гармонировал с удивительными его чертами, с изогнутой линией рта, судорожно кривившегося, когда он улыбался. Его лоб, на котором от нетерпения и досады образовались резкие складки, казался отмеченным печатью рока. А разве лоб не раскрывает всего человека? Когда лоб незнакомца сердито хмурился, складки, образовавшиеся на нем, пугали — так сильно они вырисовывались; но лишь только к нему возвращалось душевное спокойствие, которое так легко было нарушить, он казался обаятельно светлым, и тогда это лицо, столь заразительно выражавшее радость, скорбь, любовь, гнев, презрение, не могло не привлечь к себе даже самого равнодушного человека. Незнакомец был так раздосадован, что не заметил, как чердачное окошко распахнулось и оттуда выглянули три веселых физиономии, круглых, белых и румяных, но столь же заурядных, как физиономия богини торговли на некоторых памятниках. Эти три головы, показавшиеся в рамке слухового окна, напоминали головы толстощеких ангелов, парящих там и сям в облаках вокруг бога-отца. Приказчики вдыхали утреннюю прохладу с жадностью, свидетельствовавшей, что воздух на чердаке был достаточно зловонным и душным. Заметив странного часового, самый веселый с виду приказчик исчез и возвратился, держа в руке тот прибор, в котором несокрушимый металл был недавно заменен мягкой кожей; потом все принялись лукаво смотреть на ротозея, которого они окропили беловатой жидкой пеной, доказывавшей своим мыльным ароматом, что их три подбородка были только что выбриты. Приказчики отступили подальше от окошка и стали на цыпочки, чтобы насладиться гневом своей жертвы, но скоро они перестали смеять-

ся, заметив, с каким беззаботным пренебрежением молодой человек отряхнул свой плащ, какое глубокое презрение отразилось на его лице, когда он поднял глаза на опустевшее окошко. В это время нежная, беленькая ручка подняла нижнюю половину одного из неуклюжих окон третьего этажа и закрепила ее в оконном пазу особым крюком, который зачастую неожиданно роняет тяжелую раму, вместо того чтобы ее поддержать. Тогда прохожий был вознагражден за свое долгое ожидание. В окне показалась молоденькая девушка, свежая, как белая лилия, распустившаяся на лоне вод, девушка в беленьком чепчике из гофрированной кисеи, придававшем ее облику детскую пленительную невинность. Ее шея и плечи, хотя и прикрытые темной шалью, виднелись в вырезе сбившейся во сне ночной сорочки. Ни малейшей неестественности нельзя было заметить ни в выражении наивного лица, ни в спокойном взоре, давно уже увековеченном возвышенными творениями Рафаэля: та же грация, то же спокойствие мадонн, вошедшее в поговорку. Свежее девичье личико, в котором сон как бы подчеркнул избыток жизни, составляло очаровательный контраст с ветхостью массивного окна, с его грубыми очертаниями и черным подоконником. Подобная цветку, не успевшему развернуть утром свои лепестки, сомкнувшиеся от ночного холода, девушка, еще не вполне очнувшись от сна, рассеянно окинула взглядом голубых глаз соседние крыши, посмотрела на небо, потом по привычке опустила глаза на сумрачную улицу и — встретилась со взором своего обожателя. Должно быть, ее кокетству был нанесен удар — ведь ее увидели полуодетой; она быстро отступила, сношенный крюк повернулся, рама мгновенно упала — недаром у нас дали скверное прозвище этому наивному изобретению наших предков,— и видение исчезло. Молодому человеку показалось, что светлая утренняя звезда внезапно скрылась за облаком.

Пока происходили эти маленькие события, тяжелые внутренние ставни, защищавшие узкие окна магазина «Кошки, играющей в мяч», распахнулись, словно по волшебству. Старая дверь с висевшим на ней молотком была откинута к внутренней стене входа слугой, который, наверно, был современником вывески; дрожащей рукой он прикрепил к ней четырехугольное полотнище сукна,

на котором желтым шелком было вышито: *Гильом, преемник Шевреля.* Случайному прохожему было бы трудно разгадать, какого рода торговлю ведет этот Гильом. Сквозь толстую железную решетку, защищавшую лавку снаружи, едва можно было разглядеть запакованные кипы темной ткани, столь же многочисленные, как сельди, когда они идут в океане. Несмотря на совершенно очевидную простоту этого средневекового фасада, г-н Гильом отличался от всех парижских суконщиков тем, что его магазины всегда были богато снабжены товаром, его связи были самыми обширными, а коммерческая честность не возбуждала ни малейших подозрений. Если кто-либо из его собратьев по коммерции заключал торговую сделку с правительством, не имея нужного количества сукна, Гильом всегда готов был снабдить его, как бы значителен ни был заказ. Хитрый купец знал тысячу способов извлекать большую прибыль и не имел надобности, подобно своим сотоварищам, обивать пороги у покровителей, унижаться перед ними или делать им дорогие подарки. Если его собратья могли уплатить ему только превосходными, надежными, но долгосрочными векселями, он направлял их к своему нотариусу, как к «человеку сговорчивому», а тот драл с них две шкуры при операции учета векселей, так что у торговцев Сен-Дени сложилась поговорка: «Спаси нас господи от нотариуса господина Гильома». Старый суконщик, как по мановению волшебного жезла, очутился на пороге своего дома в ту самую минуту, когда исчез слуга. Г-н Гильом взглянул на улицу Сен-Дени, на соседние лавки, на небо, словно человек, который высадился в Гавре и в первый раз после долгого путешествия видит Францию. Убедившись, что во время его сна ничего не изменилось, он вдруг заметил караулившего прохожего, который, в свою очередь, созерцал патриарха суконной торговли, как, должно быть, Гумбольдт рассматривал первого электрического угря, пойманного им в Америке. Г-н Гильом носил широкие короткие штаны из черного бархата, пестрые чулки и туфоносые башмаки с серебряными пряжками. Зеленоватый суконный фрак с четырехугольным вырезом, четырехугольными фалдами и четырехугольным воротником, украшенный большими пуговицами из белого металла, ставшими медно-красными от долгой носки, мешковато

облекал его несколько согбенное туловище. Седые жидкие волосы были так старательно расчесаны и приглажены, что придавали желтому черепу сходство с полем, покрытым ровными правильными бороздами. Маленькие зеленые глазки походили на отверстия, высверленные буравчиком, и сверкали под двумя красноватыми дугами, заменявшими брови. Заботы избороздили его лоб морщинами, столь же многочисленными, как складки его фрака. Весь его бесцветный облик свидетельствовал о терпении, о купеческой мудрости и о том особом виде хитрой жадности, какой требуют торговые дела. В ту пору чаще, чем в наше время, встречались патриархальные семьи, где обычаи и костюмы, характерные для рода занятий их владельцев, сохранялись как драгоценное наследие— они существовали среди современной цивилизации подобно ископаемым допотопного периода, найденным Кювье в каменоломнях. Глава семейства Гильомов принадлежал к числу этих почтенных хранителей древних обычаев: он, бывало, с сожалением вспоминал о *купеческом старшине*, а постановление коммерческого суда называл не иначе, как *определение купеческого суда*. Поднявшись, вероятно, в силу этих старинных обычаев, первым в доме, он поджидал трех приказчиков, чтобы выбранить их в случае опоздания. Эти юные ученики Меркурия не знали ничего страшнее того молчаливого упорства, с которым хозяин в понедельник утром следил за их лицами и движениями, отыскивая доказательства или следы разгула. Но сейчас старый суконщик не обратил никакого внимания на своих приказчиков: он старался угадать, почему молодой человек в шелковых чулках и в плаще так озабоченно разглядывает то вывеску, то недра его лавки. Дневной свет становился ярче, и можно было различить внутри лавки за занавесью из старого зеленого шелка конторку с решеткой, где хранились огромные книги — немые оракулы фирмы. Слишком любопытный незнакомец жаждал, казалось, проникнуть туда и запомнить расположение смежной столовой, которая освещалась широким окном, прорезанным в потолке; из этой комнаты вся семья во время трапезы могла наблюдать самые незначительные события, случавшиеся у входа в лавку. Торговцу, пережившему режим «максимума», показалось подозрительным столь большое внимание к его жилищу. Г-ну Гильо-

му довольно естественно пришло в голову, что эта зловещая фигура готова покуситься на кассу «Дома кошки, играющей в мяч». Наконец старший приказчик, насладившись втихомолку немым поединком взглядов между хозяином и незнакомцем, осмелился ступить на ту же плиту, где стоял его хозяин, и заметил, что молодой человек украдкой созерцает окна третьего этажа. Приказчик сделал два шага, поднял голову, и ему показалось, что он видел быстро скрывшуюся Августину Гильом. Суконщик, недовольный догадливостью своего старшего приказчика, бросил на него косой взгляд, но опасения, которые возбудил странный прохожий в душе торговца и влюбленного приказчика, внезапно рассеялись. Незнакомец подозвал извозчика, направлявшегося на соседнюю площадь, и быстро вскочил в экипаж, приняв обманчиво равнодушный вид. Отъезд его пролил целебный бальзам на сердца остальных приказчиков, обеспокоенных возможностью столкновения с жертвой их шутки.

— Что же это такое, судари мои! Долго вы еще намерены бить баклуши? — сказал г-н Гильом своим трем приказчикам.— В былое время, черт побери, когда я служил у достоуважаемого Шеврeля, я уже успевал к этому часу осмотреть не одну штуку сукна.

— Что ж, значит, в те времена раньше светало,— отозвался второй приказчик, на котором лежала эта обязанность.

Старый торговец не мог не улыбнуться. Хотя двоим из этих трех молодых людей, доверенных его попечению их отцами, богатыми мануфактуристами из Лувье и Седана, достаточно было попросить на обзаведение сто тысяч франков, чтобы получить их немедленно в день совершеннолетия и самостоятельно устроиться, Гильом считал своим долгом держать подчиненных под игом старинного деспотизма, неизвестного в наших современных роскошных магазинах, где приказчики стремятся разбогатеть уже к тридцати годам. Г-н Гильом заставлял их работать, как негров. Они втроем выполняли обязанности, которые довели бы до изнеможения целый десяток служащих, своим бездельем способствующих в настоящее время разбуханию накладных расходов. Ничто не возмущало торжественной тишины дома, где дверные петли, казалось, всегда были смазаны маслом, а все предметы

домашнего обихода отличались почтенной чистотой, свидетельствовавшей о строгом порядке и бережливости. Часто самый озорной приказчик забавлялся тем, что выцарапывал на куске грюерского сыра, подававшегося им на завтрак, к которому они предпочитали не прикасаться, дату своего поступления в торговый дом. Эта лукавая шутка и другие проказы в том же роде вызывали иногда улыбку младшей из двух дочерей Гильома, красивой девушки, той самой, которая появилась перед очарованным незнакомцем. Каждый из приказчиков, даже самый старший, вносил солидную плату за свое содержание, и, тем не менее, никто из них не осмелился бы остаться за столом хозяина во время десерта. Когда г-жа Гильом собиралась заправить салат, несчастные молодые люди содрогались, представляя себе, как скупо ее осторожная рука станет окроплять его маслом. Им не разрешалось провести ночь вне дома, не представив заранее благовидного объяснения такого беспорядка.

Каждое воскресенье два приказчика поочередно сопровождали семейство Гильомов к обедне и к вечерне в церковь св. Луппа. Барышни, Виргиния и Августина, скромно одетые в ситцевые платья, каждая под руку с приказчиком, шли впереди под пронизывающим взором своей матушки, ибо она замыкала семейное шествие в сопровождении супруга, которого она приучила нести два толстых часослова, переплетенных в черный сафьян. Второй приказчик служил без жалованья. Что же касается того, который за двенадцать лет усердной службы и скромности приобщился к тайнам дома, то он получал за свои труды восемьсот франков. В некоторые семейные праздники ему делали маленькие подарки, каковым придавало ценность только то, что награждала ими сухая и сморщенная рука г-жи Гильом: вязаные кошельки, набитые ватой, чтобы выделить ажурный узор, прочно сработанные подтяжки или пара грубых шелковых чулок. Изредка этого первого министра приглашали разделить какое-нибудь развлечение с семьей хозяина, когда она выезжала на загородную прогулку или после целых месяцев выжидания решала, взяв ложу в театр, воспользоваться своим правом обсудить пьесу, которую Париж уже успел позабыть. Что же касается двух остальных приказчиков, то преграда почтения, отделявшая некогда всякого

хозяина-суконщика от его учеников, была столь прочно утверждена между ними и старым купцом, что им легче было украсть штуку сукна, чем нарушить этот величественный этикет. Такая строгость может показаться смешной в наше время, однако эти старые фирмы были школами нравственности и честности. Хозяева как бы усыновляли своих учеников. Хозяйка дома присматривала за бельем молодого человека, чинила, иногда заменяла новым. Если приказчик заболевал, о нем пеклись с теплой заботливостью. В случае опасности хозяин не жалел денег и звал самых известных докторов,— перед родителями молодых людей он отвечал не только за их нравственность и знания. Если кого-либо из них, уважаемого за его характер, постигало несчастье, то старые купцы умели оценить способности, которые они же развили в нем, и, не колеблясь, доверяли счастье своей дочери тому, кому они давно уже доверили свое имущество. Гильом принадлежал к числу таких старинных людей, и если у него были их смешные стороны, то вместе с тем были и все их достоинства; таким образом, старший приказчик, Жозеф Леба, сирота и неимущий, предназначался, по замыслу Гильома, в супруги старшей дочери, Виргинии. Но Жозеф вовсе не разделял последовательности своего хозяина, который — предложи ему хоть царство — не согласился бы выдать замуж вторую дочь раньше первой. Несчастный приказчик чувствовал, что сердцем его всецело владеет младшая дочь, Августина. Но, чтобы объяснить эту развившуюся втайне страсть, необходимо проникнуть глубже в источники абсолютной власти, управлявшей домом старого суконщика.

У Гильома было две дочери. Старшая, Виргиния, была точной копией своей матери. Г-жа Гильом, дочь достопочтенного Шевреля, сидела за конторкой так прямо, что не раз ей приходилось слышать, как иные шутники держали пари, не посажена ли она на кол. Вся ее тощая, длинная фигура свидетельствовала о крайней набожности. Не отличаясь изяществом и приятными манерами, г-жа Гильом, почти шестидесятилетняя женщина, обычно украшала свою голову чепчиком всегда одного и того же фасона, с лопастями наподобие вдовьего чепца. Весь околоток называл ее, как в монастыре, «сестрой-привратницей». Ее речь была немногословна, а движения напоми-

нали отрывистые сигналы оптического телеграфа. Глаза, светлые, как у кошки, казалось, полны были гнева на весь мир за то, что она безобразна. Виргиния, воспитанная, как и младшая сестра, под деспотическим надзором матери, уже достигла двадцати восьми лет. Молодость сглаживала неприятную топорность черт, которая иногда придавала ей разительное сходство с матерью, но строгая старушка воспитала в ней два больших достоинства, все искупавшие: она была кротка и терпелива. Августина — ей только что исполнилось восемнадцать лет — не походила ни на мать, ни на отца. Она принадлежала к числу тех девушек, которые настолько лишены сходства с некрасивыми родителями, что при виде их приходит на ум благочестивая поговорка: «Дети — дар божий». Августина была маленького роста, или, вернее,— это лучше обрисует ее — очаровательной крошкой, изящной, исполненной невинности. Светский человек мог бы поставить на вид этому прелестному созданию только ее робкие движения и некоторую неловкость манер, а иногда излишнюю застенчивость. Ее замкнутое и неподвижное личико дышало тихой грустью, отличающей всех девушек, слишком слабых, чтобы решиться на сопротивление материнской воле. Обе сестры, всегда скромно одетые, могли удовлетворять свое врожденное женское кокетство только необыкновенной опрятностью, которая была им очень к лицу и гармонировала со сверкавшими чистотой конторками и полками в лавке, где старый слуга не оставлял ни пылинки, и со старозаветной простотой всей окружающей обстановки. Вынужденные по своему образу жизни находить некоторую радость в прилежном труде, Августина и Виргиния до настоящего времени ничем не огорчали свою мать, в душе восторгавшуюся прекрасными характерами обеих дочерей. Можно легко представить себе плоды полученного ими воспитания. Взращенные для торговли, они привыкли понимать только скучные коммерческие расчеты и соображения, учились только грамматике, ведению приходо-расходных книг, начаткам Ветхого завета, истории Франции по Лерагуа, читали только тех авторов, которые были разрешены их матерью,— и потому их мысли не отличались широтой кругозора; зато обе превосходно умели вести хозяйство, знали цену вещам, знали, с каким трудом накапливаются денежки, бы-

ли бережливы и весьма уважали отменные качества купеческого сословия. Хотя их отец был богат, они умели не только вышивать, но и штопать; мать часто говорила, что заставляет их заниматься стряпней для того, чтобы они умели заказать обед и толково выбранить кухарку. Не зная светских удовольствий и видя, как протекает примерная жизнь их родителей, они редко заглядывали за ограду старого отцовского дома, заменявшего для их матери весь мир. Семейные торжества, когда собирались гости, были единственными земными радостями, о которых они мечтали. Когда в большой гостиной, расположенной во втором этаже, должны были появиться г-жа Роген, урожденная Шеврель, которая была на пятнадцать лет моложе своей двоюродной сестры и уже носила бриллианты, молодой Рабурден, помощник столоначальника в министерстве финансов, г-н Цезарь Бирото, богатый парфюмер, и его жена, именовавшаяся мадам Бирото, г-н Камюзо, самый богатый торговец шелками на улице Бурдоне, и его тесть г-н Кардо, два—три старых банкира и их безупречные жены, то все необходимые приготовления — сбор серебра, саксонского фарфора, свечей, хрусталя — являлись развлечением в однообразной жизни трех женщин, суетившихся в этих случаях совершенно так же, как монахини, готовящиеся принять епископа. Они все втроем мыли, скребли, разбирали и ставили на место праздничные украшения и к вечеру едва стояли на ногах от усталости, а г-жа Гильом, которой обе девушки всегда помогали укладываться спать, говорила:

— Сегодня, детки, мы бездельничали.

Когда на этих торжественных собраниях «сестра-привратница», сосредоточив игру в бостон, в вист и трик-трак в своей спальне, разрешала потанцевать, то это позволение рассматривалось как самое неожиданное счастье и радовало ничуть не меньше, чем выезд на два — три бала, куда Гильом возил дочерей на масленицу. И наконец раз в год почтенный суконщик устраивал пиршество, для которого ничего не жалел. Приглашенные—особы из самого богатого, избранного общества — считали своим долгом явиться, ибо даже весьма солидные по своему положению торговые дома нуждались в неограниченном кредите, капитале или богатом опыте г-на Гильома. Но

дочери почтенного купца не пользовались, как можно было бы предположить, теми уроками, какие свет дает юным девицам. На этих вечерах, оставлявших, впрочем, след в приходо-расходной книге фирмы, они появлялись в таких убогих нарядах, что им приходилось краснеть. Их манера танцевать не была ничем замечательна, а под бдительным оком матери они могли поддерживать разговор со своими кавалерами только односложными «да» и «нет». Кроме того, законы старинной фирмы «Кошки, играющей в мяч» повелевали им удаляться к одиннадцати часам, когда балы и празднества только начинают оживляться. Таким образом, их развлечения, по видимости как будто отвечавшие состоянию их отца, из-за строгих семейных обычаев и правил становились совершенно бесцветными. Что же касается их повседневной жизни, то одно замечание закончит ее обрисовку: г-жа Гильом требовала от дочерей, чтобы они были одеты с раннего утра, спускались вниз в один и тот же час и выполняли свои обязанности с монастырской точностью. Но Августина, по игре случая, была наделена достаточно возвышенной душою, чтобы чувствовать пустоту такого существования. Порой она вскидывала свои голубые глаза, как бы вопрошая глубины мрачной лестницы и сырых складов. Внимая монастырскому молчанию, она, казалось, слышала издалека смутные отголоски той исполненной страстей жизни, которая ставит чувство выше всего материального. В эти минуты ее лицо окрашивалось румянцем, руки роняли белый муслин на отполированный дубовый прилавок,— и тотчас же мать окликала ее голосом, который даже в минуты ласки неизменно оставался резким:

— Августина, о чем это вы задумались, мой ангелочек?

Быть может, «Ипполит, граф Дуглас» и «Граф де Комминг» — два сочинения, найденные Августиной в шкафу кухарки, недавно рассчитанной г-жой Гильом, способствовали духовному развитию девушки,— в долгие ночи минувшей зимы она с жадностью прочла их тайком от матери. Отпечаток каких-то смутных желаний, нежный голос, белое, как жасмин, личико и голубые глаза Августины зажгли в душе бедного Леба любовь сильную и почтительную. По прихоти, вполне понятной, Августи-

на не чувствовала никакой склонности к сироте; быть может, потому, что она не догадывалась о его любви к ней. Зато длинные ноги, темно-русые волосы, огромные руки и весь мужественный облик старшего приказчика стали предметом тайного обожания Виргинии, к которой, несмотря на приданое в пятьдесят тысяч экю, никто не сватался. Нет ничего естественнее этих двух противоречивых страстей, родившихся в тишине полутемной лавки, подобно тому как в лесной глуши расцветают фиалки. Благодаря властной потребности развлечься среди напряженной работы и церковной тишины безмолвное и непрерывное созерцание, соединявшее взоры молодых людей, должно было рано или поздно возбудить чувство любви. Привычка видеть какое-нибудь лицо незаметно приводит к открытию в нем особых душевных качеств, и в конце концов перестаешь замечать его недостатки.

«Если он будет продолжать в таком духе, то наши дочери пойдут за кого угодно, лишь бы нашелся жених!» — подумал г-н Гильом, прочитав первый декрет Наполеона о досрочном призыве новобранцев.

С этого дня, с отчаянием думая о медленном увядании старшей дочери, старый торговец вспомнил, что, женясь на девице Шеврель, он и его невеста были почти в таком же положении, в каком находились теперь Жозеф Леба и Виргиния. Как бы хорошо было выдать дочь замуж и уплатить священный долг, передав сироте имущество, которое он некогда получил от своего предшественника при таких же обстоятельствах. А Жозеф Леба — ему уже исполнилось тридцать три года — думал о том препятствии, которое создавала разница в пятнадцать лет между ним и Августиной. Кроме того, как человек проницательный, он разгадал замыслы г-на Гильома и, достаточно хорошо зная его непоколебимые правила, понимал, что младшая дочь ни в коем случае не будет выдана замуж раньше старшей. И несчастный приказчик, отличавшийся не только длинными ногами и крепкой грудью, но и благородным сердцем, молча страдал.

Таково было положение вещей в этой маленькой республике, расположенной в середине торговой улицы Сен-Дени и, тем не менее, напоминавшей отделение монастыря траппистов. Но для того, чтобы отдать полный отчет о внешних событиях и чувствах, необходимо отойти на

несколько месяцев назад от той сцены, которой началась наша повесть. Однажды в сумерках какой-то молодой человек, проходя мимо темного магазина «Кошки, играющей в мяч», остановился на минуту при виде картины, перед которой задержались бы все художники мира. Лавка, еще не освещенная, составляла черный фон, в глубине которого виднелась столовая торговца. Висячая лампа разливала тот желтоватый свет, что придает столько прелести картинам голландской школы. Белая скатерть, серебро, хрусталь своим блеском оттеняли живой контраст света и тени.

Отец семейства и его жена, лица приказчиков и правильные черты Августины, а в двух шагах от нее неуклюжая толстощекая девица составляли группу весьма любопытную. Эти головы были так своеобразны, так естественно вырисовывались характеры этих людей, так хорошо угадывались мир, тишина и скромная жизнь этой семьи, что для художника, привыкшего изображать правду жизни, казалось почти невозможным передать эту мимолетную сцену. Прохожий был молодой художник, семь лет тому назад получивший высшую награду по искусству живописи. Он только что возвратился из Рима. Его душа была напитана поэзией, глаза насыщены творениями Рафаэля и Микеланджело, и после долгого пребывания среди слишком нарядной природы в стране, где искусство всюду разбросало величественные памятники, он жаждал простоты и естественности. Правильно или нет, но таково было его личное чувство. Его сердце, долго отдававшееся бурям итальянских страстей, искало одну из тех скромных, сосредоточенных в себе девушек, каких, к несчастью, он видел в Риме только на картинах. От восторга, вызванного в его взволнованной душе правдивостью зрелища, которое он созерцал, естественно было перейти к глубокому восхищению главным лицом: Августина казалась задумчивой и ничего не ела; лампа висела так, что весь свет падал на лицо девушки, грудь ее подымалась и опускалась в ярком круге огня, который резко очерчивал голову и озарял ее причудливым, почти сверхъестественным светом. Художник невольно сравнил девушку с изгнанным ангелом, вспоминающим о небе. Ощущение почти незнакомое — светлая и пылкая любовь затопила его сердце. Одно мгновение он стоял неподвиж-

но, как бы подавленный бременем своих мыслей, а затем оторвался от своего счастья, возвратился домой, не ел, не спал. На следующий день он отправился к себе в мастерскую и не выходил из нее до тех пор, пока ему не удалось запечатлеть на полотне все очарование виденной сцены, о которой он вспоминал с каким-то неистовым восторгом. Но его счастье было неполным: он не обладал верным портретом своего кумира. Несколько раз он прошелся мимо «Дома кошки, играющей в мяч», даже осмелился раз или два, переодевшись, зайти туда, чтобы поближе увидеть очаровательнейшее в мире создание, которое г-жа Гильом укрывала под своим крылышком. В продолжение восьми месяцев, отдавшись своей любви и искусству, он был недоступен даже для самых близких друзей, забыл об обществе, поэзии, театре, музыке, о самых дорогих привычках. Однажды утром Жироде, нарушив силой все запреты, которые художники знают и умеют обходить, ворвался к нему и взбудоражил его вопросом:

— Что ты выставляешь в Салоне?

Художник схватил друга за руку, повлек его за собой в мастерскую и открыл стоявшую на мольберте небольшую картину и портрет. После долгого и жадного созерцания этих двух шедевров Жироде в безмолвном восторге бросился на шею своему приятелю и обнял его. Свои впечатления он мог передать только так, как их чувствовал, из души в душу.

— Ты влюблен? — спросил он друга.

Они оба знали, что Тициан, Рафаэль и Леонардо да Винчи обязаны своими самыми прекрасными портретами тому пламенному чувству, которое, хотя и при разных условиях, порождает все шедевры. Молодой художник вместо ответа наклонил голову.

— Какое счастье, что ты мог влюбиться здесь, возвратившись из Италии! Я не советую тебе выставлять такие вещи в Салоне,— прибавил знаменитый художник.— Видишь ли, их не поймут. Эта верность красок, эта чудесная работа еще не могут быть оценены, публика не привыкла к такой глубине. Наши обычные картины, друг мой, ведь это просто ширмы, экраны. Честное слово, уж лучше писать стихи и переводить древних. Так мы скорее достигнем славы, чем этими жалкими картинами.

Несмотря на благожелательный совет, оба полотна были выставлены. Сцена из семейной жизни произвела переворот в живописи. После нее возникло такое множество картин в этом жанре, появившихся на всех наших выставках, что можно было заподозрить, не изготовляются ли они чисто механическим способом. Что же касается портрета, то, вероятно, все художники помнят об этом насыщенном жизнью полотне, у которого публика, иногда бывающая справедливой, оставила венок, и он был возложен самим Жироде. Обе картины окружала густая толпа. Успех был потрясающий, как любят говорить женщины. Биржевые дельцы, знатные господа готовы были покрыть оба полотна двойными наполеондорами, но художник наотрез отказался продать их или сделать с них копии. Ему предлагали огромную сумму за право сделать гравюры, но торговцы были не более счастливы, чем любители. Хотя это событие занимало общество, но оно было не такого свойства, чтобы проникнуть в глушь маленькой Фиваиды на улице Сен-Дени; однако жена нотариуса, придя в гости к г-же Гильом, заговорила о выставке и объяснила ее цели в присутствии Августины, которую она очень любила. Болтовня г-жи Роген, естественно, внушила Августине желание посмотреть картины, и она осмелилась потихоньку попросить свою родственницу сопровождать ее в Лувр. Та с успехом повела переговоры и получила у г-жи Гильом разрешение оторвать на два часа свою племянницу от ее скучных обязанностей. Итак, молодой девушке удалось проникнуть сквозь толпу к увенчанному цветами портрету. Узнав на нем себя, она задрожала, как осиновый лист, и в ужасе оглянулась, ища г-жу Роген, от которой ее отделила толпа. В это мгновение ее испуганный взор встретил загоревшееся радостью лицо художника. Девушка тотчас вспомнила незнакомца, которого она порой с любопытством наблюдала, думая, что это какой-нибудь новый сосед.

— Видите, что мне внушила любовь,—сказал художник на ухо робкому созданию, до смерти перепугав ее этими словами.

Августина нашла в себе сверхъестественное мужество пробиться сквозь стену зрителей и присоединилась к своей тетушке, которая все еще силилась прорвать-

ся сквозь толпу, мешавшую ей приблизиться к картине.

— Вас тут задавят,— вскричала Августина,— идемте!

Но в Салоне иногда бывает так тесно, что вдвоем немыслимо пройти по галерее. Беспорядочным движением толпы обеих женщин отнесло ко второй картине. Благодаря случайности они вдруг вместе очутились у полотна, по заслугам отмеченного всеобщим признанием. Крик удивления, вырвавшийся у жены нотариуса, потонул в гомоне и шуме толпы; Августина невольно заплакала, увидев чудную сцену, и по какому-то почти неизъяснимому чувству приложила палец к губам, заметив в двух шагах от себя восторженное лицо молодого художника. Незнакомец ответил кивком головы, указав на г-жу Роген, как на помеху, и тем самым подал Августине знак, что понял ее. Эта пантомима подействовала на девушку, как прикосновение к раскаленному железу: она чувствовала себя преступницей, вообразив, что между нею и художником заключен какой-то договор. Удушливая жара, непрерывное мелькание ослепительных туалетов и ошеломляющее впечатление, которое произвели на Августину яркие краски, множество живых и нарисованных лиц, обилие золотых рам — все это вызвало в ней нечто вроде опьянения, усилившего ее страхи. Быть может, она упала бы в обморок, если бы, несмотря на этот хаос впечатлений, из глубины души не поднималась неведомая радость, оживлявшая все ее существо. Тем не менее она чувствовала себя во власти того демона, чьи ужасные козни были предсказаны ей в громоносных речах проповедников. Это было для нее мгновение безумия. Она заметила, что молодой человек, сияющий любовью и счастьем, проводил ее до самой коляски тетушки. Охваченная жарким волнением, никогда не испытанным ею, во власти упоения, подчинявшего ее каким-то неведомым путем природе, Августина послушалась убедительного голоса сердца и несколько раз взглянула на молодого художника, не скрывая своего смятения. Никогда еще ее румянец не представлял такого яркого контраста с белизной кожи; влюбленный художник увидел красоту девушки во всем расцвете, невинность во всей чистоте. Августина испытывала и радость и ужас, ду-

мая о том, что ее присутствие приносит счастье тому, чье имя у всех на устах, чье дарование сообщает бессмертие мимолетным образам. Она любима. Сомневаться в этом невозможно. Когда художника уже не было подле нее, простые его слова все еще отдавались в ее сердце: «Видите, что мне внушила любовь». И волнение чувств, ставшее еще более глубоким, почти причиняло ей боль, пламень крови разбудил в ней неведомые силы. Чтобы избежать ответов на расспросы родственницы по поводу картин, она притворилась, что у нее болит голова; но, возвратившись, г-жа Воген не удержалась и рассказала г-же Гильом о том, как прославилась «Кошка, играющая в мяч»; Августина задрожала всем телом, услышав, что мать ее собирается на выставку «посмотреть на свой дом». Девушка еще раз настойчиво повторила, что ей нездоровится, и получила позволение лечь в постель.

— Вот и вся прибыль от этих зрелищ — головная боль! — воскликнула г-жа Гильом.— Что же тут интересного — видеть нарисованным то, что каждый день у тебя перед глазами? Как ни толкуйте, а что художник, что писатель — все голь перекатная. На кой черт им понадобилось малевать мой дом на картинах?

— Быть может, это нам на руку — мы продадим больше сукна,— сказал Жозеф Леба.

Несмотря на это замечание, искусство и мысль еще раз были прокляты в судилище торговли. Легко понять, что такие рассуждения не слишком ободряли Августину, когда она в ночной тишине впервые предалась думам о любви. События этого дня походили на сон, который ей было приятно воскрешать в своих мыслях. Она вступила в мир опасений, надежд, угрызений совести — всех этих наплывающих волн чувства, баюкавших столь простое и робкое сердце. Какую пустоту она ощутила в этом мрачном доме и какое сокровище обрела в своей душе! Быть женой талантливого человека, разделять его славу! Какие опустошения должна была произвести эта мысль в сердце ребенка, воспитанного в такой семье! Какие надежды она должна была пробудить у девушки, которую сковывали пошлыми правилами, в то время как она жаждала жизни! Луч света проник в темницу. Августина полюбила сразу. Это льстило стольким ее чувствам

одновременно, что она покорилась, не рассуждая. Разве в восемнадцать лет любовь не ставит свою призму между миром и глазами девушки? Могла ли Августина предугадать тяжелые столкновения, которыми заканчивается союз любящей женщины с человеком воображения? Она верила, что призвана составить его счастье, не замечала неравенства между собой и им. Для нее в настоящем заключалось все будущее.

На следующий день ее родители посетили Салон и возвратились оттуда с удрученными физиономиями: видно было, что их постигло какое-то разочарование. Во-первых, оба полотна были сняты художником, во-вторых, г-жа Гильом потеряла свою кашемировую шаль. То, что картины исчезли после посещения Салона Августиной, девушка сочла проявлением утонченности чувства, а все женщины, хотя бы и бессознательно, всегда умеют это ценить.

В то утро, когда приказчик из «Дома кошки, играющей в мяч» обрызгал мыльной пеной Теодора Сомервье — это имя занесла в сердце Августины молва,— когда художник, возвращаясь с бала, поджидал свою простодушную подругу, вероятно, не подозревавшую о его присутствии, влюбленные увиделись после встречи в Салоне лишь четвертый раз. Легко понять, что препятствия, которые дом Гильомов с его закоснелыми обычаями ставил перед пылким художником, придавали его страсти к Августине особую силу. Как подступиться к девушке, сидящей за прилавком рядом с такими двумя женщинами, как Виргиния и г-жа Гильом? Как сообщаться с ней, если мать ни на минуту не оставляет ее одну? Искусный, как все влюбленные, в изобретении терзаний сердца, Теодор выдумал соперника в лице одного из приказчиков и заподозрил остальных в сочувствии ему. Если и удавалось ускользнуть от этих аргусов, то приходилось терпеть неудачи из-за суровой бдительности старого торговца и его жены. Всюду препятствия, всюду безнадежность! Самая сила страсти мешала молодому художнику найти те хитроумные уловки, которые и у заключенных и у влюбленных кажутся последним усилием разума, воспламененного неистовой потребностью в свободе или огнем любви. Теодор бродил поблизости от дома с настойчивостью сумасшедшего,

как будто движение могло подсказать ему необходимую хитрость. Измученный до последней степени собственным воображением, он решил подкупить толстощекую служанку. А потому после злосчастного утра, когда г-н Гильом и Теодор так хорошо разглядели друг друга, влюбленным удалось в продолжение двух недель обменяться несколькими письмами. Молодые люди условились встречаться в определенный час по воскресеньям — во время обедни или вечерни в церкви св. Луппа. Августина послала своему Теодору список родственников и друзей семейства, к которым молодому художнику следовало проникнуть и, если возможно, заинтересовать своими любовными планами кого-либо из этих людей, занятых деньгами, торговлей, людей, которым настоящая страсть должна была казаться самой чудовищной, неслыханной причудой.

Впрочем, в обычаях «Дома кошки, играющей в мяч» ничто не изменилось. Если Августина бывала рассеянной, если вопреки всем правилам домашнего распорядка она поднималась к себе в комнату, чтобы с помощью горшка с цветами подать сигнал, если она вздыхала, если задумывалась,— никто, даже ее мать, ничего не замечал. Такая странность должна удивить тех, кто понял дух этого дома, где всякая мысль, отмеченная печатью поэзии, противоречила и людям и вещам, где никто не мог позволить себе ни одного лишнего движения и даже взгляда, зная, что они будут замечены и подвергнуты обсуждению. Однако все объяснялось просто: спокойное судно, плававшее по бурному морю Парижа под флагом «Кошки, играющей в мяч», стало добычей одного из тех штормов, которые можно бы назвать равноденственными по причине их периодического возвращения. В продолжение двух недель четыре человека его экипажа и г-жа Гильом с Виргинией были поглощены той исключительной работой, которая обозначается словами *учет товаров*. Перетряхивали все кипы, проверяли длину каждой штуки, чтобы установить стоимость оставшегося отреза. Внимательно изучали ярлыки, приклеенные к каждому свертку, чтобы знать, когда было куплено сукно, устанавливали текущую цену. Г-н Гильом, всегда стоявший с аршином в руках и пером за ухом, походил на капитана, командующего маневрами. Его резкий голос,

проникая сквозь окошечко, вопрошал глубину трапов, люки товарного склада и произносил те варварские торговые словечки, которые воспринимаются, как загадки: «Сколько Г. Н. З.?» — «Раскуплено».— «Сколько осталось К. С.?» — «Два аршина».— «Какая цена?» — «Пять-пять три». — «Положить к трем А. все И. И., все М. Г. и остаток В. Д. О.» И еще множество других фраз, столь же непонятных, гремело над прилавком, подобно современным стихам, которые декламируют романтики, чтобы поддержать энтузиазм к одному из их поэтов. Вечером Гильом, запершись с приказчиком и женой, сводил счеты, начинал новые, писал должникам и составлял накладные. Они втроем совершали тот огромный труд, итог которого, умещавшийся на одном листе лучшей «министерской бумаги», доказывал торговому дому Гильомов, что его положение выражается в такой-то сумме наличных денег, в таком-то количестве товаров, в таких-то цифрах имеющихся векселей и обязательств, что он не должен ни одного су, что ему должны сто или двести тысяч франков, что капитал увеличился, доходы от ферм, домов и рент округлились, приведены в порядок или удвоились. Отсюда возникала необходимость еще с большим рвением, чем когда-либо, накоплять новые экю, причем этим трудолюбивым муравьям даже не приходило в голову спросить себя: зачем все это?

Благодаря этой ежегодно повторявшейся суматохе счастливая Августина освобождалась от бдительности своих аргусов. Наконец в субботу вечером учет был закончен. В цифрах оборотного капитала было так много нулей, что Гильом снял строгий запрет на десерт для приказчиков, соблюдавшийся весь год. Угрюмый суконщик, потирая себе руки, позволил им остаться за столом. Едва только его подначальные успели допить стаканчик домашней наливки, как послышался грохот кареты. Вся семья отправилась в театр Варьете смотреть «Сандрильону», а два младших приказчика получили по шестифранковой монете и позволение идти куда им заблагорассудится, с тем, чтобы к полуночи вернуться домой.

Несмотря на этот кутеж, в воскресенье, в шесть часов утра, старый торговец уже причесался, надел свой коричневый фрак с великолепными отливами, всегда до-

ставлявшими ему одинаковое удовлетворение, прицепил золотые пряжки к своим широким шелковым панталонам и к семи часам, когда в доме все еще спали, направился в маленькую контору, помещавшуюся в первом этаже и прилегавшую к лавке. Свет проникал в нее через окно, защищенное основательной железной решеткой и выходившее на квадратный дворик, обнесенный стенами столь черными, что он походил на колодезь. Старый торговец сам открыл хорошо знакомые ему внутренние ставни, обитые листовым железом, и поднял нижнюю половину оконной рамы, скользнувшей в своих пазах. Ледяной воздух, хлынув со двора, освежил удушливую атмосферу комнатки, пропитанную специфическим запахом канцелярии. Старик стоял, положив руку на грязный локотник камышового кресла, обитого выцветшим сафьяном, и как будто раздумывал, сесть ли ему. Нежным взором он окинул двустороннюю конторку: против занимаемого им места под небольшим сводом в нише было устроено место для его жены. Он созерцал перенумерованные папки, связки бечевок, инструменты, железные клейма для сукна, кассу, сделанную в незапамятные времена,— и как будто снова видел себя перед вызванной им тенью г-на Шевреля. Он пододвинул к себе тот самый табурет, на котором сидел когда-то в присутствии своего покойного хозяина; он взял дрожащей рукой этот табурет, обитый черной кожею, из-под которой на углах давно выбивался, хотя и не выпадал, конский волос, и поставил его на то же место, куда его ставил прежний владелец; потом, в неописуемом волнении, он дернул шнурок звонка, проведенного к изголовью кровати Жозефа Леба. Приняв окончательное решение, старик, для которого давние воспоминания были, по-видимому, слишком тяжелы, взял полученные три или четыре векселя, но смотрел на них невидящими глазами, когда вошел Жозеф Леба.

— Садитесь сюда,— сказал ему Гильом, указывая на табурет.

Жозеф Леба затрясся: еще никогда до сих пор старый хозяин не предлагал приказчику сесть в своем присутствии.

— Что вы думаете об этих векселях? — спросил Гильом.

— По ним мы ничего не получим.

— Почему?

— Ведь я же знаю, что третьего дня фирма Этьен и Компания расплачивалась золотом.

— О-о! — воскликнул суконщик.— Плохо дело. Значит, залихорадило у них. Поговорим о другом, Жозеф, учет окончен.

— Да, хозяин, и дивиденд самый крупный из всех, какие у вас были.

— Не употребляйте, пожалуйста, этих новых слов. Говорите просто *прибыль*, Жозеф. Знаете ли вы, мой милый, что таким итогом мы обязаны отчасти вам? Поэтому я не хочу больше держать вас на жалованье. Госпожа Гильом подала мне мысль принять вас в дело. Право, Жозеф... *Гильом и Леба* — разве это не прекрасная будет фирма? Можно прибавить: *и Компания*, чтобы придать вывеске законченный вид.

Слезы навернулись на глазах Жозефа Леба; он старался их скрыть.

— Ах, господин Гильом, чем я заслужил столько милостей? Я только исполнил свой долг. Уже то, что вы приняли такое участие в судьбе бедного сиро...

Он чистил обшлагом левого рукава обшлаг на правом рукаве и не смел поднять глаз на старика, который посмеивался, думая о том, что этот скромный молодой человек, без сомнения, так же, как и он в свое время, не смеет объясниться, нуждается в ободрении.

— Тем не менее,— продолжал отец Виргинии,— вы не очень-то заслужили эту благосклонность, Жозеф. Вы не так доверяли мне, как я вам. (Приказчик быстро поднял голову.) Вы знаете состояние кассы. В продолжение двух лет я посвящал вас почти во все свои дела. Я посылал вас на фабрику. Скажу прямо: у меня нет от вас тайн. А у вас? У вас есть сердечная склонность, вы же ни разу не обмолвились о ней ни одним словом. (Жозеф Леба покраснел.) Так, так! — воскликнул Гильом.— И вы думали провести такую старую лису, как я? Меня, который у вас на глазах догадался о несостоятельности Лекока!

— Как, сударь! — воскликнул Жозеф Леба, присматриваясь к своему хозяину столь же внимательно, как и тот к нему.— Как! Вы узнали, что я люблю?

— О, я знаю все, плутишка! — ответил почтенный и хитроумный торговец, теребя ему кончик уха.— И я прощаю: в свое время я поступил таким же образом.

— Вы дадите согласие?

— Да, и, кроме того, пятьдесят тысяч экю и столько же оставлю тебе по завещанию. Мы расширим наши обороты, откроем новую фирму. Мы еще наделаем дел, приятель! — воскликнул старый торговец, вставая и размахивая руками.— Видишь ли, зятек, торговля — это торговля. Те, которые спрашивают, какое удовольствие можно в ней найти,— дураки. Быть в курсе всех дел, уметь вовремя распорядиться, беспокойно выжидать, как в игре, не разорятся ли Этьен и Компания, видеть, как полк императорской гвардии марширует на параде в мундирах из нашего сукна, подставить ножку соседу (законно, конечно), выпускать товар дешевле других, развивать дело, которое только зарождается, начинается, растет, колеблется и крепнет, знать не хуже начальника полиции все пружины торговых домов, дабы не сделать ложного шага, стойко держаться во время кораблекрушения, иметь друзей во всех мануфактурных городах и переписываться с ними — разве это не вечная игра, Жозеф? Да ведь это значит жить — вот что! Я умру в этой суете, как старый Шеврель, и все-таки скажу: я делал то, что было мне по сердцу.

В пылу своей оживленной импровизации старик Гильом почти не замечал приказчика, плакавшего горючими слезами.

— Ну, что с тобой, Жозеф, бедняга?

— Ах, я ее так люблю, так люблю, господин Гильом, просто сил нет! Я думаю...

— Ну и что же, мой милый,— сказал растроганный торговец.— Ты счастливее, чем думаешь, черт побери! Ведь и она тебя любит. Я-то уж это знаю, да!

И он прищурил свои зеленые глазки, посматривая на приказчика.

— Августина, Августина! — в порыве восторга воскликнул Жозеф Леба.

Он рванулся из кабинета, как вдруг почувствовал на своем плече железную руку, и хозяин, остолбеневший от удивления, свирепо привлек его к себе.

— При чем тут Августина? — спросил Гильом голосом, мгновенно заморозившим Жозефа Леба.

— Да ведь ее-то я и люблю! — заикаясь, пролепетал приказчик.

Смущенный своей близорукостью, Гильом снова уселся и сжал свою остроконечную голову обеими руками, чтобы поразмыслить о дурацком положении, в которое он попал. Жозеф, пристыженный, отчаявшийся, молча стоял перед ним.

— Жозеф,—проговорил наконец с холодным достоинством торговец,— я имел в виду Виргинию. Полюбить по заказу нельзя,— это я знаю. Мне известна ваша скромность, забудем обо всем этом. Я ни за что не выдам Августину раньше Виргинии. Вы будете получать десять процентов с барыша.

Приказчик, в которого любовь вдохнула и храбрость и красноречие, умоляюще скрестил на груди руки, обратился к Гильому и говорил четверть часа с таким жаром и чувствительностью, что положение изменилось. Если бы речь шла о коммерческом деле, старый торговец нашел бы твердые правила, чтобы принять то или иное решение; но, выброшенный за тысячу лье от торговли, в море чувств, без компаса, он плыл наугад, растерявшись перед столь необычайным, как он говорил самому себе, происшествием. Увлеченный добротой, он понемногу начал сдаваться.

— Эх, чудак ты, Жозеф! Ведь знаешь, что между моими двумя дочерьми десять лет разницы. Мадемуазель Шеврель была некрасива, и все-таки ей не приходилось жаловаться на меня. Поступай так же, как я. Да перестань же плакать! Дурак ты, что ли? Чего ты! Быть может, все устроится; посмотрим. Из любого положения можно найти выход. Мы, мужчины, не всегда бываем селадонами для наших жен. Понимаешь? Госпожа Гильом набожна, и... Ладно, черт побери... Милый мой, предложи сегодня Августине руку, когда пойдешь к обедне.

Так говорил г-н Гильом, не приняв еще решения, говорил наобум. Заключительные его слова привели влюбленного приказчика в восторг, он уже думал и о судьбе Виргинии, проча ее за одного из своих друзей; выходя из закопченной конторы и пожимая руку будущему те-

стю, он шепнул ему с видом заговорщика, что все устроится к лучшему.

«А что скажет госпожа Гильом?» Эта мысль нескаванно мучила почтенного торговца, когда он остался один.

За завтраком г-жа Гильом и Виргиния, от которых суконщик на время скрыл свою неудачу, довольно лукаво поматривали на Жозефа Леба, охваченного великим смущением. Стыдливость приказчика снискала ему расположение будущей тещи. Г-жа Гильом пришла в столь веселое настроение, что с улыбкой посматривала на мужа и позволила себе несколько шуточек, бывших в ходу с незапамятных времен в патриархальных семействах такого рода. Она подняла спор о том, кто выше ростом — Виргиния или Жозеф, и попросила их примериться друг к другу. Эта простодушная подготовительная игра немного омрачила главу семейства, и он проявил такую любовь к внешней благопристойности, что приказал Августине во время шествия в церковь св. Луппа взять под руку старшего приказчика. Г-жа Гильом, удивленная такой мужской утонченностью, почтила своего супруга кивком головы, выражавшим одобрение. Таким образом, шествие выступило из дома в том порядке, который не мог вызвать никаких кривотолков соседей.

— Не находите ли вы, мадемуазель Августина,— сказал приказчик, весь дрожа от волнения,— что жена солидного купца, как, например, госпожа Гильом, могла бы позволить себе больше развлечений, чем ваша уважаемая матушка, могла бы носить бриллианты и выезжать в карете? О, если бы я женился, я бы уж приложил все старания, чтобы моя жена была счастлива. Я не позволял бы ей стоять за прилавком. Видите ли, в торговле сукном женщины теперь не так необходимы, как раньше. У господина Гильома было основание поступать так, как он счел нужным, и, кстати, это было по вкусу его супруге. Но если женщина, чтобы не сидеть сложа руки, немного займется счетоводством, перепиской, всякими мелочами, заказами, домашним хозяйством, то этого вполне достаточно. В семь часов, когда лавка закрывается, я бы стал развлекаться — ездить в театр, бывать в гостях... Но вы меня не слушаете?

— Как же, слушаю, господин Жозеф. А что вы скажете о живописи? Вот прекрасное занятие!

— Да, я знаю одного маляра-подрядчика, господина Лурдуа; у него водятся деньжонки.

Шествуя таким образом, семейство прибыло в церковь св. Луппа. Там г-жа Гильом снова обрела свою власть и в первый раз посадила Августину рядом с собой. Виргиния заняла место в четвертом ряду скамей, возле Жозефа Леба. Во время проповеди между Августиной и Теодором, который, стоя за решеткой, с жаром молился на свою мадонну, все шло хорошо, но во время возношения святых даров г-жа Гильом заметила — с некоторым опозданием,— что ее дочь Августина держит молитвенник вверх ногами. Она уже собралась как следует ее отчитать, но в это время, прервав чтение и опустив свою вуаль, посмотрела в ту сторону, куда упорно устремлялись взоры ее дочери. Через очки она увидела молодого художника, светским изяществом напоминавшего скорее отставного кавалерийского офицера, чем торговца из их квартала. Трудно представить ярость, овладевшую г-жой Гильом, которая гордилась тем, что безукоризненно воспитала своих дочерей: она угадала в сердце Августины скрытую любовь и по своему ханжеству и невежеству сильно преувеличила ее опасность. Она решила, что ее дочь испорчена до мозга костей.

— Извольте держать молитвенник как следует! — прошептала она тихо, но дрожа от гнева.

Быстро вырвав у дочери обличивший ее молитвенник, она перевернула его, чтобы буквы приняли должное положение.

— Не смейте смотреть по сторонам, читайте молитвы,— прибавила она,— иначе будете иметь дело со мной. После обедни мы с отцом поговорим с вами.

Для бедной Августины эти слова были все равно что внезапный удар грома. Она едва не лишилась чувств, но, терзаясь и страданиями любви и боязнью скандала в церкви, все же имела мужество скрыть свои мучения. Тем не менее было нетрудно догадаться о душевном ее состоянии — стоило только взглянуть на молитвенник, дрожавший в ее руках, и увидеть слезы, падавшие на страницы, которые она переворачивала. По него-

дующему взгляду, брошенному на него г-жой Гильом, художник заметил опасность, угрожавшую его любви, и ушел взбешенный, решившись на все.

— Отправляйтесь в свою комнату, моя милая,— сказала г-жа Гильом, возвратившись домой,— мы велим вас позвать; не смейте никуда выходить.

Совещание супругов происходило в такой тайне, что сначала нельзя было ничего разузнать. Однако Виргиния, которая утешала и нежно ласкала сестру, из сострадания к ней даже прокралась к спальне матери, где происходил разговор, чтобы уловить хотя бы несколько слов. В первое же путешествие с третьего этажа на второй она услышала, как отец воскликнул:

— Сударыня, значит, вы хотите убить свою дочь?

— Дорогая моя,— сказала Виргиния своей безутешной сестре,— отец на твоей стороне.

— А что они хотят сделать с Теодором? — спросило это невинное существо.

Тогда любопытная Виргиния спустилась снова, но на этот раз оставалась дольше: она узнала, что Леба любит Августину.

В книге судеб было написано, что в этот памятный день дом, обычно столь спокойный, превратится в ад. Г-н Гильом привел в отчаяние Леба, поведав ему о любви Августины к другому. Леба, уже склонивший своего товарища просить руку Виргинии, увидел, что его надежды рухнули. Виргиния, удрученная тем, что Жозеф в некотором роде отказался от нее, заболела мигренью. После объяснения супругов с глазу на глаз, когда они третий раз в жизни разошлись во мнениях, между ними возникла ужасная ссора. Наконец, в четвертом часу пополудни Августина, бледная, трепещущая, с покрасневшими глазами, предстала перед отцом и матерью. Бедная девушка простодушно рассказала краткую историю своей любви. Ободренная словами отца, обещавшего спокойно выслушать ее, она немного осмелела и произнесла перед родителями имя своего дорогого Теодора де Сомервье, лукаво подчеркнув аристократическую приставку «де». Отдавшись неиспытанному наслаждению говорить о своих чувствах, она нашла в себе достаточно мужества, чтобы заявить с це-

ломудренной твердостью, что любит де Сомервье, писала ему об этом, и прибавила со слезами на глазах:

— Если вы выдадите меня за другого, вы сделаете меня несчастной на всю жизнь.

— Но, Августина, ты, вероятно, не знаешь, что такое живописцы? — с ужасом воскликнула ее мать.

— Жена!..— остановил ее старик-отец.— Августина,— продолжал он,— художники, почти все без исключения,— нищие. Они слишком расточительны и потому всегда оказываются негодными людьми. Я был поставщиком у покойного Жозефа Верне, покойного Лекена и покойного Новерра. Ах, если бы ты знала, какие штуки откалывали с беднягой Шеврелем, твоим дедушкой, и господин Новерр, и кавалер де Сен-Жорж, и в особенности господин Филидор! Все они шутники, знаю, все они прельщают болтовней, манерами... Ах, никогда твой Сюмер.. Сом...

— Де Сомервье, папенька.

— Ну, хорошо, пусть де Сомервье. Никогда он не будет так любезен с тобой в обхождении, как кавалер де Сен-Жорж был любезен со мной в тот день, когда я добился в торговом суде приговора против него. Таковы были знатные господа в былое время.

— Но, папенька, Теодор из благородных, и он мне писал, что богат. Его отец носил до революции звание шевалье де Сомервье.

Услышав это, Гильом посмотрел на свою грозную супругу, раздраженно постукивавшую носком ботинка по полу и хранившую гробовое молчание. Она даже старалась не бросать негодующих взоров на Августину и, казалось, всю ответственность за столь важное дело возложила на г-на Гильома, раз уж ее советы не принимались во внимание. Но, несмотря на внешнее безразличие, она прекрасно заметила, что ее муж кротко готов перенести катастрофу, не имеющую ничего общего с торговлей, и воскликнула:

— Право, сударь, вы слишком снисходительны к своим дочерям... но...

Грохот кареты, остановившейся у подъезда, сразу прервал это судейское заседание, которого старый торговец уже начал побаиваться. В одно мгновение г-жа Роген очутилась посреди комнаты и, глядя на трех дейст-

вующих лиц этой домашней сцены, произнесла покровительственным тоном:

— Мне все известно, сестрица!

У г-жи Роген был один недостаток: она думала, что жена парижского нотариуса может разыгрывать роль светской женщины.

— Мне все известно,— повторила она.— Я явилась к вам с оливковой ветвью, как голубица в Ноев ковчег. Я вычитала эту аллегорию в «Гении христианства»,— сказал она, обратившись к г-же Гильом,— такое сравнение должно вам понравиться, сестрица. Знаете ли вы,— прибавила она, улыбаясь Августине,— что господин де Сомервье — очаровательный человек? Нынче утром он преподнес мне мой портрет, написанный мастерски. Он сто́ит по меньшей мере шесть тысяч франков.

При этих словах она легонько ударила по руке г-на Гильома. Старый торговец не мог удержаться от привычной гримасы — он скривил губы.

— Я хорошо знаю господина де Сомервье,— продолжала «голубица».— Уж две недели, как он бывает у меня на вечерах, и все от него в восторге. Он рассказал мне о своих горестях и попросил меня быть его заступницей. Сегодня утром я узнала, что он обожает Августину. Вы должны отдать ее за него. Ах, сестрица, не мотайте головой! Вы отказываете? Знайте же, что ему дадут титул барона и что сам император в Салоне пожаловал его орденом Почетного легиона. Роген стал его нотариусом и знает все его дела. И что же? Де Сомервье получает от своих земель двенадцать тысяч ливров дохода. Знаете ли вы, что тесть такого человека может стать видной особой — мэром своего округа, например? Разве вам не известно, что господин Дюпон сделан графом империи и сенатором за то, что явился в качестве мэра приветствовать императора по случаю его вступления в Вену? О, Августина выйдет за него замуж! Я сама обожаю этого прекрасного молодого человека. Такая любовь, как у него к Августине, встречается только в романах. Ничего, моя милая, ты будешь счастлива, и все были бы рады оказаться на твоем месте. У меня на вечерах бывает герцогиня де Карильяно; она без ума от него. Некоторые злые языки утверждают, что

она бывает у меня только из-за него, как будто новоиспеченная герцогиня может чувствовать себя неловко в доме Шеврелей, принадлежащих уже сотню лет к почтенной буржуазии! Августина,— воскликнула г-жа Роген после небольшой паузы,— я видела твой портрет! Боже, как он прекрасен! Знаешь ли ты, что сам император пожелал на него посмотреть? Он сказал, смеясь, вице-коннетаблю, что если бы при его дворе, в то время когда туда стекалось столько королей, было много таких женщин, как ты, то он сумел бы навсегда утвердить мир в Европе. Ну, не лестно ли это?

Буря, которой начался этот день, уподобилась бурям самой природы и сменилась спокойной и ясной погодой. Г-жа Роген так заворожила чету Гильомов своими речами, затронула в их сухих сердцах столько струн, что в конце концов задела самую слабую струнку и выиграла дело. В ту странную эпоху торговцы и финансисты отличались более чем когда-либо манией родниться со знатью, и наполеоновские генералы довольно удачно пользовались такой склонностью. Г-н Гильом особенно восставал против этого пагубного увлечения. Он считал бесспорными следующие истины: женщина, если она хочет быть счастлива, должна выйти замуж за человека своего сословия; тот, кто взбирается слишком высоко, рано или поздно будет наказан; любовь так плохо выносит домашние дрязги, что для прочного счастья нужно найти друг у друга выдающиеся качества; не следует, чтобы один из супругов был образованнее другого, так как прежде всего необходимо взаимное понимание; если муж будет говорить по-гречески, а жена по-латыни, то оба рискуют умереть с голода,— он сам выдумал эту поговорку. Купец Гильом сравнивал подобные браки со старинными тканями из шелка и шерсти, где в конце концов шелк перетирает шерсть. И, несмотря на это, в человеческом сердце заключено столько тщеславия, что осторожность кормчего, который так хорошо управлял «Кошкой, играющей в мяч», начала уступать настойчивой болтовне г-жи Роген. Суровая его супруга тоже нашла возможным отступить от своих принципов ввиду склонности дочери и согласилась принять г-на де Сомервье, втайне решив подвергнуть его строгому допросу.

Старый торговец разыскал Жозефа Леба и сообщил ему о положении вещей. В половине седьмого в столовой, прославленной художником, соединились под застекленным потолком г-жа Роген, молодой художник, его очаровательная Августина, Жозеф Леба, безропотно переносивший свое несчастье, и Виргиния, у которой прекратилась мигрень. Супругам Гильом уже виделось в мечтах, что дети их устроены, а судьбы «Кошки, играющей в мяч» вручены в надежные руки... Их удовольствие достигло предела, когда за десертом Теодор преподнес им свою изумительную картину, которую они еще не видели; на ней была изображена внутренняя обстановка лавки, которой все были обязаны таким необыкновенным счастьем.

— Как мило! — воскликнул Гильом.— Подумать только, что за это давали тридцать тысяч франков!

— Да ведь здесь нарисован мой чепец с лентами! — в свою очередь вскричала г-жа Гильом.

— А эти развернутые сукна,— прибавил Леба,— их хочется потрогать рукой.

— Драпировки всегда выходят хорошо,— ответил художник.— Но мы, современные художники, были бы очень счастливы, если бы сравнялись в этом умении с древними.

— Значит, вы любите драпировки? — воскликнул папаша Гильом.— Отлично, черт побери! По рукам, мой юный друг. Раз вы уважаете торговлю, мы поймем друг друга. А почему бы ее презирать? Мир начался с торговли, раз Адам продал рай за яблоко. Кстати сказать, это было не такое уж выгодное дельце!

И старый торговец захохотал громким добродушным смехом, возбужденный шампанским, которым он щедро угощал всех. На глазах молодого художника была такая плотная повязка, что он нашел своих будущих родственников милыми. Снисходя к ним, он развеселил их несколькими шутками хорошего тона, благодаря чему всем понравился. Вечером, когда гостиная, обставленная, если пользоваться выражением самого Гильома, богатейшей мебелью, опустела, а г-жа Гильом переходила от стола к камину, от канделябров к свечам, быстро задувая огни, предприимчивый торговец, всегда прекрасно понимавший все, что касается коммерческих дел или

денег, привлек к себе Августину и, посадив ее на колени, сказал:

— Дорогая моя, ты можешь выйти замуж за своего Сомервье, раз ты этого хочешь; ты вольна поставить на карту свой капитал счастья. Но меня не поймаешь этими тридцатью тысячами франков, которые зарабатывают порчей хороших холстов. Кто легко наживает, тот легко и проматывает. Разве я не слыхал, как этот молодой сорванец говорил, что деньги круглы, оттого и катятся! Они катятся только у мотов, а у людей бережливых лежат да приумножаются. Так вот, дитя мое, этот красивый юнец обещает тебе кареты, бриллианты. У него есть деньги: пусть он израсходует их на тебя — bene sit [1]. Меня это не касается. Но что до твоего приданого, то я не желаю, чтобы деньги, с таким трудом сколоченные, ушли на коляски или безделушки. Кто тратит, не считая, тому богатым не бывать. На сто тысяч экю твоего приданого не купишь всего Парижа. Придет день, когда ты получишь еще несколько сот тысяч франков, но, черт побери, я заставлю тебя ждать этого как можно дольше. Я поговорил в сторонке с твоим женихом, и уж мне-то, который вел дело о несостоятельности Лекока, нетрудно было заставить художника согласиться на раздельное владение имуществом со своей женой. Я сам как следует присмотрю, чтобы в контракте по всей форме была оговорена дарственная запись, которую он тебе обещает. Знаешь ли, милая, ведь я надеюсь быть дедушкой и, черт побери, хочу уже заранее позаботиться о своих внуках. Поклянись же мне не подписывать, пока я жив, никаких денежных документов без моего совета, а если мне скоро придется отправиться на свидание с Шеврелем, то поклянись мне советоваться с молодым Леба, твоим зятем. Обещай мне это.

— Хорошо, папенька, обещаю.

При этих словах, произнесенных нежным голосом, старик расцеловал дочь в обе щеки. В этот вечер влюбленные заснули почти так же мирно, как чета Гильомов.

Несколько месяцев спустя после этого памятного воскресенья главный алтарь церкви св. Луппа был свидетелем двух совершенно несхожих свадеб. Авгу-

---

[1] Прекрасно; пусть будет так (лат.).

стина и Теодор предстали во всем блеске счастья; глаза их сияли любовью, они были в изящных туалетах, их ожидала великолепная карета. Приехавшая в простой коляске вместе со своей семьей Виргиния, в самом скромном наряде, под руку с отцом, смиренно шла вслед за младшей сестрой, как тень, необходимая для гармонии яркой картины. Г-н Гильом приложил все старания, чтобы Виргиния была обвенчана раньше Августины; но он с болью видел, как высшее и низшее духовенство при всяком удобном случае обращалось к более изящной невесте. Он слышал, как его соседи, не стесняясь, одобряли здравый смысл Виргинии, которая, по их мнению, сделала более серьезный выбор и осталась верной своему кварталу; в то же время они из зависти отпустили несколько колких замечаний по адресу Августины, выходившей замуж за художника, за «благородного»; они прибавляли с каким-то ужасом, что если Гильомов обуяло честолюбие, значит, конец их торговле! Какой-то старый торговец веерами сказал, что молодой мот скоро оставит жену без гроша, и Гильом in petto [1] похвалил себя за предусмотрительность, проявленную им при заключении брачного контракта. Вечером, после блестящего бала, закончившегося таким обильным ужином, о каком современное поколение уже не имеет понятия, старики Гильомы остались в своем особняке на улице Голубятни, где происходила свадьба; Леба возвратились в свадебной карете в старый дом на улице Сен-Дени, чтобы управлять баркой «Кошки, играющей в мяч»; художник, пьяный от счастья, заключил в объятия свою возлюбленную Августину и, лишь только карета прибыла на улицу Трех Братьев, на руках отнес свою молодую жену в покои, изукрашенные всеми искусствами.

Бешеная страсть, владевшая Теодором, поглощала его почти целый год, и ни одно облачко не омрачало лазури неба, под которым жила юная чета. Существование влюбленных супругов было легко. Теодор умел расцветить каждый день неизъяснимыми узорами наслаждений, порывы страсти сменялись тихой истомой, нежностью, когда души уносятся в экстазе, забывая о

---

[1] В душе (*итал.*).

телесном слиянии. Бездумно, безрассудно отдаваясь бурному течению своего счастья, Августина считала, что еще остается в долгу перед любимым, и всецело отдавалась дозволенной и безгрешной любви, в простоте своей и наивности не зная ни кокетливых отказов, ни той власти, которую может приобрести над мужем молодая светская женщина искусно рассчитанными капризами; она слишком любила, чтобы думать о будущем, и не представляла себе, чтобы такая сладостная жизнь могла когда-либо прекратиться. Быть для мужа источником всех наслаждений — какое счастье! И она верила, что эта неутолимая любовь всегда будет самым прекрасным ее украшением, а преданность и покорность — вечной притягательной силой. Красота ее в лучах радости расцвела новой прелестью и внушала ей горделивое сознание своей силы, уверенность, что она всегда будет властвовать над человеком, так легко воспламеняющимся, как де Сомервье. Замужество не научило Августину ничему иному, кроме любви, и в этом дурмане счастья она оставалась все той же невежественной девочкой, которая жила прежде в глухом закоулке на улице Сен-Дени; она и не подозревала, что ей необходимо овладеть манерами, образованием и тоном того общества, где ей предстояло жить. Когда она говорила мужу слова любви, она влагала в свою речь известную гибкость ума и изящество выражений,— но это язык, свойственный всем женщинам, которых всецело поглощает страстная любовь,— их стихия. Если же Августина случайно выражала какую-нибудь мысль, несогласную с мыслями Теодора, молодой художник смеялся, как смеются над ошибками иностранца, коверкающего чужой язык, хотя ошибки эти в конце концов начинают раздражать, если он сам не научится их исправлять. Несмотря на такую любовь, Сомервье в конце года, столь же блаженного, как и быстротечного, почувствовал однажды утром потребность вновь взяться за кисть и вернуться к своим привычкам. Его жена была беременна. Он снова встретился со старыми друзьями. Во время долгих страданий его жены в тот год, когда она стала матерью, болела, кормила и выхаживала своего первенца, он, конечно, работал с жаром, но иногда снова начинал искать развлечений в большом

свете. Особенно охотно он бывал в доме герцогини Карильяно, которой в конце концов удалось расположить к себе знаменитого художника. Когда Августина поправилась и почувствовала, что сын уже не требует от нее напряженных забот, запрещающих матери светские удовольствия, Теодор захотел испытать то наслаждение удовлетворенного самолюбия, которое дает нам общество, когда мы появляемся в нем с красивой женой, предметом зависти и восхищения. Блистать в салонах отраженным блеском славы своего мужа, видеть, как ей завидуют женщины, стало для Августины новою жатвою удовольствий; но это было последним лучом, который еще отбрасывало ее угасающее счастье. Тщеславие ее мужа было уязвлено, когда, несмотря на все старания Августины, ей случалось обнаруживать свою необразованность, его коробили неряшливость ее выражений и узость мыслей. Два с половиной года первое упоение любовью укрощало буйную натуру художника, но когда наступило спокойствие длительного обладания, вернулись прежние влечения и привычки, на некоторое время отклонившиеся от обычного своего пути. Поэзия, живопись и изысканные наслаждения фантазии имеют над возвышенными умами непререкаемые права. Этим потребностям сильной души Теодор не изменял, и в первые два года они нашли только новую пищу. Когда же поле любви было пройдено, когда художник, как ребенок, с жадностью собрал множество роз и васильков, не замечая, что не может больше обхватить руками этот сноп цветов, картина изменилась. Показывая жене наброски самых лучших своих произведений, он знал, что услышит восклицание, подобное возгласу папаши Гильома: «Очень мило!» Такое бесстрастное восхищение вовсе не вызывалось добросовестной оценкой, а только доверием любви. Взгляд своего мужа Августина предпочитала самой прекрасной картине. Единственная возвышенная область, которую она знала, была область чувства. И потому Теодор не мог не увидеть жестокой истины: его жена не восприимчива к поэзии, живет не в его царстве, не следует за всеми его причудами, за неожиданной игрой воображения, радостями и печалями; она твердо ступает по будничной земле, в будничном мире, в то время как он сам парит в облаках. Заурядные

люди не могут представить непрестанных страданий существа, богато одаренного, связанного самой интимной близостью с чуждым существом и вынужденного беспрерывно подавлять в себе самые дорогие порывы мысли, обращать в небытие образы, рожденные магической силой творчества. Для него эта пытка тем более мучительна, что основной закон чувства повелевает ничего не скрывать от подруги жизни, делиться с нею мыслями и душевными переживаниями. Нельзя безнаказанно обманывать требования природы: она неумолима, как необходимость,— то есть природа социальная. Сомервье укрывался в тишину и молчание своей мастерской, надеясь, что постоянное общение с художниками разовьет в его жене все те дремлющие зачатки духовной жизни, которыми, по мнению широких умов, наделены все; но Августина была слишком благочестива, чтобы не испугаться тона, свойственного художникам. На первом же обеде, данном Теодором, она услышала, как один молодой художник говорил с детским легкомыслием, которого она не способна была понять и которое делает извинительной любую безбожную шутку:

— Но, сударыня, ведь ваш рай не более прекрасен, чем «Преображение» Рафаэля? А эта картина мне наскучила.

Августина внесла в общество этих талантливых людей дух недоверчивости, замеченный всеми; она стесняла, а художники, когда их стесняют, неумолимы,— они либо бегут, либо начинают издеваться.

Госпожа Гильом, в довершение других ее качеств, всегда держалась с чопорным достоинством, считая его необходимым для замужней женщины, и Августина, хотя она сама часто смеялась над этим, не могла уберечься от некоторого подражания жеманности своей матери. Преувеличенная стыдливость, которой не могут избежать иные добродетельные женщины, послужила поводом для нескольких набросков карандашом — безобидных, остроумных шуток, не грешивших против такта, так что Сомервье не мог на них сердиться. Даже если бы насмешки его друзей были более жестокими, они попросту говорились ему в отместку. Но ничто не проходит даром для души, столь восприимчивой ко всем впечатлениям, как душа Теодора. Незаметно началось его охлаж-

дение к жене, и оно не могло не усиливаться. Чтобы достигнуть супружеского счастья, нужно взобраться на гору, узкая вершина которой обрывается крутым и скользким склоном,— и любовь художника покатилась вниз по этому обрыву. Сомервье пришел к заключению, что его жена не способна оценить те нравственные доводы, которыми он в собственных глазах оправдывал странность своего отношения к ней, и он чувствовал себя совершенно невиновным, скрывая от нее непонятные ей мысли и поступки, не оправдываемые с точки зрения буржуазной морали. Августина замкнулась в мрачной и молчаливой скорби. Из-за этих потаенных чувств выросла между супругами стена, с каждым днем становившаяся все толще. Хотя муж оставался внимательным к Августине, она с болью в сердце замечала, что он бережет для других те сокровища ума и обаяния, которые некогда бросал к ее ногам. Вскоре с чувством безнадежности она начала прислушиваться к остроумным разговорам о мужской неверности, которые ведутся в свете. После трех лет супружеской жизни эта молодая и красивая женщина, казавшаяся такой блестящей в роскошном своем экипаже, избалованная богатством и славой, возбуждавшая зависть стольких поверхностных людей, не способных правильно оценивать жизненные обстоятельства, стала добычей жестокой печали. Она начала блекнуть, она раздумывала, она сравнивала; потом несчастье развернуло перед ней первые страницы опыта. Она решила мужественно выполнять свой долг жены и матери, надеясь, что бескорыстная преданность рано или поздно вернет ей любовь Теодора. Но на деле случилось иначе. Когда художник, усталый, ищущий отдыха и развлечений, выходил из мастерской, Августина недостаточно быстро прятала свое рукоделье, и он не мог не заметить, что жена с кропотливым усердием хорошей хозяйки занималась починкой белья. Она великодушно и безропотно оплачивала расходы мужа, бросавшего деньги на ветер, но, желая сохранить состояние своего дорогого Теодора, жалела тратить деньги на себя, стала крайне бережливой в мелочах домашнего быта. Такое поведение несовместимо с беспечностью художников, которые так наслаждаются жизнью, что, заканчивая ее, даже не ищут причин своего разорения. Бесполезно описывать, как

постепенно тускнели краски, угасло сияние медового месяца и как наступил наконец непроглядный мрак.

Однажды вечером, когда Августина грустила в одиночестве, ее навестила подруга и повела с ней разговор о герцогине Карильяно, уже давно интересовавшей жену художника, ибо она не раз слышала от мужа восторженные отзывы о ней; и в злорадно-сочувственных словах доброжелательная подруга раскрыла ей глаза на истинный характер привязанности, которую Сомервье питал к этой знаменитой кокетке, задававшей тон при императорском дворе. В двадцать один год, во всем блеске красоты и молодости, Августина узнала, что муж изменяет ей с женщиной тридцаги шести лет. Почувствовав себя несчастной в светском обществе, чуждой его пустым развлечениям, бедняжка уже не замечала восхищения, которое она возбуждала, и удивлялась зависти, которую она внушала. Меж тем красота ее приобрела новое очарование: черты ее дышали кротостью отречения, печаль и бледность говорили об отвергнутой любви. За нею начали ухаживать самые искусные обольстители, но она оставалась одинокой и чистой. Несколько презрительных слов, вырвавшихся у ее мужа, привели ее в несказанное отчаяние. Перед ее глазами с роковой ясностью выступили все недостатки их союза, скудость ее воспитания, мешавшая полному слиянию ее души с душою мужа,— она так любила Теодора, что оправдывала его и во всем винила себя. Она горько плакала и поняла наконец, что в браке бывает духовное несовпадение, точно так же как несовпадение характеров и общественного положения. Вспомнив о весенней поре своей любви, она поняла, как велико было минувшее счастье, и пришла к выводу, что за такую богатую жатву любви не жаль заплатить несчастьем всей жизни. Однако она любила так горячо, что еще не потеряла надежды, она решила, что в двадцать один год еще не поздно учиться, перевоспитать себя и стать хоть в малой мере достойной того, перед кем она преклонялась.

«Если я не поэт,— думала она,— то по крайней мере буду понимать поэзию».

Тогда, напрягая всю ту силу воли, ту энергию, которой обладают любящие женщины, г-жа де Сомервье попыталась изменить свой характер, свои вкусы и привыч-

ки; но, пожирая книги, мужественно изучая их, она добилась только того, что стала менее невежественной. Легкость ума и прелесть в разговоре являются либо даром природы, либо плодом воспитания, начатого с колыбели. Она могла ценить музыку, наслаждаться ею, но не могла петь с изяществом. Она поняла литературу и красоты поэзии, но уже не могла украсить ими неподатливую память. Она с удовольствием принимала участие в светских разговорах, но не вносила в них блеска. Религиозные представления и предрассудки, укоренившиеся в ней с детства, препятствовали полному освобождению ее ума. Наконец у Теодора возникло предубеждение против нее, которое она не могла победить. Художник издевался над теми, кто хвалил его жену, и имел основания для насмешек: он настолько подавлял это юное и трогательное существо, что в его присутствии или наедине с ним Августина трепетала. Поглощенная беспредельным желанием угодить мужу, она чувствовала, как ее разум и знания тонут в одном-единственном чувстве. Даже верность Августины не нравилась ее неверному мужу,— казалось, он толкал ее на измену, считая ее добродетель признаком бесчувственности. Августина тщетно силилась отрешиться от собственного склада ума, переломить себя в угоду капризам и фантазиям своего мужа. отдаться во власть его себялюбию и тщеславию,— ее самоотречение осталось бесплодным. Быть может, они оба упустили то мгновение, когда души могут понять друг друга. В один прекрасный день слишком чувствительное сердце молодой женщины получило один из тех ударов, которые так сильно рвут узы чувства, что можно считать их окончательно разрушенными. Она замкнулась в самой себе. Но вскоре ей пришла на ум роковая мысль искать утешения и советов в своей семье.

И вот однажды утром она подошла к безобразному фасаду молчаливого дома, где протекало ее детство. Она вздохнула, увидев окно, откуда послала первый поцелуй тому, кто наполнил ее жизнь и славой и несчастьем. Ничто не изменилось в стародавнем приюте суконщиков, только пышнее расцвела там торговля. Сестра Августины занимала за дубовым прилавком место своей матери. Огорченная молодая женщина застала и зятя. За ухом у него торчало перо; он был так занят, что едва выслушал

ее; по многим грозным признакам можно было заключить, что производится *общий учет*. Жозеф с извинениями покинул ее. Сестра, обнаружив некоторое злопамятство, приняла ее холодно. Действительно, блестящая Августина до сих пор заезжала к сестре в своем красивом экипаже лишь с кратким визитом. Жена осмотрительного Жозефа Леба вообразила, что главной побудительной причиной этого раннего посещения была нужда в деньгах, и пыталась сохранить сдержанный тон, который несколько раз вызвал улыбку у Августины: жена художника увидела, что, за исключением рюша на чепчике, мать нашла в лице Виргинии достойную преемницу и блюстительницу старинной чести торгового дома «Кошка, играющая в мяч». Во время завтрака Августина заметила в порядках дома некоторые изменения, делавшие честь здравому смыслу Жозефа Леба: приказчики оставались за десертом, за ними признавалось теперь право участвовать в разговоре; обильный стол свидетельствовал о довольстве, хотя и без роскоши. Молодая щеголиха заметила на столе билеты в ложу Французской комедии, где, как она вспомнила, ей время от времени случалось видеть свою сестру. На плечи г-жи Леба была наброшена великолепная кашемировая шаль, что доказывало щедрость мужа. Словом, супруги шли в ногу с современностью. Августина прониклась умилением, наблюдая в течение почти целого дня счастье — правда, ровное, без особых восторгов, но и без бурь,— которое вкушала эта хорошо спевшаяся пара. Они относились к жизни, как к торговому предприятию, где прежде всего нужно стараться поддержать честь своей фирмы. Не встретив у мужа сильной любви, жена постаралась развить в нем это чувство. Жозеф Леба незаметно привык уважать и беречь Виргинию; и время, понадобившееся для расцвета счастья этой супружеской четы, было залогом его долговечности. Когда Августина с горькими слезами рассказала о своем печальном положении, ей пришлось выдержать целый поток общих мест, которыми в изобилии снабдила ее сестру мораль улицы Сен-Дени.

— Ну, что поделаешь, женушка, пришла беда,— сказал Жозеф Леба,— постараемся дать сестре хороший совет.

И тотчас ловкий торговец начал грубовато разбирать,

какую помощь могут оказать Августине законы и обычаи, чтобы выйти из тяжелого положения; он, если так можно выразиться, перенумеровал все соображения, рассортировал их по значению в известном порядке, словно дело касалось товаров различного качества; потом положил их на весы, взвесил и в заключение, учитывая безвыходное положение невестки, посоветовал ей принять суровое решение, вовсе не соответствовавшее той любви, которую она еще питала к мужу; чувство любви пробудилось в ней во всей своей силе, когда она услышала рассуждения Жозефа Леба о судебном разрешении вопроса.

Августина поблагодарила своих благожелательных родственников и возвратилась домой еще более растерянной, чем была до совета с ними. Тогда она рискнула отправиться в старый особняк на улицу Голубятни, намереваясь поведать свои несчастья отцу и матери,— она походила на тех больных, которые, отчаявшись, пробуют все средства и доверяют даже снадобьям какой-нибудь кумушки. Старики приняли дочь с изъявлением чувств, растрогавшим ее. Это посещение так развлекло их, что было для них равноценно богатому кладу. Уже четыре года они проходили жизнь, как мореплаватели, без цели и компаса. Сидя у камелька, они рассказывали друг другу о всех потерях в период «максимума», о прежних закупках сукна; о способе, при помощи которого они избегли банкротства, и особенно о знаменитом банкротстве Лекока — этой битве при Маренго старика Гильома. Потом, когда больше нечего было сказать о былых происшествиях, они припоминали те годы, когда при учете товаров выявлялась особенно большая прибыль; вновь и вновь рассказывали друг другу старые истории квартала Сен-Дени. В два часа Гильом отправлялся взглянуть, как идут дела в лавке «Кошки, играющей в мяч»; возвращаясь домой, он останавливался возле всех лавок, некогда соперничавших с ним, причем молодые хозяева пробовали увлечь старого купца в какую-нибудь рискованную денежную операцию, от чего он по своей привычке никогда наотрез не отказывался. В конюшне две славных нормандских лошадки погибали от ожирения: г-жа Гильом пользовалась ими только по воскресеньям для выездов к обедне в приходскую церковь. Три раза в неделю престарелые супруги давали обеды. Бла-

годаря влиянию своего зятя Сомервье папаша Гильом был назначен членом совещательного комитета по обмундированию армии. С тех пор как он занял столь высокий административный пост, г-жа Гильом решила вести открытый образ жизни; ее комнаты были украшены неимоверным количеством аляповатых безделушек из «благородных металлов», заставлены безвкусной, но довольно дорогой мебелью, и комната самого обычного назначения сверкала золотом и серебром, как часовня. Бережливость и расточительность словно боролись друг с другом в каждой мелочи убранства этого особняка. Казалось, г-н Гильом решил помещать деньги куда угодно, вплоть до приобретения подсвечников. Среди всего этого базара, богатство которого свидетельствовало о безделье супругов, знаменитая картина Сомервье занимала почетное место: она была утешением Гильомов; раз двадцать в день, вооружившись очками, они подходили взглянуть на изображение своей прежней жизни, такой деятельной и радостной для них.

Увидев особняк и его комнаты, где от всего веяло старостью и посредственностью, взглянув на эти два существа, которые, казалось, были выброшены волнами житейского моря на золотую скалу вдали от мира и животворящих идей, Августина была поражена. Она созерцала теперь вторую часть картины, начало которой поразило ее в доме Жозефа Леба: это была жизнь деятельная и вместе с тем косная, какое-то механическое и бессознательное существование, напоминавшее существование бобров; тогда она стала гордиться своим горем, она вспомнила, что источник его — счастье, которое длилось полтора года и за которое, по ее мнению, можно было отдать тысячу таких вот ужасающе пустых существований. Однако она утаила это не особенно благожелательное чувство и выказала перед стариками новые, пленительные качества своего ума, кокетливую нежность, которой ее научила любовь, и расположила их благосклонно выслушать рассказ о ее супружеских невзгодах. Старики питают слабость к подобного рода признаниям. Г-жа Гильом пожелала быть осведомленной о самых незначительных подробностях этой странной жизни, казавшейся ей чем-то сказочным. «Путешествия барона Онтана», которые она несколько раз начинала читать и никогда не оканчивала,

не могли бы ей сообщить о канадских дикарях ничего более не слыханного.

— Как, дитя мое, твой муж запирается с голыми женщинами, и ты имеешь наивность думать, что он их рисует?..

При этом восклицании старуха положила очки на рабочий столик, отряхнула юбки и опустила скрещенные руки на колени, приподнятые грелкой — ее любимой подножкой.

— Но, маменька, все художники должны писать с натуры.

— Он побоялся сказать нам обо всем этом, когда просил твоей руки. Если бы я это знала, я никогда не выдала бы дочь замуж за человека, который занимается подобным ремеслом. Религия запрещает такие пакости, это безнравственно. В котором часу, говоришь ты, он возвращается домой?

— Ну, в час, в два...

Супруги переглянулись в глубоком изумлении.

— Что же, значит, он играет? — сказал г-н Гильом.— В мое время только игроки возвращались домой так поздно.

Августина, слегка надув губки, отвергла это обвинение.

— Ты, должно быть, проводишь ужасные ночи в ожидании его? — снова начала г-жа Гильом.— Но ты ведь спишь, не правда ли? И это чудовище будит тебя, если ему случится проиграть?

— Нет, мама, наоборот, иногда он бывает очень весел. Довольно часто, когда хорошая погода, он предлагает мне встать и пойти с ним погулять в Булонский лес.

— В лес, в такое время? Значит, у тебя очень маленькая квартира, если ему не хватает своей комнаты, своих гостиных и если ему нужно где-то бегать, чтобы... Уже не для того ли злодей предлагает тебе такие прогулки, чтобы тебя простудить? Он хочет отделаться от тебя. Где это видано, чтобы человек положительный, имеющий солидное дело, носился по лесу, подобно оборотню!

— Но, маменька, вы не хотите понять, что ему нужно как можно больше впечатлений, чтобы развивать свое дарование. Он очень любит такие сцены, где...

— Ну, уж я бы ему устраивала такие сцены! — вос-

кликнула г-жа Гильом, перебивая дочь.— Как ты можешь церемониться с таким человеком? Во-первых, я не люблю, если пьют что-нибудь, кроме воды. Это вредно для здоровья. Почему ему противно смотреть на женщин, когда они едят? Какое странное поведение! Да он просто сумасшедший. Все, что ты рассказала о нем, совершенно невероятно. Как это можно! Человек исчезает из своего дома, не говоря ни слова, и возвращается только через десять дней! Он сказал тебе, что ездил в Дьепп рисовать красками море,— так разве море красят? Вздор! Он морочит тебе голову.

Августина не успела раскрыть рта, чтобы защитить своего мужа, как г-жа Гильом движением руки, которому дочь по старой привычке повиновалась, велела ей замолчать и сухим тоном продолжала:

— Не говори мне лучше ничего об этом человеке. Он ходил в церковь только для того, чтобы приманить тебя и жениться на тебе. Неверующие люди на все способны. Разве Гильом посмел бы скрывать от меня что-либо, пропадать по трое суток, не сказавшись, а потом болтать всякий вздор?

— Милая маменька, вы слишком строго судите вы-

дающихся людей. Они не были бы одаренными людьми, если бы думали так же, как все остальные.

— Ну и прекрасно, пусть твои одаренные сидят в одиночестве и не женятся. Вот еще новости! Одаренный человек делает свою жену несчастной, и если у него есть дарование, то, значит, это хорошо? Прекрасное дарование у него, нечего сказать! Сегодня одно, завтра другое, не смей ничего сказать по-своему, не знаешь, что ему взбредет в голову, веселись, когда ему весело, грусти, когда ему грустно...

— Но, мама, особенность людей с богатым воображением...

— Что это еще за «воображение» такое? — возразила г-жа Гильом, снова прерывая дочь.— Нечего сказать, замечательное у него воображение, честное слово! Что это за мужчина, которому вдруг взбрело в голову, не посоветовавшись с доктором, есть одни только овощи? Если бы это еще из набожности — было бы понятно, но ведь он набожен не больше, чем любой протестант. Видано ли, чтобы человек любил лошадей больше, чем

своего ближнего, завивал себе волосы, как язычник, занавешивал статуи кисеей, закрывал днем окна ставнями, чтобы работать при лампе? Нет, подожди, если бы это не было просто-напросто безнравственно, его следовало бы запереть в сумасшедшем доме. Посоветуйся с господином Лоро, настоятелем церкви святого Сульпиция, узнай его мнение обо всем этом, и он скажет тебе, что муж твой ведет себя не по-христиански...

— Ах, маменька, можете ли вы думать?..

— Да, думаю. Ты его любила и не замечала всего этого. Зато я прекрасно помню, как в первый год твоего замужества встретила его в Елисейских полях. Он ехал верхом, и гляжу: то он пустит лошадь во весь опор, то вдруг остановится и плетется шагом. Я тогда же подумала: «Сумасброд какой-то!»

— А как хорошо я сделал,— воскликнул г-н Гильом, потирая руки,— обеспечив тебе при замужестве владение имуществом отдельно от этого чудака!

Когда же Августина имела неосторожность рассказать о настоящих обидах, которые ей причинил муж, старики застыли от негодования. Очнувшись от столбняка, г-жа Гильом произнесла слово «развод», и тогда безразличный торговец тоже как бы проснулся. Возбужденный любовью к дочери и предчувствуя, какое оживление внесет судебный процесс в его однообразную жизнь, Гильом взял слово. Он сразу высказался за развод, стал обсуждать его, готов был тотчас же обратиться в суд, обещал дочери освободить ее от всяких расходов, повидаться с судьями, стряпчими, адвокатами, перевернуть небо и землю. Г-жа де Сомервье, испугавшись, отказалась от услуг отца, заявила, что не хочет разлучаться с мужем, будь она еще в десять раз несчастнее, и прекратила разговор о своей горькой участи.

Устав и от наставлений родителей и от всех безмолвных утешительных забот, которыми оба старика тщетно пытались вознаградить ее за сердечные муки, Августина удалилась, чувствуя, что нельзя научить людей ограниченных должным образом судить о людях одаренных. Она поняла, что женщина должна скрывать от всех, даже от своих родных, те несчастья, которые так редко встречают сочувствие. Бури и страдания в горних областях высоких чувств могут быть оценены только благо-

родными душами, живущими там. В каждой мелочи нас могут судить только люди, равные нам по своему нравственному складу.

Бедная Августина снова очутилась в холодной атмосфере своего дома, предоставленная своим тяжким размышлениям. Все занятия утратили для нее какое бы то ни было значение, раз они не могли возвратить ей сердце мужа. Посвященная в тайны пламенных душ, но не имея их способностей, она со всей силой разделяла их горести, не разделяя их наслаждений. Она чувствовала отвращение к свету, который казался ей жалким и ничтожным по сравнению с жизнью страстей. Словом, жизнь ее не удалась. Однажды вечером у нее блеснула мысль, подобно небесному лучу осветившая мрак ее страданий. Мечта пригрезилась этой чистой, добродетельной душе. Августина решила пойти к герцогине Карильяно — не для того, чтобы попросить эту женщину вернуть ей сердце мужа, но чтобы узнать, при помощи каких ухищрений она похитила его, заставить ее принять участие в матери детей ее друга, смягчить гордую светскую даму и сделать ее созидательницей своего будущего счастья в такой же степени, в какой она была виновницей ее теперешнего несчастья. И вот однажды Августина, поборов свою робость, вооружившись сверхъестественной храбростью, в два часа дня села в коляску, решив проникнуть в будуар знаменитой светской львицы, которая никогда не показывалась раньше этого часа. Г-жа де Сомервье до сих пор еще не бывала в старинных пышных особняках Сен-Жерменского предместья. Пройдя по величественным прихожим, громадным лестницам и обширным гостиным, всегда, даже и в зимние холода, уставленным цветами и украшенным с тем особым вкусом, который свойствен женщинам, рожденным в богатстве или с детства впитавшим изысканные привычки аристократии, Августина почувствовала, как ее сердце болезненно сжимается; она завидовала тайнам этого изящества, о котором прежде не имела ни малейшего представления, она была поражена великолепным убранством этого дома и поняла, почему он так привлекателен для ее мужа. Дойдя до уютных комнат герцогини, она испытала ревность и нечто вроде отчаяния: ее восхитило расположение мебели, драпировок и тканей, говорившее о сладо-

страстной неге. Здесь самый беспорядок превращался в изысканную красоту, здесь роскошь подчеркивала какое-то презрение к богатству. Ароматы, насыщавшие чистый воздух, ласкали обоняние, не раздражая его. Каждая мелочь обстановки соответствовала виду, открывавшемуся из зеркальных окон на лужайки сада и зеленые деревья. Тут все было соблазном; расчет не чувствовался совсем. Характер хозяйки этих покоев сказывался в гостиной, где ожидала ее Августина. Бедняжка пыталась разгадать характер соперницы по разбросанным там и сям предметам, но в самом беспорядке, как и в симметрии, было нечто непроницаемое — и для простодушной Августины все это было письмом за семью печатями. Она поняла только, что герцогиня — женщина исключительная. Тогда горестные чувства охватили ее.

«Увы, художнику, быть может, и в самом деле недостаточно иметь возле себя простое любящее сердце; быть может, чтобы привести в состояние равновесия эти бурные души, необходимо соединять их с женщинами, равными им по силе? Если бы я была воспитана, как эта сирена, по крайней мере я боролась бы с нею одинаковым оружием».

— Но ведь меня нет дома.

Хотя эта сухая и короткая фраза была тихо произнесена в соседнем будуаре, Августина услышала, и сердце ее затрепетало.

— Эта дама уже здесь,— возразила горничная.

— Вы с ума сошли! Пригласите же ее войти,— сказала герцогиня; ее голос стал нежным, в нем прозвучала приветливая вежливость. По-видимому, теперь она хотела, чтобы ее слышали.

Августина робко вошла. В глубине прохладного будуара она увидела герцогиню, томно возлежавшую на зеленой бархатной оттоманке, в полукруге, образованном мягкими складками муслина, подбитого золотистым атласом. Позолоченные бронзовые украшения, расположенные с художественным вкусом, венчали этот своеобразный балдахин, под которым герцогиня лежала, словно античная статуя. Темный оттенок бархата еще ярче выделял все ее очарование. Полусвет, выгодный для ее красоты, был, казалось, скорее отсветом, чем светом. Редкие цветы в роскошных севрских вазах подымали

свои благоуханные головки. Когда эта картина предстала перед глазами удивленной Августины, она шла так тихо, что могла поймать взгляд обольстительницы. Этот взгляд, казалось, говорил какому-то лицу, которого жена художника сразу не заметила: «Останьтесь, вы посмотрите на красивую женщину, а для меня этот визит будет менее скучным». Герцогиня встала навстречу Августине и усадила ее возле себя.

— Какому счастливому случаю я обязана этим посещением? — сказала она с обворожительной улыбкой.

«Зачем такая лживость?» — подумала Августина, ответив только наклонением головы.

Ее молчание было вынужденно: она видела перед собой лишнего свидетеля — самого молодого, статного и видного из всех полковников французской армии. Полуштатский костюм еще сильнее подчеркивал его изящество. Лицо, исполненное жизни, уже само по себе достаточно выразительное, было еще более ярким благодаря закрученным черным, как смоль, усикам, густой бородке, холеным узким бакенбардам и смело взлохмаченной копне черных волос. Он играл хлыстиком, и это подчеркивало непринужденность, довольство, которые так соответствовали и выражению удовлетворения на его лице и изысканности одежды. Орденские ленточки в петлице были прикреплены небрежно; казалось, он более гордится своей красивой внешностью, чем храбростью. Жена художника вскинула глаза на герцогиню Карильяно, указав ей на полковника взглядом, значение которого было сразу понято.

— Ну, Эглемон, прощайте, мы встретимся в Булонском лесу.

Слова эти были произнесены великосветской сиреной таким тоном, точно все было решено еще до прихода Августины; их сопровождал угрожающий взгляд, быть может, заслуженный офицером, с восхищением взиравшим на скромный цветок, столь не похожий на горделивую герцогиню. Молодой фат молча поклонился, повернулся на каблуках и легкой поступью быстро вышел из будуара. В этот миг Августина, следя за своей соперницей, провожавшей глазами блестящего офицера, уловила в ее взгляде то чувство, самое беглое выражение которого понятно всем женщинам. Она с глубокой гру-

стью подумала, что ее посещение будет бесполезно: хитрая герцогиня, по всей вероятности, слишком любит окружать себя поклонниками и будет безжалостной.

— Сударыня,— сказала Августина срывающимся голосом,— вы, несомненно, удивлены, что я здесь, у вас... Конечно, это может показаться странным... чрезвычайно странным... Но отчаяние доводит до безумия и все оправдывает. Я отлично понимаю, почему Теодор предпочитает ваш дом всякому другому и почему вы обладаете такой властью над ним. Увы, в самой себе я нахожу для этого причины более чем достаточные. Но я обожаю своего мужа, сударыня. Два года страданий не вытравили его образ из моего сердца, хоть его сердце я и потеряла. И вот у меня явилась безумная мысль бороться с вами... Я пришла к вам узнать, каким способом я могу восторжествовать над вами. Простите меня,— воскликнула Августина, порывисто взяв свою соперницу за руку, которую та не отняла,— я никогда не буду так молить бога о моем собственном счастье, как о вашем, если вы поможете мне снова завоевать... не скажу любовь, но просто дружбу де Сомервье! Я надеюсь только на вас. Ах, скажите мне, как вы могли ему понравиться и заставить его забыть первые дни...

При эти словах Августина, задыхаясь от неожиданных рыданий, принуждена была остановиться. Стыдясь своей слабости, она закрыла лицо носовым платком и залилась слезами.

— Неужели вы такой ребенок, моя дорогая крошка? — сказала герцогиня. Соблазненная новизной этой сцены и невольно растрогавшись преклонением, выраженным, быть может, самой добродетельной супругой в Париже, она отняла платок у молодой женщины и сама принялась вытирать ей глаза, из сострадания шепча ей утешительные слова. После некоторого молчания кокетка, крепко сжав хорошенькие ручки Августины своими руками, отличавшимися силой и благородной красотой, сказала нежно и участливо:

— Прежде всего я посоветую вам не плакать, так как слезы портят красоту. Нужно уметь переносить горести, иначе вы заболеете, а любовь недолго живет на ложе скорби. Правда, печаль сначала придает некоторую прелесть и может нравиться, но в конце концов от

нее обостряются черты, блекнут самые очаровательные лица; к тому же наши тираны из самолюбия требуют, чтобы их рабыни всегда были веселы.

— Ах, как мне заставить себя не чувствовать! Разве можно, не испытывая смертной муки, видеть любимые глаза равнодушными, унылыми, потухшими, тогда как прежде они сверкали любовью и радостью. Я не могу совладать со своим сердцем.

— Очень жаль, милочка. Право, мне кажется, я уже знаю всю вашу историю. Прежде всего поймите хорошенько, что если ваш муж вам не верен, то не я его сообщница. Если я хотела видеть его в моем салоне, то, признаюсь, мною руководило самолюбие: он стал знаменит и нигде не бывал. Я уже так полюбила вас, что не хочу огорчать рассказом о всех безумствах, которые он совершил ради меня. Нет, об одном я все-таки скажу, потому что это, быть может, поможет вам вернуть его и наказать за смелость, которую он допускает по отношению ко мне. В конце концов он поставит меня в неловкое положение. Я прекрасно знаю свет, моя дорогая, и не рассчитываю на скромность слишком выдающегося человека. Знайте же, что талантам можно позволять ухаживать за нами, но выходить за них замуж — ошибка. Мы, женщины, должны восхищаться гениальными людьми, наслаждаться их обществом, как некиим спектаклем, но жить в их близости — никогда. Фи! Это все равно, что находить удовольствие в рассматривании машин, действующих за кулисами оперы, вместо того чтобы сидеть в ложе и смаковать блестящие картины. Но с вами, моя дорогая, несчастье уже произошло, не так ли? Ну что ж, нужно попытаться снабдить вас оружием против тирании.

— Ах, сударыня, еще раньше, чем войти сюда, увидеть вас здесь, я уже обратила внимание на такие тонкие ухищрения, о которых я и не подозревала.

— Вот и отлично, приходите ко мне время от времени и вы скорее поймете эти пустяки, которые, впрочем, имеют большое значение. Для глупцов внешняя обстановка составляет половину жизни, и в этом отношении многие даровитые люди оказываются глупцами, несмотря на весь свой ум. Держу пари, что вы никогда и ни в чем не умели отказывать Теодору.

— Как, сударыня, отказать в чем-нибудь тому, кого любишь?

— Какая наивность! Бедняжка, я буду вас обожать за ваше простодушие. Знайте же: чем больше мы любим, тем меньше мы должны показывать мужчине, особенно мужу, силу нашей страсти. Того, кто больше любит, порабощают и, что еще хуже, рано или поздно бросают. Тот, кто хочет властвовать, должен...

— Что вы, сударыня! Значит, нужно скрытничать, все взвешивать, притворяться, создавать себе искусственный характер, ежедневно, ежечасно? Как же можно так жить? Разве вы можете?..

Она запнулась; герцогиня не могла скрыть улыбки.

— Дорогая моя,— наставительно заметила светская дама,— супружеское счастье всегда было рискованной игрой, *делом*, которое требует особого внимания. Если вы будете говорить о любви в то время, как я говорю о браке, мы перестанем понимать друг друга. Выслушайте же меня,— продолжала она дружеским тоном.— Мне приходилось встречаться с выдающимися людьми нашего времени. Те из них, которые женились, за редкими исключениями, вступили в брак с ничтожными женщинами. И, представьте, эти женщины управляли ими так, как нами управляет император, и если не были любимы, то, во всяком случае, их уважали. Я люблю проникать в тайны, особенно те, которые касаются нас, женщин, и поэтому забавлялась разрешением этой загадки. Вот в чем дело, мой ангел; эти «хорошие жены» сумели понять характер своих мужей; не боясь, как вы, их превосходства, они ловко подметили, чего недостает им самим, и обладали ли они достоинствами на самом деле или только притворялись, что их имеют,— во всяком случае, они нашли способ так искусно выставить их напоказ своим мужьям, что в конце концов внушили им уважение. Кроме того, запомните, что в душах этих людей, которые кажутся столь значительными, всегда заключена некоторая доля безумия, и мы должны уметь пользоваться этим. Твердо решив властвовать над ними, никогда не забывая о своей цели, подчиняя ей все наши поступки, наши мысли, наше кокетство, мы укрощаем причудливые умы, которые благодаря самой неустойчивости своих мыслей дают нам возможность влиять на них.

— О боже! — испуганно воскликнула молодая женщина.— Так вот какова жизнь! Это битва...

— Где нужно всегда угрожать,— подхватила герцогиня, смеясь.— Наша власть совершенно искусственна. Например, нельзя допускать, чтобы мужчина презирал нас; от такого падения можно воспрянуть только при помощи отвратительных уловок. Пойдемте,— прибавила она,— я укажу вам средство, как посадить вашего мужа на цепь.

Улыбаясь, герцогиня встала и повела юную, неопытную в деле супружеских хитростей ученицу по лабиринту своего маленького дворца.

Они дошли до потайной лестницы, сообщавшейся с приемными покоями. Повернув секретный замок двери, герцогиня остановилась и взглянула на Августину с неподражаемым очаровательным лукавством.

— Послушайте, герцог де Карильяно обожает меня, но он не смеет войти в эту дверь без моего разрешения. А это человек, который привык командовать тысячами солдат. Он бесстрашно идет навстречу огню батарей, а меня... он боится.

Августина вздохнула. Они дошли до пышной картинной галереи, и там герцогиня подвела жену художника к портрету, написанному им с девицы Гильом. Увидев его, Августина вскрикнула:

— Ах!.. Я знала, что Теодор куда-то увез портрет, но что он здесь...

— Дорогая моя крошка, я попросила этот портрет только для того, чтобы убедиться, до какой глупости может дойти гениальный человек. Рано или поздно я бы возвратила его вам, хотя и не ожидала, что буду иметь удовольствие увидеть оригинал рядом с копией. Пока мы окончим беседу, я велю отнести портрет в вашу коляску. Если вы, вооружившись этим талисманом, не сумеете властвовать над своим мужем сто лет, то вы не настоящая женщина и заслужили свою участь.

Августина поцеловала руку сиятельной наставнице, а герцогиня крепко обняла ее и расцеловала с тем большей нежностью, что готова была на следующий день забыть о ней. Быть может, эта сцена навсегда бы уничтожила целомудренную чистоту женщины менее добродетельной, чем Августина, ибо тайны, открытые герцоги-

ней, могли быть в равной степени спасительными и пагубными, но коварная политика высших слоев общества столь же мало подходила ей, как и узкая практичность Жозефа Леба или мелочная мораль г-жи Гильом. В какое опасное положение мы попадаем из-за ложного шага, из-за малейших ошибок, допущенных в жизни! Августина в эту минуту была подобна альпийскому пастуху, застигнутому лавиной: если он колеблется или оборачивается на крики своих товарищей, то чаще всего гибнет. Во время таких больших потрясений сердце или разбивается, или становится железным.

Госпожа де Сомервье вернулась к себе в таком волнении, что трудно его описать. Разговор с герцогиней Карильяно натолкнул ее на множество противоречивых замыслов. Как овечка в басне, пока не было волка, она храбрилась, успокаивала себя и строила прекрасные планы действия, изобретала множество уловок кокетства, даже мысленно разговаривала с мужем, находя вдали от него дар подлинного красноречия, которое всегда свойственно женщинам; но, вспомнив пристальный и холодный взгляд Теодора, она сразу начинала дрожать. Когда она спросила, дома ли барин, голос ее оборвался. Узнав, что он не будет обедать дома, она испытала неизъяснимую радость. Для нее, словно для преступника, приговоренного к смертной казни и подавшего кассационную жалобу, отсрочка, как бы коротка она ни была, казалась целой жизнью. Она повесила портрет в своей комнате и, ожидая мужа, предалась всем томлениям надежды. Она предвидела, что эта попытка должна решить все ее будущее, и вздрагивала при малейшем шуме, даже от тикания маятника, которое как будто увеличивало ее страхи, отмеряя их срок. Она старалась убить время тысячью уловок. Ей вздумалось одеться так, чтобы быть в точности похожей на прежнюю Августину, нарисованную на портрете. После этого, зная причудливый характер своего мужа, она велела как можно ярче осветить свою комнату, уверенная, что, вернувшись домой, Теодор из любопытства зайдет к ней. Пробило полночь, когда на крик кучера открылись ворота и застучали колеса по камням безмолвного двора.

— Что означает эта иллюминация? — весело спросил Теодор, входя в комнату жены.

Августина воспользовалась столь благоприятной минутой, бросилась к мужу на шею и указала ему на портрет. Художник застыл, окаменел, и его взоры попеременно обращались то на Августину, то на уличающее полотно. Робкая супруга, помертвев от страха, пристально смотрела на изменчивое, грозное сейчас лицо своего мужа и видела, как выразительные морщины набегают на его лоб, подобно облакам; потом ей показалось, что кровь стынет в ее жилах, когда он стал допрашивать глухим голосом, впиваясь в нее мрачным, горящим взглядом:

— Откуда вы взяли эту картину?

— Герцогиня де Карильяно вернула ее мне.

— Вы ее попросили об этом?

— Я и не знала, что она у нее.

Нежность, чарующая мелодия голоса этого ангела смягчила бы и людоеда, но не могла тронуть художника, терзавшегося муками уязвленного тщеславия.

— Это достойно ее! — вскричал Сомервье громовым голосом.— Я отомщу,— говорил он, расхаживая по комнате большими шагами,— она умрет от стыда; я напишу ее без прикрас. Да, да! Я изображу ее в виде Мессалины, выходящей ночью из дворца Клавдия.

— Теодор! — прошептал замирающий голос.

— Я убью ее.

— Друг мой!

— Она любит этого фата, этого кавалерийского полковника, потому что он хорошо ездит верхом.

— Теодор!

— Оставь меня! — закричал художник, и голос его напоминал рычание.

Было бы недостойно описывать всю эту сцену; к концу ее опьянение гневом вызвало у художника такие слова и действия, которые всякая другая женщина, старше Августины, объяснила бы безумием.

На следующий день, в восемь часов утра, приехала г-жа Гильом и застала свою дочь бледной, с красными глазами, с неубранными волосами. Августина держала в руках носовой платок, промокший от слез, и пристально смотрела на разбросанные по полу клочья разодранного полотна и обломки большой позолоченной рамы, разбитой на куски. Августина, которую горе сде-

лало почти бесчувственной, молча показала на эти обломки.

— Вот еще, подумаешь, большая потеря! — вскричала старая хозяйка «Кошки, играющей в мяч».— Портрет был похож, это правда, но я знаю на бульваре одного живописца, который делает превосходные портреты за пятьдесят экю.

— Ах, мама!..

— Бедная моя крошка, ты совершенно права,— ответила г-жа Гильом, не поняв взгляда, брошенного на нее дочерью.— Что делать, дитя мое, никто не будет любить тебя так нежно, как мать. Милая моя, я догадываюсь обо всем; расскажи мне о твоем горе, я утешу тебя. Я уже говорила тебе, что этот человек сумасшедший! Миленькие истории рассказала мне твоя горничная. Да ведь это — настоящее чудовище!

Августина приложила палец к побелевшим губам, как бы умоляя мать помолчать немного. В пережитую ужасную ночь несчастье пробудило в ней то терпеливое смирение матери и любящей женщины, которое превосходит человеческие силы и, быть может, открывает существование в женском сердце таких струн, в которых бог отказал мужчине.

Надпись, выбитая на памятнике в уголке Монмартрского кладбища, гласит, что г-жа де Сомервье умерла двадцати семи лет. В простых словах этого надгробия какой-нибудь друг умершего робкого создания видит последнюю сцену драмы. Каждый год, в торжественный день поминовения усопших, проходя мимо этого недавнего памятника, он спрашивает себя: не нужны ли для мощных объятий гения женщины более сильные, чем Августина.

Смиренные и милые цветы, распустившиеся в долинах, быть может, умирают, говорит он себе, когда они пересажены слишком близко к небесам, туда, где зарождаются грозы, где солнце палит и сжигает.

Мафлие, октябрь 1829 г.

ЗАГОРОДНЫЙ БАЛ

Анри де Бальзаку от брата Оноре.

Граф де Фонтэн, глава одной из древних фамилий Пуату, с большим искусством и мужеством служил Бурбонам во время войны вандейцев против республики. Выйдя невредимым из всех опасностей, угрожавших вожакам роялистов в ту бурную эпоху истории, он говаривал шутя:

— Я, видите ли, из тех, кто сложил голову на ступеньках трона!

Шутка эта имела известный смысл в устах человека, который только чудом остался в живых в кровавом сражении у Четырех Дорог. Хотя верный вандеец и был разорен конфискациями имущества, он неизменно отказывался от выгодных должностей, которые предлагал ему император Наполеон. Стойкий в своем поклонении аристократизму, он слепо подчинился его правилам, когда выбирал себе подругу жизни. Несмотря на заигрывания одного разбогатевшего в годы революции выскочки, который дорого бы дал, чтобы с ним породниться, граф женился на девице Кергаруэт, бесприданнице, но происходившей зато из древнейшего бретонского рода.

Реставрация застала г-на де Фонтэна обремененным многочисленным семейством. Хотя хлопотать о милостях было не в правилах гордого дворянина, тем не менее он, уступив желанию жены, покинул свое поместье, скромных доходов от которого едва хватало на содержание семьи, и переселился в Париж. С сокрушением наблюдая,

«ДОМ КОШКИ, ИГРАЮЩЕЙ В МЯЧ».

«ЗАГОРОДНЫЙ БАЛ»

как жадно его старые товарищи охотились за государственными должностями и званиями, он собрался было возвратиться в свои владения, как вдруг получил правительственный пакет, в коем весьма известный сановник возвещал о возведении его в чин генерал-майора на основании закона, дозволявшего засчитывать офицерам «католической армии» первые двадцать лет негласного царствования Людовика XVIII за годы действительной службы. Несколько дней спустя без каких-либо ходатайств вандеец получил сверх того ордена Почетного легиона и святого Людовика, полагавшиеся ему по чину. Поколебленный в своем решении этим потоком милостей, которые он приписывал признательности монарха, он счел отныне недостаточным являться по воскресеньям всей семьей в Маршальскую залу Тюильри и во время следования королевской фамилии в часовню всеподданнейше возглашать: «Да здравствует король!»,— и просил удостоить его личной аудиенции. Аудиенция была дана в самом непродолжительном времени, но особой торжественностью не отличалась. В королевской приемной толпились старые придворные, чьи напудренные парики, если смотреть на них сверху, напоминали снежную пелену. Граф де Фонтэн встретил там своих прежних сотоварищей, которые приняли его довольно холодно; но принцы крови показались ему *обворожительными*, после того как самый любезный из его повелителей, который, по предположению графа, мог знать его только по имени, подошел пожать ему руку и назвал его истым вандейцем. Несмотря на такие знаки благоволения, никому из высоких особ не пришло в голову осведомиться, каковы были его потери и какова сумма денег, столь щедро потраченных им на «католическую армию». Он обнаружил — несколько поздно,— что вел войну за свой собственный счет.

К концу вечера он нашел случай ввернуть шутливый намек на жалкое состояние своих финансов, сходное с положением многих других дворян. Его величество изволил добродушно рассмеяться: всякое словцо, отмеченное печатью остроумия, было ему по сердцу; тем не менее он ответил одной из тех королевских шуток, ласковый тон которых много опаснее, нежели гневный выговор. Один из приближенных короля поспешил подойти к сребролю-

бивому вандейцу и в тонких, учтивых выражениях дал ему понять, что не настал еще час предъявить счет повелителю: на рассмотрении находятся гораздо более давние притязания, которые, бесспорно, войдут в историю революции. Граф счел за благо выйти из именитой толпы, окружавшей августейшее семейство почтительным полукругом; затем, не без труда высвободив свою шпагу, цеплявшуюся за хилые ноги придворных, он пересек двор Тюильри и пешком добрался до наемной кареты, оставленной им на набережной. Старик отличался строптивым нравом дворян старого закала, которые сохранили еще в памяти времена Лиги и Баррикад; усевшись в карету, он принялся жаловаться вслух на перемены, происшедшие при дворе, рискуя навлечь на себя беду.

«В былые времена,— рассуждал он сам с собой,— всякий свободно беседовал с королем о своих личных делах; вельможи могли когда угодно просить милостей и пособий, а нынче не добьешься без неприятностей даже возмещения убытков, понесенных на королевской службе! Черт возьми! Орден святого Людовика и чин генерал-майора, право, не стоят тех трехсот тысяч франков, что я потерял чистоганом ради защиты монархии. Я еще раз поговорю с королем с глазу на глаз, в его собственном кабинете».

Этот случай охладил пыл г-на де Фонтэна тем более, что все его хлопоты об аудиенции неизменно оставались без ответа. Он видел к тому же, что при королевском дворе выскочкам Империи нередко доставались те должности, какие при прежнем царствовании приберегались для высшей знати.

— Все пошло прахом,— сказал он однажды утром.— Положительно, король был и остался революционером. Не будь его августейшего брата, который свято блюдет традиции и печется о верных слугах, трудно даже сказать, в какие руки попадет французская корона. Эта проклятая конституционная система — самый худший образ правления и ни при каких обстоятельствах не годится для Франции. Людовик XVIII и господин Беньо все нам напортили в Сент-Уане.

Граф, весьма раздосадованный, уже собирался вернуться к себе в поместье, гордо отказавшись от всяких

притязаний на возмещение убытков. В это время события двадцатого марта возвестили о новой буре, грозившей поглотить законного короля вместе с его приверженцами. Подобно тем великодушным людям, которые не способны выгнать слугу на улицу в ненастье, г-н де Фонтэн заложил свои земли, дабы разделить судьбу монархии, терпящей бедствие, сам еще не зная, принесет ли ему эмиграция счастье, которого не принесла его былая преданность; но, убедившись, что спутники по изгнанию пользовались бо̀льшим благоволением, нежели люди, сражавшиеся некогда с оружием в руках против установления республики, он возымел надежду извлечь больше выгод, выехав за границу, чем оставаясь внутри страны для неусыпных и опасных трудов. Расчеты старого придворного не походили на те пустые измышления, что сулят на бумаге златые горы, а в действительности несут разорение. Короче, по выражению самого остроумного и искусного из наших дипломатов, он стал одним из пятисот верных слуг, разделивших с королевским двором тяжесть изгнания в Генте, и одним из пятидесяти тысяч, которые оттуда возвратились. За время этого краткого междуцарствия г-н де Фонтэн имел честь выполнять поручения Людовика XVIII и неоднократно доказывал королю свою безупречную благонадежность и искреннюю преданность.

Как-то вечером, когда королю нечего было делать, он припомнил остроту, сказанную г-ном де Фонтэном в Тюильри. Старый вандеец не упустил столь благоприятного случая и постарался рассказать свою историю достаточно забавно, чтобы король, никогда ничего не забывавший, припомнил ее в нужную минуту. Августейший стилист оценил изящный слог деловых бумаг, выходивших из-под пера скромного дворянина. Благодаря этой маленькой заслуге г-н де Фонтэн был отмечен в памяти монарха как один из наиболее преданных слуг престола. По вторичном возвращении короля граф был назначен чрезвычайным эмиссаром и объезжал округа, имея полномочия «вершить суд над зачинщиками мятежа», однако он не злоупотреблял своей грозной властью. Как только эти временные судилища перестали существовать, верховный судья занял кресло в государственном совете, стал депутатом, говорил редко, слушал внимательно и во

многом изменил свои мнения. В силу некоторых обстоятельств, оставшихся неизвестными биографам короля, граф настолько вошел в доверие к нему, что однажды насмешливый монарх встретил его следующими словами:

— Друг мой Фонтэн, я не рискнул бы назначить вас главноуправляющим или министром! Ни вы, ни я, будь мы чиновниками, не удержались бы в должности из-за наших убеждений. Конституционный строй имеет то преимущество, что избавляет нас от труда самим увольнять наших государственных секретарей. Что такое наш совет? Гостиница, куда общественное мнение посылает иной раз престранных постояльцев: но как-никак мы всегда сумеем найти местечко для наших верных слуг.

За таким язвительным предисловием последовал приказ о назначении г-на Фонтэна управляющим собственными владениями короля. Благодаря восхищенному вниманию, с каким граф выслушивал сарказмы своего царственного друга, имя его появлялось на устах его величества всякий раз, как речь заходила о создании какой-нибудь комиссии, членам которой полагалось солидное вознаграждение. Де Фонтэн был достаточно умен, чтобы молчать о монарших милостях, и умел упрочить их, развлекая короля игривыми рассказами во время тех непринужденных бесед, в которых Людовик XVIII находил такое же удовольствие, как в остроумно составленных письмах, в политических анекдотах и, если позволительно употребить такое выражение, в дипломатических и парламентских сплетнях, расплодившихся в ту пору в изобилии. Общеизвестно, что все мелочи «правительствования» — излюбленное словечко венценосного остряка— бесконечно забавляли его. Благодаря здравому смыслу, уму и ловкости графа де Фонтэна все члены его многочисленного семейства с самого раннего возраста присосались, как шутливо говаривал он своему повелителю, точно шелковичные черви, к листочкам бюджета. Так, старший сын де Фонтэна по милости короля занял несменяемую судейскую должность. Второй сын, до Реставрации простой капитан, сразу же по возвращении из Гента получил полк; затем в 1815 году, когда вследствие беспорядков устав не соблюдался, он попал в королевскую гвардию, откуда перешел в лейб-гвардию, потом перевелся в пехоту, а после битвы при Трокадеро оказался в

чине генерал-лейтенанта гвардии. Самый младший, назначенный супрефектом, в скором времени стал докладчиком государственного совета и директором одного из муниципальных учреждений города Парижа, где он надежно укрылся от парламентских бурь. Эти тайные милости, негласные, как и королевская благосклонность к графу, продолжали незаметно сыпаться на семейство де Фонтэнов. Несмотря на то, что отец и все три сына имели достаточно синекур и пользовались значительными казенными доходами, не уступающими доходам главноуправляющего, их политическая карьера ни в ком не возбуждала зависти. В те первые годы зарождения конституционного строя мало кто мог правильно оценить некоторые неприметные статьи государственного бюджета, а этим и пользовались ловкие фавориты, выискивая в них возмещение потерянных церковных доходов. Его сиятельство граф де Фонтэн, еще недавно хвалившийся, что ни разу не заглядывал в конституционную хартию, и столь негодовавший на алчность придворных, не замедлил доказать своему повелителю, что нисколько не хуже его понимает дух и преимущества парламентской системы. Однако, несмотря на прочность служебного положения трех своих сыновей, несмотря на доходы, извлекаемые по совокупности из четырех должностей, г-н де Фонтэн был обременен слишком многочисленной семьей, чтобы легко и быстро восстановить утраченное состояние. Три его сына были обеспечены видами на будущее, покровительством и личными талантами; но оставались еще три дочери, и граф боялся злоупотреблять добротой государя. Он решил, что скажет ему пока только об одной из этих девственниц, жаждущих возжечь свой светильник. Король был человеком хорошего вкуса и не мог не завершить своих благодеяний. Брак старшей дочери с генеральным сборщиком налогов, Плана́ де Бодри, решился одним из тех намеков короля, цена которым на первый взгляд невелика, а стоят они миллионов. Однажды вечером, когда государь был в хмуром настроении, он изволил улыбнуться, узнав о существовании второй девицы де Фонтэн, и устроил ее брак с молодым судьей, богатым и способным, правда, буржуазного происхождения, и пожаловал ему титул барона. Но когда через год вандеец заикнулся о третьей дочери, девице Эмилии де Фон-

тэн, король ответил ему тонким язвительным голоском: «Amicus Plato, sed magis amica Natio» [1].

И несколько дней спустя преподнес «своему другу Фонтэну» довольно безобидное четверостишие, названное им эпиграммой, где подшучивал насчет его трех дочерей, так удачно произведенных на свет в виде троицы. Если верить хронике, король построил свой каламбур на понятии божественного триединства.

— Не соизволит ли государь изменить свою эпиграмму на эпиталаму? — сказал граф, пытаясь обернуть этот выпад в свою пользу.

— Хоть я и вижу тут рифму, но не вижу смысла,— резко отпарировал король, которому пришлась не по вкусу даже столь невинная насмешка над его стихами.

С того дня его обращение с г-ном де Фонтэном стало менее благосклонным. Государи любят противоречие меньше, чем мы думаем.

Как почти все дети, младшие в семье, Эмилия де Фонтэн была всеобщей любимицей, и домашние носили ее на руках. И охлаждение монарха огорчало графа тем более, что выдать замуж эту балованную дочь было необычайно трудной задачей. Чтобы уяснить себе, как велики были препятствия, необходимо проникнуть внутрь великолепного особняка, который королевский управляющий снимал на средства казны. Эмилия провела детство в родовом поместье де Фонтэнов и на приволье наслаждалась благами, достаточными для счастья ранней юности; малейшее ее желание становилось законом для ее сестер, братьев, матери и даже для самого отца. Все родные были от нее без ума. Она достигла сознательного возраста как раз в тот период, когда ее семья утопала в милостях и довольстве, и жизнь продолжала ей улыбаться. Роскошь Парижа казалась ей столь же естественной, как изобилие цветов и плодов, как пышность природы в поместье, где прошло ее отрочество. Девочкой она не встречала отпора своим сумасбродным желаниям, а на шестнадцатом году, закружившись в вихре света, уже умела заставить всех себе повиноваться. Привыкая все более и более к милостям судьбы, она уже не могла обхо-

---

[1] «Платон мне дорог, но нация дороже» *(лат.)*; измененная поговорка: «Платон мне дорог, но истина дороже».

диться без изысканных туалетов, без изящества раззолоченных гостиных и экипажей, без поклонения и лести, искренней или лицемерной, без развлечений и суеты двора. Подобно большинству избалованных детей, она изводила тех, кто любил ее, и приберегала свои чары для равнодушных. Недостатки ее с годами только увеличились, и родителям вскоре пришлось пожинать горькие плоды столь пагубного воспитания. В девятнадцать лет Эмилия де Фонтэн еще не пожелала сделать выбор среди многочисленных молодых людей, которых предусмотрительно собирал ее отец на приемах. Несмотря на свою молодость, она пользовалась в свете полной свободой суждений, насколько это доступно для девушки. Эмилия не имела друзей, как не имеют их короли, и встречала повсюду лишь поклонение, против чего вряд ли устояла бы и лучшая натура, чем она. Ни один мужчина, будь то даже старик, не имел силы противиться этой девушке, одного взгляда ее было достаточно, чтобы зажечь любовный пламень в самом холодном сердце. Воспитанная более заботливо, нежели ее сестры, она недурно рисовала, болтала по-итальянски и бесподобно играла на фортепьяно; голос ее, усовершенствованный лучшими преподавателями, отличался приятным тембром, придававшим ее пению неотразимое очарование. При встрече с Эмилией, остроумной и умевшей блеснуть своей начитанностью, невольно вспоминалсь изречение Маскариля, будто знатные люди рождаются на свет, уже зная все наперед. Она рассуждала с одинаковой легкостью об итальянской и фламандской живописи, о Средних веках и Возрождении, критиковала свысока старые и новые книги и с жестоким, но изящным остроумием умела подчеркнуть недостатки любого произведения искусства. Толпа обожателей жадно ловила самые пустые ее фразы, как турки ловят *фетвы* султана. Так ослепляла она людей поверхностных; что же касается людей серьезных, то врожденное чутье помогало ей угадать их с первого взгляда; тогда она пускала в ход все свое кокетство и благодаря своим чарам умела обмануть их проницательность. Под соблазнительной внешностью она скрывала беспечное сердце, непомерную гордость от сознания своего высокого происхождения и красоты и присущую многим девушкам уверенность, что никто на

свете не способен оценить совершенства ее души. В ожидании страстного чувства, рано или поздно испепеляющего сердце всякой женщины, она тратила свой юный пыл на неумеренную любовь к аристократии и выказывала глубочайшее презрение к людям незнатным. Дерзкая и высокомерная с новоиспеченными дворянами, она прилагала все усилия, чтобы ее семья ни в чем не уступала самым блистательным домам Сен-Жерменского предместья.

Ее образ мыслей не мог ускользнуть от проницательного взора г-на де Фонтэна; ему и самому со времени замужества старших дочерей не раз доставалось от сарказмов и насмешек Эмилии. Люди последовательные могут удивиться, как это старый вандеец выдал старшую дочь за генерального сборщика налогов, который хотя и владел несколькими родовыми поместьями, но не имел при своей фамилии дворянской частицы «де», доставившей столько защитников трону, а вторую дочь — за судью, который стал бароном слишком недавно и не мог заставить свет забыть, что отец его торговал дровами. Столь значительная перемена во взглядах высокородного графа, наступившая уже на седьмом десятке, когда люди редко расстаются со своими убеждениями, объяснялась не только пагубным влиянием современного Вавилона, где все провинциалы в конце концов обтесываются; нет, своими новыми политическими взглядами граф де Фонтэн был обязан главным образом советам и дружбе короля. Августейшему философу доставляло удовольствие постепенно обращать вандейца в новую веру, которой требовал весь ход событий девятнадцатого века и обновление монархии. Людовик XVIII задался целью смешать политические партии, подобно тому, как Наполеон перемешал и людей и понятия. Законный король, пожалуй, не менее дальновидный, чем его соперник, поступал как раз наоборот: последний из Бурбонов столь же старался угождать третьему сословию и людям Империи, в ущерб духовенству, сколь ревностно первый из Наполеонов усердствовал, чтобы привлечь на свою сторону высшую знать и ублаготворить церковников. Будучи поверенным королевских замыслов, член государственного совета сделался незаметно для себя одним из наиболее влиятельных и ловких деятелей умеренной партии, вся-

чески стремившейся во имя интересов нации к слиянию противоречивых убеждений. Он проповедовал высокие принципы конституционного строя и всеми силами помогал своему повелителю управлять политическими рычагами, что позволяло благополучно вести корабль Франции среди бурь и треволнений. Быть может, г-н де Фонтэн льстил себя надеждой добиться звания пэра в результате одного из парламентских переворотов, неожиданные последствия которых поражали даже самых опытных политиков. Он не признавал во Франции иной знати, кроме пэров, так как, по его глубочайшему убеждению, только семьи пэров пользовались настоящими привилегиями.

— Дворянство без привилегий,— говорил он,— то же, что рукоятка без топора.

Держась в стороне как от партии Лафайета, так и от партии Лабурдонне, он ревностно добивался всеобщего примирения, что, по его мнению, должно было открыть перед Францией новую, блестящую эру. Он старался убедить тех, кто посещал его салон, и тех, у кого бывал сам, что военная и чиновничья карьера в наши дни больших возможностей не представляет. Он советовал матерям избирать для своих сыновей независимые профессии, готовить их к промышленной или финансовой деятельности и давал понять, что военные чины и высшие государственные должности, в соответствии с духом конституции, будут распределяться в конце концов между младшими отпрысками именитых родов пэров. По его словам, буржуазия отвоевала себе значительную роль в государственном управлении, участвуя в выборной палате, получая судебные и финансовые должности, что̀, как он говорил, всегда было и будет достоянием тузов третьего сословия. Новые идеи главы семейства де Фонтэнов, побудившие его устроить выгодные браки двух старших дочерей, встретили сильный отпор со стороны его домашних. Графиня де Фонтэн осталась верной старым традициям, да и как могла отречься от них женщина, происходившая по материнской линии от Роганов? Она противилась некоторое время замужеству двух старших дочерей, сулившему им счастье и богатство, однако в конце концов сдалась на тайные доводы мужа во время тех интимных вечерних совещаний, когда головы супругов

покоятся рядом на одной подушке. Г-н де Фонтэн хладнокровно доказал жене путем самых точных расчетов, что жизнь в Париже, требования света, блеск их дома, вознаграждавший их за лишения, мужественно перенесенные в глуши Вандеи, расходы на сыновей поглощают большую часть их бюджета. Поэтому надо ценить, как дар небесный, представившуюся возможность так выгодно пристроить дочерей: ведь в скором времени они будут пользоваться рентой в шестьдесят — восемьдесят, а то и в сто тысяч франков. Для бесприданниц такие выгодные партии встречаются не каждый день. Наконец пора подумать и о сбережениях, пора упрочить состояние де Фонтэнов и восстановить их прежние земельные владения Графиня сдалась на столь убедительные доводы, как поступила бы на ее месте всякая мать, пожалуй, еще с большей охотой, но объявила, что пусть по крайней мере ее любимица Эмилия осуществит в своем браке те горделивые мечтания, которые родители имели неосторожность взлелеять в этой юной душе.

Таким образом, события, которые должны были бы вызвать радость в семье, посеяли в ней семена легкого раздора. Генеральный сборщик налогов и молодой судья стали жертвой холодного, церемонного этикета, который сумели установить в доме графиня и ее дочь Эмилия. Вскоре служение этикету открыло новое поле деятельности для двух домашних тиранок. Генерал-лейтенант женился на девице Монжено, дочери богатого банкира; председатель суда имел благоразумие сочетаться браком с барышней, отец которой, обладатель двух или трех миллионов, нажился на соляной торговле; наконец и младший сын показал себя верным этим расчетливым соображениям, взяв в жены девицу Гростет, единственную наследницу сборщика налогов города Буржа. Трем невесткам и двум зятьям казалось настолько привлекательным вращаться в высших политических сферах и в салонах Сен-Жерменского предместья, что все они сообща образовали как бы небольшой двор вокруг высокомерной Эмилии. Союз этот, основанный на личной корысти и тщеславии, был, однако, недостаточно прочным, и юная повелительница вызывала подчас возмущение в своем маленьком королевстве. Происходили сцены, правда, не нарушавшие светских приличий, но позволявшие

членам этой влиятельной семьи проявлять свойственное им остроумие; едкие насмешки и сарказмы хоть и не наносили чувствительного ущерба показной дружбе в кругу семьи, но порою не щадили никого. Так, например, жена генерал-лейтенанта, став баронессой, считала себя ничуть не менее знатной, чем какая-то Кергаруэт, и полагала, что кругленькая сумма в сто тысяч франков ренты дает ей право быть столь же дерзкой, как и ее золовка Эмилия; этой последней она частенько насмешливо желала счастливого брака, сообщая как бы вскользь, что дочь такого-то пэра Франции недавно вышла замуж за господина такого-то, без всякого титула. Жене виконта де Фонтэн доставляло великое удовольствие затмевать Эмилию изысканностью и роскошью своих туалетов, своей мебели и экипажей. Иронический вид, с каким невестки и оба зятя выслушивали иногда высокомерные притязания мадемуазель де Фонтэн, приводил ее в бешенство, и нередко гнев ее находил выход в граде язвительных острот. Когда глава семьи заметил некоторое охлаждение, наступившее в негласной и изменчивой дружбе к нему монарха, он сильно встревожился, потому что его любимица-дочь, раззадоренная насмешками и поддразниванием сестер, никогда еще не метила так высоко.

И вот как раз в то время, когда эта маленькая семейная распря приняла угрожающие размеры, король, как будто начавший снова благоволить к г-ну де Фонтэну, был поражен недугом, от которого ему суждено было погибнуть. Тонкий политик, так искусно правивший своим кораблем среди бурь, в конце концов потерпел крушение. Граф де Фонтэн, не зная еще, останется ли он в милости, приложил величайшие старания, чтобы собрать вокруг своей младшей дочери самых блестящих кавалеров. Те, кому приходилось разрешать тяжкую задачу выдать замуж гордую и своенравную дочку, вероятно, поймут затруднения бедного вандейца. Завершив это предприятие и угодив любимой дочери, граф достойным образом увенчал бы свою карьеру, начатую им в Париже десять лет назад. По тому, как ловко его семья захватывала оклады во всевозможных ведомствах, ее можно было уподобить австрийскому царствующему дому, грозящему заполонить всю Европу своими родст-

венными связями. И старый вандеец, для которого счастье дочери было главной сердечной заботой, не щадя сил, подыскивал ей все новых женихов; но трудно было удержаться от улыбки, когда дерзкая девушка выносила приговоры и разбирала по косточкам своих обожателей. Можно было подумать, что Эмилия достаточно богата и прекрасна, чтобы по примеру принцессы из «Тысячи и одного дня» иметь право выбрать любого принца; возражения ее были одно забавнее другого: у этого слишком жирные икры и кривые колени, тот близорук, третий носит пошлую фамилию Дюран, четвертый хромает,— и почти все казались ей слишком толстыми. Отвергнув двух или трех новых поклонников, Эмилия становилась еще живее, очаровательнее, веселее, чем когда-либо, кружилась в вихре зимних праздников, разъезжала по балам, где ее зоркий взгляд внимательно изучал входящих в моду знаменитостей и где потехи ради она пленяла сердца, но всегда отвечала отказом искателям ее руки.

Природа щедро наделила ее дарами, необходимыми для роли Селимены. Высокая и стройная, Эмилия де Фонтэн умела держаться то величественно, то легкомысленно, смотря по желанию. Гибкая лебединая шея придавала ей несколько высокомерный и презрительный вид. У нее имелось в запасе множество поз и грациозных жестов, множество оттенков в голосе и улыбках. Прекрасные черные волосы и густые, резко изогнутые брови подчеркивали горделивое выражение ее лица, которое кокетка с помощью зеркала научилась то делать ледяным, то смягчать долгим или нежным взглядом, легким движением губ, холодной или ласковой улыбкой. Если Эмилии хотелось покорить чье-нибудь сердце, ее чистый голосок становился чрезвычайно мелодичен; но она могла также придать ему металлическую резкость, если намеревалась оборвать нескромную речь ухаживателя. Ее белоснежное лицо и алебастровое чело напоминали сияющую гладь озера, то покрывающегося рябью под дуновением ветерка, то вновь безмятежного и ясного, когда воцаряется тишь. Не раз юноши, ставшие жертвой ее презрения, обвиняли ее в притворстве; но ей ничего не стоило оправдаться, внушить злословящим желание ей понравиться и подчинить их капризам своего кокетства. Никто

из светских красавиц не умел лучше ее с холодным высокомерием ответить на поклон знаменитости или выказать ту оскорбительную вежливость, которая низводит равных ступенью ниже, или же дерзко оборвать того, кто пытался держать себя с ней на равной ноге. Где бы она ни находилась, она принимала комплименты как должные почести и даже в гостях у принцессы крови величавой осанкой и манерами обращала свое кресло в королевский трон.

Господин де Фонтэн — увы! — слишком поздно постиг, что его любимица и баловница вконец испорчена обожанием всей семьи. Восхищение, которое свет вначале выказывает юной девушке, не преминув отомстить ей за это впоследствии, еще более возбудило гордость Эмилии и укрепило в ней самоуверенность. Всеобщее поклонение развило в ней эгоизм, естественный у избалованных детей, которые, подобно августейшим особам, смотрят на всех и все, как на забаву. Прелесть юности и блеск природных даров покуда еще скрывали от посторонних глаз эти недостатки, особенно отталкивающие в женщине, чье главное украшение — преданность и кротость. Но от глаз любящего отца не ускользает ничто: г-н де Фонтэн не раз пытался растолковать дочери важнейшие страницы загадочной книги жизни. Напрасные попытки! Натерпевшись сверх меры от капризов и насмешек своевольной девушки, он не стал упорствовать в трудной задаче искоренения столь пагубных задатков. Он довольствовался тем, что время от времени давал советы, полные отеческой доброты, но видел с горечью, что самые нежные его слова отскакивают от сердца дочери, как от мрамора. Родителям горько разочаровываться в детях, и старому вандейцу понадобилось немало времени, чтобы понять, как снисходительно дарила ему дочь свои редкие ласки. Она походила на маленького ребенка, говорящего матери: «Поцелуй меня поскорее, я бегу играть». Эмилия, казалось, едва удостаивала родителей своей привязанностью. Но иногда, следуя внезапным капризам, необъяснимым у девушки ее возраста, она уединялась и целыми днями не выходила из своей комнаты; она жаловалась, что ей приходится делить привязанность родителей со слишком многими, она ревновала их ко всем, даже к братьям и сестрам. Затем, по-

тратив много усилий, чтобы создать вокруг себя искусственную пустыню, своенравная девушка обвиняла весь мир в своем одиночестве и добровольных мучениях. Вооруженная опытом своих двадцати лет, она проклинала судьбу, не понимая, что главный источник радостей в нас самих, и требуя их от окружающих. Она готова была бежать на край света, чтобы спастись от замужества, подобного бракам ее сестер, и, тем не менее, в глубине души завидовала их богатству и семейному счастью. Ее мать, не меньше г-на де Фонтэна страдавшая от поведения дочери, иной раз подозревала даже, что та не в своем уме. Подобные странности легко объяснимы; мы часто видим зарождение скрытой гордости в сердцах юных особ, принадлежащих к высшим слоям общества и наделенных от природы редкой красотой. Почти все они убеждены, что их матери, достигнув возраста сорока или пятидесяти лет, не могут уже сочувствовать их юной душе и понять их мечтаний. Они воображают, что большинство матерей завидуют дочерям и нарочно одевают их по-своему, с затаенным умыслом затмить их или лишить успеха. Отсюда тайные слезы и глухой ропот на мнимую тиранию матерей. Помимо таких огорчений, искренних, хотя и основанных на воображении, девушки часто одержимы манией ставить себе фантастические жизненные задачи и предсказывать самим себе блестящую будущность. С помощью этого волшебного дара они пытаются превращать свои грезы в действительность; в долгие часы мечтаний они клянутся отдать руку и сердце только человеку с такими-то и такими-то достоинствами, рисуют в воображении идеал, на который во что бы то ни стало должен походить их суженый. Но долгий опыт, серьезные раздумья, приходящие с годами, холодные наблюдения над светом и его повседневной прозой, множество печальных примеров постепенно лишают нежных красок их вымышленный идеал; и в один прекрасный день, влекомые жизненным потоком, они с изумлением обнаруживают, что вполне счастливы, хотя их поэтические любовные грезы и не сбылись. Следуя этому закону, мадемуазель Эмилия де Фонтэн создала в своей ветреной головке целую программу, которой обязан был следовать претендент, чтобы получить ее согласие. Этим объяснялись ее презрение и насмешки.

«Пусть он будет молод и знатен,— решила она,— в придачу он должен быть пэром Франции или старшим сыном пэра! Я непременно хочу иметь герб в ниспадающих складках голубого намета на дверцах моей кареты, хочу разъезжать наряду с принцами крови по главной аллее Елисейских Полей в дни скачек в Лоншане. К тому же мой отец предполагает, что в недалеком будущем звание пэра станет самым высоким титулом во Франции. Я хочу, чтобы мой суженый был военным и по моему желанию вышел в отставку. я хочу видеть его в орденах, чтобы нам отдавали честь»

Но все эти редкие качества не вели ни к чему, если это выдуманное существо не обладало, помимо того, изысканной любезностью, прекрасной осанкой, остроумием и в особенности стройным сложением. Худощавость — этот идеал внешних пропорций, как ни трудно его достичь, особенно при «представительном образе правления»,— являлась непременным условием. У мадемуазель де Фонтэн был некий идеал соразмерности, служивший ей образцом. Если молодой человек с первого взгляда не удовлетворял требуемым условиям, она не удостаивала даже взглянуть на него еще раз.

«О боже мой, посмотрите, какой он толстый!» — это было в ее устах величайшим проявлением презрения.

Послушать ее, так люди дородные не способны на чувство, недостойны быть приняты в хорошем обществе и, несомненно, дурные мужья. Полнота, столь ценимая на Востоке,— несчастье для женщины, говорила Эмилия, а уж для мужчины — это просто преступление. Многих забавляли эти парадоксы, так весело и остроумно она их высказывала. Однако граф предвидел, что когда-нибудь нелепость притязаний его дочери не ускользнет от внимания соперниц, столь же проницательных, как и безжалостных, и неизбежно станет предметом насмешек. Он опасался, как бы странные причуды дочери не выродились в дурной тон. Он с трепетом ждал, что беспощадный свет начнет издеваться над героиней, которая так долго остается на сцене, не доводя комедию до развязки. Многие актеры, оскорбленные отказом, казалось, только выжидали малейшей ее неудачи, чтобы отомстить. Равнодушные и не занятые в игре начинали скучать: восхищение всегда утомительно для человеческой природы. Ста-

рый вандеец знал лучше всякого другого, что если трудно выбрать момент, чтобы выступить на подмостках большого света, королевского двора, гостиной или театра, то еще труднее вовремя с них сойти. Поэтому в первую же зиму правления Карла X он при содействии своих сыновей и зятьев усугубил старания, чтобы собрать в гостиных своего особняка самых блестящих кавалеров, каких мог предложить Париж и различные провинциальные депутации. Великолепие его балов, роскошь сервировки и обедов, распространявших аромат трюфелей, соперничали со знаменитыми пирами, на которых тогдашние министры вербовали голоса своих парламентских солдат.

Почтенный депутат прослыл тогда одним из виднейших сокрушителей парламентской неподкупности знаменитой палаты, казалось, умиравшей от пресыщения. Странное дело, его старания выдать замуж дочь только способствовали его блистательным успехам. Быть может, он извлекал какую-нибудь скрытую выгоду, ухитряясь «продавать свои трюфели за двойную цену»? Это обвинение, придуманное либеральными остряками, возмещавшими обилием речей недостаток единомышленников в палате, не имело никакого успеха. Поведение дворянина из Пуату отличалось таким достоинством и благородством, что его не коснулась ни одна из эпиграмм, какими ехидные газетчики того времени заклеймили всех трехсот депутатов центра, министров, поваров, главноуправляющих, обжор и государственных адвокатов, поддерживавших министерство Виллеля по долгу службы. К концу славной кампании, по ходу которой г-н де Фонтэн несколько раз вводил в действие все свои войска, он был уверен, что устроенный им парад женихов на сей раз не окажется для его дочери только забавным зрелищем. Он испытывал известное удовлетворение от сознания, что с честью выполнил свой отцовский долг. Истощив все средства, он надеялся, что среди стольких сердец, предложенных на выбор капризной Эмилии, найдется хотя бы одно, которое она примет благосклонно. Будучи не в силах возобновить кампанию, раздосадованный к тому же поведением дочери, он решился в одно прекрасное утро, в конце масленицы, когда палата не слишком настойчиво требовала его присутствия, поговорить с

Эмилией серьезно. В то время как лакей искусно выводил на его желтом черепе замысловатые узоры из пудры, завершавшие вместе с зачесами его внушительную прическу, граф не без скрытого волнения приказал своему старому камердинеру пригласить гордую барышню немедленно предстать перед главой семьи.

— Жозеф,— сказал он слуге, когда тот покончил с его прической,— уберите салфетку, раздерните занавеси на окнах, расставьте кресла по местам, стряхните коврик у камина и положите его попрямее, вытрите повсюду пыль. Живее! Растворите окно и проветрите кабинет.

Граф засыпал приказаниями запыхавшегося Жозефа, который, угадав намерения своего барина, постарался хоть немножко прибрать его комнату, обычно самую запущенную во всем доме, и даже сумел создать какую-то гармонию из груды счетов, папок, книг и мебели сего святилища, где разбирались дела королевских угодий. После того как Жозеф навел некоторый порядок в этом хаосе и расставил на виду, словно в модной лавке, наиболее привлекательные для глаз предметы, способные оттенить и приукрасить канцелярский стиль этого помещения, он остановился посреди бумажного хлама, наваленного даже на коврах, на секунду сам залюбовался делом рук своих, покачал головой и вышел.

Несчастный обладатель синекур не разделял восхищения своего слуги. Прежде чем усесться в огромное вольтеровское кресло, он подозрительно огляделся вокруг, с неодобрением обследовал свой халат, стряхнул с него крошки табака, старательно высморкался, поправил каминные лопаточки и щипцы, помешал дрова, отогнул отвороты домашних туфель, откинул назад косичку, забившуюся между воротом жилета и воротником халата, и придал ей должное перпендикулярное положение; после этого он ткнул кочергой в уголья очага, постоянно горевшего по причине упорного бронхита старого царедворца. В заключение старик в последний раз окинул взглядом свой кабинет, надеясь, что ничто не даст повода к едким и дерзким замечаниям, которыми дочка обычно отвечала на его мудрые советы. В это утро ему не хотелось ронять своего родительского достоинства. Он осторожно втянул понюшку табаку и несколько раз кашлянул, словно перед выступлением в палате,—

послышались легкие шаги дочери, которая вошла, напевая арию из «Il barbiere» [1].

— С добрым утром, отец! Зачем я вам понадобилась в такую рань?

С этими словами, прозвучавшими словно ритурнель пропетой ею арии, она поцеловала графа, но в ее поцелуе не чувствовалось дочерней нежности, а скорее небрежное легкомыслие любовницы, всегда уверенной в могуществе своих чар.

— Дорогое дитя,— торжественно произнес г-н де Фонтэн,— я позвал тебя, чтобы поговорить о твоем будущем. Пришло время, когда ты должна выбрать себе мужа, способного дать тебе прочное счастье...

— Милый батюшка,— перебила его Эмилия, пуская в ход самые ласковые ноты своего голоса,— мне кажется, что перемирие, заключенное нами по вопросу о моих женихах, еще не истекло.

— Эмилия, перестань шутить в таком серьезном деле. С некоторых пор все твои близкие, все искренне тебя любящие стараются обеспечить тебе, дитя мое, приличную будущность, и было бы черной неблагодарностью отнестись легкомысленно к знакам участия, от кого бы они ни исходили.

Услышав такие слова и бросив лукаво-испытующий взгляд на убранство отцовского кабинета, Эмилия выбрала то из кресел, которое, по всей видимости, реже других служило просителям, сама поставила его по другую сторону камина, уселась напротив отца с такой важностью, что нельзя было не заметить в ее позе издевательства, и скрестила руки на пышной отделке своей белоснежной пелеринки, безжалостно измяв бесчисленные тюлевые оборки. С усмешкой взглянув искоса на озабоченное лицо старика-отца, она прервала молчание:

— Я никогда еще не слыхала, дорогой батюшка, чтобы правительство провозглашало свои указы, даже не сняв халата. Но пусть! — добавила она, улыбаясь.— Народ не должен быть слишком требовательным. Послушаем же, каковы ваши законодательные проекты и официальные предложения.

---

[1] «Севильский цирюльник» *(итал.)*.

— Быть может, мне уже не долго суждено давать вам советы, дерзкая девчонка! Выслушай меня, Эмилия. Я не намерен долее вредить своей репутации, составляющей часть достояния моих детей, вербуя полки танцоров, которых ты обращаешь в бегство каждую весну. Ты уже стала невольной причиной нежелательных размолвок со многими семьями. Надеюсь, что теперь ты лучше поймешь трудность своего собственного и нашего положения. Тебе двадцать два года, дочка; уже года три, как тебе пора быть замужем. Твои братья, обе твои сестры устроились богато и счастливо. Но, дитя мое, расходы, вызванные этими браками, и образ жизни, который мы принуждены вести по твоей милости, настолько превысили наши доходы, что я при всем желании не могу дать за тобой более ста тысяч франков приданого. Я намерен, не откладывая, позаботиться о будущем твоей матери, так как не хочу, чтобы она несла жертвы ради детей. Если бы моей семье пришлось лишиться меня, Эмилия, госпожа де Фонтэн не должна ни от кого зависеть, она имеет право по-прежнему пользоваться благосостоянием, которым я слишком поздно вознаградил ее самоотверженность в тяжелые годы. Ты сама видишь, дитя мое, что скромная сумма твоего приданого не согласуется с твоими горделивыми мечтами. И тем не менее это будет жертвой, какой я не приносил еще никому из моих детей; но все они великодушно обещали никогда не упрекать нас в предпочтении, оказанном любимой дочери. .

— Еще бы, они и так богаты! — заметила Эмилия, с усмешкой покачав головой.

— Дочь моя, цените тех, кто вас любит. Знайте, что только бедные великодушны. У богачей всегда найдется прекрасный повод, чтобы не дарить родственнику двадцати тысяч франков. Ну хорошо, не дуйся, дитя мое, давай поговорим серьезно. Среди молодых людей не обратила ли ты внимание на господина де Манервиля?

— Ах, нет, он сюсюкает, он вечно смотрит себе на ноги, воображая, будто они маленькие, и любуется собой! К тому же он белокурый, а я не выношу белокурых.

— Ну, а господин де Боденор?

— Он низкого происхождения. Он неуклюжий и толстый. Правда, зато он брюнет... Надо бы этим двум гос-

подам сговориться и объединить свои достоинства, чтобы первый подарил второму свою внешность и имя, а тот сохранил бы свои волосы, и тогда... может быть...

— Что ты можешь возразить против господина де Растиньяка?

— Госпожа де Нусинген сделала из него банкира,— сказала Эмилия ядовито.

— А виконт де Портандюэр, наш родственник?

— Этот юнец скверно танцует; кроме того, он без состояния. А главное, отец, все они не титулованы. Я хочу быть по крайней мере графиней, как матушка.

— Значит, за всю зиму ты никого не встретила, кто бы...

— Никого, отец.

— Чего же тебе надо?

— Сына пэра Франции.

— Дочь моя, вы с ума сошли! — воскликнул г-н де Фонтэн, вставая.

Но тут он возвел глаза к небу и, казалось, почерпнул новый запас терпения в благочестивой молитве, затем, бросив полный родительского сострадания взгляд на свою дочь, искренне растроганную, он сжал ее руку и сказал, смягчившись:

— Бедное, безрассудное создание! Бог свидетель, я добросовестно выполнил свой отцовский долг. Да что я говорю «добросовестно»,— с любовью, моя маленькая Эмилия. Да, видит бог, нынешней зимой я приглашал к нам в дом немало порядочных людей, чье положение, нравственность, добродетели были мне хорошо известны, они казались мне достойными тебя. Дитя мое, задача моя выполнена. С нынешнего дня сама распоряжайся своей судьбой, я одновременно и с радостью и с огорчением слагаю с себя самую тяжкую из родительских обязанностей. Не знаю, долго ли еще тебе придется слышать голос отца, который, увы, никогда не умел быть строгим; но помни, что супружеское счастье зиждется не столько на блестящем положении и богатстве, сколько на взаимном уважении. Счастье это по природе своей скромно и не бросается в глаза. Ступай, дочь моя. Мое согласие обеспечено всякому, кого бы ты ни предложила мне в зятья, но если ты будешь несчастлива, пеняй на себя. Я не отказываюсь помочь тебе советом и делом, но

пусть твой выбор будет серьезным и окончательным: я не хочу больше позорить своих седин.

Глубокая любовь, звучавшая в словах отца, торжественный тон его нравоучений растрогали мадемуазель де Фонтэн, но она скрыла свое умиление, вскочила на колени к графу, который, весь дрожа, тяжело опустился в кресло, осыпала его поцелуями и стала так нежно ласкать, что морщины старика разгладились. Когда Эмилия увидела, что отец оправился от тягостного волнения, она шепнула:

— Благодарю вас за ваше доброе внимание, батюшка. Вы даже прибрали кабинет к моему приходу. Вы не ожидали, что ваша любимая дочь окажется такой ветреной и непослушной. Но, отец, неужели так трудно выйти замуж за пэра Франции? Ведь вы же сами утверждали, что их пекут дюжинами. Ах, не откажите мне по крайней мере в совете!

— Нет, не откажу, бедное дитя, и не устану повторять тебе: берегись! Пойми же наконец, что звание пэра — столь еще недавнее явление в нашем «правительствовании», как выражался покойный король, что пэры пока еще не обладают большим состоянием. Тот, кто богат, хочет стать еще богаче. Самый состоятельный из членов нашей палаты пэров не имеет и половины доходов, которыми пользуется самый бедный член английской палаты лордов. Поэтому пэры Франции будут искать для своих сыновей богатых наследниц в любой среде. Они принуждены заключать выгодные браки, и это продлится еще по крайней мере два столетия. Право же, твои лучшие годы пройдут в ожидании счастливого случая. А впрочем, возможно, что чары твои произведут чудо: ведь в наш век иной раз женятся по любви против воли родителей... Когда опытность скрывается за таким свежим, как у тебя, личиком, можно надеяться на самое невероятное. Ведь ты же научилась безошибочно распознавать достоинства человека в зависимости от его веса и объема! Это уже немалая заслуга. Следовательно, мне незачем предупреждать столь мудрую особу о всех трудностях затеянного ею предприятия. Я убежден, что ты никогда не поверишь в здравый смысл незнакомца, если у него вкрадчивый голос, ни в его добродетель, если он плотного сложения. Наконец, я всецело разделяю твое

мнение, что сыновья пэров обязаны отличаться совсем особым видом и самыми изысканными манерами. Хотя в наши дни высокое положение внешне ничем не отмечено, но ты сразу увидишь в сыне пэра нечто неуловимое, что поможет тебе узнать его. К тому же ты крепко держишь сердце в узде, как хороший всадник держит своего коня, чтобы он не споткнулся. Желаю удачи, дочка.

— Ты издеваешься надо мной, отец. Так вот заявляю тебе, что я лучше кончу дни в монастыре мадемуазель де Кондэ, чем выйду замуж за кого-нибудь, кроме пэра Франции.

Она выскользнула из объятий отца и, полная гордости, что отныне сама себе госпожа, убежала, напевая арию «Cara non dubitare» из «Matrimonio segreto»[1]. Как раз в этот день в доме праздновали какое-то семейное торжество. Во время десерта старшая сестра Эмилии, г-жа Плана́, жена генерального сборщика налогов, заговорила о молодом американце, обладателе громадного состояния, завидном женихе, который без памяти влюблен в ее сестру.

— Он, кажется, банкир,— небрежно заметила Эмилия.— Я не люблю финансистов.

— Однако, Эмилия,— возразил барон де Виллен, муж второй сестры мадемуазель де Фонтэн,— вы и судейских не жалуете; таким образом, если вы будете отвергать всех нетитулованных богачей, я, право, не представляю, в каком же классе общества вы выберете себе мужа.

— В особенности, Эмилия, при твоем пристрастии к худобе,— прибавил генерал-лейтенант.

— Я сама знаю, что мне надо,— ответила девушка.

— Сестрице нужно прекрасное имя, прекрасный юноша с прекрасным будущим и вдобавок сто тысяч франков ренты,— сказала баронесса де Фонтэн,— словом, господин де Марсе, например.

— Я уверена, душенька,— возразила Эмилия,— что никогда не выйду замуж так опрометчиво, как вышли многие на моих глазах. Да и вообще я заявляю раз и навсегда, чтобы прекратить все эти споры о замужестве:

---

[1] «Милая, оставь сомненья» — ария из комической оперы Чимарозы «Тайный брак».

всякий, кто заговорит со мной о браке, будет отныне личным моим врагом и нарушителем моего покоя.

Тут вмешался дядюшка Эмилии, вице-адмирал, недавно присовокупивший к своим капиталам двадцать тысяч франков ренты в связи с законом о возмещении убытков, семидесятилетний старик, который пользовался правом говорить горькие истины своей обожаемой племяннице. Чтобы рассеять неприятный осадок от этого разговора, он воскликнул:

— Оставьте же в покое мою бедную Эмилию! Разве вы не видите, что она дожидается совершеннолетия герцога Бордосского?

Эта шутка вызвала дружный хохот.

— Берегитесь, как бы я не вышла за вас, старый болтун! — отрезала девушка, последние слова которой, по счастью, были заглушены общим шумом.

— Дети мои,— сказала г-жа де Фонтэн, желая смягчить эту дерзость.— Эмилия, так же как и все вы, попросит совета у своей матери

— О господи, в деле, касающемся меня одной, я буду слушаться только одной себя! — громко отчеканила мадемуазель де Фонтэн.

Взоры всех присутствующих обратились к главе семьи. Каждому было любопытно, как он выйдет из положения, чтобы поддержать свое достоинство. Старый вандеец пользовался всеобщим уважением не только в свете,— не в пример многим, менее счастливым отцам, его высоко ставили и в собственной семье, все члены которой с благодарностью признавали его высокие достоинства и заслуги в устройстве благосостояния своих родных; поэтому он был окружен тем глубоким почтением, какое встречается по отношению к старшему представителю генеалогического древа лишь в английских семьях и только в немногих аристократических фамилиях на материке. Воцарилось глубокое молчание, и все сидящие за столом переводили глаза с надутого и дерзкого личика избалованной девушки на суровые лица супругов де Фонтэн.

— Я решил предоставить моей дочери Эмилии право самой распоряжаться своей судьбой,— произнес граф глухим и торжественным голосом.

Родственники и гости взглянули на мадемуазель де

Фонтэн с любопытством, смешанным с жалостью. Слова эти, очевидно, означали, что родительское терпение истощилось в тщетной борьбе с характером Эмилии, который, по мнению всей семьи, был неисправим. Зятья зашептались, а братья насмешливо переглянулись со своими женами. С этой минуты все перестали интересоваться брачными замыслами гордой девицы. Один только старый дядя в качестве бывшего моряка решался лавировать около нее и сносил ее вспышки, бесстрашно отвечая залпом на залп.

После утверждения бюджета вся семья — верный образец парламентских семей, процветающих по ту сторону Ла-Манша, заполнивших все министерства и имеющих каждая десяток голосов в палате общин,— разлетелась на летний сезон, словно стая птиц, по окрестностям Онэ, Антони и Шатнэ. Генеральный сборщик налогов и богач Планà недавно приобрел в этих краях усадьбу для своей жены, наезжавшей в Париж только на время сессий. Как ни презирала прелестная Эмилия низкое происхождение, чувство это не распространялось на те преимущества, которые доставляют буржуазии накопленные ею капиталы, поэтому она соблаговолила сопровождать сестру на ее роскошную виллу, не столько из привязанности к поселившимся там родным, сколько следуя неумолимым правилам хорошего тона, предписывающим всякой уважающей себя женщине на лето покидать Париж. Зеленые луга Со как нельзя лучше отвечали всем требованиям хорошего тона.

Вряд ли слава деревенских балов в Со распространилась за пределы Сенского округа, и поэтому уместно сообщить некоторые подробности об этом еженедельном празднике, давно вошедшем в традицию. Маленький городок Со знаменит своим местоположением и живописными окрестностями. Быть может, в действительности они не представляли ничего замечательного и обязаны своей репутацией только непритязательности парижских буржуа, которые, вырвавшись из каменных гробов, готовы восхищаться даже Босской равниной. Однако, если судить по тому, что в поэтических рощах Онэ, на холмах Антони и в долине Бьевры поселилось немало художников, изъездивших полсвета, несколько иностранцев, людей весьма разборчивых, и множество красивых женщин,

известных своим вкусом, приходится признать, что парижане правы Впрочем, Со обладает еще одной приманкой, не менее привлекательной для парижанина. Посреди парка, откуда развертываются чудесные виды, возвышается обширная, открытая со всех сторон ротонда под огромным легким куполом, покоящимся на стройных колоннах. Под этим огромным сводом находится танцевальный зал. Даже самые чопорные из окрестных помещиков раза два — три в лето приезжают полюбоваться дворцом сельской Терпсихоры — кто блестящими кавалькадами, кто в легких, изящных экипажах, обдавая пылью зазевавшихся пешеходов. Надежда встретить здесь великосветских дам и удостоиться их взгляда, а также гораздо чаще сбывающаяся надежда полюбоваться юными деревенскими плутовками приводят по воскресеньям на бал в Со толпы адвокатских писцов, учеников Эскулапа и юношей, приобретших прозрачную бледность в сыром воздухе парижских лавок. А потому немало мещанских свадеб было решено здесь, под звуки оркестра, восседающего в центре этого круглого зала. Если бы крыша могла говорить, сколько любовных историй рассказала бы она!

Благодаря этой разноликой толпе, прекрасной местности, ротонде, великолепному парку балы в Со таили в себе такие соблазны, каких не могли предложить в то время другие балы в окрестностях Парижа. Эмилия первая выразила охоту пойти «поиграть в простонародье» на этом веселом загородном балу и поразвлечься всласть. Все были удивлены ее желанием потолкаться в толпе; но ведь инкогнито является любимой забавой высоких особ. Мадемуазель де Фонтэн заранее радовалась, представляя себе ужимки местных горожанок, она воображала, что немало мещанских сердец сохранит воспоминание об ее обольстительном взгляде и улыбке, она заранее издевалась над жеманными танцорками и чинила карандаши, рассчитывая обогатить новыми набросками страницы своего сатирического альбома. Никогда еще не ожидала она воскресного дня с таким нетерпением. Общество, решившее почтить праздник своим присутствием, отправилось из усадьбы Планà пешком, чтобы не разоблачать своего высокого положения. Пообедали нарочно пораньше. Месяц май благоприятствовал этой

аристократической затее, подарив путешественникам прекраснейший вечер. Мадемуазель де Фонтэн была поражена, увидев под сводом ротонды среди танцующих кадриль несколько пар, по всей видимости, принадлежавших к хорошему обществу. Правда, она заметила в толпе несколько юношей, которые, вероятно, пожертвовали сбережениями целого месяца, чтобы блеснуть на этом балу, и разгадала тайну многих парочек, в чьей слишком откровенной радости не чувствовалось супружеской скуки; но в итоге урожай оказался не слишком обильным, и ей приходилось выискивать оброненные колоски. Она с изумлением видела, что веселье, одетое в ситец, ничем не отличается от веселья, наряженного в атлас, и что мещане танцуют с такой же грацией, а иногда и лучше, чем дворяне. Туалеты были по большей части скромные и к лицу. Те, кто представлял в этом обществе местных феодалов, то есть богатые крестьяне, держались в своем углу с большим достоинством. Эмилии понадобилось немало усилий, чтобы разобраться в этом разнородном сборище, где оказалось не так-то просто найти повод для насмешек. Однако ей не хватило времени ни для язвительных замечаний, ни для того, чтобы уловить те забавные словечки, которые доставляют радость сатирикам Гордое создание неожиданно встретило на этом пышном лугу некий цветок (сравнение по сезону), великолепие и краски которого подействовали на ее воображение обаянием новизны. Нам нередко случается смотреть на платье, на обои, на лист белой бумаги настолько рассеянно, что мы сразу не замечаем на них пятна или блестящей точки, и только позже они вдруг бросаются нам в глаза, как будто возникли лишь в ту самую минуту, как наш взгляд упал на них. В силу странного психологического явления, довольно схожего с вышеописанным, мадемуазель де Фонтэн внезапно признала в юноше, стоявшем неподалеку от нее, тот самый образец внешних совершенств, о каком мечтала с давних пор.

Она выдвинула один из грубых стульев, составлявших естественную ограду зала, и уселась впереди своих родных, чтобы встать или отойти, когда ей вздумается, наблюдая, точно на выставке в музее, живые картины и группы танцоров; она дерзко наводила лорнет на

чье-нибудь лицо, хотя бы оно находилось совсем рядом, и громко делала замечания, как будто порицала или расхваливала портрет или жанровую сцену. Ее взоры, рассеянно блуждавшие по огромному ожившему полотну, внезапно привлекло лицо юноши, словно нарочно помещенного в углу картины в самом выгодном освещении, как существо особенное, выделяющееся из толпы. Незнакомец, мечтательный и одинокий, прислонился к одной из колонн, поддерживающих купол, и стоял, скрестив руки и чуть подавшись вперед, словно позировал художнику для портрета. Его поза, полная изящества и благородства, казалась совершенно естественной. Он повернулся вполоборота к Эмилии и слегка склонил голову вправо, подобно Александру, подобно лорду Байрону и прочим великим людям, и, тем не менее, ни один жест в нем не указывал, что он стремится привлечь к себе внимание. Его пристальный взгляд, следивший за одной парой, выдавал сильное волнение. Стройный и гибкий стан юноши напоминал дивные пропорции Аполлона. Прекрасные черные волосы вились от природы над его высоким лбом. Мадемуазель де Фонтэн с первого же взгляда заметила, что на нем тонкая сорочка, свежие лайковые перчатки, купленные, несомненно, в хорошем магазине, заметила и небольшую ногу, обутую в изящный сапог ирландской кожи. На нем не было ни одной из тех безвкусных безделушек, какими любят себя украшать бывшие щеголи Национальной гвардии или ловеласы-приказчики. На его жилете безупречного покроя выделялась только черная лента лорнета. Еще никогда разборчивой Эмилии не приходилось видеть глаза, затененные такими длинными и загнутыми ресницами. Печалью и страстью дышало это смуглое мужественное лицо. Улыбка, казалось, вот-вот приподымет уголки красивого рта, выражая, однако, не веселость, а скорее какую-то нежную грусть. За этим челом, за всем необычайным обликом угадывалась слишком одаренная личность, чтобы можно было просто сказать: «Какой красавец!» или «Какой очаровательный юноша!» Хотелось узнать его ближе. Опытный наблюдатель непременно увидел бы в незнакомце человека незаурядного, которого привлекла на этот сельский праздник какая-то особая причина.

На все эти догадки Эмилии понадобилось не более

минуты, и счастливец, подвергнутый столь строгому анализу, был удостоен ее тайного восхищения. Она не подумала: «Он должен быть пэром Франции!», но: «О, если только он дворянин, а это, несомненно, так!..» Не докончив своей мысли, она вдруг встала и в сопровождении брата, генерал-лейтенанта, направилась к колонне, делая вид, что рассматривает веселые фигуры кадрили; но благодаря особой зоркости, присущей женщинам, от ее глаз не укрылось ни одно движение молодого человека, к которому она приближалась. Неизвестный вежливо отошел, чтобы уступить место двум новоприбывшим, и прислонился к соседней колонне. Эмилия почувствовала себя задетой, как будто вежливость незнакомца была величайшей дерзостью, и принялась болтать с братом гораздо громче, чем допускал хороший тон; она вскидывала головку, усиленно жестикулировала и смеялась без особого повода, не столько ради того, чтобы позабавить брата, как для того, чтобы привлечь внимание невозмутимого юноши. Но ни одна из ее уловок не имела успеха. Тогда мадемуазель де Фонтэн проследила направление взгляда молодого человека и угадала причину его безразличия.

Среди пар кадрили неподалеку от них танцевала бледная молодая девушка, напоминавшая тех шотландских богинь, что изобразил Жироде на своей огромной картине «Франкские воины перед Оссианом». Эмилии пришло в голову, что это, должно быть, знатная леди, недавно поселившаяся в соседнем поместье. Ее кавалером был юнец лет пятнадцати, с красными руками, в нанковых панталонах, синем фраке и белых башмаках — очевидно, любовь к танцам делала ее нетребовательной в выборе партнеров. Видимая хрупкость и болезненность не уменьшали ее подвижности; только лицо ее оживилось, и легкий румянец окрасил бледные щеки. Мадемуазель де Фонтэн приблизилась к танцующим, чтобы лучше рассмотреть чужеземку, когда та вернется на свое место, пока ее визави будет повторять исполненную ею фигуру. Но тут к прелестной танцорке подошел незнакомец, наклонился к ней, и любопытной Эмилии удалось отчетливо расслышать следующие слова, произнесенные повелительным и вместе нежным тоном:

— Клара, дитя мое, не танцуйте больше.

Клара сделала было недовольную гримаску, потом кивнула головой в знак повиновения и в конце концов улыбнулась. После кадрили юноша с заботливостью влюбленного укутал плечи девушки кашемировой шалью и усадил ее так, чтобы ее не продуло ветром. Вскоре, заметив, что они поднялись и прогуливаются вдоль ограды, очевидно, собираясь уезжать, мадемуазель де Фонтэн нашла способ последовать за ними под тем предлогом, что желает полюбоваться красотами парка. Ее брат с лукавым добродушием следовал за ней в ее беспорядочной прогулке. И вот Эмилия увидела, как прекрасная пара села в элегантную двуколку, которую сопровождал верховой ливрейный лакей; в ту минуту как молодой человек, уже сидя в коляске, выравнивал вожжи, равнодушно рассматривая толпу, он в первый раз удостоил Эмилию взглядом; после этого она с некоторым удовлетворением увидела, как он обернулся два раза подряд, и юная незнакомка последовала его примеру. Уж не ревнует ли она?

— Надеюсь, ты уже налюбовалась на парк,— сказал ей брат.— Мы можем вернуться в ротонду?

— Охотно,— отвечала она.— Не родственница ли это леди Дэдлей? Как ты думаешь?

— У леди Дэдлей может гостить родственник,— возразил барон де Фонтэн,— но молодая родственница — едва ли!..

На другой день мадемуазель де Фонтэн высказала желание покататься верхом. Она исподволь приучила своего старого дядюшку и братьев сопровождать ее в утренних прогулках, якобы очень полезных для здоровья. Она до странности полюбила окрестности поместья, где проживала леди Дэдлей. Несмотря на все эти кавалерийские маневры, ей пока еще не удалось повстречать незнакомца, на что она надеялась, предпринимая свои экскурсии. Много раз она посещала балы в Со, но не находила там молодого англичанина, словно упавшего с небес, дабы заполнить собою и расцветить ее мечты. Хотя ничто так не подстрекает зарождающуюся любовь молодой девушки, как препятствия, однако бывали минуты, когда мадемуазель де Фонтэн готова была отказаться от своих тайных поисков; она почти отчаялась в успехе предприятия, необычность которого может дать

представление о дерзости ее нрава. И действительно, она могла бы сколько угодно кружить вокруг селения Шатнэ, так и не встретив своего незнакомца, ибо юная Клара — таково было имя, расслышанное мадемуазель де Фонтэн — вовсе не была англичанкой, а тот, кого она считала иностранцем, и не думал проживать в цветущих и благоуханных рощах Шатнэ.

Однажды вечером Эмилия, катаясь верхом с дядюшкой, который с наступлением теплых дней забыл о своей подагре, встретилась с леди Дэдлей. Рядом с прославленной иностранкой в коляске сидел г-н де Ванденес. Эмилия узнала эту красивую пару, и все ее предположения рассеялись, как сон. С чувством досады, которая овладевает всякой женщиной, обманутой в своих ожиданиях, она резко дернула поводья и так разогнала своего коня, что ее дядюшке стоило огромных трудов угнаться за ней.

«Должно быть, я слишком состарился, чтобы понимать двадцатилетних фантазерок,— думал моряк, подымая лошадь в галоп,— или, может быть, нынешняя молодежь не похожа на прежнюю. Но что это с моей племянницей? Теперь она трусит мелкой рысцой, точно жандармский патруль по улицам Парижа. Уж не хочет ли она перерезать дорогу вон тому честному буржуа с альбомом в руках? Он похож на поэта, обдумывающего стихи. Черт возьми, какой же я болван! Да не за этим ли юношей мы охотимся все эти дни?»

При этой мысли старый моряк перевел своего коня на рысь и постарался догнать Эмилию, не привлекая ее внимания. У самого вице-адмирала было на совести немало похождений в 1771 году и позже, в ту эпоху, когда любовные интрижки были у нас в чести, и он сразу понял, что Эмилия совершенно случайно встретила незнакомца, замеченного ею на балу. Хотя зоркость его серых глаз и затуманилась с годами, граф де Кергаруэт сумел прочесть признаки необычайного волнения на лице племянницы, как ни старалась она казаться невозмутимой. Сверкающие взоры девушки в каком-то оцепенении впились в незнакомца, который мирно шагал впереди нее.

«Так и есть! — решил моряк.— Теперь она пойдет за ним на буксире, как торговое судно за корсаром. По-

том, когда он исчезнет из виду, она будет терзаться, не зная, в кого влюбилась и кто он такой — маркиз или мещанин. Право же, молодым ветреницам не мешает иметь под боком старого морского волка вроде меня...»

Внезапно он пустил свою лошадь вскачь, постаравшись увлечь за собой коня племянницы, и с такой быстротой промчался между нею и молодым пешеходом, что вынудил последнего отскочить к зеленому откосу, окаймлявшему дорогу. Круто осадив своего скакуна, граф крикнул:

— Могли бы, кажется, посторониться!

— Ах, простите, сударь,— отвечал незнакомец.— Я и не знал, что мне полагается извиниться за то, что вы чуть не сшибли меня с ног.

— Э, полно болтать, приятель! — резко оборвал его моряк язвительным тоном, в котором звучало что-то оскорбительное.

Тут граф замахнулся хлыстом, как бы намереваясь стегнуть лошадь, и, коснувшись плеча собеседника, проговорил:

— Либеральные буржуа — резонеры, а всякий резонер должен быть благоразумен.

Услышав эту колкость, юноша поднялся на откос дороги; он скрестил руки на груди и ответил с горячностью:

— Сударь, судя по вашим сединам, трудно поверить, что вас все еще привлекают дуэли.

— Сединам? — закричал моряк с возмущением.—Ты нагло лжешь, волосы у меня только с проседью!

Спор, начатый в таком тоне, в несколько секунд принял столь жаркий оборот, что молодой человек перестал сдерживаться. Но граф Кергаруэт, увидев, что его племянница скачет к ним с выражением мучительной тревоги на лице, назвал противнику свое имя и попросил его молчать в присутствии юной особы, доверенной его попечениям. Неизвестный не мог удержаться от улыбки и протянул старому моряку свою визитную карточку, сообщив, что снимает домик в Шеврезе, затем, указав туда дорогу, поспешил удалиться.

— Вы чуть было не искалечили этого несчастного штафирку, племянница,— сказал граф, поворачивая навстречу Эмилии.— Разве вы разучились держать коня

в узде? Вы предоставили мне одному заглаживать ваши безумства, подвергая риску мое достоинство; между тем будь вы здесь, одного вашего взгляда или приветливого слова — а ведь вы умеете быть любезной, когда не дерзите,— было бы достаточно, чтобы все уладить, даже если бы по вашей милости он сломал себе руку.

— Ах, милый дядя, во всем виновата ваша лошадь, а вовсе не моя. Право, мне кажется, что вам становится трудно ездить верхом, вы уже не такой лихой наездник, как в прежние годы. Но вместо того чтобы болтать пустяки...

— Черта с два! Пустяки! Разве это пустяк нагрубить своему дяде?

— Может быть, нам следует узнать, не ранен ли этот молодой человек? Ведь он хромает, дядя, посмотрите же.

— Да нет, он несется на всех парусах. Ну и здорово же я его отчитал!

— Ах, дядюшка, узнаю вас!

— Стой, племянница,— сказал граф, схватив под уздцы коня Эмилии.— Я не вижу надобности заискивать перед каким-то лавочником, который должен быть только польщен, что его сшибла с ног очаровательная барышня или командир корабля «Бель-Пуль».

— Почему вы думаете, что он из простых, милый дядя? Мне показалось, что у него прекрасные манеры.

— Нынче у всех хорошие манеры, племянница.

— Нет, дядюшка, далеко не у всех такой вид и обращение, это приобретается только в свете; и я готова держать пари, что этот юноша — дворянин.

— Да у вас и времени-то не было рассмотреть его как следует.

— Но я уже не в первый раз его вижу.

— И уже не в первый раз за ним охотитесь! — со смехом отпарировал адмирал.

Эмилия покраснела; дядя, вдоволь насладившись ее замешательством, сказал наконец:

— Эмилия, вы знаете, я люблю вас, как родную дочь, особенно за то, что вы единственная из всей семьи сохранили вполне законную гордость, которая оправдана высоким рождением. Черт побери, племянница, кто бы мог подумать, что добрые правила станут такой ред-

«ВЕНДЕТТА»

«ПОБОЧНАЯ СЕМЬЯ».

костью? Ну так вот, я хочу быть доверенным ваших тайн. Милая крошка, я вижу, что этот юный дворянин вам не безразличен. Тсс! Домашние будут издеваться над нами, если мы отчалим под пиратским флагом. Вы понимаете, что это значит. Так позвольте же мне прийти вам на помощь, племянница. Будем оба хранить нашу тайну, и я обещаю привести его к нам в гостиную.

— Когда же, дядя?

— Завтра.

— Но, милый дядюшка, надеюсь, это меня ни к чему не обяжет?

— Решительно ни к чему. В вашей воле обстрелять его, поджечь или даже потопить, как старое, негодное судно. Ведь вам это не впервые, сознайтесь?

— До чего же вы добры, дядюшка!

Приехав домой, граф тотчас надел очки, потихоньку вытащил из кармана визитную карточку и прочел: *Максимилиан Лонгвиль, улица Сантье.*

— Будьте спокойны, дорогая племянница,— сказал он Эмилии,— вы можете взять его на абордаж со спокойной совестью: он принадлежит к древнему историческому роду, и если он не пэр Франции, то непременно им будет.

— Откуда вам это известно?

— Это моя тайна.

— Значит, вы знаете, как его зовут?

Граф молча кивнул; его седовласая голова напоминала вершину старого дуба, на которой еще осталось несколько листочков, свернувшихся от осенней стужи; обрадованная Эмилия решила в сотый раз испытать на нем неотразимое могущество своего кокетства. Она в совершенстве владела искусством обольщать старого дядюшку; расточая ему самые трогательные ласки, самые нежные слова, она снизошла даже до поцелуев, чтобы только добиться от него разоблачения важной тайны. Но старик, который постоянно заставлял племянницу разыгрывать подобные сцены и обычно вознаграждал ее то новой драгоценностью, то ложей в Итальянской опере, теперь остался глух к ее просьбам и даже ласкам. Так как на сей раз он слишком долго злоупотреблял этим удовольствием, Эмилия рассердилась, перешла от ласк к насмешкам и надулась, потом смирилась, одолеваемая

любопытством. Хитрый моряк добился от племянницы торжественного обещания быть на будущее время сдержаннее, мягче, менее своенравной, тратить меньше денег, а главное, обо всем с ним советоваться. Когда договор был заключен и скреплен поцелуем, запечатленным на белоснежном лбу Эмилии, старик увел ее в уголок гостиной, усадил к себе на колени, зажал визитную карточку в руке и, приоткрывая букву за буквой, дал прочесть фамилию ЛОНГВИЛЬ, но ни за что не согласился показать адрес. Это происшествие еще более усилило тайную любовь мадемуазель де Фонтэн, и в воображении ее почти всю ночь развертывались самые блистательные картины, самые радужные надежды, которые она лелеяла в своих мечтах. Наконец-то благодаря долгожданному случаю Эмилия впервые видела не химеры, а нечто реальное у источника всех тех великолепий, какими она мысленно украшала свою будущую брачную жизнь. Подобно всем юным существам, не ведающим горестей любви и супружества, она увлеклась обманчивой внешней стороной супружества и любви. Чувство ее зародилось, как зарождаются почти все прихоти юности, сладкие и жестокие заблуждения, оказывающие столь роковое влияние на судьбу молодых девушек, еще недостаточно опытных, чтобы самим заботиться о своем будущем счастье. На другое утро, пока Эмилия еще спала, ее дядя поспешил в Шеврез. Заметив в саду изящного загородного домика юношу, которого он так грубо оскорбил накануне, моряк подошел к нему с изысканной любезностью, отличающей вельмож старого времени.

— Ах, сударь мой, кто бы мог подумать, что я, дожив до семидесяти трех лет, затею ссору с сыном или внуком одного из лучших моих друзей? Я вице-адмирал, сударь. Не стоит и говорить, что подраться на дуэли для меня такой же пустяк, как выкурить сигару. В мое время молодые люди становились приятелями не иначе, как пролив кровь друг друга. Но — тысяча чертей! — вчера я в качестве старого моряка погрузил на борт слишком много рому и наскочил на вас. По рукам! Я предпочитаю проглотить сотню колкостей от одного из Лонгвилей, чем причинить малейшую неприятность его семье.

Как ни старался юноша выказать холодность графу

Кергаруэту, он не мог устоять против чистосердечного добродушия и охотно пожал ему руку.

— Вы собираетесь ехать верхом,— сказал граф.— Пожалуйста, не хочу вас стеснять. Но если у вас нет никаких определенных планов, едемте со мной, я приглашаю вас отобедать сегодня в нашей усадьбе. С таким человеком, как мой шурин, граф де Фонтэн, стоит познакомиться. Э, черт возьми, я надеюсь загладить свою грубость, представив вас пятерым красивейшим женщинам Парижа. Ага, юноша, ваш нахмуренный лоб разгладился! Люблю молодых людей, люблю видеть счастливый блеск их глаз! Их счастье напоминает мне благословенные годы моей юности, когда не было недостатка ни в любовных приключениях, ни в дуэлях. Как веселились в ту пору! Теперь же вы, юные старички, любите рассуждать и тревожиться по пустякам, как будто у нас не было ни пятнадцатого, ни шестнадцатого века.

— Но, сударь, разве мы не правы? Шестнадцатый век принес Европе только свободу религиозную, а девятнадцатый даст ей свободу полити...

— Ох, не будем говорить о политике. Я ведь тупоумный ультрароялист. Но я не препятствую молодым людям быть революционерами, лишь бы они предоставили королю свободу разгонять их сборища.

Проехав несколько шагов, граф со своим юным спутником оказались в чаще леса. Тут старый моряк выбрал молодую тонкую березку, остановил лошадь, поднял пистолет и всадил пулю в самую середину ствола на расстоянии пятнадцати шагов.

— Вы сами убедились, мой друг, что мне нечего бояться дуэли,— сказал он, глядя на Лонгвиля с комичной важностью.

— Так же, как и мне,— возразил Лонгвиль, затем зарядил пистолет, прицелился и всадил свою пулю совсем рядом с отверстием, пробитым пулей графа.

— Вот это я называю хорошо воспитанный юноша!— воскликнул моряк в восторге.

Во время прогулки граф уже начал смотреть на своего спутника как на будущего племянника и нашел множество поводов расспросить о всевозможных мелочах, которые, по его понятиям, необходимо было знать настоящему дворянину.

— Есть у вас долги? — спросил он наконец у своего спутника в заключение беседы.

— Нет, сударь.

— Как? Вы оплачиваете наличными все, что вам поставляют?

— Аккуратно оплачиваем, сударь: иначе мы потеряли бы кредит и всеобщее уважение.

— Но у вас по крайней мере есть любовница? Ага, вы краснеете, приятель!.. Нравы сильно изменились. Все эти нынешние идеи правопорядка, кантианства и свободы испортили молодежь. У вас нет ни красавицы Гимар, ни Дютэ, ни кредиторов, и вы не знаете геральдики. Ах, юный друг, да вы еще не обтесались! Знайте, кто не совершал безрассудств в дни весны, тот совершает их в зимнюю пору. Если в семьдесят лет у меня восемьдесят тысяч франков ренты, значит, в тридцать лет я промотал целое состояние. Конечно, самым благородным образом, вместе с моей женой. Тем не менее ваши недостатки не помешают мне ввести вас в усадьбу Планá. Помните, вы обещали туда явиться, и я буду вас ждать.

«Какой чудак старикашка,— подумал молодой Лонгвиль.— Он весельчак и забавник, но, хоть и притворяется добрым малым, я бы ему не доверился».

На следующий день около четырех часов, когда обитатели усадьбы Планá частью разбрелись по гостиным, частью играли на бильярде, лакей торжественно доложил: «Господин де Лонгвиль». При имени нового любимца графа Кергаруэта сбежались все, даже только что промахнувшийся игрок на бильярде,— отчасти для того, чтобы посмотреть, как будет себя держать мадемуазель де Фонтэн, отчасти затем, чтобы полюбоваться чудом в человеческом образе, удостоившимся, в посрамление стольким соперникам, ее похвального отзыва. Элегантный и вместе с тем скромный костюм, непринужденные манеры, вежливое обхождение, приятный голос задушевного тембра снискали г-ну Лонгвилю благоволение всей семьи. Его, видимо, нисколько не поразила роскошь обстановки тщеславного сборщика налогов. Хотя он вел обычный светский разговор, было заметно, что он получил блестящее образование и что знания его столь же основательны, как и разносторонни. Он так

удачно подыскал подходящий термин в довольно поверхностном споре о кораблестроении, затеянном старым моряком, что одна из дам высказала предположение, не окончил ли он Политехническое училище.

— Мне кажется, сударыня, и поступить туда уже большая честь,— отвечал он.

Несмотря на настоятельные просьбы отобедать, он вежливо, но решительно отказался и положил конец уговорам дам, заявив, что выполняет обязанности Гиппократа при своей младшей сестре, слабое здоровье которой требует неусыпных забот.

— Вы, вероятно, врач? — насмешливо спросила одна из невесток Эмилии.

— Да нет же, господин Лонгвиль окончил Политехническое училище,— ласково возразила мадемуазель де Фонтэн, лицо которой вспыхнуло ярким румянцем, лишь только она узнала, что молодая девушка, танцевавшая на балу, приходится ее избраннику сестрой.

— Но, милочка, можно быть врачом и одновременно учиться в Политехническом училище. Не правда ли, сударь?

— Ничто не препятствует этому, сударыня,— отвечал юноша.

Все взоры обратились к Эмилии, смотревшей на обольстительного незнакомца с каким-то тревожным любопытством. Она с облегчением вздохнула, когда тот прибавил с улыбкой:

— Я не имею чести быть врачом, сударыня, и в свое время отказался поступить на службу в ведомство путей сообщения, желая сохранить свою независимость.

— И хорошо сделали,— сказал граф.— Но как можете вы считать почетным ремесло врача? — добавил высокородный бретонец.— Ах, юный друг мой, для человека вашего круга...

— Граф, я бесконечно уважаю всякое занятие, имеющее целью общественную пользу.

— Что ж, мы с вами столкуемся: мне кажется, вы уважаете эти профессии, как юноши уважают богатых вдов.

Визит г-на Лонгвиля был ни слишком продолжительным, ни слишком кратким. Гость откланялся в тот самый момент, когда заметил, что понравился всем

присутствующим и сумел возбудить любопытство каждого.

— Ну и хитрый малый! — объявил граф, возвратившись в гостиную, после того как проводил гостя.

Мадемуазель де Фонтэн, единственная посвященная в тайну этого визита, оделась как можно изысканнее, чтобы привлечь взоры молодого человека, и была слегка огорчена, что он не уделил ей того внимания, какого она, по ее мнению, заслуживала. Все домашние были удивлены упорным молчанием Эмилии. Обычно она старалась ослепить новых знакомцев своим кокетством, остроумной болтовней и неистощимым красноречием взглядов и поз. Потому ли, что мелодичный голос юноши и приятность его обхождения обворожили ее, потому ли, что она полюбила по-настоящему и это чувство произвело в ней перемену, только все ее жеманство пропало. Став простой и естественной, она, разумеется, стала еще прекраснее. Ее сестры и одна пожилая дама, друг семьи де Фонтэнов, приняли такое поведение за утонченное кокетство. Они решили, что, сочтя молодого человека достойным себя, Эмилия намеревалась лишь постепенно обнаружить перед ним свои совершенства, чтобы затем ослепить его внезапно, как только она ему понравится. Всем членам семьи было крайне любопытно узнать, что думает о незнакомце эта своенравная девица; однако за обедом, в то время как каждый наперерыв старался наделить г-на Лонгвиля новыми достоинствами, предполагая, что открыл их первым, мадемуазель де Фонтэн все еще оставалась безмолвной; добродушная насмешка дядюшки пробудила ее вдруг от задумчивости, и она заявила довольно язвительным тоном, что под такими небесными совершенствами должен непременно таиться какой-нибудь крупный недостаток и что она поостережется судить с первого взгляда о таком слишком уж обходительном человеке.

— Тот, кто нравится всем, в сущности, не нравится никому,— добавила она.— Самый худший изо всех недостатков — это не иметь их вовсе.

Подобно всем влюбленным девушкам, Эмилия обольщала себя надеждой скрыть свое чувство в глубине сердца и ввести в заблуждение окружающих ее аргусов; однако недели через две не осталось ни одного из чле-

нов многочисленного семейства, не посвященного в эту маленькую домашнюю тайну. При третьем посещении г-на Лонгвиля Эмилии показалось, что он приходит главным образом ради нее. Такое открытие доставило ей столь бурную радость, что она сама была поражена, осознав это. Привыкнув считать себя центром мироздания, она вдруг принуждена была признать некую силу, увлекавшую ее за пределы ее орбиты; она попробовала возмутиться, но не в силах была изгнать из своего сердца пленительный образ юноши. Вскоре за тем начались волнения и тревоги. Лонгвиль отличался двумя качествами, крайне неудобными для всеобщего любопытства и в особенности для любопытства Эмилии,— а именно сдержанностью и скромностью. Все тонкие уловки, применяемые Эмилией во время разговора, и все западни, расставляемые ею с целью выспросить у молодого человека подробности о нем самом, он обходил с ловкостью дипломата, не желающего открыть своей тайны. Заводила ли она разговор о живописи, Лонгвиль отвечал как знаток. Садилась ли она за фортепьяно, юноша без всякого хвастовства доказывал, что одарен недюжинным музыкальным талантом. Однажды вечером он привел все общество в восхищение, присоединив свой чудный голос к голосу Эмилии в одном из прекраснейших дуэтов Чимарозы; но когда кто-то осведомился, не артист ли он, он отшутился с таким изяществом, что ни одной из дам, как ни изощрены они были в умении читать в сердцах, не удалось выяснить, к какому кругу общества он принадлежит. Как ни старался отважный старый моряк взять это судно на абордаж, Лонгвиль ловко увертывался, желая сохранить все очарование тайны; ему тем легче удавалось оставаться прекрасным незнакомцем в усадьбе Плана́, что любопытство никогда не преступало там границ вежливости. Эмилия, встревоженная такой скрытностью, возмечтала, что сможет больше узнать от сестры, чем от брата. При поддержке дядюшки, столь же искушенного в светских маневрах, как и в маневрах флота, она сделала попытку вывести на сцену новое действующее лицо, до сих пор безмолвное: мадемуазель Клару Лонгвиль. Вскоре все обитатели усадьбы выразили горячее желание познакомиться с такой прелестной особой и развлечь ее. Было

передано и принято приглашение на бал в семейном кругу. Женщины не теряли надежды заставить разговориться шестнадцатилетнюю девушку.

Несмотря на небольшие тучки, принесенные неудовлетворенным любопытством и скопившиеся под влиянием подозрений, душа мадемуазель де Фонтэн утопала в ярком сиянии, и она радостно наслаждалась жизнью, думая теперь не только о самой себе: она начинала считаться с интересами других. Потому ли, что счастье делает нас добрее, потому ли, что Эмилия была слишком занята, чтобы мучить близких, но она стала менее язвительной, более терпимой, более мягкой. Удивленные родственники не могли нарадоваться перемене в ее характере. Быть может, ее эгоизм просто перерождался в любовь. Поджидать прихода своего робкого и тайного обожателя доставляло ей глубокую радость. Хотя между ними не было произнесено ни одного слова любви, она знала, что любима; и с каким же искусством умела она заставить юношу раскрывать перед ней все сокровища его необычайно разносторонних знаний. Она заметила, что ее тоже внимательно изучают, и пыталась побороть недостатки, привитые ей воспитанием. Не было ли это первой данью, принесенной любви, и жестоким упреком по отношению к самой себе? Она желала понравиться — и обворожила; она полюбила — и стала предметом обожания. Родители, зная, что ее надежно охраняет собственная гордыня, предоставляли ей полную свободу наслаждаться маленькими невинными радостями, придающими такое нежное очарование первой любви. Не раз случалось, что Максимилиан и мадемуазель де Фонтэн гуляли вдвоем по аллеям парка, где природа была нарядной, словно женщина в бальном уборе. Не раз вели они те бесцельные и бессвязные беседы, где в самых пустых по смыслу фразах скрывается самое глубокое чувство. Часто они вместе любовались солнечным закатом и его пышными красками. Они собирали маргаритки, обрывали с них лепестки и распевали самые страстные дуэты, пользуясь созданными Перголезе или Россини мелодиями как верными посредниками для передачи своих тайн.

Наступил день бала. Клара Лонгвиль и ее брат, к фамилии которых лакеи упрямо добавляли дворянскую частицу «де», были героями празднества. В первый раз

в жизни мадемуазель де Фонтэн с удовольствием следила за блестящим успехом другой девушки. Она искренне расточала Кларе нежные ласки и те мелкие знаки внимания, которыми обычно женщины обмениваются лишь для того, чтобы вызвать ревность мужчин. Но у Эмилии была иная цель: она хотела выведать тайну. Однако шестнадцатилетняя мадемуазель Лонгвиль проявила еще больше тонкости и находчивости, нежели ее брат; она даже не казалась скрытной, но ловко умела переводить разговор на темы, чуждые материальным интересам, внося в свои речи столько очарования, что мадемуазель де Фонтэн почувствовала к ней нечто вроде зависти и прозвала ее «сиреной». Эмилия замышляла заставить Клару разговориться, а на деле Клара выспрашивала ее; Эмилия хотела разгадать Клару — и была сама ею разгадана. Эмилия часто досадовала, что обнаружила свой характер несколькими необдуманными словами, которые лукаво вырвала у нее Клара, хотя скромный и невинный вид этой юной девушки рассеивал всякое подозрение в коварстве. Настала минута, когда мадемуазель де Фонтэн пришлось горько раскаяться в неосторожном выпаде против людей низкого происхождения, на что ее подстрекнула Клара.

— Мадемуазель,— обратилось к ней обоворожительное создание,— я столько слышала про вас от Максимилиана, что из привязанности к нему испытывала живейшее желание вас узнать; а пожелать вас узнать — не значит ли желать вас полюбить?

— Дорогая Клара, я боялась, что вам не понравятся мои суждения о людях незнатного рода.

— О, не беспокойтесь. В наше время подобные споры лишены всякого смысла. Меня лично они не задевают: я вне этого.

Как ни высокомерен был этот ответ, он доставил мадемуазель де Фонтэн живейшую радость; подобно всем страстным натурам, она истолковала его, как толкуют оракула,— то есть в том смысле, какой наиболее согласовался с ее желаниями,— и возвратилась к танцам в самом радужном настроении, любуясь Лонгвилем, внешность и изящество которого, пожалуй, даже превосходили совершенства созданного ею идеала. Она испытывала удовлетворение от мысли, что он дворянин; ее чер-

ные глаза сверкали, она танцевала с тем упоением, какое испытываешь близ любимого существа. Никогда еще между влюбленными не было такого взаимного понимания, как в эту минуту; не раз, когда законы контрданса сочетали их, чувствовали они трепет и дрожь в кончиках пальцев.

Прелестная пара провела все лето среди сельских празднеств и увеселений, незаметно отдаваясь чувству, самому сладостному в жизни, скрепляя его множеством разных пустяков, понятных всякому,— ведь все любовные истории более или менее похожи одна на другую. Оба они изучали друг друга, насколько можно изучить, когда любишь.

— Никогда еще любовное приключение не вело таким быстрым шагом к браку по любви,— говорил старый дядя, наблюдавший за молодыми людьми с тем же вниманием, с каким естествоиспытатель рассматривает в микроскоп каких-нибудь насекомых.

Эти слова напугали супругов де Фонтэн. Старый вандеец перестал относиться к замужеству дочери так безразлично, как некогда ей обещал. Он отправился в Париж навести справки, но ничего не узнал. Обеспокоенный такой таинственностью и не зная еще, каковы будут результаты расследования о семье Лонгвилей, порученного им одному парижскому должностному лицу, он счел своей обязанностью предупредить дочь, чтобы она вела себя осмотрительнее. Эмилия выслушала отцовское предостережение с притворной покорностью, полной иронии.

— По крайней мере, дорогая Эмилия, если ты любишь его, не признавайся ему!

— Да, батюшка, я люблю его, это правда, но я подожду вашего разрешения, чтобы сказать ему об этом.

— Однако подумай, Эмилия, ты же еще ничего не знаешь ни о его семье, ни о его положении.

— Если и не знаю, то лишь потому, что не хочу знать. Но, батюшка, ведь вы сами выразили желание видеть меня замужем, вы предоставили мне свободу выбора. Мой выбор сделан бесповоротно, чего же еще надо?

— Надо узнать, милое дитя, действительно ли твой избранник сын пэра Франции,— насмешливо отвечал почтенный дворянин.

Эмилия помолчала с минуту. Затем подняла голову,

взглянула на отца и спросила с некоторым беспокойством:

— Разве род Лонгвилей...

— Их род угас в лице старого герцога де Ростен-Лембур, погибшего на эшафоте в 1793 году. Он был последним отпрыском последней младшей ветви.

— Но, отец, бывают весьма почтенные семьи, происходящие от побочной линии. В истории Франции немало принцев, у которых на гербе стояла косая полоса.

— Твой образ мыслей сильно переменился,— с улыбкой заметил старый дворянин.

Следующий день был последним, который семья Фонтэнов проводила в усадьбе Плана́. Эмилия, сильно встревоженная словами отца, с живейшим нетерпением ждала часа, когда обычно приходил молодой Лонгвиль, надеясь добиться у него решительного слова. После обеда она вышла и углубилась в парк, направляясь к «роще признаний», где, как она знала, будет ее искать нетерпеливый юноша; и, спеша туда, она раздумывала, каким образом, не выдавая себя, выпытать столь важную для нее тайну. Задача довольно трудная! До сих пор чувство, соединявшее ее с этим незнакомцем, не было подтверждено открытым признанием. Так же как и Максимилиан, она втайне упивалась сладостью первой любви, но каждый из них, не уступая другому в гордости, как будто страшился признаться, что любит.

Максимилиан Лонгвиль, обеспокоенный довольно основательными подозрениями Клары относительно характера Эмилии, то поддавался порывам юношеской страсти, то колебался, желая узнать и испытать женщину, которой собирался вверить свое счастье. Влюбленность не мешала ему разгадать ложные предрассудки Эмилии, портившие эту юную натуру; но он хотел знать, любим ли он, прежде чем вступить с нею в борьбу, ибо не желал рисковать ни любовью своей, ни своим будущим. Поэтому он упорно хранил молчание, которое, однако, опровергали его пылкие взгляды, его обращение и все его поступки. С другой стороны, естественная девичья гордость, еще усугубленная у мадемуазель де Фонтэн нелепым чванством своей знатностью и красотой, препятствовала ей первой сказать слово любви, а все возрастающая страсть порою побуждала ее добиваться при-

знания юноши. Таким образом, оба влюбленных чутьем понимали состояние друг друга, не открывая своих тайных опасений. В иные моменты жизни молодым существам нравится неопределенность. Именно потому, что и она и он слишком долго медлили заговорить, оба как будто обратили это ожидание в жестокую игру. Максимилиан решил, что он удостоверится в ее любви по тому усилию, какого будет стоить признание его гордой возлюбленной; Эмилия надеялась, что он с минуты на минуту нарушит свое слишком почтительное молчание.

Сидя на деревянной скамье, Эмилия размышляла обо всем, что произошло за эти три месяца, полных очарования. Подозрения отца меньше всего способны были затронуть ее, она даже пыталась опровергнуть их разными доводами, которые ей, неопытной девушке, представлялись убедительными. Прежде всего она не допускала и мысли, что ошиблась в своем избраннике. За все лето она не могла не подметить у Максимилиана ни одного жеста, ни одного слова, обличавшего в нем низкое происхождение или профессию; больше того, его манера спорить обнаруживала человека, занятого высшими государственными интересами.

«К тому же,— думала она,— откуда чиновнику, банковскому служащему или коммерсанту взять столько досуга, чтобы жить целое лето среди полей и лесов, чтобы ухаживать за мной, располагая своим временем так же свободно, как дворянин, которому вся жизнь впереди обеспечена?»

Она предалась мечтам, гораздо более увлекательным, нежели эти соображения, как вдруг легкий шорох листьев возвестил, что уже несколько минут за ней и, конечно, с восхищением наблюдает Максимилиан.

— Разве вы не знаете, что подглядывать за девушками очень дурно? — сказала она, улыбаясь.

— Особенно, когда они углублены в свои тайны,— лукаво отвечал Максимилиан.

— Почему бы мне не иметь тайн? Ведь у вас же они есть?

— Так вы и в самом деле думали о своих тайнах? — продолжал он, смеясь.

— Нет, я думала о ваших. Свои-то я знаю.

— Но, быть может,— тихо спросил юноша, взяв под

руку мадемуазель де Фонтэн,— быть может, мои тайны те же, что ваши, а ваши — те же, что мои?

Пройдя несколько шагов, они очутились в роще, окутанной в закатных лучах золотисто-красной дымкой. Волшебство природы придавало особую торжественность этой минуте. Непринужденное и свободное обращение юноши, а также бурное волнение его сердца, передававшееся руке Эмилии учащенным биением пульса, привели ее в восторженное состояние, тем более упоительное, что вызвано оно было самым простым и невинным поводом. Строгая сдержанность, в которой воспитываются девушки высшего круга, придает необычайную силу вспышкам их чувства, и здесь-то их подстерегает грозная опасность, если на их пути встретится пылкий влюбленный. Впервые Эмилия и Максимилиан прочли во взорах друг друга столько признаний, не изъяснимых словами! Поддавшись увлечению, они легко позабыли мелочные требования гордости и холодные предостережения рассудка. Первые минуты они молчали, и только красноречивое пожатие рук выдавало их сладостные мысли.

— Сударь, мне надо задать вам один вопрос,— дрожащим голосом, взволнованно промолвила мадемуазель де Фонтэн, нарочно замедлив шаг.— Но поймите, бога ради, что он подсказан мне тем странным положением, в какое я поставлена перед моей семьей.

Ужасное для Эмилии молчание наступило после этих слов, которые она пролепетала, почти заикаясь. Гордая девушка не могла выдержать сверкающего взгляда любимого человека, так как смутно почувствовала всю низость вопроса, который готовилась задать.

— Вы дворянин?

Произнеся эти слова, она готова была провалиться сквозь землю.

— Мадемуазель,— торжественно произнес Лонгвиль с выражением, полным сурового достоинства,— обещаю вам сказать всю правду, если вы искренне ответите на мой вопрос.

Он выпустил руку девушки, которая вдруг почувствовала себя одинокой в целом свете, и сказал:

— Ради чего вы спрашиваете меня о моем происхождении?

Она стояла неподвижная, застывшая и безмолвная.

— Мадемуазель,— продолжал Максимилиан,— нам лучше покончить на этом, раз мы не понимаем друг друга. Я люблю вас,— прибавил он глухим и растроганным голосом.— Ну вот видите! — сказал он весело, услышав радостное восклицание, невольно сорвавшееся с губ девушки.— Зачем же вы спрашиваете, дворянин ли я?

«Разве мог бы он так говорить, если бы не был дворянином?» — подсказал Эмилии внутренний голос, который словно шел из самых глубин ее души. Она грациозно вскинула головку, как будто почерпнув новые силы во взгляде юноши, и протянула ему руку в знак сердечного согласия.

— А вы думали, что я так уж дорожу высоким званием? — спросила она с тонким лукавством.

— У меня нет титула, который я мог бы предложить моей жене,— отвечал он не то шутливо, не то серьезно.— Но если я выберу девушку из знатной семьи, с детства привыкшую к роскоши и утехам богатства, я знаю, к чему обязывает меня такой выбор. Любовь дарует все,— прибавил он весело,— но только любовникам. Супругам же нужно нечто более существенное, чем купол небес и ковер лугов.

«Он богат,— подумала она,— а что до титула, должно быть, он просто хочет испытать меня! Вероятно, ему сказали, что я помешана на знатности и решила выйти только за пэра Франции. Мои кривляки-сестры вполне могли сыграть со мной такую шутку».

— Уверяю вас, сударь,— сказала она вслух,— у меня были превратные представления о жизни и свете; но теперь,— продолжала она, глядя на него с таким выражением, что чуть не свела его с ума,— теперь я знаю, в чем заключаются истинные сокровища.

— Я жажду верить, что вы говорите от чистого сердца,— ответил он с ласковой серьезностью.— Дорогая Эмилия, этой зимой, меньше чем через два месяца, я буду горд тем, что смогу предложить вам, если вы дорожите преимуществами богатства. Это единственная тайна, какую я сохраню здесь,— сказал он, указывая на сердце,— ибо от успеха ее зависит мое счастье, я не смею назвать его нашим.

— Ах, назовите, назовите!

Беседуя самым нежным образом, они медленно воз-

вратились в гостиную и присоединились к остальным. Никогда еще мадемуазель де Фонтэн не находила своего избранника таким очаровательным и остроумным; его стройная фигура, его любезные манеры казались ей еще привлекательнее после недавнего их разговора, подтвердившего, что она завладела сердцем, достойным зависти всех женщин. Они спели итальянский дуэт с таким чувством, что слушатели наградили их восторженными аплодисментами. Они распрощались с таинственным и многозначительным видом, тщетно пытаясь скрыть свое счастье. Словом, в этот день девушка почувствовала, что какая-то цепь еще теснее связала ее судьбу с судьбой незнакомца. Твердость и достоинство, проявленные им во время объяснения, когда они открылись друг другу в своих чувствах, внушили мадемуазель де Фонтэн то уважение, без какого немыслима истинная любовь. Когда они с отцом остались в гостиной одни, почтенный вандеец подошел к ней, нежно взял ее за руки и спросил, удалось ли ей что-либо выяснить относительно состояния и семьи г-на Лонгвиля.

— Да, дорогой батюшка,— отвечала она,— я счастливее, чем могла надеяться. Словом, господин Лонгвиль — единственный, за кого я хотела бы выйти замуж.

— Хорошо, Эмилия,— промолвил граф,— теперь я знаю, что мне делать.

— Разве вы имеете в виду какое-нибудь препятствие? — спросила она с искренней тревогой.

— Милое дитя, этот молодой человек нам совершенно неизвестен. Но если ты его любишь, он будет мне дорог, как родной сын, лишь бы он не оказался бесчестным человеком.

— Бесчестным человеком! — воскликнула Эмилия.— На этот счет я совершенно спокойна. Дядюшка, который представил его нам, может за него поручиться. Скажите же, дядюшка, был ли он когда-нибудь морским разбойником, пиратом или корсаром?

— Так я и знал, что меня ввяжут в эту историю! — вскричал старый моряк со смехом.

Он оглянулся кругом, но племянница его уже упорхнула из гостиной, словно блуждающий огонек, как он имел обыкновение говорить.

— Что же это, дядя? — обратился к нему г-н Фон-

тэн.— Как вы могли скрывать от нас, что вам известно об этом юноше? Вы же видели, как мы все беспокоимся. Господин Лонгвиль действительно из хорошей семьи?

— Я не знаю его рода ни со стороны Евы, ни со стороны Адама! — воскликнул граф де Кергаруэт.— Доверившись выбору этой ветреной девчонки, я привел к ней ее Сен-Пре; а как мне это удалось — мое дело. Я знаю только, что этот молодец великолепно стреляет из пистолета, прекрасный охотник, чудесно играет на бильярде, в шахматы и в триктрак; он фехтует и ездит верхом не хуже покойного шевалье Сен-Жоржа. Он знает толк в отечественных винах. Он вычисляет, как Барем, искусно рисует, танцует и поет. Какого черта вам еще нужно? Если уж он не настоящий дворянин, то покажите мне буржуа, который бы обладал всеми этими совершенствами, найдите мне человека, кто бы держал себя с таким благородством! Разве у него есть какое-нибудь занятие? Разве он роняет свое достоинство, бегая по канцеляриям, разве гнет спину перед выскочками, которых вы величаете главноуправляющими? Он ведет себя безукоризненно. Это настоящий мужчина. Да вот, кстати, я нашел у себя в жилетном кармане визитную карточку, он дал ее мне, решив, что я хочу отправить его на тот свет, бедный простофиля! Нынешняя молодежь не больно-то хитра... Вот, смотрите.

— Улица Сантье, дом номер пять,— произнес г-н де Фонтэн, стараясь припомнить, какое из полученных им сведений могло относиться к юному незнакомцу.— Что бы это значило, черт возьми? Там ведь помещается контора Пальма́, Вербруст и Компания, они ведут оптовую торговлю кисеей, коленкором и набойкой. Ага, все ясно! Депутат Лонгвиль имеет долю в их предприятии. Все это так, но я знаю только одного сына Лонгвиля, ему тридцать два года, и он совсем не похож на нашего; тому отец выделил пятьдесят тысяч франков ренты, чтобы он мог жениться на дочери министра; отец надеется получить звание пэра, как и всякий другой. Я никогда не слыхал от него об этом Максимилиане. Да и есть ли у него дочь? Кто такая эта Клара? Впрочем, почему бы любому проходимцу не присвоить себе имя Лонгвиля? Но фирма Пальма̀, Вербруст и Компания, сколько по-

мнится, наполовину разорена какой-то спекуляцией не то в Мексике, не то в Индии. Я все это выясню.

— Ты говоришь сам с собой, точно ты на сцене, а меня не принимаешь в расчет! — вдруг вмешался старый моряк.— Разве ты не знаешь, что у меня хватит мешков в трюме, чтобы восполнить недостаток его состояния, если только он дворянин?

— Ну, если он действительно сын Лонгвиля, он ни в чем не нуждается. Однако,— добавил г-н де Фонтэн, покачав головой,— его отец даже не покупал себе дворянства. До революции он был прокурором, и частица «де», присвоенная им после Реставрации, принадлежит ему с тем же правом, как и половина его состояния.

— Ба! Ба! Да здравствуют те, чьи отцы были повешены! — весело воскликнул моряк.

Спустя три—четыре дня после этого достопамятного разговора, в прекрасное ноябрьское утро, когда взоры парижан радует вид бульваров, посеребренных игли-стым инеем первой изморози, мадемуазель де Фонтэн в новой шубке, фасон которой она намеревалась ввести в моду, выехала на прогулку со своими невестками, столько терпевшими в свое время от ее насмешек. Три дамы решили прокатиться по Парижу не столько из желания обновить элегантную коляску и туалеты, которые должны были задать тон модам зимнего сезона, сколько горя нетерпением посмотреть изящную пелерину,— ее заметила одна из их приятельниц в большом бельевом магазине на углу улицы Мира. Как только дамы вошли в лавку, баронесса де Фонтэн дернула Эмилию за рукав и указала ей на Максимилиана Лонгвиля, который, сидя за конторкой, с приказчичьей любезностью отсчитывал сдачу с золотой монеты белошвейке и, казалось, о чем-то с ней совещался «Прекрасный незнакомец» держал в руке несколько образчиков материи, что́ не оставляло никаких сомнений в его почтенном ремесле. Эмилию охватила лихорадочная дрожь, которой, впрочем, никто не заметил. Благодаря светскому умению владеть собой она прекрасно скрыла клокотавшее в ее сердце негодование и ответила невесткам: «Так я и знала!» — таким неподражаемым тоном, с таким богатством интонаций, что ей могла бы позавидовать самая прославленная актриса того времени. Она направилась прямо к конторке. Лонг-

виль поднял голову, с убийственным хладнокровием сунул в карман образчики, поклонился мадемуазель де Фонтэн и подошел ближе, бросив на нее испытующий взгляд.

— Мадемуазель,— сказал он белошвейке, последовавшей за ним с озабоченным видом,— я велю отправить этот счет на проверку; наша фирма считает это необходимым. Впрочем, постойте,— шепнул он молодой женщине, протягивая ей тысячефранковый билет,— возьмите, давайте уладим это дело между собой. Надеюсь, вы простите меня, мадемуазель,— продолжал он, обратившись к Эмилии.— Будьте снисходительны и извините тиранию деловых обязанностей.

— Право, сударь, для меня все это совершенно безразлично,— отрезала мадемуазель де Фонтэн, глядя на него с таким самоуверенным и насмешливо-беззаботным видом, что можно было подумать, будто она видит его впервые.

— Вы говорите серьезно? — спросил Максимилиан прерывающимся голосом.

Эмилия повернулась к нему спиною с непередаваемой дерзостью. Эти короткие реплики, которыми они обменялись, ускользнули от любопытства обеих невесток. Когда дамы, купив пелерину, уселись в коляску, Эмилия, занявшая переднее место, невольно бросила последний взгляд на Максимилиана: он стоял в глубине отвратительной лавки, скрестив руки на груди, и вся его поза показывала, как мужественно переносит он несчастье, которое внезапно на него обрушилось. Глаза их встретились, и они обменялись презрительным взглядом. Каждый из них надеялся, что жестоко ранит любящее сердце. В одно мгновение оба очутились так же далеко друг от друга, как будто один из них находился в Китае, а другой в Гренландии. Разве не веет от тщеславия мертвящим, все иссушающим дыханием? Став жертвой самой яростной борьбы, раздиравшей когда-либо девичье сердце, мадемуазель де Фонтэн пожала горькие плоды, взращенные в ее душе мелочностью и предрассудками. Лицо ее, всегда такое свежее и бархатистое, пожелтело, пошло красными пятнами, на бледных щеках проступил зеленоватый оттенок. В надежде скрыть от спутниц свое смятение она с хохотом указывала им то на неуклюжего

прохожего, то на какой-нибудь нелепый туалет; но смех ее звучал неестественно. Молчаливое сочувствие невесток казалось ей еще более оскорбительным, чем насмешки, которыми те могли бы ей отплатить за прежние издевательства. Она призвала на помощь все свое остроумие, чтобы вовлечь их в разговор, она пыталась дать выход своему гневу в безрассудных парадоксах, осыпая коммерсантов самыми язвительными сарказмами и остротами весьма дурного тона. Вернувшись домой, она слегла в горячке, принявшей довольно опасную форму. По истечении месяца заботы родных и врачей возвратили ее к жизни, на радость всей семье. Родители надеялись, что этот урок был достаточно суровым, чтобы смирить нрав Эмилии, которая мало-помалу вернулась к прежним привычкам и снова закружилась в вихре света. Она весело уверяла, что нет ничего позорного в ее ошибке. Если бы, подобно отцу, она имела влияние в палате депутатов, говорила Эмилия, то добилась бы проведения закона, по которому всех коммерсантов, в особенности торговцев коленкором, метили клеймом на лбу, как берийских баранов, вплоть до третьего поколения. Ей хотелось, чтобы для дворян, и только для них, восстановили старинный французский костюм, который так шел придворным Людовика XV. Главная беда нынешней монархии, по ее словам, состояла в том, что теперь лавочник ничем не отличается по виду от пэра Франции. Множество острот подобного рода сыпались с ее уст, лишь только какой-нибудь случай наводил ее на эту тему. Но те, кто любил Эмилию, замечали в ней, несмотря на ее веселость, скрытую печаль. Очевидно, Максимилиан Лонгвиль все еще царил в этом надменном сердце. Порою она становилась кроткой, как в то быстро промелькнувшее лето, видевшее расцвет ее любви, порою же бывала еще несноснее, чем когда-либо. Домашние охотно прощали ей капризы, вызванные тайными, но всем понятными страданиями. Граф де Кергаруэт приобрел над ней некоторую власть, потакая ее все возраставшей расточительности,— к этому своеобразному утешению охотно прибегают молодые парижанки.

Первый бал, на который отправилась мадемуазель де Фонтэн, состоялся у неаполитанского посланника. Заняв место в одной из блестящих кадрилей, она вдруг

увидела в нескольких шагах от себя Лонгвиля, который слегка кивнул ее партнеру.

— Этот молодой человек ваш друг? — с пренебрежительным видом спросила Эмилия своего кавалера.

— Это мой брат,— ответил тот.

Эмилия вздрогнула.

— Ах,— продолжал тот восторженным тоном,— право же, это самая благородная душа на свете!

— Вы знаете, как меня зовут? — спросила Эмилия, быстро перебивая его.

— Нет, мадемуазель. Сознаюсь, что преступно не запомнить имени, которое у всех на устах, мне бы следовало сказать — у всех в сердцах; но у меня есть веское оправдание: я только что из Германии. Мой посланник проводит отпуск в Париже, и сегодня он поручил мне сопровождать на бал его прелестную супругу, которая сидит вон там в углу.

— Настоящая трагическая маска,— заметила Эмилия, осмотрев посланницу с ног до головы.

— Таков уж ее бальный наряд,— ответил юноша, смеясь.— Придется мне все же пригласить ее танцевать! Потому-то мне и захотелось вознаградить себя заранее.

Мадемуазель де Фонтэн слегка наклонила головку.

— Я был крайне удивлен, что встретил здесь моего брата,— продолжал болтливый секретарь посольства.— Приехав из Вены, я узнал, что бедный мальчик лежит больной. Мне очень хотелось повидать его перед балом; но политика так мало оставляет нам времени для семейных привязанностей. Padrona della casa [1] не разрешила мне навестить моего бедного Максимилиана.

— Ваш брат не пошел по дипломатической части, как вы? — спросила Эмилия.

— Нет,— сказал секретарь вздыхая,— бедный юноша пожертвовал собою ради меня! Брат и сестра моя Клара отказались от состояния отца, чтобы он мог выделить мне майорат. Мой отец мечтает стать пэром, подобно всем, кто голосует за правительство, и уже заручился обещанием, что ему дадут это звание,— добавил он, понизив голос.— Собрав кое-какие средства, мой брат стал пайщиком банкирского дома; и мне известно,

---

[1] Хозяйка дома *(итал.)*.

что недавно ему удалась одна спекуляция с Бразилией, которая может сделать его миллионером. Можете себе представить, как я радуюсь, что своими дипломатическими связями способствовал его успеху. Я как раз с нетерпением жду из Бразильской миссии депеши, которая сможет разгладить чело Максимилиана. Как вы его находите?

— Но ваш брат не походит на человека, поглощенного денежными делами.

Молодой дипломат бросил испытующий взгляд на внешне спокойное лицо своей дамы.

— Как? — сказал он с улыбкой.— Барышни тоже умеют угадывать любовные мечты за непроницаемым челом?

— Ваш брат влюблен? — спросила Эмилия, не в силах сдержать своего любопытства.

— Да. Сестра Клара, о которой он заботится с отеческой нежностью, писала мне, что он влюбился нынешним летом в весьма красивую особу; но с тех пор я не имел никаких известий о его увлечении. Подумайте только, бедному Максимилиану приходилось вставать в пять часов утра, чтобы покончить со всеми делами и поспеть к четырем часам в поместье своей красавицы! Зато он вконец загнал прекрасного породистого скакуна, которого я прислал ему в подарок. Простите мою болтливость, мадемуазель! Я ведь приехал из Германии, и уже скоро год, как не слышал правильной французской речи, я отвык от французских лиц и сыт по горло немецкими; право же, в своем неистовом патриотизме я готов обратиться с речью к химерам Парижского собора. Впрочем, если я болтаю с откровенностью, мало уместной для дипломата, то в этом повинны вы, мадемуазель. Не вы ли указали мне на брата? Когда разговор заходит о нем, я становлюсь поистине неистощимым. Я хотел бы поведать всем на свете, как он добр и великодушен. Дело шло ведь не больше не меньше, как о ста тысячах франков дохода, приносимого поместьем Лонгвиль.

Итак, мадемуазель де Фонтэн получила весьма важные сведения и отчасти была этим обязана ловкости, с какой сумела выспросить своего простодушного кавалера, узнав, что он брат отвергнутого ею возлюбленного.

— Неужели вам не тяжко видеть, как ваш брат тор-

гует кисеей и коленкором? — спросила Эмилия, окончив третью фигуру кадрили.

— Откуда вы это знаете? — удивился дипломат.— Слава богу! Кажется, я уже научился, расточая потоки слов, говорить только то, что хочу, как и все знакомые мне дипломаты.

— Но вы сами это сказали, уверяю вас.

Господин Лонгвиль посмотрел на мадемуазель де Фонтэн удивленным и испытующим взглядом. В его душу закралось подозрение. Он перевел глаза на брата, потом на свою даму, понял все, всплеснул руками, расхохотался и сказал:

— Какой же я глупец! Вы самая красивая дама на балу, мой брат украдкой на вас посматривает и танцует, не обращая внимания на лихорадку, а вы делаете вид, что его не замечаете. Составьте его счастье,— продолжал он, отводя Эмилию к ее старому дядюшке,— я не стану ревновать; но мне всегда будет немного странно называть вас сестрой...

Между тем оба влюбленных по-прежнему безжалостно не замечали друг друга. Около двух часов ночи был сервирован легкий ужин в огромной галерее, где столы расставили, как в ресторане, чтобы люди одного круга могли объединяться по собственному выбору. В силу совпадения, нередко благоприятствующего влюбленным, место мадемуазель де Фонтэн оказалось рядом со столиком, вокруг которого разместилось самое изысканное общество. Максимилиан присоединился к этому кружку. Эмилия, внимательно прислушиваясь к беседе за соседним столом, уловила обрывки разговора, какой обычно так легко завязывается между молодой женщиной и юношей, если тот наделен обаянием и красотой Максимилиана Лонгвиля. Собеседницей молодого банкира была неаполитанская герцогиня, глаза которой метали молнии, а белоснежная кожа сверкала, как атлас. Ее интимность с Лонгвилем, которую тот умышленно подчеркивал, показалась мадемуазель де Фонтэн тем оскорбительнее, что теперь она чувствовала к своему бывшему жениху во сто раз больше нежности, чем когда-либо.

— Да, сударь, в моей стране истинная любовь умеет приносить величайшие жертвы,— говорила герцогиня, жеманясь.

— В Италии женщины более пылки, чем француженки,— промолвил Максимилиан, бросая пламенный взгляд на Эмилию.— Во француженках говорит одно тщеславие.

— Сударь,— вмешалась вдруг мадемуазель де Фонтэн,— разве не бесчестно клеветать на свою родину? Преданная любовь встречается во всех странах.

— Неужели вы думаете, мадемуазель,— возразила итальянка с язвительной усмешкой,— что парижанка способна последовать за любимым на край света!

— Ах, сударыня, это же разные вещи! Можно уйти в пустыню и жить в шалаше, но нельзя согласиться сесть за прилавок! — И Эмилия закончила фразу невольным презрительным жестом.

Так по вине злополучного воспитания Эмилия дважды погубила свое зарождающееся счастье и сама испортила себе жизнь. Задетая притворной холодностью Максимилиана и кокетливыми улыбками незнакомой итальянки, она не удержалась от ядовитой насмешки, что всегда доставляло ей злорадное удовольствие.

— Мадемуазель,— вполголоса сказал ей Лонгвиль, улучив момент, когда приглашенные с шумом подымались из-за стола,— поверьте, что никто не шлет вам таких горячих пожеланий счастья, как я; разрешите мне заверить вас в этом на прощание. На днях я уезжаю в Италию.

— Вероятно, причиной тому какая-нибудь герцогиня?

— Нет, мадемуазель, смертельная болезнь.

— Не ваше ли это воображение? — спросила Эмилия, взглянув на него с беспокойством.

— Нет,— отвечал он,— есть раны, которые не заживают никогда.

— Вы не уедете! — сказала властная девушка, улыбаясь.

— Я уеду,— торжественно повторил Максимилиан.

— Вернувшись, вы найдете меня замужем, предупреждаю вас! — продолжала она кокетливо.

— Искренне этого желаю.

— Дерзкий! — воскликнула она.— Как жестоко вы мстите!

Две недели спустя Максимилиан Лонгвиль уехал с

сестрой Кларой в знойные и поэтические края прекрасной Италии, оставив мадемуазель де Фонтэн во власти самых горьких сожалений. Молодой секретарь посольства вступился за честь брата и сумел жестоко отомстить Эмилии за ее высокомерие, разгласив причину разрыва между влюбленными. Он сторицей отплатил своей даме на балу за все ее издевательства над Максимилианом и насмешил не одну сиятельную особу, описывая прекрасную ненавистницу прилавка, амазонку, проповедующую крестовый поход против банкиров, гордячку, чья любовь испарилась при виде пол-аршина кисеи. Граф де Фонтэн принужден был употребить все свое влияние и устроить Огюсту Лонгвилю назначение в Россию, лишь бы избавить дочь от насмешек, которыми нещадно осыпал ее этот молодой и опасный преследователь. Вскоре затем правительство, вынужденное увеличить число пэров, чтобы укрепить аристократическую партию верхней палаты, пошатнувшуюся от нападок одного знаменитого писателя, пожаловало г-ну Гиродену де Лонгвилю звание пэра Франции и виконта. Г-н де Фонтэн тоже получил звание пэра, чем был обязан как своей преданности династии в трудные времена, так и своему имени, которого недоставало в наследственной палате.

К этому времени Эмилия, придя в возраст, начала, по-видимому, серьезно задумываться о своей судьбе, так как ее тон и манеры сильно переменились: вместо того, чтобы изощряться в колкостях по адресу дядюшки, она подавала ему палку с преувеличенной нежностью, вызывая улыбку у шутников; она поддерживала его под руку, каталась с ним в коляске и сопровождала его во всех прогулках; она уверяла даже, что любит аромат его трубки, и читала ему вслух его любимую газету «Котидьен» среди клубов табачного дыма, которые лукавый моряк нарочно пускал ей в лицо; она выучилась играть в пикет, чтобы составить компанию старому графу; наконец, эта взбалмошная девушка терпеливо выслушивала бесконечно повторяющиеся рассказы о морском сражении «Бель-Пуль», о маневрах «Виль-де-Пари», о первом плавании де Сюффрена или о битве при Абукире. Хотя старый моряк и любил говорить, что он слишком хорошо знает свои долготы и широты и его не возьмет на абордаж молоденькая яхта, однако в одно прекрасное

утро по парижским гостиным разнесся слух о бракосочетании мадемуазель де Фонтэн с графом де Кергаруэт. Молодая графиня давала блестящие празднества, чтобы забыться, но нашла, вероятно, одну лишь суету в этом вихре развлечений: роскошь не могла скрыть пустоты ее жизни и страданий тоскующей души; несмотря на вспышки притворной веселости, ее красивое лицо по большей части выражало затаенную печаль. Впрочем, Эмилия окружала нежным вниманием своего престарелого супруга, который шутливо говорил иногда, удаляясь вечером, под звуки бального оркестра, на свою половину:

— Я сам себя не узнаю. Неужели надо было дожить до семидесяти двух лет, чтобы отчалить лоцманом на борту Прекрасной Эмилии, после того как я уже провел двадцать лет на супружеских галерах!

Поведение графини отличалось такой строгостью, что самые проницательные критики не могли ни к чему придраться. Наблюдатели решили, что вице-адмирал оставил за собой право распоряжаться своим состоянием, чтобы крепче приструнить жену: предположение обидное как для дяди, так и для племянницы. Впрочем, супруги обращались друг с другом с таким тактом, что даже наиболее заинтересованные молодые люди не могли понять, был ли старый граф мужем или только отцом своей жене. Он часто повторял, что принял на борт потерпевшую крушение и что не в его правилах было злоупотреблять гостеприимством, если ему случалось спасти даже неприятеля от ярости бури. Несмотря на то, что графиня жаждала царить в парижском свете и старалась ни в чем не уступать герцогиням де Мофриньез, де Шолье, маркизам д'Эспар и д'Эглемон, графиням Ферро, де Монкорне, де Ресто, г-же де Кан и мадемуазель де Туш, она отвергла, однако, страсть юного виконта де Портандюэра, влюбившегося в нее без памяти.

Два года спустя после своего замужества, сидя в одном из старинных салонов Сен-Жерменского предместья, где все восхищались ее добродетелью, достойной древних времен, Эмилия услыхала, как доложили о виконте де Лонгвиле. Она играла в пикет с епископом де Персеполис в уголке гостиной, где никто не мог заметить ее волнения; повернув голову, она увидела, как вошел ее быв-

ший жених во всем блеске молодости и красоты. Смерть отца и старшего брата, не вынесшего сурового петербургского климата, возложила на голову Максимилиана наследственный плюмаж шляпы пэров; его богатство не уступало его познаниям и талантам; не далее как вчера он привел в восхищение палату своим молодым, кипучим красноречием. Теперь он предстал перед безутешной графиней гордый, независимый, украшенный всеми совершенствами, каких она требовала некогда от своего воображаемого идеала. Все матери, имевшие дочек на выданье, кокетливо заигрывали с молодым человеком, приписывая ему всевозможные добродетели на основании его приятных манер; но Эмилия знала лучше всех, что виконт де Лонгвиль обладает той твердостью характера, в которой умные жены видят залог счастья. Она перевела взгляд на адмирала, который, по его любимому выражению, собирался долго еще продержаться на борту, и прокляла заблуждения своей юности.

В эту минуту г-н де Персеполис сказал с истинно пастырской любезностью:

— Сударыня, вы сбросили червонного короля, я выиграл. Но не сожалейте о проигрыше, я приберегу эти деньги для моих бедных семинаристов.

Париж, декабрь 1829 г.

ВЕНДЕТТА

Посвящается миланскому скульптору Путтинати.

В конце октября месяца 1800 года перед оградой Тюильрийского дворца появился неизвестный в сопровождении женщины и девочки и остановился у развалин недавно снесенного дома, на том самом месте, где теперь возвышается недостроенное здание, которое должно было соединить дворец Екатерины Медичи с Лувром Валуа. Он стоял там довольно долго, сложив руки на груди, потупясь, и лишь изредка поднимал голову, поглядывая то на резиденцию первого консула, то на жену, сидевшую подле него на камне. Казалось, внимание незнакомки поглощено только девочкой — на вид лет девяти или десяти — и ее длинными черными волосами, которыми мать играла, словно для того, чтобы чем-нибудь занять свои руки; однако от нее не ускользал ни один взгляд ее спутника. Одним и тем же чувством, но не любовью, были связаны сейчас эти два существа, и оно окрашивало одной и той же тревогой их движения и помыслы. Быть может, нет уз крепче, чем узы несчастья. По-видимому, девочка служила последним связующим звеном их союза.

У неизвестного была крупная голова с шапкой густых волос, с широким сумрачным лицом, какие нередко встречаются на полотнах Карраччи. В его черных, как смоль, густых волосах белела проседь. Черты лица выражали горделивое достоинство, но в них сквозила какая-то жестокость, и это их портило. В этом человеке еще чувство-

валась сила, его стан еще не согнулся, а между тем ему можно было дать за шестьдесят. Изношенная одежда незнакомца свидетельствовала о далеком пути из чужих краев.

Лицо женщины, когда-то прекрасное, а теперь поблекшее, выдавало глубокую печаль, но она старалась отвечать улыбкой на взгляды мужа, притворяясь спокойной.

Девочка все время стояла, превозмогая усталость, наложившую свой отпечаток на ее загорелое личико. У нее была внешность настоящей итальянки: большие черные глаза под четкими дугами бровей, врожденное благородство, естественная грация. Не один прохожий чувствовал волнение даже при беглом взгляде на эту маленькую семейную группу, участники которой и не пытались скрывать владевшее ими отчаяние, глубокое и в то же время сдержанное в своем проявлении. Однако источник этой мимолетной благожелательности, свойственной парижанам, иссякал мгновенно: как только незнакомец чувствовал на себе внимательный взгляд праздного зеваки, он сразу же принимал такой свирепый вид, что самый смелый наблюдатель ускорял шаги, словно наткнувшись на змею.

После долгих колебаний примечательный незнакомец вдруг провел рукой по лбу, как бы разгоняя мысли, избороздившие его морщинами, и явно принял какое-то отчаянное решение. Окинув пронзительным взглядом жену и дочь, он вытащил из-под куртки кинжал и, вручая его своей спутнице, сказал по-итальянски:

— Пойду узнаю, помнят ли еще о нас Бонапарты.

И он медленной твердой походкой направился ко входу во дворец, где его, разумеется, остановил солдат консульской гвардии, препираться с которым было бесполезно; увидев, что пришелец упорствует, часовой выставил в качестве ультиматума свой штык.

Случаю было угодно, чтобы как раз в это время пришли сменить часового, и капрал весьма учтиво указал незнакомцу дорогу к начальнику караульного поста.

— Доложите Бонапарту, что с ним желает говорить Бартоломео ди Пьомбо,— сказал итальянец дежурному офицеру.

Как ни старался офицер убедить Бартоломео, что нельзя пройти к первому консулу без заранее поданного письменного прошения об аудиенции, Пьомбо требовал, чтобы дежурный во что бы ни стало доложил о нем Бонапарту. Сославшись на строгую инструкцию, офицер наотрез отказался подчиниться приказаниям странного просителя. Бартоломео бросил грозный взгляд на начальника караула и, видимо, решил возложить на него всю ответственность за печальные последствия этого отказа; затем молча, резким движением скрестил руки на груди и занял позицию под портиком, который соединяет двор и сад Тюильрийского дворца.

Случай обычно верой и правдой служит тем, кто чего-нибудь сильно желает. Едва только Бартоломео уселся на каменной тумбе подле входа в Тюильри, как подъехала карета; из нее вышел Люсьен Бонапарт, в ту пору министр внутренних дел.

— А, Лючьяно, как мне повезло, что я тебя встретил! — воскликнул Пьомбо.

Обращение на корсиканском наречии остановило Люсьена у самого входа в портик. Он взглянул на своего соотечественника и узнал его. По первому же слову Пьомбо, сказанному ему на ухо, он повел корсиканца к Бонапарту. В кабинете первого консула находились Мюрат, Ланн и Рапп. С появлением Люсьена в сопровождении человека столь странного вида, как Пьомбо, беседа прервалась. Взяв Наполеона за руку, Люсьен отвел его в амбразуру окна. Переговорив с братом, первый консул жестом отослал присутствовавших из кабинета. Мюрат и Ланн повиновались. Желая остаться, Рапп сделал вид, что ничего не заметил, и только после настойчивого требования Бонапарта адъютант нехотя удалился. Но, услышав шаги в приемной, первый консул внезапно распахнул дверь и застал Раппа у стены, отделявшей эту приемную от кабинета.

— Тебе, стало быть, не угодно меня понимать? — сказал первый консул.— Мне нужно остаться наедине с моим земляком.

— Он корсиканец,— ответил адъютант Наполеона.— Я слишком мало доверяю людям этого сорта, чтобы...

Невольно усмехнувшись, первый консул взял своего верного офицера за плечи и мягко выпроводил его.

— Итак, зачем ты здесь, мой славный Бартоломео? — спросил первый консул у Пьомбо.

— Чтобы просить у тебя приюта и защиты, если ты истинный корсиканец,— резким тоном ответил Бартоломео.

— Какое несчастье привело тебя в изгнание? Ведь там, на родине, ты был самым богатым, самым...

— Я убил всех Порта,— глухо ответил корсиканец, сдвинув брови.

Первый консул в изумлении отшатнулся.

— Уж не хочешь ли ты меня выдать? — вскричал Бартоломео, мрачно глядя на Бонапарта.— Знаешь ли ты, что на Корсике нас, Пьомбо, осталось еще четверо?

Схватив своего земляка за плечо, Люсьен встряхнул его.

— Да ты, кажется, явился сюда, чтобы угрожать спасителю Франции? — гневно сказал он.

Бонапарт знаком остановил Люсьена, и он умолк. Затем, взглянув на Пьомбо, Наполеон спросил:

— За что же ты убил всех Порта?

— Когда Барбанти нас помирили,— ответил корсиканец,— мы заключили дружбу с Порта. На следующий день, после того как мы утопили в вине нашу старую свару, я уехал по делу в Бастию. Они же остались еще погостить у меня. И тогда они сожгли мою усадьбу в Лонгоне, убили сына Грегорио... Дочь Джиневра и жена избежали их рук: они ходили утром к причастию, их спасла дева Мария. Вернувшись из Бастии, я не нашел моего дома; я бродил вокруг, не зная, что попираю ногами свое пепелище. Вдруг я споткнулся о чье-то тело: это был Грегорио, я узнал его при свете луны. «Ах, вот как! — сказал я себе.— Это дело рук Порта!» И я тут же отправился в маки, собрал там кое-каких людей, которым я в свое время оказал услуги... Слышишь, Бонапарт? И мы двинулись на усадьбу Порта. Мы пришли туда в пять часов утра, а в семь часов Порта — все до единого предстали пред судом божьим. Джьякомо утверждает, что Элиза Ванни спасла одного из детей — маленького Луиджи, но я собственными руками привязал его к кровати, прежде чем поджечь дом. Я уехал с женой и ребенком, так и не успев проверить — правда ли, что Луиджи Порта остался жив.

Бонапарт рассматривал Бартоломео с любопытством, но без удивления.

— Сколько их было? — спросил Люсьен.

— Семеро,— ответил Пьомбо.— Когда-то они были в числе ваших гонителей!

Эти слова не вызвали у обоих Бонапартов ни малейшего проявления вражды к Порта.

— Нет, вы не корсиканцы больше! — с отчаянием воскликнул Бартоломео.— Прощайте! В свое время я оказал вам помощь,— добавил он с упреком.— Если бы не я, твоя мать не добралась бы до Марселя,— обратился он к Бонапарту, который стоял в задумчивости, облокотившись о камин.

— По совести говоря, Пьомбо,— ответил Наполеон,— я не вправе брать тебя под свою защиту. Я теперь стою во главе великого народа, я управляю республикой и должен требовать, чтобы законы соблюдались.

— Ого! — сказал Бартоломео.

— Но я могу закрыть на это глаза,— продолжал Бонапарт.— Долго еще будет кровавый обычай вендетты помехой для власти закона на Корсике,— промолвил он, как бы обращаясь к самому себе,— но его надо уничтожить, чего бы это ни стоило.

Бонапарт умолк, и Люсьен знаком приказал Пьомбо не возражать. Однако корсиканец уже покачивал головой с неодобрительным видом.

— Оставайся здесь,— продолжал консул, обращаясь к Пьомбо,— мы об этом ничего знать не будем. Я велю купить твои имения, чтобы дать тебе прежде всего средства к существованию. А со временем, попозже, мы подумаем о тебе. Но никакой вендетты! Здесь нет маки́! Если ты пустишь в ход кинжал, не надейся на снисхождение. Закон охраняет здесь всех граждан, и никому не разрешено присваивать себе права судьи.

— Странным государством ему приходится управлять! — заметил Бартоломео, пожимая руку Люсьену.— Но друзья познаются в несчастье, и отныне между нами союз на жизнь и на смерть! Вы можете положиться на всех, кто носит имя Пьомбо!

Тут морщины на лбу Пьомбо разгладились, и он с видимым удовольствием огляделся по сторонам.

— А у вас здесь недурно,— улыбаясь, заметил он,

словно не прочь был сам здесь поселиться.— И ты весь в красном, как кардинал!

— Только от тебя зависит устроить свое благосостояние и приобрести дворец в Париже,— ответил Бонапарт, внимательно приглядываясь к своему соотечественнику.— Мне не раз понадобится иметь подле себя преданного друга, которому я мог бы довериться.

Радостный вздох вырвался из широкой груди Пьомбо, и он протянул руку первому консулу.

— Стало быть, в тебе еще живет корсиканец!

Бонапарт улыбнулся. Он молча взглянул на этого человека, который словно принес с собой дыхание родины, родной воздух того острова, где ему когда-то чудом удалось спастись от преследований «английской партии» и куда возврата ему не было. Он кивнул брату, и тот увел Бартоломео ди Пьомбо.

Люсьен участливо осведомился у прежнего покровителя их семьи, не нуждается ли он в деньгах. Подведя министра внутренних дел к окну, Пьомбо указал на свою жену и дочь, сидевших на груде камней.

— Мы шли сюда пешком из Фонтенебло, и у нас нет ни гроша,— ответил он.

Люсьен отдал Пьомбо свой кошелек и предложил ему прийти на следующий день, чтобы обсудить, какими способами можно обеспечить существование его семьи. Стоимости всех корсиканских поместий Пьомбо никак не могло хватить на то, чтобы вести «приличный» образ жизни в Париже.

Прошло пятнадцать лет между тем днем, когда семейство Пьомбо явилось в Париж, и тем происшествием, о котором пойдет речь ниже и которое казалось бы малопонятным без всего, что здесь было рассказано.

Один из наших выдающихся художников — Сервен — был первым, кому пришла в голову мысль открыть мастерскую для молодых девиц, желающих обучаться живописи. Сервену было сорок лет; человек высоконравственный и всей душой преданный своему искусству, он женился по любви на дочери небогатого генерала.

Сначала матери сопровождали дочерей на уроки; когда же они ближе познакомились со взглядами учителя и

оценили его старания заслужить их доверие, они стали посылать к нему своих дочек и одних. В замыслы художника входило открыть доступ в мастерскую только для барышень из богатых, почтенных семейств, чтобы избежать упреков по поводу состава учениц. Сервен отказывался принимать в мастерскую даже тех девушек, которые хотели сделать живопись своей профессией и которым следовало бы дать хоть кое-какие познания, потому что без этого художнику проявить свой талант невозможно. Мало-помалу житейская мудрость Сервена, его непревзойденное умение приобщать учениц к тайнам искусства, уверенность матерей в том, что дочки находятся в обществе благовоспитанных девиц, спокойствие, которое внушали характер, нравственные устои и семейная жизнь художника,— все это заслужило ему великую славу в салонах.

Если какая-нибудь молодая девушка выражала желание учиться живописи или рисованию и если ее маменька обращалась к кому-нибудь за советом, то на это неизменно следовало:

— Пошлите ее к Сервену!

Итак, Сервен стал специалистом по части дамской живописи, как Эрбо — в шляпном деле, Леруа — в модах, а Шеве — в гастрономии. Было признано, что молодая дама, прошедшая курс обучения у Сервена, может вынести окончательный приговор любой картине Луврского музея, в совершенстве писать портреты, сделать копию и нарисовать жанровую картинку. Таким образом, этот художник угождал всем требованиям аристократии. Однако, несмотря на свои связи с парижской знатью, он умел держаться независимо, был патриотом и со всеми сохранял тот легкий, остроумный, подчас иронический тон, ту свободу суждения, которые отличают художника.

В своих заботах о репутации учениц Сервен дошел до того, что придумал меры предосторожности, касающиеся даже устройства мастерской. Вход в мансарду, расположенную над его комнатами, замуровали. Для того, чтобы попасть в этот укромный приют, столь же священный, как гарем, надо было подняться по внутренней лестнице, через квартиру Сервена. Мастерская, занимавшая весь верх дома, была гигантских размеров; такие мастерские неизменно поражают любопытных посетителей, когда,

поднявшись на шестьдесят футов от земли, они открывают, что художник живет вовсе не в водосточной трубе.

Эта своеобразная галерея была залита светом, бившим из огромных многостворчатых окон с большими зелеными шторами, с помощью которых художник регулирует освещение. Бесчисленное множество карикатур, эскизов, сделанных кистью или вырезанных ножом, покрывало стены, выкрашенные в стальной цвет, и могло служить доказательством того, что даже самые благовоспитанные девицы, совершенно так же, как мужчины, способны на озорство, отличаясь от них только способом выражения.

Маленькая печурка с длинными трубами, описывавшими перед дымоходом в потолке головокружительный зигзаг, была неизбежным украшением мастерской. Вдоль стен тянулась дощатая полка, где как попало были свалены гипсовые фигуры, большей частью покрытые желтоватой пылью. Под этой полкой виднелись различные модели: здесь маска Ниобеи, повиснув на гвозде, являла миру свою скорбь; там улыбалась Венера; то вдруг возникала рука, напоминая руку нищего, протянутую за подаянием; пожелтевшие от дыма гипсовые слепки были похожи на человеческие останки, только что исторгнутые из гробов; наконец картины, эскизы, манекены, холсты без рам и рамы без холстов завершали хаотический облик этой мансарды, превращая ее в мастерскую художника, всегда отличающуюся странной смесью декоративности с наготой, нищеты с богатством, аккуратности с неряшеством. Этот огромный храм, где все кажется маленьким, даже человек, напоминает кулисы Оперы; здесь вы найдете и старое тряпье, и золоченые доспехи, и лоскутья материи, и машины; но есть в этом какое-то величие — величие мысли: здесь соседствуют гений и смерть; Диана или Аполлон — подле человеческого черепа или скелета; красота и распад, поэзия и действительность; яркие краски, окутанные тьмой,— и часто за всем этим скрывается настоящая драма, застывшая и безмолвная. Разве эта картина не символ внутренней жизни художника?

В тот день, к которому относится начало нашей повести, ослепительное июльское солнце освещало мастерскую и два солнечных луча, ворвавшись в глубь комнаты, проложили в воздухе две широкие полосы прозрачного золота; в них горели пылинки. Пятнадцать мольбертов стоя-

ли, подняв кверху свои остроконечные макушки, похожие на корабельные мачты в порту. Это зрелище оживляли фигуры молодых девушек, разнообразие их лиц, поз, одежд. Зеленые саржевые шторы, задрапированные поразному, в зависимости от задачи, поставленной перед каждой художницей, отбрасывали тень, создавая необычайное множество контрастов, заманчивые эффекты светотени. Пожалуй, эта девичья группа и была лучшей картиной в мастерской.

Держась в отдалении от подруг, светловолосая и просто одетая девушка работала с таким рвением, словно ее ждало неминуемое несчастье, если бы она остановилась; никто из соучениц не смотрел в ее сторону, не разговаривал с ней; она была миловиднее, скромнее и беднее всех. Две главные группы девушек, разделенные еле заметной дистанцией, представляли два общества и два мировоззрения, проникшие даже в эту мастерскую, где следовало бы забыть о чинах и капиталах. Сидя или стоя среди ящиков с красками, девушки водили кистью или протирали ее, смешивали яркие краски на палитре, рисовали, болтали, смеялись, пели и представляли зрелище, никогда не виданное мужчинами, потому что сейчас они были самими собой и давали возможность судить об их характере: одна — гордая, высокомерная, взбалмошная, черноволосая, с прекрасными руками, щедро расточает пламя своих взоров; другая — беспечная и веселая, у нее каштановые волосы, холеные белые руки, уста улыбаются: это истинно французская девушка, ветреница — что́ на уме, то и на языке,— живет только сегодняшним днем; третья мечтательна, бледна, печальна и никнет, как надломленный цветок; в противоположность ей ее соседка крупна, ленива, у нее повадки восточной женщины, продолговатые черные влажные глаза; она неразговорчива, но задумывается, украдкой поглядывая на голову Антиноя. А посредине, как некий jocoso [1] испанской комедии, искрясь остроумием и рассыпая меткие шутки, непрестанно смешит подруг и в то же время исподтишка следит за ними еще одна девушка; она все время в движении, и в ее лице столько живости, что оно не может не быть привлекательным.

---

[1] Весельчак *(испан.)*.

Эта девушка была вожаком первой группы учениц, куда входили дочери банкиров, нотариусов, купцов; все они были богаты, но все испытывали на себе едва заметное, хотя и весьма болезненно воспринимаемое ими презрение молодых особ из аристократического лагеря. Этот лагерь возглавляла дочь «придверника» при кабинете короля — маленькое создание, в равной мере глупое и чванное; она гордилась тем, что ее отец «занимает пост при дворе», и всячески старалась делать вид, что схватывает указания учителя на лету, но работает только из любезности, ни на минуту не расставалась с лорнетом, опаздывала на уроки, являлась всегда в пышном наряде и умоляла подруг говорить тихо.

В этой второй группе можно было заметить и прелестные талии и тонкие черты, однако во взгляде этих девушек не чувствовалось большой наивности. Правда, у них были грациозные движения и изящная осанка, но выражение лица не отличалось искренностью, и нетрудно было догадаться, что они принадлежат к тому миру, где характеры с ранних лет формирует условность, где избыток жизненных благ убивает чувства и развивает эгоизм.

Когда же все общество бывало в сборе, то и среди этих барышень случалось встретить девушку чудесной чистоты, увидеть детскую головку, лицо с чуть-чуть приоткрытыми губами, на которых блуждала девичья улыбка, обнажая зубы нетронутой белизны. Тогда мастерская становилась похожей не на сераль, а на сборище ангелов, плывущих на облачках в небесах.

Близился полдень. Сервен еще не появлялся; его ученицам было известно, что он заканчивает картину для выставки. Уже несколько дней он подолгу оставался в своей мастерской, находившейся в другом месте. Вдруг вождь аристократической партии этого маленького парламента — мадемуазель Амели Тирион — обратилась с длинной речью к своей соседке, и в группе патрицианок воцарилась торжественная тишина. Замолчала и удивленная банковская партия, стараясь угадать причину, вызвавшую это совещание. Вскоре секрет юных ультраправых открылся. Амели встала и, взяв стоявший подле нее мольберт, поставила его довольно далеко от дворянской группы, у грубо сколоченной перегородки, за которой находился чулан; в этот чулан сваливали разбитые

гипсовые слепки, холсты, забракованные учителем, там же хранился запас дров на зиму. Должно быть, Амели совершила чрезвычайно дерзкий поступок, так как он вызвал ропот изумления. Однако юная щеголиха не обратила на это никакого внимания и завершила выселение своей отсутствующей товарки, быстро водворив рядом с ее мольбертом ящик с красками, табурет и прочее,— коротко говоря, все, включая картину Прюдона, с которой писала копию опоздавшая ученица. Свидетельницы этого государственного переворота были потрясены. Но если «скамьи правых» молча приступили к работе, то на «скамьях левых» прения продолжались еще долго.

— Что-то на это скажет мадемуазель Пьомбо? — обратилась одна из девушек к лукавому оракулу первой группы — Матильде Роген.

— Она не из словоохотливых,— ответила Матильда,— но и через полвека будет помнить обиду, как будто это случилось вчера, и сумеет жестоко отомстить. Вот уж с кем не хотела бы я поссориться!

— Как несправедливо, что наши девицы подвергли ее гонению,— сказала другая девушка,— ведь третьего дня мадемуазель Джиневру постигло большое огорчение: говорят, ее отец подал в отставку. Они только растравляют ее горе, а она была так добра к ним во время Ста дней. Разве она сказала им хоть одно обидное слово? Напротив, она избегала разговоров о политике. Но, кажется, в наших ультраправых говорит больше зависть, чем политические убеждения.

— Мне хочется взять мольберт мадемуазель Пьомбо и поставить его рядом с моим,— сказала Матильда Роген.

Она встала, но ее удержало новое соображение.

— При характере мадемуазель Джиневры,— заметила она,— нельзя предугадать, как она истолкует нашу любезность, подождем, что будет дальше.

— Eccola [1],— томно сказала черноглазая девушка.

Действительно, за стеной послышались шаги. Кто-то поднимался по лестнице.

«Вот она»,— эти слова облетели все уста, и в мастерской воцарилось глубокое молчание.

---

[1] Вот она *(итал.)*.

Для того, чтобы стало понятно значение остракизма, которому Амели Тирион подвергла свою соученицу, необходимо сказать, что эта сцена разыгралась в конце июля 1815 года.

Вторичное восстановление Бурбонов внесло разлад в отношения между многими близкими людьми, не пострадавшими при первой Реставрации. Теперь разногласия возникли чуть ли не в каждой семье, и вместе с политическим фанатизмом возобновились те печальные сцены, которые омрачают историю всех стран в эпоху гражданских или религиозных войн.

Монархическая зараза, охватившая правительство, распространилась среди детей, девушек, стариков. Раздор проник под крышу каждого дома, и недоверие закрадывалось в человеческие поступки и самые сокровенные беседы.

Джиневра Пьомбо боготворила Наполеона, как же могла она сейчас его возненавидеть? Император был ее соотечественником и благодетелем ее отца. Барон ди Пьомбо был в числе слуг Наполеона, принимавших самое деятельное участие в его возвращении с острова Эльба. Неспособный отречься от своих политических убеждений, мало того, ревностно их исповедовавший, престарелый барон ди Пьомбо остался в Париже среди своих врагов. Кроме того, Джиневра Пьомбо могла попасть в список неблагонадежных уже хотя бы потому, что не скрывала, какое огорчение причинила ее семье вторая Реставрация. Пожалуй, единственный раз в жизни у нее исторгло слезы двойное известие о пленении Бонапарта на «Беллерофоне» и об аресте Лабедуайера.

Молодые девушки из дворянского кружка мастерской принадлежали к семьям самых ярых роялистов. Трудно передать, в какие крайности люди тогда впадали и какой ужас внушали бонапартисты. Сейчас поступок Амели Тирион кажется незначительным и мелким, но тогда он был вполне естественным проявлением ненависти. Джиневра Пьомбо, одна из первых учениц Сервена, занимала место, которое хотели у нее отнять с первого же дня ее появления в мастерской; группа аристократок постепенно заняла места вокруг нее; вытеснить ее из принадлежавшего ей в какой-то мере пространства означало не только оскорбить, но и доставить некоторое

огорчение, потому что у каждого художника бывает излюбленное место для работы. Однако политическая вражда играла не такую уж большую роль на этих «скамьях правых» в миниатюре. Джиневра Пьомбо, самая даровитая ученица Сервена, была предметом глубокой зависти: учитель равно восхищался и талантом и характером своей любимой ученицы; он постоянно ставил ее в пример. Словом, не умея объяснить причину влияния этого юного существа на всех, кто ее знал, скажем только, что она имела над этим маленьким мирком такую же власть, как Бонапарт над своими солдатами. Аристократия мастерской еще за несколько дней до вышеописанной сцены задумала свергнуть с престола эту королеву. Но никто не осмеливался открыто порвать с бонапартисткой, и тогда мадемуазель Тирион нанесла ей решительный удар, чтобы сделать подруг соучастницами своего враждебного выпада. Кое-кто из роялисток, хотя и получивших в отчем доме соответствующие внушения по части политики, искренне любил Джиневру; тем не менее они с присущей женщинам уклончивостью решили держаться в стороне от ссоры.

Итак, приход Джиневры был встречен глубоким молчанием. Ни одна из девушек, когда-либо посещавших мастерскую Сервена, не могла бы поспорить с Джиневрой в красоте, величавости и стройности. В ее осанке было какое-то особое благородство и грация, внушавшие почтение. Казалось, ее умное лицо светится, от нёго веяло той чисто корсиканской живостью, которая нисколько не исключает спокойствия. Ее длинные волосы, глаза и черные ресницы сулили страсть. Хотя очертаниям губ Джиневры не хватало четкости, а самые губы были несколько полны, они выражали такую доброту, какая дана только сильным людям, сознающим свою силу. По странной прихоти природы нежная прелесть ее лица находилась как будто в противоречии с мраморным челом, на котором была начертана гордость почти дикая, напоминавшая о нравах ее родины. Лишь это и сближало ее с Корсикой; всем остальным — простотой, непринужденностью ломбардских красавиц — она покоряла людей, и, только не видя ее, можно было намеренно причинить ей огорчение. Она была так неотразимо привлекательна, что старый Пьомбо запретил отпускать ее в мастерскую

без провожатого. Единственный недостаток этого подлинно поэтического создания происходил от избытка силы: ее красота, так полно расцветшая, делала ее похожей на женщину.

Из любви к родителям она отказывалась от брака, считая, что нужна им на склоне их дней. Страсть к живописи заменила ей все страсти, которые обычно волнуют женщин.

— Вы что-то сегодня молчаливы,— сказала она, сделав несколько шагов среди своих товарок.— Здравствуйте, малютка Лора! — с мягкой лаской обратилась она к девушке, сидевшей в отдалении от других учениц.— Эта головка очень хороша! Тон кожи чуть-чуть ярок, но в общем рисунок чудесный!

Подняв голову, Лора посмотрела на Джиневру с благодарностью, и лица обеих просияли нежностью. Легкая улыбка тронула губы итальянки. С задумчивым видом она медленно направилась к своему месту, небрежно поглядывая на рисунки и картины, здороваясь с каждой девушкой из своей группы и не замечая окружавшего ее необычного любопытства. Казалось, это королева шествует среди придворных. Не обратив никакого внимания на глубокую тишину, царившую в кружке патрицианок, и не обронив ни слова, она прошла мимо их лагеря. Ее рассеянность была так велика, что, сев за свой мольберт и открыв ящик с красками, она совершенно безотчетно, не сознавая, что делает, взяла кисти, надела коричневые нарукавники, повязалась передником, осмотрела свою картину и обследовала палитру. Все девушки из кружка буржуазок повернули головы в сторону Джиневры. Но если девицы из лагеря Тирион не так откровенно выражали свое нетерпение, как их соученицы, зато они усердно следили за Джиневрой исподтишка.

— Она ничего не замечает,— сказала мадемуазель Роген.

В эту минуту Джиневра перестала задумчиво разглядывать свой холст и посмотрела в сторону аристократок. Смерив взглядом разделявшее их расстояние, она промолчала.

— Ей не приходит в голову, что ее оскорбили умышленно,— сказала Матильда,— она ничуть не изменилась в лице, не покраснела, не побледнела. Вот будут злиться

наши барышни, если окажется, что ей на новом месте лучше, чем на старом!

И, обращаясь к Джиневре, Матильда громко сказала:

— Мадемуазель Джиневра, а ведь у вас из ряда вон выходящее место!

Итальянка сделала вид, что не слышит, а может быть, действительно не расслышала; она стремительно встала, затем медленно прошлась вдоль перегородки, отделявшей чулан от мастерской, по-видимому, разглядывая окно, от которого зависело освещение; казалось, она придавала этому большое значение, потому что даже встала на стул, чтобы повыше подвязать штору, заслонявшую свет. Отсюда она могла заглянуть в довольно узкую щель в перегородке, что и было ее истинной целью, потому что выражение лица Джиневры, когда ей удалось это сделать, можно сравнить только с выражением лица скупого, открывшего сокровища Аладина; быстро спрыгнув, она вернулась на место и установила картину на мольберте; затем, сделав вид, что все еще недовольна освещением, придвинула к перегородке стол, поставила на него стул и, ловко взобравшись на это сооружение, снова заглянула в щель. Она бросила только беглый взгляд в чулан, куда проникал свет из открытого слухового окна, но представшее перед нею зрелище произвело на нее такое впечатление, что она едва удержалась на ногах.

— Джиневра, вы упадете! — вскрикнула Лора.

Все девушки оглянулись на неосторожную подругу. Джиневра пошатнулась, но страх, что к ней подойдут, вернул ей мужество; усилием воли собрав все свои силы и восстановив равновесие, она повернулась к Лоре и, раскачивая табурет, сказала изменившимся голосом:

— Вот пустяки! Здесь чувствуешь себя устойчивее, чем на троне!

Она поспешила отдернуть штору, спустилась на пол, отодвинула стол и стул подальше от перегородки, вернулась на свое место у мольберта и сделала еще несколько попыток найти нужное освещение. Работа над картиной ее нисколько не занимала; она задалась целью приблизиться к чулану, у двери которого в конце концов и уселась. Затем, сохраняя полное молчание, стала сме-

шивать краски на палитре. Сидя на этом месте, она теперь отчетливо расслышала тихий звук, пробудивший в ней вчера такое жгучее любопытство и давший ее юному воображению пищу для самых различных догадок. Она сразу распознала сильное и ровное дыхание только что увиденного ею спящего человека. Ее любопытство было удовлетворено сверх всяких ожиданий, но теперь она чувствовала на себе бремя огромной ответственности: сквозь щель в перегородке ей удалось разглядеть в скудно освещенном чулане кивер с императорским орлом, а на походной кровати — фигуру в мундире офицера наполеоновской гвардии. Джиневра угадала все: Сервен прятал у себя осужденного. Сейчас ее охватывал трепет при мысли, что кто-нибудь подойдет посмотреть на ее картину и услышит дыхание или чересчур громкий вздох несчастного офицера, как это случилось с ней на предыдущем уроке. Она решила остаться у двери в чулан и положиться на свою ловкость в поединке с судьбой.

«Лучше мне быть здесь,— думала она,— и предотвратить какую-нибудь роковую случайность, чем оставить бедного узника на произвол чьего-то легкомыслия».

В этом и заключалась разгадка мнимого равнодушия Джиневры к тому, что потревожили ее мольберт; в глубине души она была в восторге от этого, получив возможность таким сравнительно простым и естественным способом удовлетворить свое любопытство; да к тому же она в ту минуту была слишком занята другим, чтобы задумываться над причинами своего переселения.

Нет ничего обиднее для девушек, как, впрочем, и для всех людей, чем видеть, что какая-нибудь злобная выходка, оскорбление или колкое словцо не оказали желаемого действия, наткнувшись на презрение того, к кому они обращены. Тогда кажется, что ненависть к врагу вырастает настолько, насколько он сам оказался выше нас. Поведение Джиневры стало загадкой для всех ее товарок. И друзья и враги ее были удивлены в равной мере: за ней признавали все добродетели, кроме одной — прощения обид. Правда, Джиневре редко представлялся случай проявить эту скверную черту характера в будничном течении жизни мастерской, однако примеры ее злопамятства и непреклонности оставили глубокий след в воображении соучениц.

Перебрав в уме немало догадок, мадемуазель Роген кончила тем, что увидела в молчании итальянки величие души превыше всяких похвал, и руководимый ею кружок задумал, по ее наущению, посрамить аристократию мастерской. Девушки преуспели в этом, обрушив на «скамьи правых» огонь сарказмов и повергнув в прах гордыню аристократок. Приход г-жи Сервен положил конец этому состязанию, целью которого было больнее уязвить самолюбие противника.

Однако с той проницательностью, которая всегда сопутствует злобе, Амели наблюдала, анализировала и делала свои выводы относительно необычайной рассеянности Джиневры, мешавшей ей прислушиваться к язвительно-учтивому диспуту, предметом которого была она сама. Роковые последствия мести Матильды Роген и ее подруг кружку Амели Тирион сказались в том, что юные ультрароялистки стали доискиваться причин молчания Джиневры Пьомбо. Прекрасная итальянка стала центром всеобщего внимания, за ней шпионили и враги и друзья. Весьма трудно скрыть волнение, даже самое незначительное, и чувство самое мимолетное от пятнадцати любопытных и праздных девушек, которые только и ждут возможности пустить в ход свою хитрость и ум для того, чтобы разгадывать тайны, создавать и распутывать интриги, и которые сами так искусно умеют придать любое значение малейшему жесту, взгляду и слову, что в конце концов разберутся в их подлинном смысле и у другой. Вот почему тайна Джиневры скоро оказалась под угрозой.

Приход г-жи Сервен послужил антрактом в драме, которая под сурдинку разыгрывалась в тайниках сердца этих молодых девушек, говоривших о своих чувствах, мыслях и одержанных над противницами победах в иносказательной форме, а иногда с помощью лукавого взгляда, жеста, даже молчания, подчас более выразительного, чем слова. Войдя в мастерскую, г-жа Сервен сразу же посмотрела на дверь, у которой сидела Джиневра. В такую минуту ее взгляд не мог остаться незамеченным. Если сначала никто из учениц не обратил на него внимания, то мадемуазель Тирион впоследствии вспомнила этот взгляд, и ей стали понятны и недоверие, и страх, и растерянность, отразившиеся во взгляде г-жи Сервен,

в котором тогда мелькнуло какое-то загадочное выражение.

— Сударыни,— сказала она,— господин Сервен сегодня не может прийти.

Затем она подошла по очереди ко всем ученицам, сказав каждой из них какую-нибудь любезность и получив в ответ многочисленные изъявления нежности, которую женщины умеют выразить одновременно и интонацией, и взглядом, и жестом. Она быстро добралась до Джиневры, тщетно стараясь справиться с охватившей ее тревогой. Итальянка и жена художника обменялись дружеским кивком, не сказав друг другу ни слова: Джиневра молча работала, г-жа Сервен молча наблюдала ее работу. Дыхание спящего офицера было ясно слышно, но г-жа Сервен как будто бы ничего не замечала и так искусно владела собой, что Джиневра едва не заподозрила ее в умышленной глухоте.

Но вдруг незнакомец пошевелился, и кровать заскрипела. Джиневра пристально посмотрела на г-жу Сервен, а та, не поведя бровью, сказала:

— Ваша копия не уступает оригиналу. Если бы мне пришлось выбирать между ними, я была бы в большом затруднении.

«Сервен не посвятил жену в свою тайну»,— подумала Джиневра и, ответив на любезность г-жи Сервен улыбкой, выражавшей вежливое недоверие, вполголоса запела одну из тех канцонетт, что поют у нее на родине.

Прилежная итальянка поет за работой! Это было так необычно, что все девушки оглянулись на нее с изумлением. Впоследствии канцонетта Джиневры послужила одной из улик, подтверждавших предположения ее высоконравственных клеветников.

Госпожа Сервен вскоре ушла, и занятия закончились без особых происшествий. Джиневра сделала вид, что решила еще поработать, и выжидала, чтобы ушли ее товарки; но она невольно выдала свое желание остаться одной, поглядывая с худо скрытым нетерпением на неторопливо собиравшихся учениц. За эти немногие часы мадемуазель Тирион прониклась смертельной ненавистью к той, которая превосходила ее во всем, и чутье врага подсказало ей, что за мнимым прилежанием соперницы скрывается тайна. Она не раз замечала, с ка-

ким напряженным вниманием Джиневра прислушивается к чему-то, чего другие не слышат. Когда же она увидела выражение глаз Джиневры, ее точно осенило. Уйдя из мастерской после всех, она спустилась вниз к г-же Сервен, немного поболтала с нею, затем, прикинувшись, что забыла наверху сумочку, на цыпочках поднялась в мастерскую и увидела Джиневру, которая, взобравшись на свой наспех сооруженный помост, так была поглощена созерцанием неизвестного офицера, что не расслышала тихих шагов Амели.

Правда, Амели ступала так осторожно, что Вальтер Скотт сказал бы: «Она, как наседка, по яйцам пройдет, ни одного не раздавит». Амели быстро вернулась к порогу мастерской и кашлянула. Джиневра вздрогнула и оглянулась; увидев недруга, она покраснела, торопливо задернула штору, чтобы скрыть свои истинные намерения, и, убрав краски в ящик, собралась домой. Она ушла из мастерской, унося в своей памяти образ юноши, не уступавший в изяществе Эндимиону — шедевру Жироде, с которого она несколько дней тому назад писала копию.

«Так молод и уже осужден! Да кто же он такой? Ведь это не маршал Ней!»

В этих трех фразах заключалась суть всех размышлений, которым два дня подряд предавалась Джиневра. На третий день, несмотря на старание прийти в мастерскую раньше всех, она застала там Амели, приехавшую на урок в карете. Джиневра и ее противница долго наблюдали друг друга, стараясь, однако, сохранить полную невозмутимость.

Амели все-таки удалось увидеть прекрасное лицо незнакомца; но, к счастью — и в то же время к несчастью — щелка, через которую она подсматривала, была узка, и в поле зрения Амели не попали ни кивер с орлом, ни гвардейский мундир. И вот теперь она терялась в догадках.

Неожиданно, значительно ранее обычного, явился Сервен.

— Мадемуазель Джиневра,— сказал он, оглядев мастерскую,— зачем вы переменили место? Тут свет плохо падает. Садитесь-ка поближе к остальным и опустите немного занавеску.

Затем он сел подле Лоры, и ее работа удостоилась самого лестного отзыва.

— Позвольте! — вскричал он.— Да ведь эта голова нарисована превосходно! Вы станете второй Джиневрой!

Учитель обошел все мольберты, браня, льстя, шутя, и, как всегда, его шуток боялись больше, чем его выговора.

Не послушавшись совета учителя, итальянка осталась на своем посту, с твердым намерением не трогаться с места. Взяв лист бумаги, она стала делать сепией этюд головы бедного затворника. Произведение искусства, в которое вложена творческая страсть, всегда отмечено особой печатью. Умение находить подлинные краски для отображения природы или человеческой мысли есть дар гения, но иногда заменой гения служит вдохновение. Вот почему в эту трудную для Джиневры минуту дар постижения, которым она обязана была своей памяти, глубоко потрясенной виденным, а может быть, и необходимость — мать всего великого — наделили ее сверхъестественной силой таланта. Этюд головы офицера был сделан с внутренним трепетом, который Джиневра приписывала страху, но в котором психолог без труда узнал бы жар вдохновения. Время от времени она украдкой посматривала на своих соучениц, чтобы, в случае надобности, спрятать рисунок от нескромных покушений. Но, несмотря на свою бдительность, она упустила мгновение, когда ее безжалостная противница, прикрывшись большой папкой, навела лорнет на таинственный рисунок. Узнав лицо осужденного, мадемуазель Тирион быстро высунула голову из-за своего укрытия, но Джиневра поспешила убрать лист бумаги.

— Почему же вы все-таки остались здесь, вопреки моему указанию? — строго спросил Сервен, подойдя к Джиневре.

Ученица быстро повернула мольберт таким образом, чтобы ее рисунок не был виден другим, и, показывая его учителю, спросила:

— Вы не согласны со мной, что от этого освещения картина выигрывает? Может быть, мне все-таки лучше остаться здесь?

Сервен побледнел. И так как ничто не скроется от зорких глаз ненависти, то мадемуазель Тирион, так ска-

зать, вошла третьей в долю волнений, обуревавших учителя и ученицу.

— Вы правы,— сказал Сервен.— Однако вы скоро будете знать больше меня,— добавил он, принужденно смеясь.

Наступила пауза, во время которой учитель внимательно разглядывал голову офицера.

— Да это шедевр, достойный Сальватора Роза! — воскликнул он, охваченный восторгом подлинного художника.

Услышав это восклицание, все девицы вскочили с мест, и мадемуазель Тирион ринулась вперед с быстротой тигра, бросающегося на свою жертву. В эту минуту спрятанный в тайнике офицер, проснувшись от шума, зашевелился. Джиневра опрокинула свой табурет, проговорила что-то невнятное и стала смеяться; однако она успела сложить портрет и бросить в свою папку, прежде чем ее грозной противнице удалось его рассмотреть. Мольберт окружили, Сервен громогласно и обстоятельно описал все красоты копии, которую тогда делала его любимая ученица, и этот маневр обманул всех, кроме Амели; спрятавшись за спиной подруг, она попыталась открыть папку, так как успела заметить, куда Джиневра спрятала этюд.

Джиневра выхватила у нее папку и, ни слова не говоря, положила перед собой. Обе девушки молча мерили друг друга глазами.

— А теперь, сударыни, по местам! — сказал Сервен.— Если вы хотите знать столько же, сколько мадемуазель Пьомбо, старайтесь поменьше разговаривать о модах и балах и не тратить времени по пустякам.

Когда все девушки снова заняли места у мольбертов, Сервен подсел к Джиневре.

— Правда, ведь лучше, что эту тайну открыла я, а не кто-нибудь другой? — вполголоса спросила его итальянка

— Да,— ответил художник.— Вы патриотка, но и в противном случае я доверился бы только вам.

Они поняли друг друга, и ученица уже не побоялась спросить учителя:

— Кто это?

— Близкий друг Лабедуайера; после злосчастного

полковника он больше всех содействовал присоединению седьмого полка к гренадерам с острова Эльбы. Он был командиром гвардейского эскадрона и прибыл из-под Ватерлоо.

— Как же вам не пришло в голову сжечь его мундир и кивер и переодеть его в штатское? — с упреком спросила Джиневра.

— Одежду принесут сегодня вечером.

— Вам надо было закрыть мастерскую на несколько дней.

— Он уйдет.

— Но это для него верная гибель! — сказала девушка.— Оставьте его у себя на первое время, пока буря утихнет. Париж — единственное место, где еще можно надежно спрятать человека. Это ваш друг?

— Нет, только его несчастье дает ему право на мое покровительство. Вот каким образом он оказался на моем попечении: в нынешнюю кампанию тесть мой был снова призван, встретился с этим бедным юношей и сумел спасти его от лап тех, кто арестовал Лабедуайера. Подумайте, этот юноша собирался защищать Лабедуайера! Сумасшедший!

— И вы, вы можете называть его сумасшедшим! — воскликнула Джиневра, с изумлением глядя на художника. Сервен помолчал.

— За тестем слишком усердно следят, ему нельзя никого у себя прятать,— продолжал Сервен.— Вот почему он на прошлой неделе привел его ко мне под покровом ночи. Я надеялся, что уберегу его от чьих бы то ни было взглядов. Чулан — единственное место у нас в доме, где он может быть в безопасности.

— Если я могу быть вам полезна, располагайте мною,— сказала Джиневра,— я знакома с маршалом Фельтром.

— Ну что ж, посмотрим,— ответил художник.

Разговор слишком затянулся и угрожал привлечь внимание всех девушек. Отойдя от Джиневры, Сервен снова обошел все мольберты и все еще продолжал наставлять учениц, хотя время урока давно истекло и ему пора было уходить.

— Вы забыли вашу сумочку, мадемуазель Тирион,— закричал учитель, бросаясь вдогонку за ученицей, кото-

рая унизилась до роли шпиона, чтобы утолить свою ненависть. Любопытная Амели вернулась за сумочкой, выражая изумление по поводу своей рассеянности, однако предупредительность Сервена была для нее лишним доказательством того, что тайна существует — и, без сомнения, важная. Все, что можно было сочинить об этой тайне, уже было ею сочинено, и теперь ей оставалось сказать, как аббату Верто: «Моя осада уже закончена». Нарочно стуча каблуками, она спустилась с лестницы и изо всей силы хлопнула выходной дверью, чтобы создать впечатление, будто она ушла; но вместо этого она на цыпочках опять поднялась наверх и спряталась за дверью в мастерскую. Решив, что никого, кроме него с Джиневрой, здесь не осталось, Сервен постучал условным стуком в дверь чулана, и она сразу отворилась, скрипя ржавыми петлями.

Перед итальянкой предстал высокий, стройный юноша; мундир императорской гвардии заставил забиться ее сердце. Одна рука офицера была на перевязи, бледность лица говорила о глубоких страданиях. Увидев неизвестную девушку, он вздрогнул. Амели, которая ничего не могла рассмотреть из своей засады, побоялась оставаться дольше и бесшумно ушла: ей было достаточно услышать скрип двери.

— Не бойтесь ничего,— сказал художник,— эта дама — дочь самого преданного друга императора, барона ди Пьомбо.

Взглянув на Джиневру, молодой офицер перестал сомневаться в ее патриотизме.

— Вы ранены? — спросила она.

— Совершенные пустяки, сударыня, рана уже заживает.

В эту минуту с улицы донеслись скрипучие, пронзительные голоса газетчиков: «Решением суда к смертной казни приговорен...»

Все трое вздрогнули. Первым услышал имя приговоренного офицер, и с его лица сбежали все краски.

— Лабедуайер,— проговорил он, упав на стул.

Они молча переглянулись. Капли пота выступили на свинцово-бледном лбу юноши; в отчаянии, запустив пальцы в густую волну своих черных волос, он бессильно облокотился о мольберт Джиневры.

— В конце концов,— сказал он, вскочив,— мы с Лабедуайером знали, на что шли. Мы знали, какая участь ожидает нас и в случае победы и при поражении. Но он умирает за свое дело, а я, я прячусь...

Он стремительно пошел к выходу, но Джиневра, легко обогнав его, преградила ему дорогу.

— Разве вы вернете императора? Ужели вы думаете, что можете поднять этого гиганта, когда он сам не сумел устоять на ногах?

— Но что ж вы прикажете мне делать? — ответил офицер, обращаясь к обоим друзьям, посланным ему случаем.— У меня нет никого родных на всем свете. Лабедуайер был моим покровителем и другом, теперь я один; завтра, быть может, я буду объявлен вне закона или осужден. У меня не было никаких доходов, кроме жалованья, и я истратил последнее экю на поездку сюда, чтобы спасти Лабедуайера и постараться его увезти; стало быть, сейчас смерть для меня — необходимость. А если решаешься умереть, надо дорого продать свою жизнь. Я только что думал о том, что жизнь одного честного человека стоит жизни двух предателей и что одним ударом кинжала, если направить его с умом, можно заслужить бессмертие.

Этот взрыв отчаяния испугал художника и даже Джиневру, так как она вполне поняла смысл сказанного.

Итальянка залюбовалась прекрасным лицом юноши, заслушалась звуками мягкого голоса — их не мог исказить даже гнев — и тут же решила пролить бальзам утешения на раны несчастливца.

— Сударь,— сказала она,— что касается ваших денежных затруднений, то позвольте мне предложить вам мои сбережения. Мой отец богат, я его единственное дитя, он меня любит, и я совершенно уверена, что он не осудит меня. Примите же мою помощь без стеснения: богатство досталось нам от императора; у нас нет ни сантима, которым мы не были бы обязаны его щедрости. И разве оказать услугу его верному солдату не значит выразить признательность императору? Возьмите эту денежную сумму так же просто, как я предлагаю ее вам. Ведь это только деньги,— добавила она презрительно.— Ну, а друзья... друзей вы найдете!

Она гордо подняла голову, и глаза ее зажглись необычайным светом.

— Человек, который падет завтра, сраженный десятком пуль, спасает вас,— продолжала она.— Подождите, пока буря утихнет; если к этому времени о вас не забудут, вы уедете за границу и будете там служить; если же о вас забудут, вы станете служить во французской армии.

Есть в женском утешении особая услада — всеутоляющая материнская мягкость и прозорливость. Но если к словам, несущим успокоение и надежду, присоединяются грация движений, убедительность интонации, которую подсказывает сердце, и в особенности если утешительница прекрасна, то молодому человеку трудно ей противиться. Дыхание любви вернуло юношу к жизни. Его бледные щеки окрасил легкий румянец, с глаз как будто сошла пелена скорби, и голос его прозвучал как-то особенно, когда он проговорил:

— Вы ангел доброты! Но Лабедуайер, Лабедуайер...— опомнившись, добавил он.

Все трое молча переглянулись: они понимали друг друга. Двадцать минут их знакомства стоили двадцати лет дружбы.

Сервен прервал молчание:

— Милый мой, да разве вы можете его спасти?

— Я могу отомстить за него.

Джиневра затрепетала: как ни был прекрасен незнакомец, его наружность не вызвала в ее душе никакого волнения; сострадание, которое пробуждается в сердце женщины при столкновении с высокой скорбью, заглушило в ней все другие чувства. Но, услышав призыв к мести, открыв в этом изгнаннике сердце итальянца, верность Наполеону и корсиканскую широту души, она не могла устоять. Вот почему она с благоговейным волнением смотрела на этого офицера и почему так сильно билось ее сердце. Впервые в жизни она испытывала такое трепетное чувство к мужчине. Как это бывает со всеми женщинами, ей хотелось думать, что благородный облик незнакомца и строгие пропорции его стана, которыми она любовалась как художница, находятся в полной гармонии с его душевными качествами.

Увлекаемая судьбой от любопытства к состраданию,

от сострадания к горячему участию, она испытывала сейчас такие глубокие чувства, что побоялась оставаться дольше в мастерской.

— До завтра,— сказала она, подарив в утешение офицеру самую нежную улыбку.

Увидев эту улыбку, озарившую лицо Джиневры, незнакомец на миг забыл обо всем.

— Завтра,— печально затем повторил он,— но завтра Лабедуайера...

Оглянувшись, Джиневра приложила палец к губам и посмотрела на него, словно говоря: «Успокойтесь, будьте же благоразумны!»

Тогда юноша воскликнул:

— O Dio chi non vorrei vivere dopo aver la veduta! (О боже! Кто не захочет жить, ее увидев!)

Услышав его своеобразное произношение, Джиневра вздрогнула.

— Вы корсиканец? — спросила она, возвращаясь назад, и сердце ее радостно забилось.

— Я родился на Корсике,— ответил он,— но меня ребенком увезли оттуда в Геную. Достигнув призывного возраста, я поступил в армию.

Красота незнакомца, убеждения бонапартиста, придававшие ему необычайную привлекательность, его рана, его несчастья, даже опасность, которой он подвергался,— все это померкло, вернее, растворилось в одном чувстве, новом, пленительном: этот изгнанник был сыном Корсики, он говорил на милом сердцу языке!

Девушка на мгновение застыла, как зачарованная. Перед ее глазами стояла подлинно живая картина, которую сплетение судьбы и разнообразных человеческих чувств заставило сверкать необычайно яркими красками.

Сервен усадил офицера на диван и снял поддерживавший его раненую руку шарф, чтобы переменить повязку. Увидев глубокую и длинную сабельную рану на предплечье юноши, Джиневра вскрикнула. Незнакомец поднял голову и улыбнулся ей. Было что-то проникновенно-трогательное в том, как бережно Сервен прикасался к больному месту, снимая корпию, а болезненно-бледное лицо раненого, обращенное к девушке, выражало скорее восторг, чем страдание. И художница не-

вольно залюбовалась этим сочетанием противоречивых чувств и контрастных красок — белизны повязки, смуглой кожи обнаженного плеча с сине-красным мундиром гвардейца.

Мастерская была окутана мягким сумраком; но последний солнечный луч вдруг упал на фигуру изгнанника, и его тонкое бледное лицо, черные волосы, одежда словно вспыхнули ослепительным сиянием. Суеверная итальянка приняла эту простую игру света за счастливое предзнаменование. И незнакомец представился ей посланником небес, который принес с собой звуки родного говора и обаяние детства,— как раз сейчас, когда в ее сердце зарождалось чувство, такое же нетронутое и чистое, как первоначальная пора ее жизни. На мгновение — совсем краткое — она задумалась, словно потонув в беспредельности мечты; затем, вспыхнув от смущения, что другие могли заметить ее рассеянность, обменялась быстрым и нежным взглядом с изгнанником и убежала, унося с собой его образ.

На следующий день занятий не было. Джиневра пришла в мастерскую, и пленнику была предоставлена возможность беседовать со своей соотечественницей; Сервен заканчивал эскиз и позволил узнику выйти в мастерскую, взяв на себя обязанность надзирать за молодыми людьми, которые в разговоре часто переходили на корсиканское наречие. Бедный юноша рассказал о своих страданиях во время отступления из Москвы: девятнадцати лет он один уцелел от всего полка при переправе через Березину, потеряв в лице своих товарищей всех, кто способен был отнестись с участием к сироте. В незабываемых выражениях описал он разгром при Ватерлоо. Для итальянки голос его звучал музыкой. Воспитанная на корсиканский лад, Джиневра в некоторых отношениях была дитя природы: она не умела лгать и бесхитростно отдавалась впечатлениям; она не скрывала их или, вернее, позволяла о них догадываться, не прибегая к уловкам мелкого и расчетливого кокетства, свойственного парижским барышням.

В этот день ей не раз случалось сидеть, застыв с палитрой в одной руке, с кистью в другой, забывая окунуть кисть в краску; не сводя глаз с офицера, полуоткрыв рот, она слушала, а кисть держала наготове, но

так и не сделала ни одного мазка. Встречаясь с глазами юноши, она не удивлялась, читая в них нежность: она и сама чувствовала, что взгляд ее становится нежным, вопреки ее желанию придать ему строгое или спокойное выражение. Но потом она стала рисовать — и рисовала долго, с особенным старанием, потому что он был здесь, рядом, смотрел, как она работала.

Когда он впервые сидел рядом с ней, молчаливо ее созерцая, она сказала изменившимся голосом после долгой паузы:

— Вам нравится смотреть, как пишут картины!

В этот день она узнала, что его зовут Луиджи. Прощаясь, они условились, что если в дни занятий понадобится осведомить Луиджи о каких-либо важных политических событиях, Джиневра будет вполголоса напевать ту или иную итальянскую песенку.

На следующее утро мадемуазель Тирион сообщила всем своим соученицам под секретом, что в Джиневру ди Пьомбо влюблен некий молодой человек, который в часы занятий забирается в чулан.

— Вы ведь ее сторонница,— сказала она Матильде Роген,— присмотритесь к ней хорошенько, и тогда вы увидите, чем она занимается.

Таким образом, за Джиневрой установилось бдительное и злобное наблюдение. Ее песенки подслушивали, ее взгляды подсматривали. Когда она думала, что ее никто не видит, за ней неотступно следило несколько пар глаз. Так как девушки были предупреждены заранее, то им удалось правильно истолковать и смену чувств на сияющем лице итальянки, и смысл каждого ее движения, и особенный оттенок, звучавший в ее песенке, и выражение внимания, когда она прислушивалась к невнятным звукам из-за перегородки, доступным только ее слуху. Через неделю лишь одна из пятнадцати учениц Сервена отказывалась посмотреть в щелку на Луиджи. Это была Лора, хорошенькая бедная девушка и усердная ученица, которую тянуло к прекрасной итальянке в силу инстинкта, свойственного слабым существам; она искренне любила Джиневру и все еще ее защищала.

Мадемуазель Роген попыталась подговорить Лору остаться наверху после урока, чтобы она удостоверилась в близких отношениях между Джиневрой и молодым

красавцем, увидев их наедине. Но Лора отказалась унизиться до шпионства, которое нельзя было оправдать любопытством, и навлекла на себя всеобщее порицание.

В скором времени дочь «придверника» при кабинете короля, Амели Тирион, сочла для себя непристойным бывать в мастерской художника — не то патриота, не то бонапартиста, что тогда считалось одним и тем же. Поэтому она больше не появлялась у Сервена, а он вежливо отклонил просьбу давать ей уроки на дому. Однако если Амели забыла о Джиневре, то посеянное ею зло дало свои плоды. Мало-помалу все остальные девицы — кто случайно, кто по неумению держать язык за зубами, кто из ханжества — донесли маменькам о диковинном происшествии в мастерской. В один прекрасный день не пришла Матильда Роген, на следующий урок — другая девушка; в конце концов перестали ходить и остальные ученицы. В течение нескольких дней единственными обитательницами опустевшей мастерской остались Джиневра и ее маленькая подружка Лора. Итальянка нисколько не замечала царившей вокруг нее пустоты и даже не задумывалась над причиной отсутствия своих товарок. После того как она изобрела тайный способ общения с Луиджи, она жила в мастерской своей жизнью, одна среди людей, в каком-то чудесном затворничестве, думая только об офицере и опасностях, ему угрожавших. Искренне восхищаясь благородством людей, не желающих отречься от своих политических убеждений, девушка все же уговаривала Луиджи признать власть короля, ибо хотела удержать его подле себя, во Франции. Луиджи отказывался выходить из своего тайного убежища. Если правда, что страсть возникает и развивается только под влиянием необычайных и романтических событий, то можно сказать, что никогда еще столько обстоятельств не благоприятствовало слиянию двух существ в одном чувстве. Джиневра и Луиджи за один месяц стали так близки друг другу, как не сблизились бы светские люди и за десять лет, встречаясь в гостиной. И разве несчастье не служит пробным камнем для характера? Джиневре нетрудно было оценить по достоинству Луиджи и узнать его; оттого они так скоро почувствовали уважение друг к другу. Джиневра, хотя и старше его годами, находила необычайную отраду в поклонении

юноши, уже проявившего такую высоту духа и испытанного судьбой, в котором опыт мужчины сочетался со всем обаянием молодости. В свою очередь, Луиджи находил, по-видимому, неизъяснимое наслаждение, позволяя опекать себя двадцатипятилетней девушке. В этом чувстве была известная доля какой-то необъяснимой гордости. Может быть, это и было доказательством любви. Сочетание мягкости с твердостью, силы со слабостью делало Джиневру неотразимо привлекательной, и Луиджи был ею совершенно покорен. Они любили друг друга уже так глубоко, что им незачем было ни отрицать это, ни признаваться в этом.

Однажды вечером Джиневра услышала условный сигнал: Луиджи легко постукивал булавкой по переборке; коснись ее паук, развешивая свою паутину, он произвел бы не больше шума; это постукивание означало, что затворник просит позволения выйти из своего убежища. Итальянка окинула беглым взглядом мастерскую и, не заметив крошки Лоры, ответила утвердительным сигналом. Отворив дверь и увидев ученицу за мольбертом, Луиджи отпрянул. Джиневра удивленно оглянулась по сторонам, обнаружила Лору и, подойдя к ее мольберту, сказала:

— Как вы поздно работаете, дорогая моя! По-моему, эта головка вполне закончена. Остается только положить еще один блик — вон там, на верхней пряди волос.

— Может быть, вы будете так добры,— с волнением сказала Лора,— и согласитесь поправить мою копию? У меня тогда хоть останется память о вас...

— Охотно,— ответила Джиневра, рассчитывая таким образом спровадить Лору.— А я думала,— продолжала она, накладывая легкие мазки,— что от мастерской до вашего дома очень далеко.

— О Джиневра, я ухожу совсем, ухожу навсегда! — печально ответила Лора.

Случись это месяц назад, итальянка ближе приняла бы к сердцу горестные слова подруги.

— Вы расстаетесь с господином Сервеном? — спросила она.

— Джиневра! Разве вы не замечаете, что с некоторых пор здесь никто не бывает, кроме нас с вами?

— Правда,— отвечала Джиневра, точно ее вдруг

осенило.— Что же случилось? Неужто все наши девицы заболели или замуж повыходили? Или, может быть, у всех отцы прислуживают при дворе?

— Все бросили господина Сервена,— ответила Лора.

— Отчего же?

— Из-за вас, Джиневра.

— Из-за меня? — повторила дочь Корсики, встав с угрожающим видом и гневно сверкнув глазами.

— О, только не сердитесь, Джиневра, милая! — с тоскою в голосе сказала Лора.— Моя мать тоже хочет, чтобы я ушла из мастерской. Все наши девицы донесли родителям, что у вас какая-то любовная история, что господин Сервен попустительствовал тому, чтобы молодой человек, который вас любит, прятался в чулане; но я никогда не верила этим сплетням и ничего не говорила матери. А вчера вечером госпожа Роген встретилась с моей матерью на балу и спросила ее, посылает ли она еще меня сюда на уроки, а когда моя мать сказала, что посылает, то госпожа Роген пересказала ей все выдумки наших девиц. Маменька очень меня бранила, говорила, что я обманула ее доверие, потому что не могла всего этого не знать, а между матерью и дочерью должно быть полное доверие. О Джиневра, дорогая моя, как жалко, что мне нельзя больше быть вашей подругой, ведь вы для меня образец во всем!

— Наши пути еще встретятся, девушки ведь выходят замуж,— сказала Джиневра.

— Когда они богаты,— ответила Лора.

— Приходи ко мне, мой отец богат.

— Джиневра,— сказала растроганная Лора,— госпожа Роген и моя мать собираются завтра устроить сцену господину Сервену, надо его предупредить об этом.

Если бы рядом с Джиневрой ударила молния, это бы ее меньше потрясло, чем такое известие.

— Им-то что за дело до этого? — наивно спросила она.

— Все находят, что это очень нехорошо. Маменька говорит, что это безнравственно.

— А вы как думаете, Лора?

Девушка только взглянула на Джиневру — и обе поняли, что думают одно и то же; дав волю слезам, Лора бросилась на шею к подруге.

В эту минуту вошел Сервен.

— Мадемуазель Джиневра,— в восторге воскликнул он,— я кончил картину, сейчас ее покрывают лаком! Но что у вас тут? Как видно, наши девицы устроили себе каникулы или уехали в деревню?

Лора вытерла слезы и, простившись с Сервеном, ушла.

— Уже несколько дней мастерская пуста,— ответила Джиневра,— и наши девицы больше не придут.

— Вот как!

— О, не смейтесь, послушайте! — продолжала Джиневра.— Это из-за меня; я невольная виновница того, что ваша репутация погибла.

Усмехнувшись, художник прервал свою ученицу.

— Моя репутация! Да через несколько дней картина будет на выставке!

— Речь идет не о вашем таланте, а о вашей нравственности. Ваши ученицы поспешили оповестить всех, что Луиджи все время сидел здесь взаперти, что вы попустительствуете тому, чтобы... тому, чтобы мы любили друг друга.

— Тут есть доля правды,— ответил Сервен.— И все же маменьки наших девиц — попросту ханжи! Приди они поговорить со мной, все бы разъяснилось. Но огорчаться из-за этого я и не подумаю. Жизнь слишком коротка!

И художник щелкнул пальцами над головой.

В комнату вбежал Луиджи, слышавший часть этого разговора.

— Вы потеряете всех своих учениц,— сказал он в волнении,— и разоритесь из-за меня!

Художник соединил руки Джиневры и Луиджи.

— Вы ведь поженитесь, дети мои? — спросил он с трогательным простодушием.

Оба потупили глаза; молчание было их первым признанием в любви.

— Итак,— продолжал Сервен,— вы будете счастливы, правда? А разве есть что-нибудь, чем не стоило бы поступиться ради счастья таких двух людей, как вы?

— Я богата,— сказала Джиневра,— и вы позволите мне возместить...

— Возместить! — вскричал Сервен.— Но когда станет известно, что я пал жертвой клеветы каких-то дур и прятал у себя осужденного... да все парижские либералы будут посылать ко мне своих дочек! И тогда, может быть, я буду вашим должником...

Луиджи пожимал руку своему покровителю, не в силах вымолвить ни слова; но в конце концов ему удалось проговорить растроганным голосом:

— Стало быть, вам я буду обязан всем моим блаженством?

— Будьте счастливы, соединяю вас,— сказал художник, с комической торжественностью возлагая руки на головы влюбленных.

Эта театральная шутка положила конец их умилению. Все трое, смеясь, посмотрели друг на друга. Итальянка сжала руку Луиджи с той силой страсти, с той непосредственностью чувства, которая вполне соответствовала нравам ее родины.

— Послушайте-ка, дети мои,— сказал Сервен,— уж не воображаете ли вы, что все сейчас обстоит как нельзя лучше? Так вот, вы ошибаетесь!

Влюбленные посмотрели на него с удивлением.

— Успокойтесь, я единственный, кто потерпел от ваших проказ. Вот только госпожа Сервен у нас немного чопорна, и, по правде говоря, я не знаю, как мы все это с ней уладим.

— Господи! Я совсем забыла! — воскликнула Джиневра.— Ведь завтра к вам должны явиться госпожа Роген и мать Лоры, чтобы...

— Понимаю,— прервал ее художник.

— Но вы сумеете восстановить свою честь,— продолжала девушка, гордо вскинув голову.— Господин Луиджи,— при этом она лукаво на него посмотрела,— как будто бы не должен больше питать ненависти к правительству короля? Ну, вот,— продолжала она, убедившись, что он улыбается,— завтра утром я подам прошение одному из самых влиятельных лиц в военном министерстве, человеку, который ни в чем не может отказать дочери барона Пьомбо. Мы добьемся неофициального помилования для майора Луиджи: эти люди не захотят ведь признать за вами чин полковника. А вы,— добави-

ла она, обращаясь к Сервену,— посрамите матерей моих добрейших подруг, сказав им правду.

— Вы ангел! — воскликнул Сервен.

В то время как в мастерской происходила эта сцена, родители Джиневры с тревогой ждали дочь.

— Уже шесть часов, а Джиневры все нет! — нетерпеливо вырвалось у Бартоломео.

— Она никогда еще так поздно не возвращалась! — откликнулась его жена.

Старики переглянулись с необычным для них беспокойством.

Бартоломео не мог усидеть на месте от волнения; он встал и дважды прошелся по гостиной, довольно быстро для человека семидесяти семи лет. Обладая могучим здоровьем, он почти не изменился с того дня, как приехал в Париж, и хотя старик был высок ростом, стан его все еще не согнулся. Уже совсем седые волосы, поредев, обнажили большой и крутой лоб, всякому внушавший доверие к силе и твердости его характера. Лицо, изрытое глубокими морщинами, приобрело ту значительность и бледность, которые вселяют почтение. Буйство страстей еще жило в необычайном блеске глаз, и черные с проседью брови сохранили свою страшную выразительность. Облик его был суров, но окружающие верили, что Бартоломео имеет право на такую суровость. О его доброте и мягкости вряд ли знал кто-нибудь, кроме жены и дочери. При исполнении служебных обязанностей или перед посторонними он никогда не терял величественной осанки, которую приобрел с годами; когда он привычно хмурил свои нависшие брови, собирая в складки лицо и по-наполеоновски проницательно взглядывая на собеседника, от него веяло холодом. В те времена, когда он занимался политической деятельностью, он внушал всем такой страх, что его считали человеком, нежелательным в обществе. Однако нетрудно объяснить происхождение этой дурной славы. Образ жизни, высокие нравственные устои и честность Пьомбо были предметом нареканий среди большинства царедворцев. Ему случалось выполнять поручения довольно щекотливого свойства, не давая никому отчета в средствах, которые были в его распоряжении; всякий другой нажился бы, а у Пьомбо было не больше тридцати тысяч ливров ренты в государст-

венных бумагах. Если принять во внимание, как дешево доставались ренты во времена Империи и как щедро Наполеон вознаграждал тех преданных слуг, которые умели замолвить о себе слово, то легко можно поверить в безукоризненную честность барона ди Пьомбо; своим баронством он был обязан только тому, что, назначив его послом, Наполеон вынужден был дать ему титул. Бартоломео питал беспощадную ненависть к предателям, которыми окружил себя Наполеон, в надежде завоевать их преданность своими победами. Говорят, именно барон ди Пьомбо, советуя императору избавиться от трех человек во Франции перед его знаменитой и достойной изумления кампанией 1814 года, сделал три шага назад к выходу из его кабинета.

После второй Реставрации Бартоломео перестал носить орден Почетного легиона. В его лице нашел свое яркое воплощение прекрасный образ тех старых республиканцев, впоследствии неподкупных сподвижников императора, которые остались в обществе как живые обломки двух самых сильных политических режимов, какие когда-либо знал мир. Если барон ди Пьомбо был не по вкусу иным царедворцам, зато он считал в числе своих друзей Дарю, Друо, Карно. Вполне естественно, что о прочих политических деятелях после Ватерлоо он думал не больше, чем о дыме своей сигары.

На довольно скромную сумму, полученную им за его корсиканские поместья от матери императора, барон ди Пьомбо приобрел старинный особняк Портандюэров, но не завел там никаких новшеств. Обычно расходы по его квартире в посольстве оплачивало правительство, поэтому он поселился в этом особняке только после катастрофы в Фонтенебло. Следуя обычаям людей простых и высоконравственных, барон и его жена не дорожили внешней роскошью; они ничего не добавили к прежней обстановке дома. Обширные залы с высокими сводами, сумрачные и пустынные, большие зеркала в старых, когда-то позолоченных, а теперь почерневших рамах и мебель времен Людовика XIV вполне отвечали облику Бартоломео и его супруги, которых тоже вполне можно было отнести к образчикам глубокой старины. Во времена Империи и Ста дней, когда по роду своей службы старый корсиканец получал высокое вознаграждение, он жил на

широкую ногу, но не для того, чтобы блистать, а потому, что хотел поддержать честь своего звания. Домашний уклад барона и его жены отличался такой незатейливостью и размеренностью, что их скромного состояния вполне хватало на их нужды. Дороже всех богатств мира была для них дочь.

Когда в мае 1814 года барон ди Пьомбо вышел в отставку, уволил всю прислугу и запер пустую конюшню на замок, Джиневра, такая же простая и неприхотливая, как ее родители, не выразила никакого сожаления. Как у всех людей высокой души, глубина чувств заменяла ей показную роскошь, а высшее блаженство она видела в уединении и труде. К тому же они все трое слишком сильно любили друг друга, чтобы внешняя сторона жизни могла представлять для них ценность. Часто, особенно после второго, страшного крушения Наполеона, Бартоломео и его жена проводили чудесные вечера, слушая, как Джиневра играет на фортепьяно или поет. Они находили наслаждение в одном лишь присутствии дочери, в каждом ее слове; они следили за ней глазами с нежным беспокойством, слышали ее шаги во дворе, как легко она ни ступала. Они могли, как влюбленные, молчать втроем по целым часам, и голос души звучал в этом молчании красноречивее всяких слов. Это глубокое чувство, в котором и заключалась, собственно, жизнь обоих стариков, заполняло все их мысли. То были не три жизни, а одна — как огонь в очаге, пылающий тремя языками пламени. Если же порой воспоминания о милостях Наполеона, о постигшем его несчастье и треволнения современной политической жизни брали верх над неусыпной родительской заботой стариков, то они могли предаваться им вслух, не нарушая своего внутреннего единства: разве Джиневра не разделяла их политических симпатий? И разве поэтому не было естественно, что они так страстно искали опору в чувстве своей единственной дочери?

До сих пор обязанности барона ди Пьомбо в обществе поглощали всю его энергию; отойдя от дел, корсиканец не мог не вложить все свои душевные силы в последнее оставшееся ему чувство; впрочем, кроме тех уз, которые связывают родителей с дочерью, существовала еще одна серьезная причина для такой фанатической

страсти, не сознаваемая, быть может, этими тремя деспотичными людьми: они любили друг друга; сердце Джиневры полностью принадлежало отцу, как сердце Пьомбо — дочери; наконец, если правда, что нас с близкими связывают не столько наши добродетели, сколько пороки,— все страсти отца находили полный отклик в душе Джиневры. Отсюда и проистекла дисгармония в этом единстве трех жизней. Так же, как Бартоломео в молодости, Джиневра была непреклонна в своих желаниях, мстительна, вспыльчива. Корсиканец находил удовольствие в том, чтобы развивать эти дикие чувства в дочери: так лев натравливает львят, приучая их бросаться на добычу. Но это своеобразное обучение происходило только в отчем доме, поэтому Джиневра ничего не прощала отцу, и ему приходилось уступать ей. Пьомбо считал эти искусственные столкновения игрой, но, играя, девочка научилась властвовать над родителями. В самом разгаре таких стычек, которые Бартоломео любил затевать, достаточно было ласкового слова или взгляда, чтобы усмирить эти неистовые души, и от угроз им легче всего было перейти к поцелуям. Однако уже лет пять Джиневра, ставшая умнее своего отца, неуклонно избегала таких сцен: честность, преданность, любовь, восторжествовавшая над всеми своенравными порывами, ее твердая воля и здравый смысл помогли ей справиться с приступами гнева; тем не менее из этого вытекало одно огромное зло — Джиневра была на равной ноге со своими родителями, а это всегда ведет к роковым последствиям.

В заключение нашего рассказа обо всех переменах, происшедших в жизни этой семьи с той поры, как она обосновалась в Париже, скажем еще, что Пьомбо и его жена, люди необразованные, позволили Джиневре учиться по ее собственному усмотрению и вкусу. Поддаваясь своим девичьим прихотям, она училась всему и все бросала, попеременно увлекаясь то одной идеей, то другой, пока ее главной страстью не стала живопись; она стала бы совершенством, будь ее мать способна руководить занятиями дочери, наставлять ее и примирять ее противоречивые дарования; недостатки Джиневры происходили от того пагубного воспитания, которое дал ей старый корсиканец.

Долго еще скрипел паркет под шагами Пьомбо; наконец старик решил позвонить. Вошел слуга.

— Пойдите навстречу мадемуазель Джиневре,— сказал барон.

— Я не перестаю жалеть о том, что у нас больше нет для нее кареты,— заметила баронесса.

— Она не хотела ее иметь,— ответил Пьомбо, взглянув на жену; привыкнув сорок лет повиноваться, она опустила глаза.

Баронессе минуло семьдесят лет; высокая, худощавая, с желтым морщинистым лицом, она была в точности похожа на старух с жанровых картинок Шнетца из итальянской жизни. Она так привыкла молчать, что ее можно было бы принять за новую миссис Шенди, но достаточно было одного ее слова, взгляда или жеста, чтобы сразу стало ясно, что она еще вполне сохранила силу и молодую свежесть чувств. В ее одежде не только не было намека на кокетство, но часто отсутствовал даже вкус. Баронесса имела обыкновение сидеть без дела, утопая в мягком кресле, как султанша-мать, в ожидании или созерцании Джиневры, которая была ее гордостью и источником жизни. Казалось, красота, наряды, грация дочери стали теперь ее собственным украшением: ей было хорошо тогда, когда хорошо и радостно было Джиневре. Волосы баронессы совсем побелели, и вокруг ее желтого морщинистого лба и впалых щек кое-где выбивались седые пряди.

— Вот уже недели две, как Джиневра всегда запаздывает,— сказала она.

— Жан еле плетется! — нетерпеливо сказал старик и, застегнув свой синий фрак, нахлобучил шляпу, схватил трость и вышел.

— Тебе не придется далеко идти! — крикнула ему вдогонку жена.

Действительно, ворота распахнулись, захлопнулись снова, и мать услышала шаги Джиневры во дворе. И сразу же появился Бартоломео, с торжеством неся вырывавшуюся из его рук дочь.

— Вот она, Джиневра, Джиневреттина, Джиневрина, Джиневроллa, Джиневретта, Джиневра la bella![1]

---

[1] Красавица *(итал.)*.

— Отец, мне больно!

Джиневра немедленно была бережно поставлена на землю. Грациозным кивком головы она дала понять испуганной матери, что ее слова только военная хитрость и беспокоиться нечего. Тогда на изжелта-бледном лице баронессы выступила краска и показалось даже что-то вроде улыбки.

Пьомбо потирал руки с неимоверным усердием, а это у него было самым верным признаком радости; он усвоил эту привычку еще при дворе, с удовольствием наблюдая, как Наполеон распекает генералов или министров, которые провинились перед ним или совершили проступок по службе. Все лицо его словно распустилось, и каждая морщинка сияла благодушием. Сейчас оба старика напоминали растения, захиревшие от долгой засухи: достаточно только брызнуть на них водой, чтобы они сразу ожили.

— За стол, за стол! — закричал барон, протягивая свою широкую ладонь Джиневре и называя ее при этом «синьора Пьомболлина», что тоже было признаком радости, вызвавшим ответную улыбку дочери.

— Ах, да! — сказал после обеда Пьомбо, выходя из-за стола.— Вот уже около месяца, как ты задерживаешься в мастерской дольше обычного, даже твоя мать заметила это. Живопись, как видно, у тебя на первом месте, а мы на втором, так, что ли?

— Отец!

— Наверное, Джиневра готовит нам какой-нибудь сюрприз,— сказала мать.

— Ты собираешься подарить мне картину своей работы? — вскричал корсиканец, захлопав в ладоши.

— Да, я очень много работаю в мастерской,— ответила она.

— Что с тобой, Джиневра? — спросила ее мать.— Ты побледнела!

— Нет,— воскликнула девушка, словно решившись,— нет! Никто не посмеет сказать, что Джиневра Пьомбо солгала хоть раз в жизни!

Услышав это странное восклицание, Пьомбо и его жена с недоумением посмотрели на дочь.

— Я полюбила одного молодого человека,— продолжала Джиневра дрогнувшим голосом. И, не смея взгля-

нуть на родителей, она опустила тяжелые веки, как будто хотела скрыть огонь своих глаз.

— Уж не принца ли? — иронически спросил отец, и звук его голоса привел в трепет и дочь и жену.

— Нет, отец! — сдержанно ответила Джиневра.— Этот юноша беден...

— Стало быть, он очень красив?

— Он несчастен.

— Кто он такой?

— Соратник Лабедуайера; он был изгнан, у него нет крова, Сервен его прятал в своем доме и...

— Молодец Сервен, хорошо себя вел! — воскликнул Пьомбо.— Но вы, дочь моя, поступаете дурно, если любите кого-то. Вы должны любить только отца...

— Не в моей власти не любить,— тихо ответила Джиневра.

— Я питал надежду, что Джиневра будет мне верна до самой моей смерти, что она не будет знать ничьей заботы, кроме заботы родителей, что никакая иная любовь не станет соперничать в ее душе с нашей любовью и что...

— Упрекала ли я вас когда-нибудь за вашу слепую преданность Наполеону? — прервала его Джиневра.— Разве вы любили только меня? Разве не проводили целые месяцы за границей, когда были послом? Ведь я мужественно переносила разлуку с вами. В жизни приходится мириться с необходимостью.

— Джиневра!

— Нет, вы любите меня только для себя, а не ради меня самой, и ваши упреки говорят о несносном эгоизме.

— Ты позволяешь себе осуждать любовь отца! — воскликнул Пьомбо, сверкнув на нее глазами.

— Отец мой, я никогда не буду вас осуждать,— ответила Джиневра с такой кротостью, какой не ожидала от нее дрожавшая от страха мать.— Вы так же правы в вашем эгоизме, как я права в моей любви. Призываю в свидетели небо, что никто лучше меня не выполнял своего дочернего долга. Я всегда счастлива была делать и с любовью делала то, что другие часто считают только своей обязанностью. Вот уже пятнадцать лет, как я не выхожу из-под вашего надзора, и лелеять вашу старость было для меня самой высокой отрадой. Но разве, поко-

ряясь очарованию любви, выбрав себе супруга, который будет моим покровителем после вас, я проявляю неблагодарность?

— А, так ты предъявляешь счет своему отцу, Джиневра? — зловещим тоном произнес отец.

Наступила страшная пауза, никто не решался заговорить. Наконец тишину прервал тоскливый вопль Бартоломео:

— Не покидай нас, не покидай своего старого отца! Я не в силах буду видеть, как ты любишь другого! Джиневра, тебе не долго осталось ждать свободы...

— Но, отец мой, опомнитесь, подумайте, ведь мы вас не покинем, ведь теперь мы вдвоем будем вас любить, и вы близко узнаете того человека, которому меня доверите! Вы будете любимы вдвое сильнее: им — но он мое второе я — и мною — а я его точное подобие.

— О Джиневра, Джиневра! — воскликнул корсиканец, сжимая кулаки.— Почему ты не вышла замуж тогда, когда Наполеон приучил меня к этой мысли и сватал тебе герцогов и графов?

— Они любили меня по приказу,— ответила девушка.— Да к тому же я не хотела с вами расставаться, а они увезли бы меня.

— Ты не хочешь оставлять нас одних,— сказал Пьомбо,— но, выйдя замуж, ты обречешь нас на одиночество! Я знаю тебя, дочь моя: ты нас разлюбишь. Элиза,— сказал он, обратившись к жене, которая застыла, как в столбняке,— у нас нет больше дочери; она хочет выйти замуж!

Воздев руки к небу, словно взывая к богу, старик опустился на стул и замер, сгорбленный, раздавленный горем. Джиневра видела, как потрясен отец, и его старания укротить свой гнев терзали ей сердце; она готовилась встретить бурю, взрыв бешенства, но была безоружна перед смирением.

— Нет, отец мой,— с задушевной лаской сказала она,— ваша Джиневра никогда вас не покинет. Но, любя ее, подумайте хоть немножко о ней самой. Если бы вы знали, как он меня любит! Ах, он не стал бы меня огорчать!

— Ты уже сравниваешь! — вскричал Пьомбо в ярости.— Нет, я не могу перенести эту мысль! Если бы он

любил тебя так, как ты этого заслуживаешь, он убил бы меня; а если бы он тебя не любил, я бы его заколол кинжалом.

У Пьомбо дрожали руки, дрожали губы, дрожало все тело, глаза метали молнии; в такие минуты одна Джиневра могла выдержать его взгляд, потому что тогда ее глаза зажигались ответным огнем, и дочь была вполне под стать отцу.

— О, любить тебя! Но какой же мужчина достоин такого счастья в жизни? — продолжал он.— Ведь любить тебя отцовской любовью — уже значит жить в раю. А кто же достоин стать твоим супругом?

— Он, — ответила Джиневра,— тот, кого я недостойна.

— Он? — машинально переспросил Пьомбо.— Кто же это — он?

— Тот, кого я люблю.

— Разве он успел так близко тебя узнать, чтобы боготворить тебя?

— Но, отец,— возразила Джиневра, чувствуя, что в ней нарастает нетерпение,— пусть даже он меня не любит, раз я люблю его...

— Так ты его любишь?!—воскликнул Пьомбо. Джиневра слегка наклонила голову.— Ты, стало быть, любишь его больше, чем нас?

— Нельзя сравнивать эти два чувства.

— Второе сильнее?

— Думаю, что да,— ответила Джиневра.

— Ты не выйдешь за него замуж! — закричал корсиканец, и от звука его голоса зазвенели стекла в гостиной.

— Выйду,— спокойно ответила Джиневра.

— Господи, господи,— застонала мать,— чем же кончится эта ссора! Sancta Virgina! Матерь божья! Встань между ними!

Барон перестал шагать по комнате и сел. Леденящая тень суровости легла на его лицо. Пристально посмотрев на дочь, он тихо сказал упавшим голосом:

— Послушай, Джиневра! Ты не выйдешь за него. О, не говори сегодня «нет»! Дай мне надеяться. Хочешь, твой отец станет на колени и его седины будут подметать пыль у твоих ног? Я буду молить тебя...

— Джиневра Пьомбо не привыкла брать назад свое слово,— ответила она.— Я ваша дочь.

— Она права,— вмешалась баронесса,— мы рождаемся на свет, чтобы выходить замуж.

— Следовательно, вы поощряете ее ослушание? — обратился барон к жене.

Услышав эти слова, она мгновенно превратилась в статую.

— Отказ подчиняться несправедливому приказанию не есть ослушание,— ответила Джиневра.

— Приказание не может быть несправедливым, если оно исходит из уст отца, дочь моя! По какому праву вы меня судите? А что, если отвращение, которое я питаю к вашему браку, не что иное, как внушение свыше? Быть может, я предостерегаю вас от несчастья?

— Если бы он меня не любил — вот это было бы несчастье.

— Опять он!

— Да, опять! — отвечала она.— В нем моя жизнь, моя отрада, моя душа. Даже если я подчинюсь вам, он останется со мной, в моем сердце. Запрещая мне выходить за него замуж, вы лишь вынуждаете меня ненавидеть вас!

— Ты нас больше не любишь!—воскликнул Пьомбо.

— О! — только и сказала Джиневра, отрицательно качая головой.

— Так забудь о нем, останься нам верна. Когда нас не станет... тогда... Слышишь?

— Отец, неужто вы хотите заставить меня желать вашей смерти?! — воскликнула Джиневра.

— Я переживу тебя! Дети, не почитающие родителей, рано умирают! — вскричал отец в исступлении.

— Тем более надо рано выйти замуж и быть счастливой! — ответила она.

Это самообладание, эта сила логики окончательно сразили Пьомбо; кровь бросилась ему в голову, лицо побагровело. Задрожав от ужаса, Джиневра, как птица, метнулась на колени к отцу, обхватила руками его шею и, гладя его волосы, с нежностью повторяла:

— Да, да! Пусть я умру первая! Я не переживу тебя, отец, милый мой, дорогой отец!

— О моя Джиневра, сумасбродка моя! Джиневрина моя! — отвечал Пьомбо, весь гнев которого растаял от этой ласки, как снег под лучами солнца.

— Давно бы так,— растроганно сказала баронесса.

— Бедная мама!

— Ах, Джиневретта, Джиневра la bella!

И отец играл с дочерью, как играют с шестилетним ребенком: то расплетал ее тяжелые косы, то подбрасывал ее на воздух; в этой неистовой нежности была изрядная доля безумия.

Поцеловав отца и пожурив его, Джиневра скоро высвободилась и попыталась шуткой добиться позволения пригласить своего Луиджи. Но так же шуткой отец отказал ей. Она рассердилась, потом смирилась, снова рассердилась; затем к концу вечера уже рада была тому, что ей удалось хотя бы заронить в душу родителей мысль о ее любви к Луиджи и об их будущем браке. На следующий день она больше не говорила с ними о своей любви, ушла позже обычного в мастерскую и рано вернулась; она была с отцом ласковее, чем всегда, и всячески старалась проявить свою благодарность за то молчаливое согласие на брак, которое он, казалось, ей дал. Вечером она долго играла на фортепьяно и, часто останавливаясь, восклицала: «Как хорошо бы звучал в этом ноктюрне мужской голос!»

Она была итальянкой, этим все сказано.

Через неделю мать поманила Джиневру к себе и шепотом сказала ей на ухо:

— Я уговорила отца принять его.

— О мама, вы меня осчастливили!

Итак, в этот день Джиневре судьбой дано было счастье вернуться домой под руку с Луиджи. Это был второй выход бедного офицера из его тайного убежища. Настойчивое ходатайство Джиневры перед тогдашним военным министром, герцогом де Фельтром, увенчалось успехом. Луиджи был зачислен в список офицеров запаса. Это был очень важный шаг, приближавший их к лучшему будущему.

Предупрежденный любимой девушкой о том, какие трудности готовила ему встреча с бароном, молодой командир батальона не смел ей признаться, что ему очень страшно не угодить будущему тестю. Юношу, который

так стойко переносил несчастья и так храбро дрался на поле сражения, сейчас пробирала дрожь при одной мысли, что ему придется переступить порог гостиной Пьомбо.

Джиневра почувствовала этот трепет; волнение Луиджи, вызванное тревогой за их счастье, послужило для нее новым доказательством его любви.

— Как вы бледны! — сказала она ему, когда они остановились у входа.

— О Джиневра, если бы на карту была поставлена только моя жизнь!

Жена предупредила Бартоломео о том, что Джиневра в этот день официально представит им своего избранника, однако он не пошел навстречу гостю, оставшись сидеть на своем обычном месте в кресле; от его угрюмого лица веяло холодом.

— Отец,— сказала Джиневра,— представляю вам человека, которого вам, без сомнения, будет приятно у себя видеть: господин Луи сражался при Мон-Сен-Жане, в нескольких шагах от императора.

Привстав, барон ди Пьомбо бросил на юношу косой взгляд и язвительно спросил:

— Не изволите иметь никаких наград?

— Я не ношу ордена Почетного легиона,— застенчиво ответил Луиджи, от робости не решаясь сесть.

Джиневра, задетая неучтивостью отца, придвинула стул. Ответ офицера, видимо, угодил старому наполеоновскому служаке. Г-жа Пьомбо, заметив, что брови мужа заняли свое естественное положение, решила, что сейчас уместно оживить беседу.

— Удивительно, до чего наш гость похож на Нину Порта,— сказала она.— Вы не находите, что господин Луи — вылитый Порта?

— Это вполне естественно,— ответил юноша, к которому приковались горящие глаза Пьомбо.— Нина была моей сестрой.

— Ты Луиджи Порта? — спросил старик.

— Да.

Бартоломео ди Пьомбо встал, пошатнулся и, схватившись за спинку стула, посмотрел на жену. Элиза Пьомбо поспешила к нему, и оба старика рука об руку вышли из гостиной, озираясь на дочь с каким-то ужасом. Оше-

ломленный Луиджи Порта смотрел на Джиневру, которая, побелев, как мрамор, застыла, глядя на дверь, захлопнувшуюся за ее родителями; в этом внезапном безмолвном уходе была такая значительность, что в ее сердце впервые, может быть, зашевелился страх. Она крепко сжала руки и сказала так тихо, что расслышать ее мог только влюбленный:

— Сколько горя в одном слове!

— Во имя нашей любви, объясните, что же такое я сказал?

— Отец,— отвечала она,— никогда не рассказывал мне о нашей плачевной истории, а я была еще мала, когда уехала с Корсики, и знать мне об этой истории не полагалось.

— Не было ли между нами вендетты? — задрожав, спросил Луиджи.

— Да. Я узнала от матери, что Порта убили моих братьев и сожгли наш дом. Тогда мой отец перебил всю вашу семью. Но как же вы уцелели? Ведь он привязал вас к кровати, прежде чем поджечь ваш дом!

— Не знаю,— ответил Луиджи.— Шести лет я был увезен в Геную к старику по имени Колонна. Мне не говорили ни слова о моей семье. Я знал только, что я сирота и беден. Колонна усыновил меня, я носил его имя, пока не вступил в полк. И так как понадобилось представить бумаги о моем происхождении, старик Колонна сказал, что у меня, тогда еще беспомощного подростка, есть враги. Чтобы я мог скрыться от их преследований, он посоветовал мне отбросить фамилию и называться просто Луиджи.

— Уходите, уходите же отсюда, Луиджи! — воскликнула Джиневра.— Впрочем, нет, я сама вас провожу. Пока вы у нас в доме, вам нечего опасаться; но как только вы отсюда уйдете — берегитесь! Вас будет подстерегать одна опасность за другой. У моего отца двое слуг-корсиканцев, и если не он сам, то они будут угрожать вашей жизни.

— Джиневра,— сказал он,— стало быть, вражда будет стоять и между нами?

Грустно улыбнувшись, Джиневра потупилась. Но тут же снова гордо подняла голову и сказала:

— О Луиджи! Наше чувство должно быть очень чистым и искренним, чтобы у меня хватило сил идти по избранному мною пути. Но ведь нас ждет впереди счастье, счастье на всю жизнь, правда?

Луиджи ответил только улыбкой, сжав руку Джиневры в своей руке. Девушка поняла, что истинная любовь в такую минуту не нуждается в пошлых обещаниях. Спокойным и честным выражением своих чувств Луиджи доказал их глубину и долговечность. Итак, участь будущих супругов была решена. Джиневра понимала, что ей предстоит жестокая борьба, однако мысль оставить Луиджи, мысль, быть может, приходившая ей в голову, теперь совершенно исчезла. Отныне она принадлежала ему навсегда. Почувствовав в себе прилив сил, Джиневра схватила Луиджи за руку, вывела из родительского дома и проводила до той улицы, где находилась скромная квартира, снятая для него Сервеном. Она вернулась домой, ощущая в себе такое светлое спокойствие, какое дает только твердая решимость; в ее поведении не отражалось ни малейшей тревоги. Она посмотрела на родителей, садившихся за обеденный стол, глазами, которых уже не затуманивал гнев,— глазами нежности. Она увидела, что старушка-мать плакала, что ее увядшие веки красны, и сердце Джиневры дрогнуло, но она скрыла свое волнение. Она увидела, что отца терзала жгучая и глубокая скорбь, которую не выразишь обычными словами.

Прислуга подала обед, но к нему никто не притронулся. Отвращение к пище — один из признаков глубокого душевного потрясения. Все трое встали из-за стола, не сказав друг другу ни слова. Когда Джиневра заняла свое обычное место между отцом и матерью в их огромной, мрачной и чопорной гостиной, Пьомбо сделал попытку что-то сказать, но голос ему изменил; попробовал ходить, но ему изменили силы; он опустился в свое кресло и позвонил.

— Жан,— сказал он вошедшему слуге,— затопите камин. Мне что-то холодно.

Джиневра вздрогнула и с беспокойством посмотрела на отца. Должно быть, он перенес ужасную внутреннюю борьбу; следы ее остались на его измученном лице. В то время как Джиневра, сознавая всю глубину угрожавшей

ей опасности, без страха думала о будущем, Бартоломео искоса поглядывал на дочь, и в его взгляде чувствовалось, что ему самому страшна необузданность ее характера, которая была делом его собственных рук. В отношениях между этими двумя людьми все переходило в крайность. Вот почему лицо баронессы, ожидавшей неминуемого разрыва между отцом и дочерью, было искажено ужасом.

— Джиневра, вы любите врага своей семьи,— проговорил наконец Пьомбо, не решаясь взглянуть на дочь.

— Это правда,— ответила она.

— Надо сделать выбор: либо он, либо мы. Наша вендетта — неотъемлемая часть нас самих. Кто отказывается породниться с моей местью, тот мне не родня.

— Мой выбор сделан,— ровным голосом ответила Джиневра.

Спокойствие дочери ввело в заблуждение барона.

— О моя дорогая дочь! — воскликнул старик, и на глаза его навернулись слезы — первые и последние.

— Я буду его женой,— прервала отца Джиневра.

У Бартоломео в глазах поплыли красные круги; однако он постарался вернуть себе хладнокровие и ответил:

— Пока я жив, этому браку не бывать; я никогда на него не соглашусь.

Джиневра молчала.

— Но понимаешь ли ты,— продолжал барон,— что Луиджи — сын убийцы твоих братьев?

— Когда свершилось это преступление, ему было шесть лет. На нем нет вины,— ответила она.

— На человеке по имени Порта? — вскричал Бартоломео.

— Но разве я когда-нибудь разделяла вашу вражду? — горячо возразила Джиневра.— Разве вы воспитали меня в убеждении, что человек по имени Порта — непременно чудовище? Как могла я знать, что он один не погибнет от вашей руки? И разве не справедливо, чтобы вы поступились вашей вендеттой ради моих чувств?

— Ради человека по имени Порта? — сказал Пьомбо.— Да если б тогда, когда ты была ребенком, его отец

нашел тебя в постели, он не один раз, а сто раз предал бы тебя смерти.

— Может статься,— ответила Джиневра.— Но его сыну я обязана больше, чем жизнью. Видеть Луиджи — счастье, без которого я не смогу жить. Луиджи открыл передо мной мир чувств Мне, может быть, случалось видеть лица красивее его, но только его лицо могло меня пленить; мне, может быть, случалось слышать голос... Нет, нет! Я никогда не слышала голоса прекраснее! Луиджи любит меня, он будет моим мужем.

— Никогда,— ответил Пьомбо.— Я скорей соглашусь увидеть тебя в гробу, Джиневра...— Вскочив с места, старый корсиканец заходил большими шагами по гостиной, задыхаясь и роняя отрывистые слова, из которых ясно было, в каком он смятении.

— Может быть, вы думаете, что вам удастся сломить мою волю? Ошибаетесь! Я не желаю, чтобы моим зятем был человек по имени Порта. Это мое последнее слово. Я не потерплю больше разговоров об этом! Меня зовут Бартоломео ди Пьомбо, слышите, Джиневра?

— Вы вкладываете в эти слова какой-нибудь тайный смысл? — холодно спросила она.

— Они означают, что у меня есть кинжал и что я не боюсь человеческого правосудия. Мы, корсиканцы, держим ответ только перед богом.

— Ну что ж! — ответила она, вставая.— А я Джиневра ди Пьомбо, и я объявляю вам, что через полгода буду женой Луиджи Порта.

Наступила страшная пауза. Выдержав ее, Джиневра добавила:

— Вы тиран, отец мой!

Бартоломео замахнулся, но обрушил свой сжатый кулак на мраморную доску камина.

— Ах, да! Ведь мы в Париже! — пробормотал он.

Затем он опустил голову, скрестил руки на груди и за весь вечер не сказал больше ни слова.

Между тем Джиневра, объявив свою волю отцу, показала невероятное самообладание; сев за фортепьяно, она пела и играла прелестные пьесы с такой легкостью и выразительностью, которые должны были свидетельствовать о полной безмятежности души и доставить ей

торжество над отцом; старик не смягчился, напротив, он затаил жестокую обиду на дочь за это оскорбление без слов; вот когда ему самому пришлось вкусить от горьких плодов воспитания, данного им Джиневре. Уважение служит оплотом и для родителей и для детей, избавляя первых от огорчений, а вторых от угрызений совести.

На следующий день, когда Джиневра в обычный час собралась в мастерскую, она наткнулась на запертую дверь; однако она скоро нашла способ известить Луиджи Порта об отцовском произволе, переслав ему письмо с неграмотной горничной. Дней пять переписывалась влюбленная пара, применяя все те хитрости, которые всегда умеют придумать двадцатилетние. Отец и дочь почти не разговаривали между собой. Вражда уже пустила корни в их душе, оба страдали, но страдали гордо и молча. Сознавая, какими крепкими узами сковала их любовь, они все же, хотя и тщетно, пытались разорвать их. Теперь суровое лицо Бартоломео больше не освещалось нежностью, когда он смотрел на Джиневру. А девушка смотрела на отца с отчуждением, и на ее лице застыло выражение упрека; она охотно предавалась бы мыслям о счастье, но порой угрызения совести туманили слезой ее глаза. Нетрудно было предвидеть, что она окажется не в силах безмятежно наслаждаться счастьем, построенным на несчастье родителей. Как у Бартоломео, так и у его дочери гордость и корсиканское злопамятство неизменно брали верх над всеми колебаниями в сторону примирения, к которым их побуждала врожденная доброта. Каждый из них разжигал в себе гнев, закрывая глаза на будущее. А может быть, каждый из них лелеял надежду, что другой сдастся.

Приходя в отчаяние от этого разрыва, принимавшего все более серьезный характер, баронесса задумала помирить отца и дочь в день рождения Джиневры; она надеялась, что ей помогут воспоминания, связанные с семейным праздником. Все трое собрались в комнате Бартоломео. Угадав по нерешительному виду матери ее намерения, Джиневра грустно усмехнулась. Вошедший слуга доложил о приходе двух нотариусов с несколькими свидетелями. Бартоломео пристальным взглядом посмотрел на вошедших; в холодной деловитости, написанной на их

лицах, было что-то глубоко оскорбительное для людей такой страстной души, как три главных действующих лица этой драмы. Старик растерянно оглянулся на дочь, заметил ее торжествующую улыбку и почуял, что готовится какая-то катастрофа; но, как это делают дикари, завидев врага, он замер в кажущемся бесстрастии, глядя на обоих нотариусов со спокойным любопытством. По знаку хозяина они заняли места.

— Сударь, мы, без сомнения, имеем честь видеть господина барона ди Пьомбо? — спросил тот нотариус, что был постарше.

Бартоломео поклонился. Нотариус ответил легким кивком, оглянувшись на Джиневру с мрачным удовлетворением пристава, который застал врасплох должника; затем, вытащив из кармана табакерку и взяв понюшку, он принялся нюхать табак сначала одной, потом другой ноздрей, подыскивая вступительные фразы, да и в дальнейшем его речь то и дело прерывалась паузами (ораторский прием, который мы лишь весьма несовершенно воспроизводим ниже знаком многоточия).

— Милостивый государь,— начал он,— мое имя Роген. Я нотариус вашей высокочтимой дочери, и мы с моим собратом по ремеслу явились сюда... дабы совершить волю закона и... положить предел разногласиям, которые... судя по некоторым признакам... вкрались в отношения между вами и вашей высокочтимой дочерью... и предметом коих... послужило... ее намерение.. вступить в брак... с господином Луиджи Порта.

Решив, по-видимому, что эта довольно тяжеловесная фраза чересчур красива для того, чтобы ее можно было понять сразу, мэтр Роген остановился и выжидающе посмотрел на Бартоломео с тем особенным выражением, с каким смотрят стряпчие: не то угодливо, не то развязно. Нотариусам так часто приходится изображать участие к собеседнику, что их лицо в конце концов складывается в привычную сочувственную мину, которую они, по мере надобности, надевают или снимают, как некий служебный паллиум. Увидев перед собой эту личину сострадания, весьма нехитрую по своей механике, Бартоломео почувствовал такое раздражение, что вынужден был призвать на помощь все свое присутствие духа, чтобы не вышвырнуть господина Рогена за окошко.

Однако его изборожденное морщинами лицо передернулось от гнева, и нотариус про себя отметил: «Я произвожу впечатление».

— Однако, господин барон,— продолжал он сладчайшим голосом,— в такого рода случаях мы прежде всего выступаем в роли примирителей... Соблаговолите же меня выслушать... Известно, что мадемуазель Джиневра Пьомбо... достигла... именно сегодня... того возраста, в коем достаточно формально испросить у родителей... их согласие на ее вступление в брак... каковое ходатайство вручается ею через нотариальную контору в присутствии свидетелей... дабы получить право на вступление в брак... и вопреки отсутствию дозволения со стороны родителей. Однакож, возвращаясь к сказанному выше, принято... в тех семействах, которые пользуются известным уважением... которые принадлежат к избранному обществу... которые желают сохранить известное достоинство... для которых наконец нежелательно делать достоянием гласности их внутренние раздоры... и которые к тому же не желают принести вред себе самим, омрачив будущее юных супругов своим неодобрением (ибо... поступать таким образом... значит приносить вред себе самим!)... принято, говорю я... среди таких почтенных семейств... не допускать, чтобы входили в силу подобного рода юридические документы... которые оставляют след по себе... которые являют собою памятник семейной распри, которая в конце концов прекращается. Когда, сударь мой, молодая девица прибегает к формальному испрошению согласия на брак, она тем самым выказывает слишком твердую решимость, чтобы отец... и мать (добавил он, обращаясь к баронессе)... могли надеяться, что она поступит сообразно их воле. Следовательно, поскольку сопротивление родителей бесполезно... прежде всего... в силу вышеозначенного факта... а затем вследствие запрета, налагаемого законом... постольку... обычно принято, чтобы здравомыслящий человек, сделав дочери последнее внушение, дал ей право вступить в...

Тут господин Роген остановился, сообразив, что так и не добьется ответа, даже если будет говорить два часа кряду; кроме того, посмотрев на человека, которого пытался наставить на путь истинный, он почувствовал не-

свойственное ему беспокойство: в лице Бартоломео произошло полное превращение. Оно было все искажено морщинами и складками, придававшими ему выражение неукротимой жестокости: на нотариуса смотрели глаза тигра. Баронесса была по-прежнему безответна и неподвижна. Джиневра спокойно и твердо ждала. Она знала, что слово нотариуса имеет больше веса, чем ее собственное слово; вот почему она, по-видимому, решила молчать. Когда и Роген прервал свою речь, сцена, представшая перед очевидцами, была такой страшной, что их обуял трепет: им никогда еще не доводилось присутствовать при таком потрясающем молчании. Нотариусы переглянулись, как бы советуясь взглядом, и, встав, отошли к окну.

— Ну-с, видывал ты когда-нибудь клиентов подобного сорта? — спросил Роген своего сотоварища.

— Из них ничего не вытянешь,— ответил младший нотариус.— На твоем месте я бы ограничился чтением протокола. Старик, на мой взгляд, не из приятных, попросту говоря, бешеный, и ты ничего не добьешься, затевая с ним диспуты...

Роген прочитал протокол, заранее заготовленный на гербовой бумаге, и холодно спросил Бартоломео, каков будет ответ.

— Стало быть, во Франции есть законы, которые подрывают основы родительской власти? — спросил корсиканец.

— Сударь,— начал было Роген самым сладчайшим своим голосом.

— ...которые отнимают дочь у отца?

— Сударь...

— ...которые лишают старика его последнего утешения?

— Сударь, ваша дочь принадлежит вам только до...

— ...которые убивают его?

— Сударь, позвольте же!

Ничего нет более отталкивающего, чем хладнокровная и сухая логика нотариуса на фоне тех трагических сцен, в которые он имеет обыкновение вмешиваться. Обступившие Пьомбо чужие лица казались ему бесовским наваждением, но его холодная, еще сдерживаемая ярость перешла все границы, когда он услышал спокой-

ный, почти свирельный голос своего тщедушного противника и роковые слова: «позвольте же». Сорвав со стены длинный кинжал, он бросился на дочь. Младший нотариус и один из свидетелей заслонили Джиневру, но Бартоломео отшвырнул обоих защитников; лицо у него побагровело, глаза пылали и в эту минуту казались страшнее, чем блеск кинжального клинка. Увидев отца перед собой, Джиневра посмотрела ему в глаза с торжествующим видом, медленно приблизилась и стала на колени.

— Нет, нет, не могу!— вымолвил он, с такой силой отбросив кинжал, что клинок глубоко вонзился в панель.

— Тогда смилуйтесь! Смилуйтесь надо мной,— сказала Джиневра.— Вы не решаетесь предать меня смерти и отказываете в жизни. О мой отец, никогда еще я не любила вас так сильно! Подарите мне Луиджи! На коленях молю вашего дозволения, дочь может унижаться перед отцом! Луиджи — или я умру!

Душившее ее волнение помешало ей продолжать; судорожные усилия вымолвить хоть слово достаточно убедительно говорили о том, что она изнемогает. Бартоломео грубо оттолкнул дочь.

— Прочь! — сказал он.— Настоящая Пьомбо не может быть женой Луиджи Порта. У меня нет больше дочери. Я не в силах тебя проклясть, но я порываю с тобой, у тебя нет больше отца. Моя Джиневра Пьомбо погребена вот здесь! — хрипло проговорил он, ударив себя в грудь.— Ступай же, несчастная,— сказал он, помолчав,— ступай и не появляйся больше.

Взяв Джиневру за руку, он молча вывел ее из дому.

— Луиджи!—воскликнула Джиневра, входя в скромное жилище офицера.— Мой Луиджи! Все наше богатство в нашей любви!

— Но тогда мы богаче всех королей мира! — ответил он.

— Отец и мать отреклись от меня,— сказала она с глубокой печалью.

— Я буду любить тебя за них.

— Стало быть, мы будем очень счастливы? — спросила она веселым голосом, но в этой веселости было что-то пугающее.

— Очень счастливы, всегда! — ответил он, прижимая ее к сердцу.

На другой день после разрыва с отцом Джиневра отправилась к г-же Сервен; она просила у нее приюта и покровительства до истечения установленного законом срока, после которого она получала право обвенчаться с Луиджи Порто. Тогда-то и началось знакомство Джиневры с теми горестями, которыми усеян путь каждого, кто нарушает обычаи света. Г-жа Сервен, расстроенная неприятными для ее мужа последствиями приключения Джиневры, холодно приняла беглянку и вежливо дала понять, что на ее поддержку рассчитывать не приходится. Джиневра была слишком горда, чтобы настаивать, хотя ее и удивил эгоизм г-жи Сервен, непривычный для молодой корсиканки; она предпочла поселиться в меблированных комнатах, поближе к дому Луиджи. Наследник рода Порта проводил все дни у ног своей невесты; его юное чувство, невинность любовных речей разгоняли тучи, омрачавшие лицо изгнанной дочери; Луиджи рисовал перед ней такое прекрасное будущее, что в конце концов она все-таки улыбалась, хотя и не могла забыть жестокость родителей.

Как-то утром служанка гостиницы внесла в комнату Джиневры несколько баулов, в которых оказались материи, белье и пропасть всяких вещей, нужных для будущей молодой хозяйки; Джиневра узнала в этом заботливую руку любящей матери; к тому же, рассматривая подарки, она нашла среди них кошелек с принадлежавшими ей деньгами, к которым баронесса присоединила собственные сбережения. К деньгам было приложено письмо матери: она заклинала Джиневру отказаться, пока еще не поздно, от своего гибельного решения. Для того, чтобы доставить Джиневре эту скудную помощь, писала мать, понадобились необычайные предосторожности; она умоляла Джиневру не обвинять ее в жестокости, если впоследствии не в силах будет ей помогать, желала Джиневре счастья в этом роковом браке, ежели она не одумается, и заверяла, что всеми своими помыслами она неизменно с дорогой дочкой. Эти строки были залиты слезами, и буквы расплылись.

— О мама! — воскликнула глубоко тронутая Джиневра, и ее непреодолимо потянуло броситься к ногам

матери, видеть ее, вдохнуть животворящий воздух отчего дома. Она уже готова была туда бежать, как вдруг вошел Луиджи; стоило ей посмотреть на него, и порыв дочерней любви угас, слезы высохли; она уже была не в состоянии бросить это большое дитя, такое обездоленное и такое любящее. Быть единственной надеждой благородного существа, любить его и покинуть? Такая жертва не что иное, как измена; молодость на нее не способна. И у Джиневры хватило великодушия похоронить в своем сердце тоску по дому.

Наконец наступил день свадьбы. Подле Джиневры не было никого из близких. Пока она одевалась к венцу, Луиджи отправился за свидетелями, подпись которых требовалась для брачного договора. Их свидетели были славные люди. Один из них, отставной унтер-офицер гусарского полка, которому Луиджи еще в армии оказал незабываемые для честного человека услуги, жил теперь тем, что сдавал внаем кареты и держал несколько фиакров. Вторым свидетелем был подрядчик по строительным работам, хозяин дома, где предстояло жить новобрачным.

Каждый из свидетелей привел с собой по приятелю, и все четверо вместе с Луиджи явились за невестой. Эти люди не привыкли к общественному лицемерию и считали, что оказывают самую простую услугу Луиджи; поэтому они пришли в опрятной, но будничной одежде, и ничто в их облике не напоминало о веселом свадебном шествии. Сама Джиневра тоже оделась просто, в соответствии с новыми обстоятельствами своей жизни, но в ее красоте было такое благородство и величие, что у обоих свидетелей, считавших своим долгом отпустить комплимент невесте, слова замерли на устах; они почтительно поклонились, ограничившись безмолвным восхищением. Эта сдержанность внесла холодок. Веселье приходит только туда, где есть полное равенство. Итак, судьба распорядилась, чтобы все вокруг жениха и невесты было мрачно и сурово, их счастье не отражалось ни в чем. Церковь и мэрия находились неподалеку от меблированных комнат, где жила Джиневра. Поэтому Луиджи и Джиневра решили идти венчаться пешком, вместе со своими свидетелями; эта

будничная простота окончательно лишила всякой торжественности одно из важнейших событий в жизни человека.

Большой съезд карет во дворе мэрии указывал на то, что тут собралось многолюдное общество; поднявшись по лестнице, они вошли в зал, где мэра довольно нетерпеливо ждали парочки, которых в этот день должны были осчастливить. Джиневра села рядом с Луиджи на кончике длинной скамьи; их свидетелям, за отсутствием места, пришлось стоять. Две невесты в пышных белых нарядах, все в бантах и кружевах, в жемчуге, в венках из флердоранжа, шелковистые бутончики которого дрожали под венчальной фатой, были окружены веселой родней; их провожали матери, на которых они озирались с довольным и оробевшим видом. Их счастье светилось во взорах всех присутствовавших, и, казалось, каждый посылал им свое благословение. Отцы, свидетели, братья, сестры так и носились взад и вперед, точно пчелиный рой, играющий в лучах заходящего солнца. Казалось, каждый сейчас понимал значительность этого быстротекущего мгновения, когда в жизни человеческой сердце переходит от одной надежды к другой: от желаний прошлого к обещаниям будущего. От этого зрелища у Джиневры защемило сердце; она пожала руку Луиджи, он ответил ей взглядом. Из глаз молодого корсиканца скатилась слеза; никогда еще он так ясно не понимал, чем для него пожертвовала Джиневра. Но эта драгоценная слезинка заставила Джиневру забыть об окружавшей ее пустоте. Любовь раскрыла свою сокровищницу перед влюбленными, и они перестали видеть что бы то ни было в этой суете, они были вдвоем, одни в толпе; и таким же открывался перед ними их будущий жизненный путь.

Между тем их свидетели, равнодушные к предстоящей церемонии, спокойно толковали о делах.

— Овес нынче дорог,— сказал унтер-офицер каменщику.

— Он еще мало вздорожал по сравнению с алебастром,— ответил каменщик.

И, продолжая толковать о делах, они прошлись по залу.

— Однако как много времени приходится здесь те-

рять! — воскликнул каменщик, пряча в карман свои большие серебряные часы.

Прижавшись друг к другу, Луиджи и Джиневра чувствовали себя одним существом. Поэт, без сомнения, залюбовался бы их одухотворенными лицами, озаренными одним и тем же чувством, похожими друг на друга смуглым тоном кожи, печальными и замкнутыми среди радостного гудения двух свадеб, среди веселой суеты четырех семейств, сверкавших бриллиантами, пестревших цветами, среди радости, в которой было что-то пошлое.

Все, что в этом шумном, сияющем роскошью сборище людей выставлялось напоказ, Джиневра и Луиджи бережно таили в своем сердце. Там — разгул грубого веселья, здесь — проникновенное молчание ликующих душ; там — земля, здесь — небо. Однако Джиневра не сумела отрешиться от всех женских слабостей и преодолеть невольный трепет; суеверная, как все итальянки, она увидела в этом резком различии дурное предзнаменование и затаила чувство страха, такое же непреодолимое, как любовь.

Вдруг служитель мэрии распахнул настежь двери и голосом, звучащим, как отрывистый лай, вызвал господина Луиджи да Порта и мадемуазель Джиневру ди Пьомбо. Эта минута оказалась тягостной для жениха и невесты. Прославленное имя Пьомбо привлекло внимание; зрители зашевелились, рассчитывая увидеть роскошную свадьбу. Джиневра встала; ее глаза, сверкавшие гордостью, внушили почтение толпе. Подав руку Луиджи, она твердым шагом направилась к двери; за ней последовали свидетели. Все нараставший шепот изумления, переходя в гул, напомнил Джиневре о том, что свет желает знать, почему отсутствуют ее родители; казалось, и здесь преследовало ее отцовское проклятие.

— Подождите, пока подойдут родные,— сказал мэр письмоводителю, торопливо читавшему документы.

— Есть протест родителей,— флегматично ответил письмоводитель.

— С обеих сторон? — спросил мэр.

— Жених — сирота.

— Где свидетели?

— Вот они,— ответил письмоводитель, указав на четырех человек, стоявших, скрестив руки, недвижных и безгласных, как статуи.

— Но если имеется протест...— начал мэр.

— При сем прилагается законно составленное формальное испрошение у родителей согласия на брак,— возразил письмоводитель, встав, чтобы вручить мэру бумаги, приложенные к брачному договору. Было что-то мертвящее в этом бюрократическом разбирательстве, которое сводило к нескольким словам всю повесть человеческой жизни. Вражда Порта и Пьомбо, их неистовые страсти уместились на одной странице в книге актов гражданского состояния, как в нескольких строках надгробия умещается летопись народа,— иногда даже в одном слове: Робеспьер или Наполеон.

Джиневра дрожала. Подобно голубке, которая, перелетев моря, не нашла себе иного пристанища, кроме ковчега, она могла дать отдых своему взору, только глядя в глаза Луиджи, потому что кругом все было мрачно и холодно. У мэра был неодобрительный, суровый вид, а его помощник смотрел на новобрачных со злорадным любопытством. Это было так не похоже на праздник! Как все человеческое, когда оно лишено всяких покровов, это было событие простое само по себе, но огромное по своему содержанию.

Новобрачным задали по нескольку вопросов, мэр пробормотал какие-то слова, Луиджи и Джиневра поставили свои подписи в книге актов гражданского состояния — и их брак свершился. Корсиканские любовники, союз которых был овеян поэзией любви Ромео и Джульетты, воспетой гением, прошли сквозь строй ликующей чужой родни, готовой уже выразить недовольство тем, что надо ждать очереди из-за такой невеселой с виду свадьбы.

Когда Джиневра очутилась во дворе мэрии и увидела над собой небо, у нее вырвался вздох облегчения.

— О! Хватит ли мне целой жизни, исполненной заботы и любви, чтобы вознаградить мужество и нежность моей Джиневры? — спросил Луиджи.

Эти слова, эти слезы счастья заставили новобрачную забыть обо всех страданиях, ибо она страдала оттого,

что ей пришлось перед посторонними отстаивать свое счастье, в котором ей отказывала собственная семья.

— Но почему же люди вмешиваются в нашу жизнь? — спросила она с такой непосредственностью чувства, что восхитила Луиджи.

От радости новобрачные не чуяли земли под ногами. Они не видели перед собой ни улиц, ни неба, ни домов и, как на крыльях, понеслись к церкви. Вскоре они очутились в маленькой мрачной часовенке, перед незатейливо убранным алтарем, и старый священник их обвенчал. Но и здесь, как в мэрии, их по пятам преследовали своей роскошью две другие свадьбы.

Под сводами церкви, переполненной друзьями и родственниками молодых, гулко отдавался стук подъезжавших карет, разносились голоса привратников, причта, священников. Алтари сверкали всей роскошью храмового убранства, даже высохшие венки из флердоранжа на статуях девы Марии казались совсем свежими. А кругом были цветы, клубы ладана, сияние свеч, бархатные подушки, расшитые золотом. Точно сам господь бог приложил свою руку к этому преходящему торжеству. Когда же понадобилось держать над головами Луиджи и Джиневры венец, подбитый белым атласом,— символ вечного союза, это ярмо, нежное, сверкающее, легкое для меньшинства и тяжелое, как свинец, для большинства супругов,— священник оглянулся, рассчитывая увидеть юношей, которые обычно исполняют эту приятную обязанность; их заменили двое свидетелей. Пастырь наспех напутствовал супругов, предупредил об опасностях, ожидающих их в совместной жизни, а также об их будущих родительских обязанностях и тут же бросил косвенный упрек по поводу отсутствия родителей Джиневры; затем, соединив их перед богом, как мэр соединил перед лицом закона, он кончил мессу и удалился.

— Благослови их господь!—сказал унтер-офицер каменщику, выходя на паперть.— Никогда еще не было лучшей пары! Видно, бог умом обидел родителей этой девушки! Я не встречал солдата храбрее, чем полковник Луи. Если бы все так держались, император не был бы свергнут.

Благословение солдата, единственное в этот день, было бальзамом утешения для Джиневры.

Новобрачные простились со свидетелями, пожав им руки, и Луиджи от всего сердца поблагодарил своего домохозяина.

— Прощай, дружище,— сказал он затем унтер-офицеру,— спасибо тебе!

— Рад стараться, господин полковник! Все, что у меня есть — душа и тело, лошади и кареты,— все в вашем распоряжении!

— Как он тебя любит! — сказала Джиневра.

Луиджи поторопился увести новобрачную домой; скоро они очутились в своем скромном жилище; и, когда дверь за ними затворилась, Луиджи обнял жену со словами:

— О моя Джиневра! Теперь ты по-настоящему моя! Вот где начинается наш праздник! Вот где все будет нам улыбаться!

Они вместе пошли обозревать свою квартиру, состоявшую из трех комнат. Первая комната служила гостиной и столовой. Справа от нее находилась спальня, налево — большой кабинет, который Луиджи устроил для своей милой жены; там она нашла мольберт, ящик с красками, гипсовые слепки, модели, манекены, картины, папки для этюдов — коротко говоря, все хозяйство художника.

— И мне можно будет здесь работать? — по-детски спросила она.

Долго еще рассматривала Джиневра обои, мебель и много раз подбегала к Луиджи благодарить его, потому что этот маленький приют вдохновения был обставлен с некоторой роскошью: в книжном шкафу стояли любимые книги Джиневры, в глубине комнаты—фортепьяно. Опустившись на диван и притянув к себе Луиджи, Джиневра с нежностью сказала, сжав его руку:

— У тебя хороший вкус!

— Я счастлив слышать это от тебя,— ответил он.

— Но покажи мне все! — попросила Джиневра, от которой Луиджи держал в секрете приготовления по устройству их гнездышка.

Они вошли в спальню, свежую и белоснежную, как невеста.

— Лучше уйдем отсюда! — засмеялся Луиджи.

— Но я хочу видеть все! — И властная Джиневра подвергла осмотру все решительно, с любопытством и

добросовестностью антиквара, изучающего старинную монету; она ощупала шелк и потрогала каждую вещь, радуясь так же простодушно, как всякая новобрачная, рассматривающая свадебные подарки.

— Мы начинаем с того, что разоряемся,— сказала она радостно и в то же время огорченно.

— Это правда, тут вся моя пенсия,— ответил Луиджи,— я продал право на нее одному доброму человеку по имени Жигонне.

— Зачем? — спросила она с упреком, но в голосе ее звучало тайное удовольствие.— Неужто ты думаешь, что я была бы менее счастлива на чердаке? Но,— продолжала она,— все это очень красиво и все это наше.

Луиджи смотрел на нее с таким пылким восторгом, что она опустила глаза и сказала:

— Пойдем же посмотрим все остальное.

Над этими тремя комнатами, под самой крышей, находился кабинет Луиджи, кухня и комната для прислуги. Джиневра осталась довольна своим маленьким царством, хотя вид из окон загораживала высокая стена соседнего дома и выходили они в темный двор. Но на сердце у влюбленных было так легко, таким лучезарным рисовалось будущее в свете надежды, что все казалось им прекрасным в их таинственном убежище. Они были скрыты в глубине большого дома, затеряны в необъятном Париже, как две жемчужины, затаившись между створок перламутровой раковины, затеряны в безбрежности океана; всякому другому человеку такая жизнь показалась бы тюрьмой, они же видели в этом рай.

Первые дни их брака были отданы любви. Им было слишком трудно сразу приняться за работу, они не могли противиться силе страсти. Луиджи проводил часы у ног жены, любуясь отливом ее волос, очерком лба, чудесной оправой ее очей — чистотой и белизной век, двух полукружий, между которыми глаза ее плавно скользили, отражая счастье удовлетворенной любви. Джиневра гладила волосы Луиджи, не уставая созерцать (употребим здесь ее выражение) la bella folgorante [1] юноши, изящные очертания его лица, так же непрестанно восхищаясь благородством его осанки, как он непрестанно восхищал-

[1] Ослепительную красоту *(итал.)*.

ся ее грацией. Они, как дети, создавали игру из ничего, из пустяков, а эти пустяки снова и снова приводили их к страсти, и их игра сменялась только грезами far niente [1]. Какая-нибудь песенка, спетая Джиневрой, воссоздавала прелестные оттенки их любви. Прогулки в сельской местности, когда их шаги сливались, как слились их души, снова открывали им любовь; они находили ее всюду — в цветах, на небе, в багряных красках заката; они читали ее даже в прихотливых извилинах тучек, которые взапуски бежали друг за другом по ветру. Один день не был похож на другой, а их любовь все росла, потому что была истинной любовью. Они проверили себя в первые дни и чутьем поняли, что неисчерпаемое богатство их души сулит им еще неведомые наслаждения. То была любовь во всей ее непосредственности, с нескончаемыми разговорами, с недосказанными словами и длинными паузами, с восточной негой и неистовством страсти. Луиджи и Джиневра постигли все в любви. Разве любовь не похожа на море, которое пошляки упрекают в однообразии, бросив на него беглый и небрежный взгляд, тогда как натуры избранные могут провести всю жизнь, любуясь морем, без конца открывая в нем чудесные перемены и не устава ими радоваться?

Между тем пришло время, когда забота о завтрашнем дне вывела молодоженов из их Эдема: для того, чтобы жить, надо было работать. Джиневра, у которой был особый дар подражания старинным мастерам, стала делать копии с картин; у нее нашлись заказчики среди антикваров. В свою очередь, Луиджи ревностно принялся искать себе занятие; однако молодому офицеру, все таланты которого сводились к искусству военной стратегии, трудно было найти им применение в Париже. Наконец, устав от бесплодных попыток найти работу и придя в отчаяние оттого, что вся тяжесть их существования падает на плечи Джиневры, он вдруг вспомнил о своем красивом почерке. Луиджи проявил такую же настойчивость, как его жена, и обошел всех парижских стряпчих, нотариусов и адвокатов. Его искренность и трудное положение, в котором он находился, располагали к нему, и он получил такое множество бумаг для переписки, что даже взял се-

---

[1] Неги *(итал.)*.

бе в помощь несколько молодых писцов. Постепенно он стал принимать заказы в больших количествах. Прибыль от его конторы по переписке и плата за картины Джиневры мало-помалу принесли молодым супругам довольство, которым они гордились, потому что обязаны были им своему трудолюбию. Это была лучшая пора их жизни. В труде и любовных радостях быстро проходило время. Вечером, встретившись в комнатке Джиневры после трудового дня, они были вполне счастливы. Музыка прогоняла усталость. Никогда печаль не омрачала лица Джиневры, никогда не позволила она себе ни слова жалобы. Она появлялась перед Луиджи только с улыбкой и с сияющими глазами. Одна заветная мысль, которая помогла им находить удовольствие в самой тяжелой работе, владела обоими: Джиневра говорила себе, что работает для Луиджи, а Луиджи думал о том, что работает для Джиневры. Иногда, оставшись одна, Джиневра мечтала о том, каким полным было бы ее счастье, если бы жизнь ее, исполненная любви, протекала подле родителей; в такие минуты, изнемогая под бременем угрызений совести, она впадала в глубокую тоску; в ее воображении, как тени, проносились мрачные картины; она видела перед собой то старого отца, оставшегося в одиночестве, то мать, плачущую вечерами тайком от неумолимого Пьомбо; их седовласые головы, их сумрачные лица возникали перед ней внезапно, и ей начинало казаться, что она никогда больше не увидит их иначе, чем в призрачном свете воспоминаний. Эта мысль преследовала ее, превратившись в предчувствие. Она отметила годовщину своего замужества, преподнеся мужу желанный подарок: свой портрет, написанный ее рукой. Это было самое выдающееся произведение молодой художницы. Не говоря уже о необычайном сходстве, ей удалось с волшебной силой воссоздать и свою цветущую красоту и чистоту духовного облика, озаренного счастьем любви. Окончание работы над шедевром Джиневры было торжественно отпраздновано.

Прошел еще один год полного довольства. История их жизни в ту пору могла бы уложиться в три слова: «Они были счастливы».

Итак, за те годы с Луиджи и Джиневрой не произошло ничего, достойного упоминания.

В начале зимы 1819 года торговцы картинами предложили Джиневре заменить копии каким-нибудь другим видом живописи; ее копии старинных картин перестали быть прибыльным товаром, так как среди художников-копиистов усилилась конкуренция.

Джиневра Порта поняла, какую ошибку сделала в свое время, не научившись писать жанровые картинки,— сейчас они могли бы принести ей известность; она стала писать портреты, но и здесь ей пришлось вести борьбу с огромным числом художников, которые были еще беднее ее.

Однако Луиджи и Джиневра не теряли надежды на будущее, так как скопили немного денег. Но к концу зимы Луиджи пришлось работать без отдыха. Ему тоже нужно было вести борьбу с конкуренцией: цена на переписку настолько упала, что он уже не мог пользоваться трудом помощников и тратил больше времени, чем раньше, чтобы заработать ту же сумму. Его жена закончила несколько картин, которые не лишены были достоинств, но скупщики картин неохотно покупали тогда даже полотна известных художников. Джиневра предлагала свои работы за бесценок, но так и не могла их продать. Положение супругов было ужасающим: оба душой утопали в блаженстве; любовь расточала перед ними свои сокровища, а над этой жатвой наслаждений призраком смерти вставала бедность, и оба они старались скрыть друг от друга свою тревогу. Когда к глазам Джиневры подступали слезы, она подавляла их, зная, как страдает ее Луиджи, осыпала его ласками, а Луиджи, выражая жене самую нежную любовь, таил про себя терзавшую его тоску.

Они искали забвения мук в исступлении страсти, и бурные ее порывы, слова любви и ласки были проникнуты безумием. Они боялись будущего. Какое чувство может сравниться силой со страстью, которую завтра задушит смерть или нужда? Когда они говорили друг с другом о своей бедности, каждый из них рад был обмануться, и оба с одинаковым жаром хватались даже за видимость надежды.

Однажды ночью Джиневра в ужасе поднялась с постели, не найдя подле себя Луиджи. И, увидев отблеск света, мерцавший на темной стене внутреннего дворика,

она догадалась, что муж работает по ночам: когда она засыпала, Луиджи уходил наверх, в свой кабинет.

Пробило четыре, уже светало. Джиневра легла в постель и притворилась спящей. Луиджи вернулся, разбитый усталостью и бессонной ночью. Посмотрев на уснувшего мужа, Джиневра с болью заметила, что на его прекрасном лице уже легли морщины, оставленные трудом и заботами. Слезы выступили на глазах Джиневры.

«Это из-за меня он пишет по ночам!»

Но тут у нее явилась мысль, которая сразу осушила слезы: она решила действовать по примеру Луиджи.

В тот же день, заручившись рекомендательным письмом антиквара Элиаса Магю, которому она сбывала свои картины, Джиневра отправилась к богатому торговцу гравюрами и получила от него заказ. Днем она занималась живописью и хозяйством, с наступлением ночи — раскрашивала гравюры. Итак, эта молодая чета, одержимая любовью, всходила на брачное ложе лишь затем, чтобы тотчас его покинуть; оба притворялись спящими и самоотверженно разлучались, как только одному из них удавалось обмануть другого.

Однажды ночью, в каком-то ознобе от усталости, которая уже начинала его одолевать, Луиджи встал и распахнул слуховое окошко своей рабочей комнаты; чистый утренний воздух и небо заставили его на миг забыть о страданиях; но, опустив глаза, он увидел прямоугольник света на стене внутреннего дворика, куда выходили окна мастерской Джиневры; бедняга понял все и, бесшумно спустившись по лестнице, застал жену врасплох за раскрашиванием гравюр

— О Джиневра! — воскликнул он.

Джиневра вздрогнула от неожиданности и, вскочив с табурета, залилась румянцем.

— Разве я могу спать, когда ты изнемогаешь от усталости? — сказала она.

— Но только мне дано право так работать!

— Как я могу быть праздной,— ответила молодая женщина, и глаза ее наполнились слезами,— когда я знаю, что почти в каждом куске нашего хлеба есть капля твоей крови? Да я не могла бы жить, если бы не отдавала все свои силы наравне с тобой! Разве у нас не должно быть общим все — и радости и горести?

— Тебе холодно! — с отчаянием вскричал Луиджи.— Плотней запахни шаль на груди, моя Джиневра! Ночь сегодня прохладная и сырая!

Они подошли, обнявшись, к окну; молодая женщина склонила голову на грудь возлюбленного, и, погрузившись в глубокое молчание, они взглянули на небо, на котором медленно занималась заря. Сизые тучки быстро рассеивались, и восток разгорался все ослепительнее.

— Видишь,— сказала Джиневра,— это знамение: нас ждет счастье!

— Да, на небе,— горько усмехнулся Луиджи.— О Джиневра, ведь ты заслужила по праву все сокровища земли...

— Но мне принадлежит твое сердце! — прервала она, и в голосе ее зазвенела радость.

— О, я не жалуюсь! — проговорил он, крепко прижимая ее к себе и покрывая поцелуями нежное лицо, которое уже чуть-чуть утратило свежесть юности, но выражало такую доброту и ласку, что Луиджи стоило только взглянуть на него, чтобы сразу утешиться.

— Какая тишина! — сказала Джиневра.— Друг мой, мне так хорошо сейчас оттого, что я не сплю! Право же, величие ночи захватывает, покоряет, будит вдохновение; есть что-то непреодолимо притягательное в этой мысли: все кругом спит, а я бодрствую!

— О моя Джиневра! Я давно уже постиг всю тонкую прелесть твоей души! Но вот и рассвет: пора спать.

— Да,— ответила она,— если не я одна буду спать. Мне было так горько, когда я узнала однажды ночью, что мой Луиджи бодрствует без меня!

Некоторое время стойкость молодых супругов в несчастье вознаграждалась; однако событие, которое является венцом счастья в каждом супружестве, стало для них роковым: Джиневра родила сына, который, говоря языком народа, был хорош, как ясный день.

Материнство увеличило душевные силы молодой женщины. Луиджи вошел в долги, чтобы покрыть расходы, связанные с родами Джиневры. Таким образом, в первое время она не чувствовала всей тягости нужды, и супруги наслаждались счастьем, воспитывая свое дитя. Это было последнее дарованное им блаженство. Как два пловца, соединенными усилиями преодолевающие стремнину,

чета корсиканцев сначала боролась мужественно; но иногда оба они впадали в апатию, похожую на сонливость перед близкой смертью; вскоре им пришлось продать самые ценные свои вещи. Бедность явилась к ним внезапно, еще не отталкивающая, пока лишь в простой одежде и почти терпимая; в ее голосе не было ничего пугающего, она не привела с собой ни отчаяния, ни кошмаров, за ней не тащились лохмотья; но она отнимала привычки и воспоминания дней довольства, она выкорчевывала чувство гордости. Затем пришла нищета во всем ее безобразии, бесстыдно влача свое рубище, попирая ногами все человеческие чувства.

Через семь — восемь месяцев после рождения маленького Бартоломео в матери, кормившей хилого ребенка, с трудом можно было узнать оригинал чудесного портрета, последнего украшения их опустевшей комнаты.

Живя без топлива в суровую зиму, Джиневра видела, как постепенно очертания ее лица теряют изящество, как ее щеки становятся белей фарфора. Казалось, поблекли даже ее глаза. Но она о себе забывала; плача, смотрела Джиневра на худенькое, бескровное личико своего ребенка и страдала только его страданиями. Стоя подле жены, Луиджи молчал, не находя мужества улыбнуться сыну.

— Я обошел весь Париж,— глухо сказал он,— у меня здесь нет ни одного знакомого человека, да и как набраться духу просить посторонних. Верньо, мой старый товарищ со времен египетской кампании, замешан в заговоре и попал в тюрьму, к тому же он отдал мне все, что имел. А наш хозяин уже год не берет с нас платы.

— Но ведь нам ничего не нужно,— кротко ответила Джиневра, стараясь казаться спокойной.

— Каждый день приносит новые трудности,— в ужасе проговорил Луиджи.

Голод уже стучался в их двери. Луиджи унес все картины Джиневры, ее портрет, кое-какую мебель, без которой они еще могли обойтись, продал все за бесценок, но вырученных грошей хватило только для того, чтобы оттянуть еще на некоторое время агонию супругов. В эти роковые дни Джиневра предстала во всем своем благородстве, во всей глубине своего долготерпения; она стоически переносила страдания, ее деятельный дух служил ей

опорой против всех недугов; сама еле живая, она окружила нежной заботой угасающего сына, писала картины, поистине чудесным образом успевала заниматься хозяйством и ухитрялась справляться со всем. Она даже чувствовала себя счастливой, когда ей удавалось вызвать изумленную улыбку на лице Луиджи, замечавшего, как опрятно убрано в их единственной комнате.

— Друг мой, я оставила тебе этот кусок хлеба,— сказала она однажды вечером, когда он, усталый, вернулся домой.

— А ты?

— Я... я уже обедала, дорогой мой. Мне ничего не нужно.

И нежное выражение ее лица еще настойчивей, чем ее слова, требовало, чтобы Луиджи принял этот хлеб. Он ответил ей поцелуем, в котором был горький привкус отчаяния; таким поцелуем обмениваются перед казнью друзья, прощаясь на эшафоте. В эти торжественные мгновения друг видит до дна сердце друга. Так и несчастный Луиджи, поняв вдруг, что у жены не было ни крошки во рту, почувствовал ту же муку, которой сгорала она; он задрожал и, сославшись на срочные дела, бросился из дому; ему легче было умереть медленной смертью от яда, чем выжить, отняв у нее последний кусок хлеба.

Он принялся бродить по улицам Парижа, среди блестящих карет, среди наглой роскоши, которая оскорбляет глаз бедняка; не оглядываясь, стремглав пробежал он мимо лавок менял, где сверкало золото; в конце концов ему осталось одно решение: продать самого себя, нанявшись заместителем какого-нибудь рекрута; Луиджи надеялся, что это самопожертвование спасет Джиневру: когда его не будет в Париже, Бартоломео снимет опалу с дочери.

Итак, Луиджи отправился искать людей, промышлявших торговлей белыми рабами, и почувствовал себя почти счастливым, когда обнаружил в таком работорговце бывшего офицера императорской гвардии.

— Я два дня ничего не ел,— сказал он, едва выговаривая слова от слабости,— жена умирает с голоду, но я не слышу от нее ни звука жалобы, она, верно, так и умрет улыбаясь. Товарищ, бога ради,— добавил он с горькой

усмешкой,— заплати мне вперед за мою особу; я человек здоровый, сейчас не служу, и я...

Офицер дал Луиджи задаток в счет причитавшейся ему суммы. Ощутив в ладони пригоршню золотых монет, несчастный судорожно засмеялся и изо всех сил пустился бежать к дому, задыхаясь и крича на бегу: «О моя Джиневра! Джиневра!»

Уже вечерело, когда он добрался до дому. Он вошел совсем тихо, на цыпочках, боясь потревожить жену, которая была очень слаба, когда он уходил. Последние лучи солнца, пробившись в слуховое окошко, меркли на лице Джиневры, уснувшей с младенцем у груди.

— Проснись, дорогая,— сказал он, не замечая, что ребенок, который в эту минуту был залит ослепительным светом, лежит в какой-то странной позе.

Заслышав голос Луиджи, бедная мать открыла глаза и, встретившись с его взглядом, улыбнулась; но Луиджи вскрикнул от ужаса: в Джиневре произошла страшная перемена, она была неузнаваема. Он бросился к ней, с дикой настойчивостью показывая золото, зажатое в горсти.

Молодая женщина невольно засмеялась, но вдруг этот смех прервался ужасающим воплем:

— Луиджи! Ребенок совсем окоченел!

Взглянув на сына, она лишилась чувств: маленький Бартоломео был мертв. Луиджи отнес на кровать жену вместе с младенцем, которого она с непостижимой силой сжимала в объятиях, и побежал искать помощи.

— Ради бога! — крикнул он своему хозяину, встретившемуся ему на лестнице.— У меня есть деньги, а мой ребенок умер с голоду, и мать тоже умирает, помогите!

В исступлении бросился он назад к Джиневре, предоставив добрейшему каменщику вместе с соседями собрать все, чем можно было помочь в нужде, о которой до сих пор никто не имел представления, так тщательно скрывала ее в своей неимоверной гордости чета корсиканцев.

Швырнув золото на пол, Луиджи стал на колени у изголовья Джиневры.

— Отец! — воскликнула Джиневра в бреду.— Позаботьтесь о моем сыне, он носит ваше имя!

— Ангел мой, успокойся! — говорил, обнимая ее, Луиджи.— Нас еще ждут дни радости!

Услышав голос мужа, почувствовав его ласку, Джиневра немного успокоилась.

— О мой Луи!— проговорила она, вглядываясь в его лицо с необыкновенной пристальностью.— Слушай меня внимательно. Я знаю, что умираю. Моя смерть неизбежна; я слишком много страдала... Надо же платить за такое большое счастье. Да, мой Луиджи, не горюй! Я была так счастлива, что, если бы мне довелось жить сначала, я повторила бы нашу жизнь. Я дурная мать: мне жаль тебя больше, чем мое дитя. Дитя мое,— глухо повторила она. Из ее меркнувших глаз скатились две слезы, и она порывисто обняла мертвое тельце, которое так и не могла согреть.— Отдай мои волосы отцу на память о его Джиневре,— снова заговорила она,— скажи, что я его никогда не осуждала...

Она уронила голову на плечо мужа.

— Нет,— вскричал Луиджи,— ты не умрешь, сейчас придет врач! У нас есть хлеб! Отец тебя простит! Для нас взошла заря благоденствия! Останься же здесь, побудь еще с нами, ангел красоты!

Но верное и любящее сердце Джиневры уже остывало; она еще инстинктивно искала взглядом того, кого любила, но ей уже недоступны были ощущения, неясные образы носились в мозгу, готовом утратить всякую память о нашей земле. Она знала, что Луиджи здесь, потому что по-прежнему крепко сжимала его холодную руку, словно пытаясь еще удержаться над бездной, в которую, чудилось ей, она летела.

— Мой друг,— вымолвила она наконец,— тебе холодно, дай я согрею тебя.

Она сделала усилие, чтобы положить руку мужа себе на сердце, и скончалась.

Тем временем явились два врача, священник, соседи, вооруженные всем, что могло бы спасти обоих супругов и утишить их отчаяние.

Чужие люди принесли с собой суету и шум; но, ступив на порог этой комнаты, они замерли; воцарилась страшная тишина.

В то время, как происходила эта сцена, Бартоломео и его жена сидели на своих привычных местах, в старин-

ных креслах по обеим сторонам необъятного камина; пылавшие угли едва согревали огромную гостиную. Часы показывали полночь. Престарелая чета Пьомбо давно уже страдала бессонницей. Сейчас они оба молчали, как молчат старики, впавшие в детство, озираясь кругом и ничего не видя. Их опустевшую, но полную воспоминаний гостиную скудно освещал слабый свет потухающей лампы. Не будь выбрасывающего искры пламени камина, в комнате стояла бы кромешная тьма. От корсиканцев только что ушел гость, и кресло, в котором он сидел, так и осталось между ними. Пьомбо уже не раз оглядывал на него, и взгляды старика, полные угрюмой выразительности, казалось, говорили об угрызениях совести — опустевшее кресло было креслом Джиневры. Элиза Пьомбо украдкой следила за чередой чувств, сменявшихся на бескровном лице мужа. Но как ни привыкла она отгадывать мысли старого корсиканца по причудливым переменам в его лице, на нем сейчас так резко сменялись выражения угрозы и скорби, что жена ничего не сумела прочесть в этой непостижимой душе.

Поддался ли Бартоломео власти воспоминаний, пробужденных в нем креслом дочери? Был ли он задет тем, что это кресло служило чужому человеку, впервые после ухода Джиневры? А может быть, пробил для него час умиротворения, столь долгожданный час?

С каждой из этих мыслей сердце Элизы Пьомбо стучало все сильней. Между тем лицо ее мужа на миг приняло такое ужасное выражение, что она испугалась своей смелости: как могла она пойти на столь наивную хитрость, чтобы напомнить о Джиневре? В эту минуту зимний ветер с неистовой силой швырнул целую тучу снега в решетчатый ставень, и старики услышали легкий шорох снежных хлопьев на стекле. Мать Джиневры опустила голову, чтобы скрыть от мужа слезы. Вдруг из груди его вырвался вздох; взглянув на него, жена поняла, что он сломлен, и второй раз за три года посмела заговорить о дочери.

— Что, если Джиневре сейчас холодно...— тихо сказала она, точно жалуясь.

Пьомбо задрожал.

— Может быть, она голодна...— продолжала Элиза Пьомбо.

Корсиканец смахнул слезу.

— ...и у нее ребенок, и у нее пропало молоко, она не может его кормить,— в отчаянии договорила мать.

— Так пусть же приходит! Пусть она придет! — вскричал Пьомбо.—О дитя мое милое, ты победила меня!

Встав с места, мать, казалось, готова была бежать за дочерью. В эту минуту дверь с грохотом распахнулась, и перед ними предстал человек, лицо которого уже утратило все человеческое.

— Умерла! Нашим семьям суждено было истребить друг друга; вот все, что от нее осталось,— сказал он, кладя на стол длинные черные косы Джиневры.

Оба старика содрогнулись, как если бы их поразила молния, и в тот же миг Луиджи не стало перед ними.

— Он сберег нам пулю: умер,— медленно произнес Бартоломео, глядя на тело, лежавшее у его ног.

Париж, январь 1830 г.

ПОБОЧНАЯ СЕМЬЯ

Графине Луизе де Тюрхейм на память и в знак искреннего уважения от ее покорного слуги

де Бальзака.

Улица Турнике-Сен-Жан была некогда одной из самых кривых и темных в старинном квартале, где находится ратуша; извиваясь вдоль садиков Парижской префектуры, она выходила на улицу Мартруа, как раз у старой стены, в настоящее время снесенной. Здесь был турникет, которому улица и обязана своим названием, он был уничтожен только в 1823 году, когда городское управление Парижа выстроило на месте одного из садиков бальный зал, где был устроен праздник в честь возвращения герцога Ангулемского из Испании. Просторнее всего улица Турнике была у пересечения с улицей Тисерандери, но и там ширина ее едва достигала пяти футов. В дождливую погоду по улице текли потоки грязной воды, омывая стены старых домов и унося с собой отбросы, которые обыватели сваливали возле уличных тумб. Повозка мусорщика не могла проехать по этой вечно грязной улице, и для ее очистки жителям приходилось рассчитывать только на ливень. Да и как было привести ее в порядок? В летнее время, когда лучи солнца отвесно падают на Париж, золотая полоса света, узкая, как клинок сабли, ненадолго озаряла мрак улицы Турнике, но так и не могла высушить постоянную сырость, застоявшуюся на уровне нижних этажей черных, молчаливых домов. Там лампы зажигали в июле уже в

пять часов вечера, а зимой и вовсе не тушили их. Впрочем, и в наши дни отважному человеку, решившему пройти пешком от квартала Марэ до набережных, покажется, что он спустился в погреб, как только в конце улицы дю-Шом он свернет на Ом-Арме и по улицам Бийет и де-Порт выйдет на Турнике-Сен-Жан.

Почти все улицы старого Парижа, великолепие которых так превозносится в летописях, схожи с этим сырым и темным лабиринтом, где любители еще могут найти кое-какие остатки старины. Так, например, в те времена, когда существовал дом на углу улиц Турнике и Тисерандери, нетрудно было заметить торчавшие из его стены обломки двух толстых железных колец — все, что уцелело от цепей, которые квартальный надзиратель приказывал некогда протягивать каждый вечер для охраны общественного порядка. Этот дом, примечательный своей ветхостью, был построен с предосторожностями, говорившими о сырости старинных жилищ. Для оздоровления первого этажа свод подвала был выведен фута на два над землей, и, чтобы войти в дом, приходилось подняться по трем ступенькам. Входная дверь была украшена полукруглым наличником, который заканчивался вверху женской головкой и арабесками, источенными временем. В полуподвальном этаже дома, с улицы Турнике, имелась квартирка в три окна, прорезанных почти на высоте человеческого роста и скудно пропускавших свет. Эти окна с прогнившими рамами были забраны редкой решеткой из толстых железных прутьев, выгнутых книзу, как в витринах булочных. Если днем какой-нибудь любопытный заглядывал в окна двух комнат, составлявших эту квартирку, ему ничего не удавалось там разглядеть. Лишь при свете яркого июльского солнца глаз различал во второй комнате две кровати с ветхим пологом из зеленой саржи, стоявшие рядом в алькове, обшитом деревянной панелью. Но около трех часов пополудни, как только зажигались свечи, в окно первой комнаты можно было увидеть старуху; она сидела на скамейке возле камина и помешивала угли в жаровне, на которой тушилось рагу — излюбленное блюдо привратниц. В полумраке вырисовывались кое-какие предметы кухонной и домашней утвари, развешанные в глубине комнаты.

В этот час старый стол на ножках, скрещенных в виде буквы X, бывал обычно накрыт. Скатерти, правда, на нем не было, но стояли два оловянных прибора и миска с каким-нибудь кушаньем, состряпанным старухой. Три плохоньких стула дополняли меблировку комнаты, служившей одновременно и кухней и столовой. На камине виднелся осколок зеркала, огниво, три стакана, спички и большой белый кувшин с отбитыми краями. И все же плиточный пол комнаты, утварь, камин — все ласкало взор благодаря порядку и бережливости, отличавшим это мрачное и холодное жилище. Бледное, морщинистое лицо старухи соответствовало темной улице и дряхлым, заплесневевшим стенам дома. Неподвижно сидя на стуле, она казалась вросшей в этот дом, как улитка в свою бурую раковину. В ее лице сквозь притворное добродушие проглядывало едва уловимое выражение хитрости; из-под круглого, плоского тюлевого чепца выбивались седые волосы; большие серые глаза были так же спокойны, как улица, где она жила, а многочисленные морщины можно было сравнить с трещинами в стенах дома. Родилась ли она в нужде или впала в нее после минувшего достатка, только она, по-видимому, давно примирилась со своей печальной участью. С восхода солнца и до позднего вечера, за исключением того времени, когда старуха стряпала или отлучалась с корзинкой за провизией, она сидела у последнего окна квартирки, а напротив нее, в старом кресле, обитом красным бархатом, работала девушка. Молодую вышивальщицу прохожие могли заметить в любое время дня: она не сходила с места и, склонившись над пяльцами, усердно трудилась. На коленях матери лежал зеленый тамбур для плетения тюля, но пальцы шестидесятилетней женщины еле перебирали шпульки, а зрение, повидимому, ослабело, так как нос ее был украшен парой тех стародавних очков, которые держались при помощи пружинки на самом его кончике. С наступлением темноты труженицы ставили на столик, разделявший их, лампу. Пройдя сквозь два стеклянные шара, наполненные водой, ее лучи ярко озаряли работу, позволяя одной женщине видеть тончайшие нити шпулек, а другой — еле заметные штрихи рисунка, нанесенного на ткань, по которой она вышивала. Воспользовавшись вы-

ступом решетки, девушка выставила за окно длинный деревянный ящик с землей; в нем росли душистый горошек, настурция, хилый кустик жимолости и вьюнок, слабые стебельки которого обвились вокруг прутьев. Чахлые растения давали блеклые цветы — лишний штрих, вносивший что-то грустное и нежное в картину этого окошка, проем которого так хорошо обрамлял два женских лица. Случайно заглянув в него, даже невнимательный прохожий уносил с собой представление о жизни рабочего люда в Париже, так как вышивальщица, по-видимому, жила только своей иглой. Мало кто доходил до турникета, не задав себе вопроса, каким образом девушка сохранила румянец в этом сыром подземелье. Когда по дороге в Латинский квартал мимо проходил студент, пылкое воображение помогало ему сравнить это незаметное, бесцельное существование с жизнью плюща, покрывающего холодные каменные стены, или с жизнью обреченных на труд крестьян, которые родятся, обрабатывают землю и умирают, оставаясь неведомыми миру, хотя именно они его и кормят. Рантье, осмотрев дом взглядом собственника, спрашивал себя: что станется с этими двумя женщинами, если вышивки выйдут из моды? Может быть, среди тех, кто в определенные часы проходил на службу в ратушу или во Дворец правосудия, или же возвращался домой, попадались и добрые люди. Может быть, какой-нибудь вдовец или сорокалетний Адонис, долго и внимательно изучавший эту безрадостную жизнь, рассчитывал на бедственное положение матери и дочери, чтобы дешево купить невинную труженицу; ведь ее ловкие пухлые ручки, нежная шея и белая кожа — очарование, которыми она, вероятно, была обязана этой улице, лишенной солнечного света,— неизменно возбуждали восхищение прохожих. Может быть также, какой-нибудь честный чиновник с окладом в тысячу двести франков, ценитель благонравия и каждодневный свидетель усердия, с каким трудилась молодая вышивальщица, ожидал только повышения, чтобы соединить свою незаметную судьбу с ее столь же незаметной судьбой, свой упорный труд — с ее трудом, предложив девушке по крайней мере поддержку мужской руки и мирную любовь, бесцветную, как вьюнки на ее окошке. Смутная надежда оживляла порой потухшие

серые глаза старухи-матери. Утром, после скудного завтрака, она брала тамбур скорее ради приличия, чем по обязанности, и, положив очки на потемневший от времени рабочий столик мореного дерева, такой же дряхлый, как и она сама, с половины девятого до десяти часов утра внимательно наблюдала за людьми, обычно проходившими в это время по улице; она ловила их взгляды, высказывала замечания об их походке, одежде, лицах и, казалось, предлагала им свою дочь — так выразительны были ее глаза, пытавшиеся завязать между прохожими и девушкой узы взаимной симпатии при помощи уловок, достойных театральных кулис. Нетрудно догадаться, что обычная вереница прохожих служила ей развлечением, а может быть, и единственным удовольствием. Дочь редко поднимала голову; стыдливость, а вероятнее всего мучительное сознание своей бедности приковывали ее взгляд к пяльцам. И только в ответ на возглас удивления матери она показывала любопытным свое личико с чертами неправильными, но весьма привлекательными. Чиновник, одетый в новый сюртук, или примелькавшийся прохожий, шедший на этот раз под руку с женщиной, могли заметить тогда слегка вздернутый носик вышивальщицы, ее румяные губы и серые глаза, полные жизни, несмотря на утомление. От бессонных ночей, проведенных за работой, под ее глазами легли темные тени, но лицо никогда не теряло свежести. Бедная девушка, казалось, была рождена для любви и веселья; для любви, которая провела над ее миндалевидными глазами тонкие, ровные дуги бровей и наградила ее таким обилием каштановых волос, что она могла закутаться ими как плащом, непроницаемым для взоров возлюбленного; для веселья, от которого трепетали ее подвижные ноздри, а на розовых щеках выступали две ямочки, для веселья — этого цветка надежды, которое помогало ей быстро забывать огорчения и без содрогания смотреть на безрадостный жизненный путь. Девушка всегда была тщательно причесана. По обычаю парижских работниц, она считала себя одетой, как только успевала пригладить волосы и выложить на висках два шаловливых завитка, резко выделявшихся на белой коже. В повороте этой головки было столько грации, темный узел волос, лежащий на точеной шейке,

так красноречиво говорил о юной прелести девушки, что наблюдательный человек, видя, как упорно она работает, не поднимая глаз при звуке его шагов, мог заподозрить ее в кокетстве. Весь ее облик был так пленителен, что не один юноша оборачивался с тщетной надеждой увидеть еще раз это милое личико.

— Смотри, Каролина, новый прохожий, и гораздо лучше прежних.

Эти слова, которые мать произнесла шепотом как-то утром в августе 1815 года, преодолели равнодушие молодой вышивальщицы, но она напрасно взглянула на улицу: незнакомец уже был далеко.

— Куда же он исчез? — спросила она.

— Он, конечно, будет возвращаться часа в четыре, я толкну тебя ногой, как только его увижу. Уверена, что он опять появится. Вот уже три дня, как он проходит по нашей улице, но в разные часы: в первый день в шесть часов, позавчера — в четыре, а вчера — в три. Помнится, я видела его время от времени и прежде. Верно, это какой-нибудь чиновник префектуры, переехавший к нам в Марэ. Смотри,— прибавила она, бросив взгляд на улицу,— господин в коричневом костюме надел парик; сегодня его не узнать!

Господином в коричневом костюме, очевидно, заканчивалась ежедневная процессия прохожих, потому что старуха-мать вновь надела очки и, вздохнув, принялась за работу; при этом она бросила на дочь взгляд настолько странный, что самому Лафатеру вряд ли удалось бы его объяснить; в нем было все — восхищение, признательность, надежда на лучшее будущее и чувство гордости, вызванное красотою дочери. Около четырех часов вечера старуха толкнула ногой Каролину. И та подняла голову как раз вовремя, чтобы увидеть новое действующее лицо, появление которого на улице должно было оживить отныне однообразие ежедневного зрелища. Это был человек лет сорока, высокий, худощавый, бледный. Он был одет во все черное, и в его осанке чувствовалось достоинство. Когда его пронизывающие светло-карие глаза встретились с тусклым взглядом старухи, она вздрогнула; ей показалось, что незнакомец отличается природным даром или привыч-

кой читать в глубине сердец. Он держался очень прямо, и от его обращения веяло, очевидно, таким же ледяным холодом, как и от улицы, по которой он шел. Но почему у него такой землистый цвет лица — виновата ли в этом болезнь или же чрезмерная работа? Эту загадку старуха решала на двадцать ладов. Но одна Каролина сразу догадалась, что грустное лицо незнакомца носит следы долгих душевных страданий. Лоб, легко собиравшийся в морщины, и слегка впалые щеки хранили на себе ту печать, которой злосчастье отмечает своих данников как бы для того, чтобы предоставить им в утешенье возможность узнавать друг друга и братски объединяться для сопротивления. Взгляд девушки загорелся сперва вполне невинным любопытством, но едва незнакомец, похожий на опечаленного родственника, замыкающего похоронное шествие, стал удаляться, в ее глазах появилось выражение нежного сочувствия. Жара в этот час была так удушлива, а рассеянность неизвестного так велика, что даже по их сырой улице он шел без шляпы. Каролина успела заметить, что высокий лоб и волосы, остриженные ежиком, придавали его лицу выражение суровости. Незнакомец произвел на нее сильное, но не особенно приятное впечатление; впрочем, оно ничуть не походило на те чувства, какие вызывали у девушки другие прохожие. Впервые жалость Каролины была направлена не на себя или на мать, а на постороннего человека. Она ни словом не отозвалась на нелепые предположения старухи и, не слушая ее надоедливой болтовни, молча продолжала продергивать длинную иглу с ниткой сквозь натянутый тюль. Ей не удалось хорошенько рассмотреть незнакомца, и, сожалея об этом, она решила подождать следующего дня, чтобы составить о нем окончательное мнение. Впервые один из прохожих заставил ее задуматься. Обычно она отвечала только грустной улыбкой на догадки матери, которая в каждом увиденном мужчине надеялась найти для нее покровителя. Если все эти неосторожно высказанные соображения не пробудили ни одной дурной мысли у Каролины, то ее «беспечность» следует приписать упорному и, к несчастью, подневольному труду, который подтачивал ее неповторимую молодость и от которого вскоре должны были потускнеть ее глаза и сбе-

жать нежные краски, пока еще оттенявшие белизну девичьего лица.

В течение двух долгих месяцев *черный господин*, как его прозвали вышивальщицы, проявлял крайнее непостоянство в привычках. Он не всегда проходил по улице Турнике; нередко старуха видела его вечером, не заметив, чтобы он прошел мимо них утром; да и возвращался он в разное время — не то что другие чиновники, которые заменяли г-же Крошар часы. Наконец, за исключением первой встречи, когда взгляд незнакомца внушил некоторое опасение старухе-матери, его глаза больше ни разу не останавливались на живописной картине, которую представляли собой эти две женщины, похожие на духов подземелья. Если не считать двух парадных дверей и темной скобяной лавки, на улицу Турнике выходили в те времена лишь решетчатые окна, слабо освещавшие лестницы нескольких соседних домов. Следовательно, отсутствие любопытства у прохожего нельзя было объяснить каким-нибудь опасным соперничеством. Вот почему г-жа Крошар была задета за живое, видя своего «черного господина» неизменно серьезным и сосредоточенным; взгляд его был вечно прикован к земле или устремлен вдаль, словно он хотел прочесть будущее в сыром тумане улицы Турнике. Но как-то утром, в конце сентября, шаловливое личико Каролины Крошар выступило таким сияющим видением на темном фоне комнаты, среди запоздалых цветов и поблекшей листвы растений, обвившихся вокруг железных прутьев решетки, и это обычное зрелище явило такой чудесный контраст света и тени, белых и розовых тонов, прекрасно гармонировавших с муслином, над которым трудилась хорошенькая вышивальщица, и с красновато-коричневой обивкой кресел, что незнакомец очень внимательно посмотрел на столь эффектную живую картину. По правде сказать, старуха-мать, раздосадованная безразличием «черного господина», принялась так громко стучать своими шпульками, что, может быть, именно этот необычный шум и заставил угрюмого, озабоченного прохожего заглянуть к ним в окошко. Неизвестный обменялся с Каролиной быстрым взглядом, но и этого было достаточно, чтобы между ними установилась мимолетная близость и у обоих возникло пред-

чувствие, что они станут думать друг о друге. Около четырех часов дня неизвестный возвращался обратно; Каролина узнала его шаги, гулко отдававшиеся по улице, и когда девушка и незнакомец взглянули друг на друга, это уже было сделано преднамеренно как с той, так и с другой стороны; в глазах прохожего появилось дружелюбное выражение, и он улыбнулся, а Каролина покраснела; старуха-мать наблюдала за обоими с довольным видом. С того памятного утра «черный господин» стал проходить по улице Турнике дважды в день, и если изредка он не появлялся, обе женщины отмечали это как исключение. Судя по тому, что незнакомец возвращался со службы в разное время, они решили, что он не мелкая сошка, ибо простой чиновник обычно не задерживается в присутствии и уходит домой в определенный час.

В течение трех первых месяцев зимы Каролина и прохожий виделись таким образом по два раза в день — в те короткие мгновения, когда он проходил мимо ее окон. День от дня это мимолетное свидание принимало более дружелюбный характер и в конце концов создало между ними нечто вроде братской близости. Каролина и незнакомец, казалось, уже стали понимать друг друга; вглядываясь в знакомые черты, они изучили их до тонкости. Вскоре появления прохожего стали как бы визитами, которые он наносил Каролине; если случайно «черный господин» проходил мимо, не послав ей мимолетной улыбки, в которую складывался его выразительный рот, или ласкового взгляда своих карих глаз, ей весь день чего-то не хватало. Она походила на стариков, для которых чтение газеты стало таким привычным удовольствием, что на следующий день после большого праздника они чувствуют себя выбитыми из колеи и по рассеянности или от нетерпения отправляются за газетой, помогающей им на несколько минут заполнить пустоту своего существования. Как для незнакомца, так и для Каролины эти беглые встречи приобрели интерес непринужденной, дружеской беседы. Девушка не могла утаить от внимательного взгляда своего молчаливого друга грусти, беспокойства или недомогания, а ему не удавалось скрыть свои заботы от Каролины. «У него были вчера неприятности»,— эта мысль ча-

сто приходила в голову вышивальщице при виде изменившегося лица «черного господина». «О, ему пришлось много работать!» — восклицала Каролина, судя по каким-то другим признакам, которые только она умела различать. Незнакомец тоже угадывал, когда девушка проводила воскресенье за работой, чтобы закончить платье, узор которого ему хотелось бы видеть. Он замечал беспокойство, омрачавшее это хорошенькое личико при приближении срока уплаты за квартиру, и угадывал, когда Каролина не спала ночь, сидя за пяльцами; но главное, он видел, что с каждым днем их знакомства рассеивались грустные мысли, старившие ее нежные и веселые черты. Когда зима высушила стебли и листья садика, разбитого на подоконнике, а окно закрылось, незнакомец, улыбнувшись понимающей улыбкой, заметил необычайное освещение на уровне головки Каролины. Скупость, с которой женщины расходовали топливо, красные пятна на их лицах выдали «черному господину» крайнюю бедность их маленького хозяйства; но едва только выражение глубокого сочувствия появлялось в его взгляде, Каролина гордо отвечала на это притворной веселостью. Однако чувство, пробудившееся у Каролины и незнакомца, оставалось погребенным в глубине их сердец; ничто не открыло ни ему, ни ей силы и искренности этого чувства. Безмолвные друзья, они даже не слышали голоса друг друга. Более тесный союз страшил их как несчастье. Казалось, что каждый из них боялся принести другому более тяжкое горе, чем то, которое ему хотелось разделить. Что останавливало их? Стыдливость дружбы? Опасения, подсказанные эгоизмом или жестоким недоверием, разъединяющим людей в стенах большого города? Или, быть может, внутренний голос предупреждал их о грозящей опасности? Было бы трудно объяснить чувство, которое и привлекало их друг к другу и отталкивало, пробуждало то равнодушие, то любовь, сближало в безотчетном стремлении и разъединяло в действительности. Возможно, каждому из них хотелось сохранить свои иллюзии. Иногда казалось, что незнакомец опасается услышать грубые слова из девичьих уст, свежих и чистых, как цветок, а Каролина считает себя недостойной этого таинственного человека, в котором все говорит о власти и

богатстве. Что касается г-жи Крошар, то эта нежная мать теперь почти сердилась на нерешительность дочери и недовольно посматривала на «черного господина», тогда как прежде всегда улыбалась ему любезно, почти подобострастно. Никогда еще она так горько не жаловалась дочери на то, что ей, больной старухе, приходится заниматься стряпней, никогда еще ревматизм и катар горла не вызывали у нее таких жалобных стонов; наконец, за эту зиму ей не удалось сплести столько тюля, сколько Каролине нужно было для вышивания. Потому-то в конце декабря, когда хлеб бывает особенно дорог (а в 1816 году цена на хлеб так возросла, что зима оказалась особенно тяжелой для бедняков), прохожий заметил на лице девушки, имени которой он не знал, глубокую озабоченность, и даже его приветливой улыбке не удалось ее рассеять. Вскоре он понял по глазам Каролины, по ее изнуренному виду, что она проводит ночи за работой. Однажды, в конце того же месяца, прохожий, вопреки обыкновению, возвращался по улице Турнике-Сен-Жан около часу ночи. Подходя к дому, где жила Каролина, он еще издали услышал в ночной тишине плаксивый голос старухи и другой, более скорбный, молодой голос, звуки которых сливались с шумом дождя, падавшего вперемешку со снегом. Он осторожно приблизился к дому, затем, рискуя быть арестованным, притаился у окна, чтобы послушать, о чем говорят мать и дочь, одновременно наблюдая за ними сквозь одну из дыр в пожелтевших муслиновых занавесках, похожих на капустные листья, изъеденные гусеницами. Любопытный прохожий увидел на столе, разделявшем пяльцы и тамбур, гербовую бумагу; между двумя шарами с водой стояла лампа. При свете ее незнакомец без труда узнал повестку о вызове в суд. Г-жа Крошар плакала, а в голосе Каролины слышались гортанные нотки, искажавшие ее мягкий, ласкающий тембр.

— Зачем отчаиваться, матушка? Господин Молине не продаст нашей мебели и не выгонит нас, пока я не закончу этого платья; еще две ночи, и я отнесу его госпоже Роген.

— А что, если она, как обычно, не заплатит сразу? Да и денег-то этих не хватит. За квартиру отдадим, а с булочником чем рассчитаемся?

Свидетель этой сцены давно привык разбираться в выражении лиц, и ему показалось, что в отчаянии матери было столько же фальши, сколько искренности в горе ее дочери. Он тотчас же отошел от окна. Вернувшись несколько минут спустя, он вновь посмотрел сквозь отверстие в муслиновых занавесках. Мать уже легла, девушка, склонившись над пяльцами, трудилась с неутомимым усердием. На столе рядом с повесткой лежал треугольный ломоть хлеба, очевидно, положенный сюда не только для подкрепления сил девушки в бессонную ночь, но и как напоминание о награде, которая ждет ее за проявленное мужество. Незнакомец вздрогнул от жалости и боли. Он бросил свой кошелек в окно — туда, где стекло было выбито,— с таким расчетом, чтобы кошелек упал к ногам девушки; затем, даже не насладившись ее удивлением, поспешно скрылся. Сердце у него сильно билось, щеки пылали. На следующий день грустный и замкнутый незнакомец прошел мимо Каролины, напустив на себя сугубо озабоченный вид. Однако ему не удалось избежать благодарности девушки; еще до его появления она открыла окно и принялась разрыхлять ножом покрытую снегом землю в деревянном ящике. Этот неловкий и трогательный предлог дал ясно понять незнакомцу, что на этот раз она не хочет смотреть на него сквозь стекло. Устремив на своего благодетеля глаза, полные слез, вышивальщица поклонилась ему, как бы говоря: «Я могу вам отплатить только сердцем». Но «черный господин» сделал вид, что ничего не понимает в выражении этой искренней признательности. Вечером, когда он возвращался, Каролина, которая в это время заклеивала бумагой разбитое стекло, улыбнулась ему улыбкой, подобной обещанию, сверкнув ослепительной белизной зубов. С тех пор «черный господин» избрал другой путь и больше не показывался на улице Турнике.

Как-то в субботу, в первых числах мая, Каролина поливала из стакана жимолость в ящике и, заметив между рядами черных домов клочок голубого неба, сказала:

— Матушка, поедемте-ка завтра погулять в Монморанси.

Не успела она весело произнести эту фразу, как появился «черный господин», более грустный и подавлен-

ный, чем когда-либо. Робкий и ласковый взгляд, брошенный ему Каролиной, мог быть понят как приглашение. И на другой день, когда г-жа Крошар в длинном пальто из красновато-коричневой мериносовой ткани, в шелковой шляпе и полосатой шали — подделке под кашемир — явилась на угол улиц Фобур-Сен-Дени и Анген, чтобы сесть в «кукушку», она увидела там своего незнакомца, явно поджидавшего кого-то. Радостная улыбка появилась на его лице, когда он заметил Каролину. Ножки ее были обуты в прюнелевые башмачки цвета «блошиной спинки», ветер, столь опасный для дурно сложенных женщин, раздувал белое платье, обрисовывая пленительные формы; а лицо, выглядывавшее из-под соломенной шляпки, подбитой розовым шелком, было, казалось, озарено небесным сиянием; широкий коричневый пояс подчеркивал стройность талии, тонкой, как тростинка, а темные волосы, разделенные прямым пробором и зачесанные на уши, оттеняли белоснежный лоб и придавали девушке целомудренно-наивный вид, соответствовавший всему ее облику. От предвкушения удовольствия Каролина казалась такой же легкой, как рисовая соломка ее шляпки; заметив «черного господина», она вся загорелась надеждой, и это сияние затмило и праздничный ее наряд и красоту. Неизвестный, видимо, колебался и, быть может, только при виде внезапной радости, вызванной его присутствием, решился сопутствовать вышивальщице. Он нанял кабриолет, запряженный довольно хорошей лошадью, и предложил г-же Крошар с дочерью занять в нем место для поездки в Сен-ле-Таверни. Мать согласилась без лишних слов, но когда экипаж уже катил по дороге в Сен-Дени, она вспомнила о щепетильности и стала высказывать опасения, что они с дочерью, пожалуй, стеснят своего спутника.

— Может быть, сударь, вы желали поехать один в Сен-Ле? — спросила она с притворным добродушием, но тут же стала жаловаться на жару и в особенности на свой бронхиальный катар, который, по ее словам, всю ночь не дал ей сомкнуть глаз. Как только экипаж достиг Сен-Дени, г-жа Крошар, видимо, заснула; но ее похрапывание показалось подозрительным «черному господину»; он нахмурил брови и крайне недоверчиво посмотрел на старуху.

— Она спит,— наивно сказала Каролина,— кашель

совсем замучил ее со вчерашнего вечера, и, наверное, она очень устала.

Вместо ответа спутник многозначительно улыбнулся, словно говоря девушке: «Невинное создание, ты не знаешь своей матери». Тем не менее, когда экипаж мягко покатил по длинной, обсаженной тополями аллее, ведущей в Обон, «черный господин», несмотря на свою недоверчивость, решил, что г-жа Крошар действительно уснула; а может быть, ему просто не хотелось разбираться, насколько притворным был этот сон. Красота ли неба, чистый ли деревенский воздух или пьянящий аромат распускающихся тополей, вербы и цветов боярышника тронули сердце «черного господина», призывая его пробудиться по примеру природы, или натянутость стала ему в тягость, а быть может, блестящие глаза Каролины ответили сочувствием на его беспокойные взгляды, но только он завел со своей юной спутницей беседу, неопределенную, как шелест деревьев под порывами легкого ветерка, своенравную, как полет бабочки в голубом воздушном просторе, непринужденную, как нежно-мелодичный голос полей, и, как этот голос, полную таинственной любви. Ведь в это время года природа похожа на трепетную невесту в подвенечном наряде и склоняет к наслаждению даже самые ледяные сердца! Какое сердце могло бы остаться холодным, какие уста не выдали бы затаенных мыслей, когда, миновав темные улицы Марэ, впервые с прошлого года проезжаешь утром по чудесной, живописной долине Монморанси, глядя на ее беспредельные дали и сознавая, что можешь перевести свой взгляд на глаза, в которых тоже отражается беспредельность, но только беспредельность любви! Незнакомец нашел Каролину скорее веселой, чем остроумной, скорее сердечной, чем образованной; но если в ее смехе слышались шаловливые нотки, то слова сулили искреннее чувство. Когда на тонкие вопросы спутника девушка отвечала с непосредственностью, свойственной низшим классам, не знающим недомолвок светских людей, лицо «черного господина» оживало и словно перерождалось. Оно постепенно теряло омрачавшее его грустное выражение; затем мало-помалу на этом лице появился отблеск молодости и красоты, и Каролина почувствовала себя счастливой и гордой. Хорошенькая вышивальщица угадала, что ее благодетель дав-

но лишен нежности и любви и уже не верит в женскую преданность. Наконец остроумное замечание, промелькнувшее в легкой болтовне Каролины, согнало с лица незнакомца последнюю тень, скрывавшую его молодость и изменявшую его истинное выражение. Он, по-видимому, окончательно отмахнулся от докучливых мыслей и проявил душевный пыл, о котором позволяло догадываться его лицо. Незаметно беседа приняла столь дружеский характер, что, когда экипаж остановился у первых домов широко раскинувшегося селения Сен-Ле, Каролина уже называла незнакомца г-ном Роже. Только тут старуха-мать пробудилась.

— Каролина, она, должно быть, все слышала,— прошептал подозрительный Роже на ухо девушке.

Каролина ответила восхитительной улыбкой сомнения, и ее улыбка рассеяла тень, которая вновь омрачила лицо этого недоверчивого человека, опасавшегося тайного расчета со стороны матери. Ничему не удивляясь, г-жа Крошар все одобрила и последовала за дочерью и г-ном Роже в парк Сен-Ле, куда молодые люди сговорились отправиться, чтобы осмотреть цветущие луга и живописные рощи, прославленные королевой Гортензией, которая так любила эти места.

— Боже мой, до чего здесь красиво! — воскликнула Каролина, поднявшись на зеленую возвышенность, откуда начинается лес Монморанси: девушка увидела у своих ног огромную долину с разбросанными там и сям деревнями, синеватые холмистые дали, колокольни, луга и поля, а до слуха ее долетел разноголосый шум, похожий на рокот морского прибоя. Путники прошли по берегу искусственно созданной речки до «швейцарской долины» и остановились у Шале, куда не раз приходили королева Гортензия и Наполеон. Когда Каролина с благоговением уселась на поросшую мхом деревянную скамью, где некогда отдыхали короли, принцессы и император, г-же Крошар захотелось рассмотреть поближе перекинутый между скалами мостик, видневшийся вдалеке, и она направилась к этой сельской достопримечательности, оставив дочь под охраной г-на Роже; однако она предупредила девушку, что не будет терять их из виду.

— Как, милое дитя,— воскликнул Роже,— неужели вы никогда не желали богатства и наслаждений роско-

ши? Неужели вам не хочется носить те красивые платья, которые вы вышиваете?

— Я бы солгала вам, господин Роже, если бы сказала, что не думаю о счастье, которым наслаждаются богатые. О да, я часто мечтаю, особенно перед сном, о том, как было бы хорошо, если бы моей бедной матушке не приходилось больше ходить во всякую погоду за провизией для нашего маленького хозяйства, ведь у нее больные ноги! Мне хотелось бы, чтобы по утрам прислуга подавала ей в постель очень сладкий кофе с настоящим очищенным сахаром. Бедная моя старушка любит читать романы. Так вот, я предпочла бы, чтобы она портила себе глаза за чтением, а не за работой, передвигая с утра до ночи шпульки. Ей необходимо также немного хорошего вина. Словом, я хотела бы знать, что она счастлива; она такая добрая!

— Значит, она всегда была добра к вам?

— О да,— ответила девушка с глубочайшей искренностью. И после короткой паузы, во время которой молодые люди наблюдали за г-жой Крошар, а та, достигнув середины мостика, грозила им пальцем, Каролина продолжала: — О да, очень добра. Как она заботилась обо мне, когда я была маленькая!.. Она продала все свое столовое серебро, чтобы отдать меня в учение к старой деве, у которой я научилась вышивать. А мой несчастный отец! Сколько труда она положила, чтобы скрасить его последние минуты! — При этой мысли девушка вздрогнула и закрыла лицо руками.— Ну, да что там! Не будем вспоминать о прошлых горестях,— проговорила она, стараясь вновь развеселиться. Заметив, что Роже растроган, она покраснела и больше не решалась на него взглянуть.

— Чем занимался ваш отец? — спросил он.

— До революции отец был танцором в Опере,— сказала она вполне непринужденно,— а мать — хористкой. Отцу на сцене не раз приходилось руководить военными действиями. А когда он случайно оказался при взятии Бастилии, некоторые из осаждающих узнали его и спросили, не решится ли он командовать атакой, но настоящей, не такой, как в театре. Мой отец был храбрый человек, он согласился и повел восставших; затем он был произведен в капитаны, вступил в ряды армии Самбры-и-Мезы и вскоре так проявил себя, что получил повышение, стал полковником. Но он был серьезно ранен при Лю-

цене, проболел целый год и вернулся в Париж умирающим. Когда к власти пришли Бурбоны, мать уже не могла выхлопотать пенсии, и мы впали в нищету, нам пришлось зарабатывать себе на кусок хлеба. С некоторых пор моя старушка стала прихварывать. Теперь у нее уже нет прежнего смирения; она жалуется, я ее понимаю: она знала радость, счастье; я же не могу сожалеть о наслаждениях, потому что не испытала их. Я прошу у неба лишь одного...

— Чего? — с живостью спросил Роже, задумчиво глядевший на девушку.

— Чтобы дамы всегда носили вышитый тюль и никогда не было бы недостатка в работе.

Искренность этих признаний тронула молодого человека, и он уже не так враждебно посмотрел на г-жу Крошар, когда та медленным шагом приблизилась к ним.

— Ну, что, детки, всласть поболтали? — спросила она с насмешливой снисходительностью.— Подумать только, господин Роже, что *маленький капрал* сидел там, где вы находитесь,— продолжала она после минутного молчания.— Несчастный! — прибавила она.— Мой муж без памяти любил его. Хорошо, что Крошар умер: он слишком бы страдал, зная, куда *они* его запрятали.

Роже приложил палец к губам, и славная старуха проговорила, качая головой:

— Ладно, буду держать язык за зубами. Но,— прибавила г-жа Крошар, расстегивая ворот лифа и показывая золотой крест с красной лентой, который она носила на черном шелковом шнурке,— они не помешают мне хранить то, чем он наградил моего бедного Крошара, и я, конечно, унесу этот орден с собою в могилу...

Такие слова считались в те времена крамольными, и Роже прервал старуху, быстро встав с места. Они вернулись в деревню по аллеям парка. Молодой человек отлучился на несколько минут, чтобы заказать обед у лучшего ресторатора Таверни, потом зашел за женщинами и повел их по лесным тропинкам в ресторацию. Обед прошел очень оживленно. Роже уже не напоминал мрачную тень, проходившую некогда по улице Турнике. Он походил не на «черного господина», а скорее на доверчивого юношу, готового отдаться течению жизни, как и эти две беззаботные труженицы, у которых завтра же, возможно, не бу-

дет хлеба. Он, казалось, переживал радость первых лет жизни, в его улыбке мелькало что-то ласковое, детское. Когда около пяти часов вечера веселый обед закончился несколькими бокалами шампанского, Роже первый предложил отправиться на деревенский бал, устроенный под сенью каштанов, где они с Каролиной присоединились к танцующим. Пальцы молодой пары сплетались сами собой, сердца бились от одной и той же надежды, и под голубым сводом неба, при свете косых красных лучей заходящего солнца глаза влюбленных приобрели блеск, затмивший для каждого из них сияние небосвода. Странным могуществом обладает мысль или желание! Все им казалось возможным! В те чарующие мгновения, когда радость озаряет даже будущее, душа не предвидит ничего, кроме счастья. Для них обоих этот чудесный день уже был полон воспоминаний, с которыми ничто не могло сравниться в прошлом. Неужели источник прекраснее реки, надежда лучше обладания, а желание привлекает нас больше того, что дает действительность?

— Вот и день уже прошел! — вырвалось у Роже, когда кончились танцы; Каролина взглянула на него с состраданием, заметив на его лице легкую тень грусти.

— Почему бы вам не быть таким же довольным в Париже, как и здесь? — спросила она.— Разве счастье только в Сен-Ле? Мне кажется, что теперь я уж никогда не буду чувствовать себя несчастной.

Роже вздрогнул при этих словах, внушенных тем невольным порывом нежности, который увлекает женщин дальше, чем они хотели бы, точно так же, как показная добродетель делает их более жестокими, чем они есть на самом деле. В первый раз с тех пор, как Каролина и Роже обменялись взглядом, положившим начало их дружбе, им пришла одна и та же мысль; если они и не высказали этой мысли, то поняли ее одновременно, испытав ощущение, похожее на благодетельное тепло очага, которое заставляет позабыть о зимней стуже. Затем, точно опасаясь наступившего молчания, они направились к ожидавшему их экипажу, но прежде чем сесть в него, дружески взялись за руки и побежали по темной аллее впереди г-жи Крошар. Когда они потеряли из виду тюлевый чепец, который мелькал белым пятнышком среди листвы, указывая им, где находится в эту минуту старуха-мать, Роже оста-

новился и с сильно бьющимся сердцем взволнованно сказал: «Каролина!..» Девушка отпрянула в смущении, поняв скрытую за этим просьбу. Все же она протянула руку, которую Роже горячо поцеловал, но девушка тотчас же отняла ее, так как, поднявшись на цыпочки, увидела мать. Г-жа Крошар сделала вид, будто ничего не заметила. Можно было подумать, что, вспомнив о своих прежних ролях, она решила фигурировать здесь только a parte [1]

История этой молодой пары недолго продолжалась на улице Турнике. Каролину и Роже вскоре можно было встретить в центре современного Парижа, где в недавно построенных домах существуют квартирки, словно нарочно отделанные для того, чтобы люди проводили в них медовый месяц. Свежесть росписи и обоев здесь под стать счастью молодых супругов, а убранство комнат отличается той же прелестью новизны, что их любовь. Все соответствует там молодости и бурным страстям. В середине улицы Тетбу стоял дом, каменные стены которого не утратили белизны, на колоннах вестибюля и на входной двери не было ни единого пятна, а внутри все блестело глянцем свинцовых белил, вошедших в моду после возобновления наших сношений с Англией. На третьем этаже этого дома приютилась квартирка, так прелестно отделанная архитектором, словно он предугадал ее назначение. Простая чистенькая передняя, оштукатуренная до половины человеческого роста, вела в гостиную и маленькую столовую. Гостиная сообщалась с уютной спальней, к которой примыкала ванная комната. Над каминами висели большие зеркала в красивых рамах. Двери были расписаны с большим вкусом, а карнизы отличались строгостью и простотой линий. Истинный ценитель отметил бы здесь прежде всего чувство меры и изысканность отделки, свойственные произведениям наших современных архитекторов. Уже около месяца Каролина жила в этой квартирке, обставленной одним из тех мастеров, которые работают под руководством художника. Достаточно будет краткого описания спальни, чтобы дать понятие о чудесах, представших перед взором Каролины, когда ее впервые привел туда Роже. Стены этой важнейшей в кварти-

---

[1] В стороне *(итал.)*.

ре комнаты были обтянуты серой тканью с зелеными шелковыми аграмантами. Мебель легкой, изящной формы, обитая светлым кашемиром, говорила о том, что она создана по последнему капризу моды; комод из грушевого дерева с тонкой коричневой инкрустацией был полон роскошных уборов и драгоценностей; письменный стол в том же стиле предназначался для того, чтобы писать надушенные любовные записки; кровать, задрапированная в античном вкусе, навевала мысли о сладострастной неге воздушной мягкостью муслиновых покрывал; серые шелковые занавески с зеленой бахромой были неизменно задернуты, чтобы смягчать яркий дневной свет; бронзовые часы изображали Амура, украшающего венком голову Психеи. И наконец красноватый ковер с готическим рисунком еще ярче подчеркивал все мелочи этого восхитительного уголка. Перед большим зеркалом сидела за туалетным столиком бывшая вышивальщица, теряя терпение от медлительности Плезира, знаменитого парикмахера.

— Можно ли надеяться, что вы закончите сегодня мою прическу? — спросила она.

— Сударыня, у вас такие длинные, такие густые волосы,— ответил Плезир.

Каролина не могла удержаться от улыбки; лесть мастера парикмахерского искусства, очевидно, пробудила у нее воспоминание о друге, всегда страстно хвалившем красоту ее волос, которые он обожал. Когда парикмахер ушел, появилась горничная, и Каролина стала советоваться с ней, какое надеть платье для Роже. Было начало сентября 1816 года, становилось холодно; пришлось выбрать платье из зеленого гренадина, отделанное серебристо-серым мехом. Как только туалет был закончен, Каролина выбежала в гостиную и распахнула стеклянную дверь, которая выходила на изящный балкон, украшавший фасад дома. Скрестив руки на груди, она облокотилась на коричневые железные перила и застыла в прелестной позе, вглядываясь в ту часть бульвара, что зеленеет в конце улицы Тетбу; она не замечала восхищения прохожих, которые оборачивались, чтобы взглянуть на нее. В узком просвете между домами, который можно было бы сравнить с глазком, проделанным артистами в театральном занавесе, виднелось множество элегантных экипажей и

фигуры людей, причем все это мелькало с быстротой китайских теней. Не зная, придет ли Роже пешком или приедет в экипаже, бывшая вышивальщица с улицы Турнике всматривалась и в прохожих и в тильбюри — легкие двуколки, недавно ввезенные во Францию англичанами. Но когда после пятнадцатиминутного ожидания ни зоркие глаза, ни сердце Каролины не указали ей в толпе того, кого она ждала, выражение нежности сменилось у нее гримаской неудовольствия. Каким пренебрежением, каким равнодушием дышало красивое юное личико Каролины при виде всех этих существ, которые кишели, как муравьи, у ее ног! Ее серые лукавые глаза сияли. Поглощенная своей любовью, она избегала восторженных взглядов с таким же старанием, с каким даже самые гордые женщины стремятся собрать эту дань поклонения во время прогулок по Парижу, и, конечно, ничуть не заботилась о том, сотрется ли завтра же из памяти прохожих, которые любовались ею, воспоминание о ее склоненном белом личике, о ее маленькой ножке, видневшейся сквозь решетку балкона, о ее живых, кокетливых глазах и хорошеньком вздернутом носике. Она видела перед собой только одно лицо, была поглощена единственной мыслью. Когда голова знакомой гнедой лошади появилась из-за высоких домов, Каролина вздрогнула и поднялась на цыпочки, чтобы рассмотреть белые вожжи и окраску тильбюри. Это он. Роже заворачивает за угол, видит балкон, подстегивает лошадь, та ускоряет ход и вскоре останавливается у коричневой входной двери, которая ей знакома так же хорошо, как и ее хозяину. Слыша радостный возглас хозяйки, горничная открывает дверь, не дожидаясь звонка. Роже вбегает в гостиную, прижимает Каролину к груди и целует ее с той страстной нежностью, которая прорывается при редких встречах двух любящих людей. Он увлекает ее, или, вернее, движимые одной и той же волей, не разжимая объятий, они направляются в свою прелестную комнатку, уютную и благоуханную. Перед камином их ждет диванчик, они опускаются на него и с минуту молча смотрят друг на друга, выражая свои мысли долгим взглядом, а счастье — крепким пожатием рук.

— Радость моя! Я заждалась тебя! — проговорила наконец Каролина.— Знаешь, ведь мы не виделись три

дня, три долгих дня. Целую вечность! Но что с тобой? Ты огорчен?

— Моя бедная Каролина...

— Ну, вот... «моя бедная Каролина»...

— Нет, не смейся, мой ангел: нам не удастся пойти сегодня в Фейдо.

Каролина сделала недовольную гримаску, но тотчас же ее лицо прояснилось.

— Какая я глупая! Могу ли я думать о театре, когда вижу тебя? Смотреть на тебя — разве это не единственное зрелище, которое я обожаю? — воскликнула она, гладя волосы Роже.

— Я должен быть у генерального прокурора, мы разбираем сейчас одно очень щекотливое дело. Я встретил прокурора в зале заседаний, и, так как мне придется выступать по этому делу от имени суда, он пригласил меня обедать; но, дорогая, ты можешь пойти в Фейдо с мамой, я заеду туда за вами, если совещание кончится рано.

— Пойти в театр без тебя? — воскликнула она с удивлением.— Какое же это удовольствие, если ты не разделишь его со мной?.. Ах, Роже, вы заслуживаете... поцелуя,— прибавила она, с наивной страстностью бросаясь ему на шею.

— Каролина, я должен заехать домой переодеться. До квартала Марэ далеко, а мне еще надо закончить несколько дел.

— Сударь,— заметила Каролина, перебивая его,— будьте осторожны. Маменька предупредила меня, что как только мужчина начинает ссылаться на дела,— это значит, что он разлюбил.

— Каролина, ведь я же приехал, ведь я урвал этот час у моей безжалостной...

— Молчи,— сказала она, прижимая пальчик к губам Роже,— молчи, разве ты не понимаешь, что я шучу?

Они перешли в гостиную, и Роже заметил там вещь, которую утром принес столяр-краснодеревщик. То были старые пяльцы из розового дерева, кормившие Каролину и ее мать, когда они жили на улице Турнике-Сен-Жан; пяльцы были отделаны заново, и на них уже была натянута начатая по тюлю вышивка, поражавшая красивым и сложным узором.

— Ну что ж, дорогой, сегодняшний вечер я проведу за работой. Вышивая, я мысленно перенесусь к тем дням, когда ты проходил под нашими окнами, не говоря ни слова, но все же поглядывая на меня, к тем дням, когда думы о тебе не давали мне всю ночь сомкнуть глаз. Милые мои пяльцы — самое прекрасное украшение моей гостиной, хотя я и получила их не от тебя. Ты еще ничего не знаешь,— сказала она, садясь на колени Роже, который опустился в кресло, не в силах преодолеть свое волнение.— Выслушай меня! Я хочу отдавать бедным все, что заработаю вышиванием. Ты сделал меня богатой. Как люблю я прелестное поместье Бельфей — и не за его красоту, а за то, что это ты мне его подарил! Но скажи мне, Роже, я хотела бы называться Каролиной де Бельфей, можно? Ты должен знать: законно ли это, допустимо ли?

Когда Роже, ненавидевший фамилию Крошар, утвердительно кивнул головой, Каролина проворно соскочила на пол и захлопала в ладоши.

— Мне кажется,— воскликнула она,— что тогда я буду связана с тобой еще крепче. Обычно девушка отказывается от своей фамилии и принимает фамилию мужа...— Назойливая мысль, которую она тотчас же отогнала, заставила ее покраснеть, она взяла Роже за руку и подвела его к открытому фортепьяно.— Вот послушай,— проговорила она,— я теперь хорошо разучила сонату.— И легкие пальчики проворно забегали по клавишам, но вдруг она почувствовала, что руки Роже обхватили ее за талию и подняли на воздух.

— Каролина, мне пора, дорогая.

— Ты уходишь? Ну что же, иди,— сказала она, надувшись; но, взглянув на часы, улыбнулась и воскликнула: — Все же мне удалось удержать тебя лишних четверть часа!

— Прощайте, мадемуазель де Бельфей,— проговорил он с нежной иронией.

Она подставила губы для поцелуя и проводила своего Роже до порога; когда же звук его шагов затих на лестнице, она выбежала на балкон. Ей хотелось видеть, как он садится в тильбюри и берет вожжи, поймать его последний взгляд, слышать щелканье бича, стук колес по мостовой, проводить глазами великолепную лошадь, шляпу ее хозяина, золотой галун грума и наконец еще долго смот-

реть вслед экипажу после того, как он скроется за темным углом улицы.

Пять лет спустя после переезда Каролины де Бельфей в красивый дом на улице Тетбу там можно было вторично наблюдать одну из тех сцен семейной жизни, которые еще теснее сближают два любящих существа. Мальчуган лет четырех играл посреди голубой гостиной, против окна, выходившего на балкон. Он поднимал страшный шум, стегая картонную лошадку, которая, по его мнению, недостаточно быстро двигалась на своей подставке-качалке. На его миловидном личике, обрамленном множеством белокурых локонов, ниспадавших на вышитый воротничок, появилась ангельская улыбка, когда мать, сидевшая в глубоком мягком кресле, сказала ему:

— Не шуми так, Шарль, разбудишь сестренку.

Тогда любопытный ребенок слез с лошадки и, как бы опасаясь звука собственных шагов, на цыпочках засеменил по ковру; приблизившись к Каролине, он положил пальчик в рот и застыл в одной из детских поз, которые так прелестны в своей непосредственности; затем приподнял белое кисейное покрывало, скрывавшее светлое личико девочки, уснувшей на коленях матери.

— Значит, Эжени спит? — произнес он с глубоким удивлением.— Почему она спит, когда мы уже проснулись? — прибавил он, широко раскрыв большие черные глаза.

— Это известно одному богу,— ответила Каролина, улыбаясь.

Мать и ребенок загляделись на маленькую девочку, окрещенную этим утром. В то время Каролине было двадцать четыре года и ее красота достигла полного расцвета среди безоблачного счастья и неизменных радостей любви. Все в ней дышало женственностью. С восторгом выполняя малейшее желание ненаглядного Роже, она приобрела кое-какие познания, которых ей недоставало: научилась довольно хорошо играть на фортепьяно и премило петь. Незнакомая с обычаями светского общества, которое все равно оттолкнуло бы ее (она и сама не стала бы выезжать в свет, даже если бы была там принята, ибо счастливая женщина не ведет светского образа жизни), Каролина не переняла ни особого изящества манер, ни умения вести многословный, но пустой разговор, приня-

тый в гостиных; зато она старательно усвоила все, что необходимо знать матери, единственное честолюбие которой заключается в том, чтобы хорошо воспитать своих детей. Никогда не разлучаться с сыном, неустанно, с колыбели, твердить ему наставления, которые лучше всего прививать юным душам,— любовь к добру и красоте, предохранять его от дурных влияний и сочетать тяжелый уход няньки со сладостными обязанностями матери — таковы были ее единственные радости. С первых же дней любви это скромное и кроткое создание настолько примирилось с жизнью, ограниченной пределами волшебного мира, в котором заключалось все ее счастье, что после шестилетнего нежнейшего союза она ничего не знала о своем друге, кроме имени Роже. В ее спальне висела гравюра с картины «Амур и Психея»: Психея со светильником в руке приближается, чтобы взглянуть на Амура, вопреки его запрещению. Этот сюжет напоминал Каролине о том, что любопытство может погубить ее счастье. У нее были такие скромные желания, что за все эти шесть лет она ни разу не оскорбила неуместным тщеславием Роже, сердце которого было настоящей сокровищницей доброты. Ни разу не пожелала она ни бриллиантов, ни других драгоценностей и постоянно отказывалась от роскоши иметь собственный выезд, хотя Роже десятки раз искушал ее этой покупкой. Ожидать на балконе появления его коляски, ходить с ним в театр, совершать в хорошую погоду прогулки по окрестностям Парижа, мечтать о свидании, видеться с любимым, вновь мечтать — такова была история ее жизни, бедной событиями, но богатой любовью.

Баюкая на коленях дочь, родившуюся несколько месяцев тому назад, Каролина с удовольствием погрузилась в воспоминания о прошлом. Особенно охотно она грезила о сентябрьских каникулах, когда Роже ежегодно увозил ее в Бельфей, чтобы провести там чудесные дни ранней осени, как будто принадлежащие одновременно всем временам года. Природа тогда особенно щедро дарит цветы и фрукты, вечера бывают теплые, утра — прозрачно-тихие, и осенняя грусть часто сменяется радостным сиянием лета. В первые дни любви Каролина приписывала ровное, мягкое обращение Роже их редким, всегда желанным встречам и особому укладу жизни, при котором им не приходилось постоянно бывать вместе как

супругам. И Каролина с наслаждением припомнила, как она мучилась напрасными опасениями и со страхом наблюдала за ним во время их первого пребывания в маленьком поместье Бельфей, расположенном в Гатинэ. Напрасное шпионство любви! Каждый раз счастливый сентябрь месяц пролетал, точно сон, среди ничем не нарушаемого блаженства. Она всегда видела на устах этого доброго человека нежную улыбку, которая казалась отражением ее собственной улыбки. Глаза Каролины наполнились слезами при воспоминании об этих картинах, необычайно ярко оживших в памяти; ей показалось, что она недостаточно любит Роже, и захотелось считать свое двусмысленное положение своеобразною данью судьбе, даровавшей ей такую любовь. Наконец, охваченная непреодолимым любопытством, она в тысячный раз стала доискиваться, почему такой любящий человек наслаждался лишь тайным, незаконным счастьем. Она измышляла тысячи романов, но лишь для того, чтобы уклониться от правды, которую давно отгадала, хотя и закрывала на нее глаза. Каролина встала, держа спящую малютку на руках, и перешла в столовую, чтобы наблюдать там за приготовлениями к обеду. Этот день — шестое мая 1822 года — был годовщиной поездки в Сен-Ле, во время которой решилась ее судьба. Каждый год в этот день они с Роже справляли праздник любви. Каролина выдала для этого обеда парадное столовое белье, заказала изысканный десерт. С радостью позаботившись обо всем, что касалось Роже, она уложила дочку в красивую колыбель и вышла на балкон. Вскоре она увидела кабриолет, которым ее друг, уже достигший зрелого возраста, заменил прежний элегантный тильбюри. Ответив на первые горячие ласки Каролины и шалуна, называвшего его папой, Роже подошел к колыбели и склонился над ней, любуясь спящей дочерью. Он поцеловал ее в лобик, потом вынул из кармана фрака большой лист бумаги, испещренный черными строчками.

— Каролина,— сказал он,— вот приданое мадемуазель Эжени де Бельфей.

Мать с благодарностью взяла дарственную запись на крупную сумму государственного займа.

— Почему Эжени получит три тысячи франков дохода, а Шарль только тысячу пятьсот?

— Шарль, ангел мой, будет мужчиной,— ответил он,— ему достаточно и полутора тысяч; с таким доходом дельный человек не узнает нищеты. Если твой сын, вопреки ожиданиям, окажется ничтожеством, я не хочу способствовать его глупостям. Если же он будет честолюбив, то это скромное состояние внушит ему любовь к труду. А Эжени — женщина, ей нужно приданое.

Отец стал играть с Шарлем, резвость которого говорила о независимом характере и свободном воспитании. Ребенок нисколько не боялся отца, и ничто не нарушало того очарования, которое вознаграждает человека за обязанности отцовства. В этом тесном семейном кругу было по-настоящему радостно и хорошо.

Вечером, к большому удивлению Шарля, волшебный фонарь развернул на белом полотне занимательные и таинственные картины. Не раз наивная радость ребенка вызывала неудержимый смех Каролины и Роже. Позже, когда мальчика уложили спать, проснулась малютка и властным криком напомнила, что она голодна. При свете лампы, стоявшей около камина в этой уютной и веселой комнате, Роже всецело отдался счастью, созерцая пленительную картину, которую представляли собой Каролина в ореоле темных кудрей, падавших на плечи, сверкающие свежей белизной, как только что распустившаяся лилия, и младенец, приникший к ее обнаженной груди. Свет лампы еще ярче оттенял прелесть молодой матери, мягко озаряя ее самое, ее белые одежды, головку ребенка и создавая повсюду живописные сочетания света и тени. Лицо этой спокойной, молчаливой женщины показалось Роже еще милее, и он ласково взглянул на ее красиво изогнутые алые губы, с которых ни разу не слетело ни одно резкое слово. Такое же нежное чувство промелькнуло в глазах Каролины, и она искоса взглянула на Роже, быть может, чтобы насладиться впечатлением, которое она на него производила, а быть может, чтобы отгадать, чем закончится вечер. «Неизвестный» понял этот кокетливый, выразительный взгляд и проговорил с притворной грустью:

— Мне надо ехать. Я должен еще закончить одно очень важное дело, по которому меня ждут дома. Долг прежде всего, не правда ли, дорогая?

Каролина посмотрела на него нежно и грустно, но

с той покорностью, за которой угадывается боль принесенной жертвы.

— Прощай,— сказала она.— Иди! Если ты задержишься еще хоть час, я не так легко отпущу тебя.

— Ангел мой,— ответил он тогда улыбаясь,— я получил трехдневный отпуск, и все считают, что я нахожусь в двадцати лье от Парижа.

Через несколько дней после шестого мая — годовщины прогулки в Сен-Ле — Каролина де Бельфей спешила утром на улицу Сен-Луи в Марэ, в тот дом, где она бывала каждую неделю. Рассыльный принес ей известие, что г-жа Крошар, ее мать, умирает от осложнения, вызванного катаром и ревматизмом. В то время как извозчик погонял лошадей по настойчивой просьбе Каролины, подкрепленной обещанием щедрых чаевых, богобоязненные старухи, которыми вдова Крошар окружила себя последнее время, привели священника в удобную и чистую квартиру третьего этажа, занимаемую бывшей хористкой. Служанка г-жи Крошар не знала, что красивая барышня, у которой часто обедала хозяйка,— ее дочь, и одна из первых стала настаивать на приглашении священника, надеясь, что это духовное лицо окажется ей самой не менее полезным, чем умирающей. В промежутке между партиями в бостон или во время прогулок по саду Тюрк старухам, с которыми любила посудачить вдова Крошар, удалось пробудить в очерствевшем сердце приятельницы угрызения совести при мысли о прошлом, смутную тревогу о будущем, страх перед адом и туманные надежды на прощение, основанное на искреннем возврате к религии. Итак, в это печальное утро три старухи, жившие на улице Сен-Франсуа и на улице Вье-Тампль, расположились в гостиной, где по вторникам их принимала г-жа Крошар. Каждая из них по очереди вставала с кресла и направлялась в соседнюю комнату, чтобы посидеть у изголовья бедной старухи и внушить ей те ложные надежды, которыми успокаивают умирающих. Но когда, по их мнению, конец был уже близок, а приглашенный врач заявил, что не отвечает за жизнь пациентки, старухи стали советоваться: не следует ли известить мадемуазель де Бельфей? Выслушав мнение служанки Франсуазы, они решили отправить рассыльного на улицу Тетбу и предупредить родственницу, чье влия-

ние казалось этим четырем женщинам весьма опасным. Они надеялись, однако, что рассыльный слишком поздно уведомит молодую особу, пользовавшуюся чрезмерной любовью г-жи Крошар. Приятельницы лишь потому так заботливо ухаживали за вдовой, имевшей, по-видимому, не менее тысячи экю дохода, что ни одна из них, даже сама Франсуаза, не предполагала у нее наследников. Роскошь, окружавшая мадемуазель де Бельфей (г-жа Крошар никогда не называла ее дочерью, верная обычаям, существовавшим прежде в Опере), почти оправдывала план раздела имущества умирающей, созревший у четырех женщин.

Вскоре одна из колдуний, ухаживавших за больной, просунула в дверь трясущуюся голову и сказала встревоженным приятельницам:

— Пора посылать за аббатом Фонтаноном. Через два часа она уже ничего не будет соображать и у нее не хватит сил написать ни единого слова.

Старая, беззубая служанка тут же вышла из дому и вскоре вернулась с человеком в черном сюртуке.

У священника было самое обыденное лицо и узкий лоб — признак ограниченности. Толстые, отвислые щеки и двойной подбородок свидетельствовали об эгоистическом благополучии, а напудренные волосы придавали ему слащаво-любезный вид, но лишь до тех пор, пока он не поднимал своих маленьких глазок навыкате, которые вполне подошли бы к лицу какого-нибудь татарина.

— Господин аббат,— говорила Франсуаза,— я вам очень благодарна за советы; не забудьте, что я не щадя сил ухаживала за своей дорогой хозяйкой.

Служанка, шаркая шлепанцами, шла за священником и что-то бормотала с похоронным выражением лица, но мгновенно умолкла, увидев, что дверь квартиры отворена, а самая пронырливая из трех вдов дежурит на площадке, чтобы перехватить духовника. Любезно выслушав потоки приторно благочестивых речей трех приятельниц умирающей, священник вошел в спальню г-жи Крошар и уселся у ее изголовья. Приличия ради три колдуньи и старая Франсуаза проявили известную сдержанность и остались в гостиной, где они старались перещеголять друг друга, строя скорбные ми-

ны, которые в совершенстве удаются лишь старухам с морщинистыми лицами.

— Вот беда-то! — воскликнула Франсуаза, вздыхая.— Это уж четвертая хозяйка, которую мне, на свое несчастье, придется хоронить. Первая оставила мне сто франков пожизненной ренты, вторая — пятьдесят экю, а третья — тысячу экю наличными. Вот все, что у меня есть после тридцатилетней службы.

Воспользовавшись своим правом свободно расхаживать по квартире, служанка отправилась в чуланчик, откуда можно было слышать слова священника.

— Я с удовольствием замечаю, дочь моя,— говорил Фонтанон,— что вы благочестивы: вы носите образок.

Госпожа Крошар с трудом подняла руку; умирающая, очевидно, не вполне сознавала, что делает, ибо она показала священнику императорский орден Почетного легиона. Тот отшатнулся, узнав лицо Наполеона, однако тут же наклонился к своей духовной дочери, и она стала что-то говорить ему, но так тихо, что несколько минут Франсуазе ничего не удавалось расслышать.

— Проклятье тяготеет надо мной! — воскликнула вдруг старуха.— Не покидайте меня! Как, господин аббат, вы считаете, что мне придется ответить за душу дочери?

Тут священник настолько понизил голос, что Франсуаза не могла разобрать ни единого слова.

— Господи! Как же это! — плача, проговорила вдова.— Ведь негодяй не оставил мне ничего, чем бы я могла распорядиться. Он соблазнил мою бедную Каролину, разлучил меня с ней и назначил мне только три тысячи ливров дохода с капитала, принадлежащего дочери.

— У хозяйки есть дочь, а капиталу никакого, всего только пожизненная рента! — воскликнула Франсуаза, вбегая в гостиную.

Три старухи переглянулись с глубочайшим изумлением. Та из них, у которой нос чуть не касался подбородка,— черта, свидетельствующая о большой доле лицемерия и хитрости,— подмигнула приятельницам и, едва Франсуаза повернулась к ним спиной, сделала знак, означавший: «Прислуга — тонкая бестия, она уже сумела попасть в три завещания». Итак, старухи не тронулись с места; но вскоре появился аббат, и стоило ему сказать

несколько слов, как три колдуньи кубарем скатились с лестницы, оставив Франсуазу одну с хозяйкой. Г-жа Крошар, страдания которой стали невыносимы, тщетно звонила служанке, та ограничивалась возгласами: «Слышу! Иду! Сейчас!» — а дверцы шкафов и комодов хлопали, словно Франсуаза отыскивала затерявшийся лотерейный билет. Когда припадок подходил к роковому концу, мадемуазель де Бельфей вбежала к матери, спеша успокоить ее ласковыми словами:

— Ах, бедная моя маменька, как я виновата перед тобой! Ты больна, а я и не знала об этом, сердце ничего не подсказало мне. Но вот я пришла...

— Каролина...

— Что?

— Они привели ко мне священника.

— Но надо позвать доктора,— продолжала мадемуазель де Бельфей.— Франсуаза, доктора! Почему твои приятельницы не послали за доктором?

— Они привели ко мне священника,— продолжала старуха, вздыхая.

— Как она страдает! И никакого успокоительного питья, никаких лекарств!

Мать сделала еле заметное движение, но проницательный взгляд Каролины отгадал ее желание, и молодая женщина умолкла, чтобы выслушать умирающую.

— Они привели ко мне священника... под видом исповеди. Берегись, Каролина,— с трудом проговорила старая хористка, делая над собой последнее усилие,— священник выпытал у меня фамилию твоего благодетеля.

— Но кто же мог сказать тебе ее, бедная мама?

Старуха попыталась хитро подмигнуть дочери и в этот миг испустила дух. Если бы мадемуазель де Бельфей была в состоянии наблюдать за лицом матери, она увидела бы то, что никому не доступно: она увидела бы, как смеется Смерть.

Чтобы понять сущность этой сцены, следует на время забыть об ее действующих лицах и выслушать рассказ о предшествующих событиях, так как последнее из них непосредственно связано со смертью г-жи Крошар. Тогда из этих двух частей получится единая история, которая, по законам парижской жизни, пошла по двум различным путям.

В конце октября 1805 года молодой адвокат, лет двадцати шести от роду, спускался около трех часов ночи по парадной лестнице дворца, где жил канцлер Империи. Слегка подмораживало. Очутившись во дворе в своем бальном костюме, он не мог удержаться от восклицания, в котором наряду с досадой проступало редко покидающее французов веселье. Действительно, сквозь ограду дворца не было видно ни одного извозчика, а вдалеке не слышалось ни одного звука, напоминающего хриплый голос парижского кучера или цоканье лошадиных подков по мостовой. Только лошади министра юстиции, засидевшегося у Камбасереса за партией в буйот, время от времени били копытами о землю, и эти удары гулко отдавались во дворе, едва освещенном фонарями кареты. Молодой человек внезапно обернулся, почувствовав, что кто-то дружески хлопнул его по плечу; он узнал министра юстиции и поклонился ему. Когда лакей уже откидывал подножку кареты, бывший законодатель Конвента, отгадав затруднение адвоката, сказал ему весело:

— Ночью все кошки серы, и министр юстиции не скомпрометирует себя, если подвезет адвоката! В особенности,— прибавил он,— если этот адвокат — племянник старого коллеги, одного из светил государственного совета, подарившего Франции Кодекс Наполеона.

Итак, по приглашению главы имперской юстиции адвокат сел в карету.

— Где вы живете? — спросил министр, прежде чем лакей, ожидавший распоряжений, успел захлопнуть дверцу.

— На набережной Августинцев, ваше превосходительство.

Лошади тронули, и молодой человек оказался с глазу на глаз с министром, к которому напрасно пытался обратиться во время роскошного обеда, данного Камбасересом, так как тот явно избегал его весь вечер.

— Ну-с, господин де Гранвиль, мы на хорошем пути.

— Да, пока я еду рядом с вашим превосходительством.

— Я не шучу,— сказал министр.— Ваш испытательный срок закончился два года тому назад, а благодаря

вашим выступлениям на процессах Симеза и Отсэра вы сильно выдвинулись.

— Я полагал до сих пор, что моя преданность этим несчастным эмигрантам мне вредит.

— Вы очень молоды,— сказал министр серьезно.— Но сегодня вечером,— прибавил он, помолчав,— вы чрезвычайно понравились канцлеру. Вступайте в прокуратуру, нам не хватает людей. Племянник человека, к которому мы с Камбасересом относимся с живейшим участием, не должен оставаться адвокатом из-за отсутствия протекции. Ваш дядя помог нам пережить весьма тяжелые времена, а подобные услуги не забываются.— Министр опять помолчал.— У меня вскоре освободятся три места в суде первой инстанции и в парижском имперском суде,— продолжал он,— зайдите ко мне тогда и выберите то из них, которое вам подойдет. А до тех пор работайте, но не являйтесь ко мне в приемные часы. Во-первых, я завален работой, а во-вторых, конкуренты могут отгадать наши намерения и повредить вам в глазах патрона. Мы с Камбасересом нарочно не перемолвились с вами сегодня ни единым словом и тем самым предохранили вас от опасности прослыть фаворитом.

В ту минуту, когда министр произносил последние слова, карета остановилась на набережной Августинцев. Молодой адвокат сердечно поблагодарил своего великодушного покровителя и стал громко стучать в дверь, так как холодный ветер уже подбирался под его одежду. Наконец старый привратник открыл дверь и, когда адвокат проходил мимо его каморки, крикнул охрипшим голосом:

— Господин Гранвиль, для вас есть письмо!

Молодой человек взял письмо, невзирая на холод, остановился и посмотрел на почерк при слабом свете уличного фонаря, фитиль которого грозил вот-вот погаснуть.

— Это от отца! — воскликнул он, беря свечу, которую не без труда зажег привратник. Он быстро поднялся к себе и прочел следующие строки:

«Садись в первую же почтовую карету; если тебе удастся немедленно приехать домой, тебя ждет богатство. У мадемуазель Анжелики Бонтан умерла сестра,

она теперь единственная дочь, и нам известно, что ты ей не безразличен. Г-жа Бонтан должна оставить дочери около сорока тысяч франков годового дохода, не считая приданого, которое она за ней даст. Я подготовил почву. Наши друзья удивятся, узнав, что мы, старинные дворяне, готовы породниться с семьей Бонтанов. Папаша Бонтан был ярым якобинцем и скупил за бесценок множество земель из национального имущества. Но, во-первых, это были монастырские угодья, которые никогда не вернутся прежним владельцам, а, во-вторых, если ты уж поступился своим дворянством, став адвокатом, почему бы нам не сделать еще одной уступки современным идеям? У девицы Бонтан будет триста тысяч франков, я дам тебе сто тысяч; да, кроме того, поместье твоей матери стоит около пятидесяти тысяч экю. При таком положении, дорогой сын, ты можешь не хуже всякого другого добиться звания сенатора, если только захочешь стать должностным лицом. Мой шурин, член государственного совета, конечно, палец о палец не ударит, чтобы продвинуть тебя, но так как он холост, его должность когда-нибудь перейдет к тебе в порядке преемственности, если только ты не станешь сенатором благодаря собственным заслугам. Ты взлетишь, таким образом, достаточно высоко, чтобы спокойно ожидать грядущих событий. Прощай, целую тебя».

Молодой Гранвиль лег спать, строя тысячи всевозможных предположений, одно радужнее другого. Он находился под могущественным покровительством канцлера, министра юстиции, а также своего дяди с материнской стороны, одного из составителей Кодекса. Молодому человеку предстояло начать карьеру на завидном посту, выступая перед верховным судом, и он уже видел себя одним из членов прокуратуры, среди которых Наполеон избирал высших чиновников Империи. Кроме того, ему предлагали состояние, достаточно завидное, чтобы поддержать свой ранг в обществе, на что, конечно, не хватило бы скромного дохода в пять тысяч, который давало унаследованное от матери поместье. Эти честолюбивые мечты сменились грезой о счастье; он вызвал в памяти наивное личико Анжелики Бонтан, подруги детских игр. Пока он был мальчиком, родители не препятствова-

ли его дружбе с хорошенькой дочкой соседа. Но затем, когда он стал ненадолго приезжать в Байе на каникулы, отец и мать, кичившиеся своим дворянством, заметили его склонность к девушке и запретили ему мечтать о ней. Таким образом, за последние десять лет Гранвиль видел лишь урывками ту, которую называл своей «маленькой невестой». Ускользнув из-под бдительного надзора своих семейств, молодые люди едва успевали обменяться несколькими банальными словами при беглых встречах в церкви или на улице. Самой большой радостью для них были сельские праздники, называемые в Нормандии собраниями, где они могли издали, украдкой наблюдать друг за другом. Во время последних каникул Гранвиль дважды встретил Анжелику и, заметив опущенный взор и грустный вид своей «маленькой невесты», понял, что она подпала под чью-то деспотическую власть.

Прибыв в семь часов утра в контору почтовых сообщений на улице Нотр-Дам-де-Виктуар, Гранвиль нашел, к счастью, свободное место в почтовой карете, как раз отправлявшейся в город Кан. С глубоким волнением увидел начинающий адвокат колокольни собора Байе. Жизнь еще не обманула его надежд, и сердце легко раскрывалось навстречу прекрасным чувствам, волнующим юные души. После веселого, но слишком затянувшегося обеда, устроенного в честь его приезда отцом и несколькими друзьями, молодой человек, горя нетерпением, отправился в сопровождении отца в хорошо знакомый дом на улице Тентюр. Его сердце усиленно забилось, когда отец, которого продолжали величать в Байе графом де Гранвилем, громко постучал в облупившиеся зеленые ворота. Было около четырех часов вечера. Молодая служанка в полотняном чепчике встретила господ коротким реверансом и сказала, что хозяйки должны скоро вернуться от вечерни. Граф с сыном вошли в низкую комнату, служившую гостиной и похожую на монастырскую приемную. Панели из полированного орехового дерева придавали ей мрачный вид, по стенам в строгом порядке было расставлено несколько мягких стульев и старинных кресел. Вместо украшений на камине стояло зеленоватое зеркало, а по бокам его — два старинных изогнутых канделябра времен Утрехтского мира. Против камина, на деревянной обшивке стены, молодой Гранвиль увидел

огромное распятие из черного дерева и слоновой кости, а вокруг него освященные ветви букса. Хотя все три окна гостиной выходили в провинциальный садик с симметричными клумбами, обсаженными рядами букса, в комнате было так темно, что едва удавалось различить на стенах три картины духовного содержания кисти какого-то крупного мастера; эти картины были куплены во время революции стариком Бонтаном, который, будучи начальником округа, никогда не забывал о собственной выгоде. Вокруг все сверкало поистине монастырской чистотой — от тщательно натертого пола до полотняных занавесок в зеленую клетку. Сердце молодого человека невольно сжалось в этом безмолвном доме, где жила Анжелика. Привычка вращаться в блестящих парижских гостиных и вихрь светских развлечений изгладили из памяти Гранвиля воспоминания о мрачном однообразии провинциальной жизни. И теперь этот контраст настолько поразил его, что он внутренне содрогнулся. Оказаться в кругу мелочных мыслей и понятий сразу же после общества, собирающегося у Камбасереса, где жизнь бьет ключом, в людях чувствуется размах и на всем лежит яркий отблеск императорской славы,— не было ли это столь же разительной противоположностью, как попасть из Италии прямо в Гренландию? «Жизнь здесь — прозябание»,— подумал адвокат, рассматривая эту комнату, похожую на гостиную сектанта-методиста. Заметив удрученное состояние сына, старый граф взял его за руку, подвел к окну, за которым уже сгущались сумерки, и, пока служанка зажигала наполовину обгоревшие свечи в высоких подсвечниках, попытался рассеять тень, набежавшую на лицо молодого человека.

— Послушай, дитя мое,— сказал он сыну,— вдова папаши Бонтан — сущая ханжа. Верно, накопила грехов, а теперь замаливает... Я вижу, ты морщишься при виде этой дыры. Выслушай же, в чем дело. Старуху осаждают попы, они убедили ее, что еще не поздно попасть на небо; и, желая задобрить апостола Петра, хранителя райских ключей, она решила его подкупить; ходит ежедневно к обедне, не пропускает ни одной церковной службы, причащается каждое божье воскресенье и развлекается, реставрируя часовни. Она подарила собору столько церковных облачений, стихарей и риз, украсила

балдахин таким количеством перьев, что в нынешнем году, когда праздновался день Тела господня, в церковь пришло не меньше народа, чем на место казни: всем хотелось полюбоваться во время крестного хода на священников в великолепном облачении и на заново вызолоченную церковную утварь. Зато дом Бонтанов — земля обетованная. Посмотри-ка на эти три картины — Доменикино, Корреджо и Андреа дель Сарто,— они стоят больших денег. Я едва уговорил старую сумасбродку, чтобы она не жертвовала их в пользу церкви.

— Но Анжелика? — с живостью спросил молодой человек.

— Если ты не женишься на ней, Анжелика погибла,— сказал граф.— Наши добрые пастыри посоветовали ей жить девственницей и мученицей. Мне стоило огромного труда пробудить ее сердечко. Ведь, узнав, что она стала единственной наследницей, я заговорил с ней о тебе, но как только вы поженитесь, ты увезешь ее в Париж. Замужество, водоворот и мишура светской жизни отвлекут ее от мыслей об исповедальнях, постах, власяницах и обеднях, которыми только и живут эти ханжи.

— Но будут ли изъяты из распоряжения духовенства те пятьдесят тысяч франков дохода, которые госпожа Бонтан...

— Вот мы и коснулись сути дела,— многозначительно заметил граф.— Мысль о том, чтобы привить черенок фамилии Бонтан генеалогическому древу де Гранвилей, изрядно щекочет гордость вдовы Бонтан. Если дочь выйдет за тебя замуж, мамаша передаст ей все состояние в полную собственность, оставив за собой лишь право пользования доходом. Духовенство, разумеется, противится этому браку, но я уже велел сделать церковное оглашение; все готово, и через неделю ты будешь вне пределов досягаемости цепких когтей мамаши и ее аббатов. Ты возьмешь в жены самую красивую девушку в Байе, и плутовка не доставит тебе хлопот, так как она воспитана в строгих правилах. Ее плоть, как они выражаются, умерщвлялась постами, молитвами и,— прибавил он шепотом,— неумолимой дланью родной матери.

Раздался слабый стук в дверь, и граф умолк, решив, что сейчас войдет г-жа Бонтан с дочерью. На пороге

появился суетливый мальчик-слуга, но, смущенный присутствием посторонних господ, поманил рукой служанку, которая подошла к нему. На мальчике была голубая суконная куртка, короткие полы которой болтались вокруг бедер, и голубые панталоны в белую полоску; волосы были острижены в кружок, и он весьма походил на церковного служку, столько притворного благочестия было написано у него на лице — выражение, свойственное всем обитателям дома, хозяйка которого ханжа.

— Мадемуазель Гатьена, не знаете ли вы, где лежат книги для службы богоматери? Дамы из конгрегации Сердца господня устраивают сегодня в церкви молебствие.

Гатьена отправилась за книгами.

— А долго ли продлится служба, дружок? — спросил граф.

— О, самое большее полчаса.

— Пойдем взглянем на это, там бывают хорошенькие женщины,— сказал отец сыну.— К тому же посещение собора не повредит нам в общественном мнении.

Молодой адвокат нерешительно последовал за отцом.

— О чем задумался? — спросил граф.

— Задумался... задумался... А ведь я прав, отец.

— Ты еще ничего не сказал.

— Да, но я подумал, что от прежнего состояния у вас осталось десять тысяч ливров годового дохода, которые вы мне оставите, надеюсь, как можно позднее; если же вы намерены дать мне сто тысяч франков с тем, чтобы я вступил в глупейший брак, то разрешите мне попросить у вас только половину и остаться холостым. Я избегну таким образом несчастья и буду пользоваться состоянием, равным тому, которое могла бы принести мне ваша мадемуазель Бонтан.

— Ты с ума сошел!

— Нет, отец. Выслушайте меня. Министр юстиции обещал мне третьего дня место в парижской прокуратуре. Ваши пятьдесят тысяч франков, деньги, которые у меня есть сейчас, и мой будущий оклад — все это составит двенадцать тысяч франков годового дохода. Так зачем же мне вступать в выгодный, но несчастный брак? Без него судьба моя будет во сто крат завиднее.

— Сразу видно,— ответил отец, улыбаясь,— что ты

не жил при старом режиме. Разве нас, мужчин, может связать жена!..

— Но, отец, в наши дни брак стал...

— Что?! — воскликнул граф, прерывая сына.— Неужели правда то, что твердят мои старые товарищи по эмиграции? Неужели революция оставила нам в наследство суровые нравы, отравила нашу молодежь сомнительными принципами? Ты, пожалуй, еще начнешь мне толковать о нации, об общественной морали и бескорыстии, точь-в-точь как мой шурин-якобинец. Бог ты мой, что сталось бы с нами, не будь сестер императора!

Этот еще бодрый старик, которого крестьяне из его владений до сих пор называли сеньором де Гранвилем, произнес последние слова своей игривой тирады уже под сводом собора. Он обмакнул пальцы в святую воду и, несмотря на святость места, стал напевать мотив из оперы «Роза и Колá»; затем провел сына боковыми приделами, останавливаясь у каждой колонны, чтобы окинуть взглядом церковь и ряды верующих, выстроившихся, как солдаты на параде. Должно было начаться молебствие Сердцу господню. Дамы — члены конгрегации — уже разместились около клироса, и граф с сыном, пробравшись поближе к нему, прислонились к одной из наименее освещенных колонн, откуда взор мог охватить всю массу склоненных голов, похожую на луг, испещренный цветами. Внезапно в двух шагах от Гранвиля зазвенел голос, столь нежный, что, казалось, он не мог принадлежать человеческому существу, и поднялся ввысь, подобно трели первого весеннего соловья. Хоть с этим голосом сливалось множество других женских голосов и аккомпанемент органа, все же он отозвался в сердце молодого Гранвиля с такой силой, словно бы это были полные и чистые звуки гармониума. Парижанин обернулся и увидел девушку, склонившую головку; лицо ее было скрыто большими полями белой шелковой шляпы, но он подумал, что только с ее уст могла слететь эта дивная мелодия. Ему показалось, что он узнал Анжелику, несмотря на пальто из коричневой мериносовой ткани, совершенно скрывавшее ее фигуру, и он дотронулся до руки отца.

— Да, это она,— сказал граф, взглянув в сторону девушки. Затем старый аристократ кивнул старухе с

бледным хитрым лицом и с темными кругами под глазами; она уже успела заметить вновь прибывших, хотя ее взгляд, казалось, ни на минуту не отрывался от молитвенника, который она держала. Анжелика подняла лицо к алтарю, как бы для того, чтобы вдохнуть одуряющий запах ладана, клубы которого уже начинали окутывать молящихся. И тогда, при таинственном свете, который разливали по темному храму свечи и висящее посреди большое паникадило, перед юношей предстал девичий образ, сразу поколебавший только что принятое решение. Белая муаровая шляпа с атласной лентой, завязанной под маленьким подбородком с ямочкой, обрамляла лицо с удивительно правильными чертами. Золотистые волосы, разделенные прямым пробором над узким, но изящно очерченным лбом, ложились на щеки, как тень листвы на цветущие чайные розы. Дуги бровей отличались чистотой рисунка, встречающейся у красивых китаянок. Орлиный нос был на редкость четко очерчен, а розовые лепестки губ казались любовно выведенными кистью искусного художника. Бледно-голубые глаза светились целомудренной наивностью. Гранвиль заметил в лице Анжелики некоторую замкнутость и сухость, но приписал это благочестивым чувствам, переполнявшим ее душу. Так как в церкви было холодно, слова молитвы слетали с ее уст в виде благоуханного облачка, обнажая при этом два ряда жемчужных зубов. Молодой человек невольно наклонился, чтобы вдохнуть ее божественное дыхание. Это движение привлекло внимание Анжелики; взгляд девушки, неподвижно устремленный на алтарь, упал на Гранвиля, и хотя его силуэт лишь неясно вырисовывался в полумраке, она узнала товарища детских игр. Воспоминание оказалось могущественнее молитвы, и необычайное сияние разлилось по ее лицу; она покраснела. Адвокат вздрогнул от радости, увидев, что надежды на загробную жизнь поблекли перед надеждой на любовь, а земные воспоминания затмили славу алтаря. Но его торжество длилось недолго. Анжелика опустила вуаль и, вполне овладев собой, снова запела, причем в ее голосе не слышалось ни малейшего волнения. Гранвиль почувствовал себя во власти одного непреодолимого стремления, и все его благоразумие улетучилось. К концу службы нетерпение молодого адвоката настолько

увеличилось, что он не стал дожидаться, когда вдова Бонтан с дочерью вернутся домой, а тут же подошел поздороваться со своей «маленькой невестой». Знакомство робко возобновилось на паперти собора, в присутствии верующих. Г-жа Бонтан преисполнилась гордости, когда граф де Гранвиль предложил ей руку; а граф, вынужденный сделать это публично, был очень недоволен сыном за столь неуместную поспешность.

В течение двух недель, которые протекли между официальной помолвкой виконта де Гранвиля и Анжелики Бонтан и торжественным днем их свадьбы, молодой человек подолгу засиживался в мрачной приемной, к которой уже успел привыкнуть. Он хотел приглядеться к характеру Анжелики, так как рассудок заговорил в нем на следующий же день после их встречи. Почти всегда он заставал невесту за одним и тем же занятием: сидя у столика из дерева св. Люции, она метила белье для приданого. Анжелика никогда первая не заговаривала о религии. Если молодой адвокат забавлялся, играя дороги ми четками, лежавшими в зеленом бархатном мешочке, или же с усмешкой рассматривал ладанку — необходимую принадлежность этого орудия благочестия, Анжелика с умоляющим взглядом мягко отнимала у него четки и, молча положив их обратно в мешочек, тотчас же прятала его. Когда же Гранвиль позволял себе легкомысленно отзываться о некоторых религиозных обрядах, хорошенькая нормандка отвечала на его слова улыбкой непоколебимого убеждения.

— Надо или быть неверующим, или же верить всему, чему учит нас церковь,— говорила она.— Неужели вы хотели бы, чтобы мать ваших детей была женщина без религиозных убеждений? Кто осмелится быть судьей между неверующими и богом? Могу ли я, со своей стороны, отвергать то, что признается церковью?

Благочестие юной Анжелики казалось таким трогательным, она бросала на молодого адвоката такие проникновенные взгляды, что минутами ему самому хотелось уверовать. Глубокое убеждение невесты в том, что она находится на правильном пути, пробудило в сердце будущего чиновника судебного ведомства сомнения, которые девушка пыталась углубить. В то время Гранвиль совершил огромную ошибку, приняв за любовь обман

чувств, влечение страсти. Анжелика была так счастлива возможностью примирить голос сердца с голосом долга, отдавшись зародившейся с детства склонности, что адвокат, введенный в заблуждение, не мог разобрать, какой же голос звучит в ней сильнее. Ведь молодые люди всегда готовы поверить обещаниям хорошенького личика и судить о душе по красоте внешнего облика. Необъяснимое чувство побуждает их верить, что нравственное совершенство всегда совпадает с совершенством физическим. Если бы религия воспретила Анжелике отдаться своему чувству, оно вскоре увяло бы в ее сердце, как растение, политое кислотой. Но разве мог счастливый влюбленный распознать столь глубоко затаенный фанатизм? Такова была история любви Гранвиля в течение этих двух недель, прожитых им с таким же нетерпеливым волнением, с каким человек проглатывает книгу с интригующей развязкой. Жених внимательно присматривался к Анжелике, и она показалась ему кротчайшей из женщин, он даже готов был благодарить г-жу Бонтан, сумевшую внушить дочери религиозные принципы и этим подготовить ее к жизненным невзгодам. В день подписания рокового брачного контракта вдова Бонтан взяла с зятя торжественную клятву, что он будет уважать религиозные убеждения жены, предоставит ей полную свободу совести, позволит ходить в церковь, исповедоваться и причащаться так часто, как ей того захочется, и никогда не станет навязывать ей своей воли при выборе духовника. В эту торжественную минуту Анжелика взглянула на жениха, и в глазах ее было столько чистоты и невинности, что Гранвиль, не колеблясь, принес требуемую клятву. На бледных губах аббата Фонтанона, духовного наставника всего семейства, промелькнула улыбка. Легким кивком головы Анжелика Бонтан обещала своему другу никогда не злоупотреблять предоставляемой ей свободой. Что касается старого графа, то он потихоньку насвистывал мотив: «Пойди посмотри, не идут ли они!»

Свадьбу праздновали, как это принято в провинции, несколько дней, а затем Гранвиль с молодой женой уехал в Париж, куда его призвало назначение товарищем прокурора при имперском суде департамента Сены. Когда супруги стали подыскивать квартиру, Анжелика

воспользовалась влиянием, которое дает всем женщинам медовый месяц, и убедила мужа нанять большое помещение в нижнем этаже особняка, на углу улиц Вье-Тампль и Нев-Сен-Франсуа. Главная причина ее выбора заключалась в том, что квартира находилась в двух шагах от церкви на Орлеанской улице, а также по соседству с часовней на улице Сен-Луи. «У хорошей хозяйки всегда должны быть под рукой запасы»,— пошутил муж. Анжелика справедливо заметила, что квартал Марэ, где они поселились, расположен неподалеку от Дворца правосудия и что там живут все чиновники судебного ведомства, у которых они были с визитом. Довольно большой сад тоже придавал ценность этой квартире в глазах молодоженов: детям — если господь пошлет им детей — будет где побегать; кроме того, при доме имелся обширный двор и хорошие конюшни. Товарищ прокурора предпочел бы жить в квартале Шоссе д'Антен, где все молодо и полно жизни, где можно увидеть последние новинки моды, где по бульварам гуляет нарядная публика, а до театров и всяких мест развлечений рукой подать, но ему пришлось уступить вкрадчивым просьбам молодой жены, которая умоляла мужа исполнить ее первое желание, и в угоду ей он похоронил себя в Марэ. Занимаемая Гранвилем должность отнимала у него довольно много времени, так как работа эта была для него новой. Вот почему он прежде всего занялся устройством кабинета и библиотеки. Обосновавшись в кабинете, где вскоре появились целые кипы судебных дел, он предоставил жене руководить убранством остальных комнат. Он охотно переложил на Анжелику первые хозяйственные хлопоты — источник стольких радостей и воспоминаний для молодых женщин, ибо ему было совестно оставлять ее одну чаще, чем это полагается в медовый месяц. Но как только товарищ прокурора освоился с работой, он разрешил жене вытаскивать его из кабинета, чтобы показывать мебель и украшения, которые он видел до сих пор лишь порознь, пока они не заняли предназначенного для них места.

Если права поговорка, что о женщине можно судить по двери ее дома, то обстановка квартиры должна еще лучше отражать характер хозяйки. В чем тут было дело, в безвкусных ли обоях, выбранных г-жой де Гранвиль,

или в том, что ее характер успел наложить отпечаток на все окружающее,— но муж был удивлен холодным и чопорным видом комнат; он не заметил в них ничего изящного — все было нестройно, ничто не радовало глаз. Дух чопорности и прямолинейности, которым была проникнута приемная в Байе, вновь оживал в его собственном доме и сказывался даже в плафонах с круглыми лепными украшениями и арабесками в виде длинных путаных и безвкусных завитков. Желая оправдать жену, молодой человек еще раз прошел по всей квартире, вернулся в переднюю и вновь осмотрел эту длинную и высокую комнату. Цвет, в который, по приказанию жены, была выкрашена деревянная обшивка стен, оказался слишком мрачным, а темно-зеленый бархат скамеек придавал всему еще более строгий вид. Правда, передняя не имеет большого значения, но она все же дает представление о доме, подобно тому как об уме человека судят по первой же произнесенной им фразе. Передняя — своего рода предисловие, которое должно все предвещать, ничего не обещая. Молодой товарищ прокурора удивился, как могла жена выбрать лампу в виде античного фонаря, находившуюся посреди этой голой комнаты, где пол был выложен черным и белым мрамором, а рисунок обоев изображал каменную ограду, кое-где покрытую зеленым мхом. На стене висел дорогой, но старый барометр, словно для того, чтобы еще сильнее подчеркнуть, насколько тут неуютно и пусто. При виде этой обстановки молодой человек взглянул на жену и заметил, что она довольна красной каймой на перкалевых занавесках, довольна барометром и благонравной статуей, украшающей большой камин в готическом стиле, и у него не хватило жестокости или мужества рассеять столь глубокое заблуждение. Вместо того чтобы осудить жену, Гранвиль осудил самого себя; он обвинил себя в нарушении основной обязанности, требовавшей, чтобы он руководил в Париже первыми шагами девушки, воспитанной в Байе. Нетрудно представить себе убранство остальных комнат, судя по этому образцу. Но что можно было ждать от молодой женщины, которая приходила в ужас от голых ног кариатиды и с отвращением отталкивала канделябр, подсвечник или вазу, замечая на них обнаженный египетский торс? В те времена школа Давида была в зените

славы. Вся Франция находилась под влиянием совершенного рисунка Давида и его любви к античным формам, превратившей живопись этого художника как бы в цветную скульптуру. Но ни одно из измышлений роскоши, свойственной временам Империи, не приобрело права гражданства у г-жи де Гранвиль. Белые штофные обои и тусклая позолота ее огромной квадратной гостиной сохранились, казалось, со времен Людовика XV, причем для украшения этой комнаты архитектор не поскупился на ромбовидные решетки и на отвратительные орнаменты в виде гирлянд, появлению которых мы обязаны бездарным и плодовитым художникам того времени. Если бы по крайней мере здесь царила гармония, если бы новенькой мебели красного дерева была придана изогнутая форма, введенная в моду извращенным вкусом Буше, тогда убранство дома Анжелики можно было бы принять за прихоть молодоженов, живущих в XIX столетии так, словно они задержались в XVIII веке. Но множество вещей резало здесь глаз своим смешным несоответствием. Консоли, часы, подсвечники напоминали воинские доспехи, столь дорогие сердцу парижан после побед, одержанных Империей. Все эти греческие каски, скрещенные мечи и щиты, вызванные к жизни воинственным пылом французов и украшавшие мебель даже самого мирного назначения, совершенно не вязались с изящными, прихотливыми арабесками — увлечением маркизы де Помпадур. Набожность ведет к утомительному смирению, не исключающему гордыни. Проявилась ли в этом скромность г-жи де Гранвиль, или таков был ее вкус, но, по-видимому, она питала отвращение к мягким и светлым цветам, а возможно, просто полагала, что пурпурно-коричневые тона больше всего соответствуют достоинству чиновника судебного ведомства. Да и как могла девушка, привыкшая к строгонравственному укладу жизни, не презирать мягкие диваны, внушающие сладострастные мысли, изящные и коварные будуары, где зарождаются грехи? Бедный товарищ прокурора был в отчаянии. По тону, каким он высказывал одобрение и соглашался с похвалами, которые жена расточала самой себе, она заметила, насколько ему все не понравилось. Поняв свою неудачу, она проявила такое искреннее огорчение, что Гранвиль усмотрел

в нем доказательство любви, а не уязвленного самолюбия. Разве могла лучше обставить квартиру девушка, внезапно вырванная из круга узких провинциальных понятий и незнакомая с кокетливым изяществом парижской жизни? Не желая взглянуть правде в глаза, товарищ прокурора предпочел думать, что ее выбором руководили поставщики. Будь он менее влюблен, он понял бы, что торговцы, быстро угадывающие требования клиентов, благословляли небо, которое послало им ханжу, лишенную вкуса, и помогло избавиться от старомодных аляповатых вещей. Он стал утешать хорошенькую нормандку:

— Счастье, дорогая Анжелика, не в изяществе обстановки, а в женской нежности, уступчивости и любви.

— Но ведь любить вас — мой долг, и нет иного долга, который я готова выполнять с большей радостью,— кротко заметила Анжелика.

Природа вложила в сердце женщины такое желание нравиться и такую потребность в любви, что даже у молодой святоши мысли о загробной жизни и о спасении души должны были поблекнуть перед первыми радостями Гименея. С апреля — времени их свадьбы — и до начала зимы супруги жили в полном согласии. Любовь и труд обычно делают человека довольно равнодушным к окружающей обстановке. Гранвиль меньше, чем кто-либо другой, мог заметить некоторые мелочи своей домашней жизни, так как он полдня проводил во Дворце правосудия, где решались вопросы жизни и имущества людей. Если по пятницам ему за столом подавались только постные блюда и он безуспешно требовал в этот день чего-нибудь мясного, жена, которой евангелие воспрещало всякую ложь, все же умела отвести от себя подозрение при помощи маленьких хитростей, дозволенных в интересах религии, ссылаясь то на свою забывчивость, то на отсутствие нужных припасов на рынке, а зачастую обвиняла во всем повара и даже доходила до того, что принималась его бранить. В те времена молодые чиновники судебного ведомства не соблюдали, как теперь, постных дней, больших постов и постов накануне праздников. Вот почему Гранвиль не обратил сперва внимания на правильное чередование постных обедов, тем более что они были на редкость изысканны, ведь жена, желая обма-

нуть его, заказывала в эти дни паштеты, чирков, водяных курочек и рыбу со всевозможными острыми приправами. Итак, товарищ прокурора жил в полном согласии с учением церкви и, сам того не ведая, спасал свою душу. Он не знал, ходит ли жена к обедне в будни, но по воскресеньям проявлял вполне понятную снисходительность и лично сопровождал Анжелику в церковь, как бы желая вознаградить ее за то, что она иногда жертвовала ради него вечерней службой. Гранвиль не понял сперва всей строгости религиозных устоев жены. Летом жара мешает бывать в театре, и он ни разу не предложил жене посмотреть какую-нибудь нашумевшую пьесу. Таким образом, серьезный вопрос о театре даже не поднимался. Наконец в начале брака мужчина редко бывает требовательным в наслаждениях, если он женился на девушке ради ее красоты. Молодежь отличается скорее пылкостью, чем утонченностью в любви, к тому же первая интимная близость всегда полна очарования. Как распознать в женщине холодность, достоинство или сдержанность, когда наделяешь ее собственными восторгами, когда возлюбленная преображается, озаренная отблеском твоего собственного огня? Только достигнув известной супружеской умиротворенности, можно заметить, что святоша ждет любви со скрещенными руками. Итак, Гранвиль считал себя довольно счастливым, пока одно роковое событие не повлияло на дальнейшую судьбу его супружеской жизни. В ноябре 1808 года каноник собора Байе, некогда духовный наставник г-жи Бонтан и ее дочери, приехал в Париж с честолюбивым намерением получить приход в столице, который он, вероятно, считал ступенью к епископскому сану. Вновь подчинив своей власти духовную дочь, он пришел в ужас, увидев, насколько она изменилась в атмосфере Парижа, и решил помочь ей исправиться. Г-жа де Гранвиль была испугана укорами бывшего каноника, человека лет тридцати восьми, отличавшегося от парижского духовенства, столь снисходительного и просвещенного, нетерпимостью, сухостью и ханжеством провинциального католицизма, преувеличенные требования которого связывают путами робкие души: грешница покаялась и вернулась к своему янсенизму. Было бы скучно описывать день за днем мелкие события, которые постепенно сделали несчастной эту

семью. Достаточно будет, пожалуй, упомянуть о важнейших фактах, отказавшись от добросовестного перечисления их в хронологическом порядке. Первое разногласие между молодыми супругами было все же довольно знаменательно. Когда Гранвиль стал вывозить жену в свет, она охотно посещала почтенные семейства, бывала на обедах, концертах и ездила к деловым знакомым мужа, стоявшим выше него в служебной иерархии, но неизменно ссылалась на мигрень, как только ей предстояло отправиться на бал. Гранвиля вывели из терпения эти притворные недомогания, и однажды он скрыл пригласительное письмо на бал, полученное от члена государственного совета, а вечером, видя, что жена вполне здорова, обманул ее и, сославшись на устное приглашение, словно невзначай приехал вместе с ней на волшебное празднество.

— Дорогая,— сказал он жене по возвращении домой, обиженный ее грустным видом,— наше семейное и общественное положение, наше богатство налагают на вас обязанности, отменить которые не может ни один божественный закон. Разве вы не гордость мужа? Вам придется ездить на все балы, где бываю я, и появляться там в надлежащем виде.

— Но, друг мой, что же было такого неудачного в моем туалете?

— Речь идет о вашей манере держать себя, дорогая. Когда к вам подходит молодой человек, начинает с вами разговаривать, вы напускаете на себя такую ледяную холодность, что шутник может заподозрить в неустойчивости вашу добродетель. Вы словно боитесь скомпрометировать себя улыбкой. Право, можно подумать, что вы просите у бога прощения за грехи, которые совершаются вокруг вас. Свет, ангел мой, не монастырь. Но раз ты заговорила о туалете, то признаюсь, что в этом ты тоже обязана следовать моде и обычаям света.

— Неужели вы желаете, чтобы я выставляла напоказ свое тело, по примеру всех этих бесстыдных женщин, которые так обнажаются, что нескромные взгляды могут скользить по их голым плечам, по...

— Существует большая разница, дорогая,— прервал ее товарищ прокурора,— между тем, чтобы обнажать грудь и изящно декольтировать платье. Тройной ряд

тюлевого рюша на воротнике вашего платья закрывает шею до самого подбородка. Можно подумать, будто портниха нарочно изуродовала по вашей же просьбе линию ваших плеч и груди, а ведь любая кокетка добивается именно того, чтобы платье обрисовывало самые сокровенные формы ее тела. Бюст у вас был прикрыт таким количеством складок, что ваша чопорность всем показалась смешной. Вам было бы неприятно, если бы я повторил те нелепые предположения, которые высказывались на ваш счет.

— Тем, кому нравятся эти непристойности, не придется нести бремени наших грехов,— сухо ответила молодая женщина.

— Вы не танцевали? — спросил Гранвиль.

— Я никогда не буду танцевать,— возразила она.

— А если я вам скажу, что вы обязаны танцевать? — раздраженно продолжал товарищ прокурора.— Да, вы должны следовать моде, носить бриллианты, цветы в волосах. Подумайте же, моя милая, что богатые люди — а мы богаты — обязаны поддерживать роскошь в государстве! Не лучше ли содействовать процветанию мануфактур, чем тратить деньги на милостыню, раздаваемую руками духовенства?

— Вы рассуждаете, как чиновник,— сказала Анжелика.

— А вы — как монахиня,— резко возразил Гранвиль.

Спор обострился. Г-жа де Гранвиль отвечала мужу с неизменной кротостью и голосом чистым, как звук церковного колокольчика, но в словах ее чувствовалось упорство, вызванное влиянием духовенства. Когда Анжелика сослалась на права, предоставленные ей клятвенным обещанием Гранвиля, и на своего духовника, запретившего ей посещать балы, товарищ прокурора постарался доказать, что священник искажает предписания церкви. Отвратительный спор вспыхнул с еще бóльшим ожесточением как с той, так и с другой стороны, когда Гранвиль вздумал повести жену в театр. Наконец, лишь для того, чтобы подорвать вредное влияние духовника жены, товарищ прокурора придал ссоре такой оборот, что разгневанная г-жа де Гранвиль написала в римскую курию, желая узнать, может ли жена в

угоду мужу декольтироваться, посещать балы и театры, не погубив своей души. Ответ святейшего Пия VII не заставил себя ждать. В нем строго осуждались непокорность жены и советы духовника. Это письмо — настоящий супружеский катехизис — было, казалось, продиктовано нежным голосом Фенелона и дышало его изяществом и кротостью. «Женщине должно быть хорошо повсюду, куда бы ни привел ее супруг. Если она грешит по его приказанию, то не ей придется отвечать за это». Вот два места из послания папы, которые дали г-же де Гранвиль и ее духовному отцу повод обвинить главу католической церкви в безбожии. Но еще до получения пастырского послания товарищ прокурора заметил, что в его доме строго соблюдаются посты, и, не желая поститься по принуждению жены, приказал прислуге подавать ему круглый год скоромное. Хотя это распоряжение вызвало неудовольствие г-жи де Гранвиль, товарищ прокурора, которого весьма мало трогал вопрос как о скоромном, так и о постном, все же стойко выдержал характер. Всякое мыслящее существо, даже самое слабое, бывает оскорблено в своих лучших чувствах, если ему приходится совершать под давлением чужой воли поступок, казавшийся до того вполне естественным. Из всех видов тирании самый гнусный тот, который мешает человеку самостоятельно действовать и мыслить: ведь это значит отречься от собственной личности прежде, нежели сумеешь ее проявить. Самое ласковое слово замирает на устах, нежнейшее чувство гаснет, когда нам кажется, что нас принуждают к ним. Вскоре молодой товарищ прокурора отказался принимать друзей, устраивать обеды и празднества; его дом словно облекся в траур. Если хозяйка дома — святоша, на всем там лежит печать ханжества. В таком доме слуги неизменно находятся под женским надзором, и выбирают их из числа так называемых благочестивых людей, которым присущи совершенно особые физиономии. Подобно тому, как симпатичнейший малый приобретает типическую внешность жандарма, поступив в полицию, так и люди, ревностно соблюдающие церковные обряды, становятся похожими друг на друга. Привычка опускать очи долу и принимать глубоко сокрушенный вид является личиной, которую прекрасно умеют носить обманщики. Кроме того, свя-

тоши образуют своего рода общину и все знакомы между собой; слуги, которых они рекомендуют друг другу, составляют как бы особое племя, ибо хозяева оберегают его по примеру любителей лошадей, которые не допускают в свои конюшни ни одной лошади без аттестата, составленного по всем правилам. Чем внимательнее приглядываются мнимые нечестивцы к богобоязненному семейству, тем яснее видят там что-то неприятное: они замечают в доме набожных людей следы скупости и тайны, как у ростовщиков, и ту пахнущую ладаном сырость, которая застаивается в холодном воздухе часовен. Мелочный распорядок жизни, узость мысли, которая чувствуется там во всем, можно определить одним словом — *ханжество*. В этих мрачных, зловещих домах ханжеством пропитаны мебель, гравюры, картины; ханжество там и в словах, и в молчании, и в лицах. Превращение людей и вещей в воплощенное ханжество — необъяснимая тайна, но таковы факты. Каждый из нас имел возможность наблюдать, что ханжи ходят, садятся и говорят не так, как ходят, садятся и говорят обыкновенные люди. У них в доме чувствуешь себя стесненным, у них не посмеешься; неподвижность, симметрия царствуют во всем — от чепца хозяйки до ее подушечки для булавок; там не встретишь ни одного искреннего взгляда, люди кажутся тенями, а сама хозяйка словно восседает на ледяном троне. Однажды утром несчастный Гранвиль с болью и грустью увидел у себя в доме все признаки ханжества. В свете встречаются дома, в которых одни и те же результаты бывают вызваны различными причинами. Скука заключает эти злосчастные дома в заколдованный круг, внутри которого чувствуются ужас и безграничность пустоты. Семейный очаг похож там не на склеп, нет, а на нечто худшее — на монастырь. Окруженный этой ледяной атмосферой, товарищ прокурора стал присматриваться к жене взглядом, уже не отуманенным страстью, и с глубокой грустью понял узость ее кругозора, о котором свидетельствовали маленький, слегка вдавленный лоб и низко растущие волосы; в безупречной правильности черт ее лица он уловил нечто застывшее, непреклонное и вскоре возненавидел прельстившую его сначала притворную кротость. Он предугадывал, что, случись несчастье, с ее тонких губ могут слететь слова: «Это тебе во

благо, друг мой». Цвет лица г-жи де Гранвиль приобрел мертвенный оттенок, а в чертах застыло строгое выражение, убивавшее радость у всех, кто с ней встречался. Чем была вызвана эта перемена? Аскетическим ли выполнением обрядов, которому так же далеко до благочестия, как скаредности до бережливости, или же сухостью, свойственной душам ханжей,— трудно сказать; но красота, лишенная жизни,— быть может, просто обман. Невозмутимая улыбка, появлявшаяся на губах молодой женщины при виде Гранвиля, казалась иезуитской формулой счастья, посредством которой она думала удовлетворить всем требованиям брака. Ее милосердие было оскорбительно, ее бесстрастная красота казалась чудовищной, а нежные слова раздражали: ведь она повиновалась не чувству, а долгу. У женщин бывают недостатки, которые могут изгладиться под влиянием жестоких уроков, преподанных жизнью или мужем, но ничто не преодолеет тирании ложных религиозных понятий. Желание достигнуть вечного блаженства, презрев мирские наслаждения, способно восторжествовать над всем и все помочь перенести. Не есть ли это обожествленный эгоизм, мое я, намеревающееся продолжить свою жизнь по ту сторону могилы? Вот почему сам папа оказался виновным перед судом непогрешимого каноника и молодой святоши. Быть всегда правым — одно из чувств, заменяющих все остальные в душах деспотичных святош. С некоторых пор между супругами началась скрытая борьба за убеждения, и Гранвиль скоро устал от этого поединка, которому не видно было конца. Какой мужчина, даже с сильным характером, станет проявлять настойчивость, столкнувшись с лицемерно-влюбленным выражением лица и с непреклонным упорством, противопоставленным малейшим его желаниям? Что делать с женщиной, которая пользуется вашей страстью, чтобы охранять свою бесстрастность от всяких покушений, которая пребывает кротко-неумолимой, с наслаждением готовится к роли жертвы и смотрит на мужа как на бич господень, как на источник мук, избавляющих ее от испытаний чистилища? Где найти слова, достаточно выразительные, чтобы описать этих женщин, которые внушают ненависть к добродетели, искажают самые трогательные заповеди религии, выраженные апостолом

Иоанном в словах «Любите друг друга»? Если в магазине появлялась шляпа, осужденная остаться на витрине или быть посланной в колонии, Гранвиль мог быть уверен: жена нарядится в нее; если выпускалась материя неудачной расцветки или рисунка, г-жа де Гранвиль облекалась в нее. Святоши способны всякого привести в отчаяние своими безобразными туалетами. Отсутствие вкуса — один из недостатков, неразрывно связанных с ложным благочестием. Таким образом, в личной жизни, где прежде всего хочется встретить взаимное понимание, Гранвиль остался одиноким; он всюду стал ездить один: в свет, на празднества, в театр. Дома ничто не привлекало его. Большое распятие, висевшее между кроватями супругов, было как бы символом судьбы Гранвиля: оно изображало сына божьего, преданного смерти, бога-человека, убитого в расцвете жизни и молодости. Слоновая кость на этом кресте была менее холодна, чем Анжелика, распинавшая мужа во имя добродетели. Между их кроватями угнездилось несчастье, так как в наслаждениях Гименея молодая женщина не видела ничего, кроме долга. В среду на первой неделе великого поста здесь появился призрак воздержания с мертвенно-бледным лицом и предписал резким голосом строжайшее соблюдение поста, но на этот раз Гранвиль не счел удобным писать папе, чтобы узнать мнение консистории о том, как следует соблюдать посты, постные дни и кануны больших праздников. Молодой товарищ прокурора чувствовал себя безмерно несчастным; он даже не мог жаловаться, да и на что? Он был женат на молодой, хорошенькой женщине, благонравной и преданной своим обязанностям, образце всяческих добродетелей! Она каждый год дарила ему по ребенку, всех их кормила сама и воспитывала в строгих правилах.

Добродетельная Анжелика была провозглашена ангелом. Старухи, составлявшие ее общество (в те времена женщинам молодым еще не приходило в голову рисоваться строжайшим благочестием), единодушно восхищались самоотверженностью г-жи де Гранвиль и видели в ней если не девственницу, то по меньшей мере мученицу. Они винили во всем не чрезмерную узость религиозных устоев жены, а безжалостность и чувственность мужа. Гранвиль, поглощенный службою, лишенный раз-

влечений, удрученный и утомленный одиночеством, к тридцати двум годам незаметно впал в глубочайшую апатию. Жизнь стала ему в тягость. Он был слишком высокого мнения об обязанностях, которые налагал на него занимаемый пост, чтобы явить пример беспорядочной жизни; он решил забыться в работе и начал писать большой труд о праве. Но недолго наслаждался он монастырским спокойствием, на которое рассчитывал. Увидев, что муж отказался от светских развлечений и усердно работает дома, неземная Анжелика попыталась окончательно наставить его на путь истинный. Воззрения мужа, несовместимые с христианской религией, причиняли ей большое горе; она иногда плакала, думая о том, что ее супруг может умереть нераскаянным и что тогда она навсегда потеряет надежду вырвать его из геенны огненной. Итак, Гранвилю пришлось вплотную столкнуться с узкими понятиями, бессодержательными рассуждениями и ограниченными мыслями, при помощи которых жена, полагавшая, что уже одержала первую победу, пыталась добиться второй — вернуть супруга в лоно церкви. Это был последний удар. Что может быть тягостнее глухой борьбы, где упрямство святоши пытается одержать верх над логикой чиновника судебного ведомства? Что может быть ужаснее ядовитых булавочных уколов, которым сильные люди предпочитают удары кинжала? Гранвиль все чаще стал проводить время вне дома, где все было ему невыносимо. Дети, угнетенные холодным деспотизмом матери, не смели пойти с отцом в театр, и Гранвиль не мог доставить им ни малейшего удовольствия без того, чтобы не подвергнуть их наказанию грозной матери. Этот любящий человек был доведен до равнодушия, до эгоизма — худшего, чем смерть. Из этого ада он спас по крайней мере сыновей, рано поместив их в коллеж и сохранив за собой право руководить ими. Он редко вмешивался в отношения матери к дочерям, но решил выдать девочек замуж, как только они подрастут. Прими он крайние меры, никто не стал бы на его сторону; жена при поддержке внушительной свиты благородных старух заставила бы весь свет осудить его. У Гранвиля, следовательно, не оставалось иного выхода, как жить в полнейшем одиночестве; он был подавлен несчастьем, и лицо его, поблекшее от горя и

работы, стало неприятно ему самому. В довершение всего он избегал знакомств и связей со светскими женщинами, отчаявшись найти у них утешение.

В течение пятнадцати лет, с 1806 по 1821 год, в поучительной и грустной истории этой семьи не произошло ни одного примечательного события. Потеряв сердце мужа, г-жа де Гранвиль осталась такой же, как и в те дни, когда считала себя счастливой. Она неустанно молила бога и угодников просветить ее относительно собственных недостатков, неприятных супругу, и наставить ее на путь истинный, дабы она могла вернуть в лоно семьи заблудшую овцу; но чем усерднее были ее молитвы, тем реже Гранвиль показывался дома. Уже около пяти лет этот бывший товарищ прокурора, которому при Реставрации поручались высшие посты в судебном ведомстве, жил в антресоли своего особняка, чтобы избежать близости с женой. Каждое утро происходила сцена, которая, если верить светскому злословию, повторяется во многих семействах из-за несходства характеров, нравственных и физических недугов или же странностей, приводящих множество браков к несчастьям, описанным в настоящей повести. Часов в восемь утра горничная, несколько напоминавшая монахиню, звонила у двери апартаментов графа де Гранвиля. При входе в гостиную, смежную с кабинетом графа, она повторяла камердинеру одним и тем же тоном неизменную фразу:

— Барыня приказала спросить, хорошо ли провели ночь его сиятельство и будет ли она иметь удовольствие завтракать вместе с ними.

— Барин,— отвечал камердинер, переговорив с хозяином,— просит кланяться ее сиятельству и передать его извинения: ему надо ехать по важному делу во Дворец правосудия.

Минуту спустя горничная вновь появлялась и спрашивала от имени хозяйки, будет ли та иметь счастье видеть его сиятельство перед отъездом.

— Они уже уехали,— отвечал слуга, хотя зачастую кабриолет графа еще стоял во дворе.

Этот разговор через посредников превратился в ежедневный ритуал. Камердинер де Гранвиля, его любимец, не раз служивший причиной ссоры между супругами из-за его неверия и распущенности, отправлялся иногда

для вида в пустой кабинет хозяина и выходил оттуда с обычным ответом. Огорченная супруга неизменно подстерегала мужа при его возвращении и появлялась в подъезде, чтобы предстать перед ним как олицетворенное угрызение совести. Мелочная придирчивость, свойственная елейным людям, составляла сущность характера г-жи де Гранвиль, которая в тридцать пять лет казалась сорокалетней. Когда Гранвиль, принужденный соблюдать приличия, разговаривал с женой или оставался обедать дома, она, счастливая тем, что может навязать ему свое общество, свои кисло-сладкие речи и невыносимую скуку — неразлучную спутницу ханжей,— старалась подчеркнуть его вину в глазах прислуги и своих добродетельных приятельниц. Графу де Гранвилю, в то время прекрасно принятому при дворе, было предложено место председателя судебной палаты в провинции, но он обратился в министерство с просьбой оставить его в Париже. Этот отказ, причины которого были известны лишь министру юстиции, навел на самые странные догадки близких приятельниц и духовника графини. Гранвиль, имевший сто тысяч ливров годового дохода, принадлежал к одному из лучших родов Нормандии; его назначение председателем судебной палаты было ступенью к пэрству. Откуда же это отсутствие честолюбия? Почему забросил он свой большой труд о праве? Чем вызван рассеянный образ жизни, который вот уже лет шесть отвлекает его от дома, от семьи, от работы — от всего, чем, казалось, он должен бы дорожить? Добиваясь епископского сана, духовник графини рассчитывал не только на услуги, оказанные им одной конгрегации, ревностным сторонником которой он был, но и на поддержку семейств, подчинившихся его духовной власти; вот почему он был разочарован отказом де Гранвиля и постарался его оклеветать, высказывая следующие предположения: не потому ли граф питает отвращение к провинции, что его пугает необходимость упорядочить свой образ жизни? Ведь в провинции ему пришлось бы показывать пример и жить с графиней, от которой может его отдалять лишь преступная страсть. Разве такая безупречная женщина, как графиня, может заметить беспутное поведение мужа? Добрые приятельницы поддержали эти домыслы, которые, к несчастью, не были игрой воображения, и

г-жа де Гранвиль была как громом поражена. Не имея понятия о нравах высшего света, незнакомая с любовью и ее безрассудствами, Анжелика была далека от мысли, что в браке встречаются иные разногласия, чем те, которые отвратили от нее сердце Гранвиля, и считала, что муж ее не способен совершать ошибки, какие являются в глазах всех жен преступлением. Когда граф совсем отдалился от нее, она вообразила, что эта кажущаяся бесстрастность вполне естественна. Наконец, так как г-жа де Гранвиль отдала ему весь запас любви, предназначавшийся мужчине, а догадки духовника разрушали ее последние иллюзии, она встала на защиту мужа, хотя и не была в силах заглушить подозрение, так искусно оброненное в ее душу. Тревожные предчувствия до такой степени повлияли на слабый разум графини, что она заболела изнурительной лихорадкой. Все это происходило постом 1822 года; г-жа де Гранвиль не пожелала отказаться от строгого поста, предписанного ей благочестием, и постепенно дошла до полного истощения; врачи стали опасаться за ее жизнь. Равнодушные взгляды Гранвиля убивали ее. Уход и внимание мужа походили на заботы, которыми племянник окружает старика-дядюшку. Хотя графиня отказалась от своей системы придирок и упреков и пыталась встречать мужа ласковыми словами, все же в них иногда проглядывала колкость святоши, и часто одно слово разрушало старания целой недели. К концу мая теплое дыхание весны и более питательная пища несколько укрепили силы г-жи де Гранвиль. Однажды утром, возвратившись от обедни, она села на каменную скамью в своем садике; тепло солнечных лучей напомнило графине о первых днях замужества, и она мысленно обратилась к своей прежней жизни, чтобы понять, чем нарушила она обязанности матери и супруги. В эту минуту появился аббат Фонтанон в неописуемом волнении.

— Что случилось, отец мой? — спросила она с дочернею заботливостью.

— Как бы я хотел, чтобы все несчастья, ниспосланные вам десницей всевышнего, выпали на мою долю,— ответил нормандец,— но, уважаемый друг, перед такими испытаниями вам остается только смириться.

— Да разве может постигнуть меня кара ужаснее

той, которую посылает мне провидение, пользуясь моим супругом как орудием своего гнева?

— Приготовьтесь, дочь моя, к худшему злу, чем то, которого мы некогда опасались с вашими благочестивыми приятельницами.

— В таком случае я должна благодарить господа, что он соблаговолил избрать вас для изъявления мне своей воли,— ответила графиня.— Тем самым сокровища его милосердия сопутствуют громам и молниям его гнева; так некогда, изгнав Агарь, он указал ей в пустыне источник водный.

— Он соразмерил наказание с глубиной вашей покорности и бременем ваших грехов.

— Говорите, я ко всему готова.— Тут графиня возвела очи горè и прибавила: — Говорите, господин Фонтанон.

— Вот уже семь лет, как господин де Гранвиль совершает грех прелюбодеяния с наложницей, от которой у него двое детей; он растратил на содержание этой побочной семьи более пятисот тысяч франков, которые по праву принадлежат его законной семье.

— Я хочу во всем убедиться собственными глазами,— проговорила графиня.

— И не помышляйте об этом! — воскликнул аббат.— Вы должны простить, дочь моя, и молиться, чтобы господь просветил вашего супруга, если только вы не пожелаете прибегнуть к средствам, предоставляемым вам законами человеческими.

Продолжительный разговор аббата Фонтанона с его духовной дочерью произвел в ней резкую перемену; проводив аббата, графиня появилась среди слуг чуть ли не с румянцем на лице и испугала их своей лихорадочной суетливостью: она велела подать карету, потом распрячь лошадей, за один час раз двадцать меняла приказания, но наконец около трех часов приняла, по-видимому, важное решение и уехала, поразив домашних внезапным нарушением всех своих привычек.

— Вернется ли барин к обеду? — спросила она перед отъездом у камердинера, с которым обычно не разговаривала.

— Не обещали быть, ваше сиятельство.

— Вы отвезли его утром в суд?

— Так точно, ваше сиятельство.
— А ведь сегодня понедельник.
— Понедельник, ваше сиятельство.
— Разве он бывает теперь в суде по понедельникам?
— Черт бы тебя побрал! — воскликнул слуга, слыша, как, садясь в карету, графиня сказала кучеру:
— На улицу Тетбу.

Мадемуазель де Бельфей плакала. Безмолвно стоя подле своей подруги, Роже держал ее за руку и смотрел то на маленького Шарля, который молчал, ничего не понимая в горе плачущей матери, то на колыбель спящей Эжени, то на Каролину, слезы которой походили на дождь, пронизанный светлыми лучами солнца.

— Да, это правда, мой ангел,— сказал Роже после продолжительного молчания,— в этом весь секрет: я женат. Но когда-нибудь, надеюсь, мы будем с тобой неразлучны. С марта месяца моя жена находится в безнадежном положении; я не желаю ей смерти, но если богу будет угодно призвать ее к себе, она будет, мне кажется, счастливее в раю, чем на этом свете,— земные страдания и земные радости ей одинаково чужды.

— Как я ненавижу эту женщину! Как могла она сделать тебя несчастным? Однако этому несчастью я обязана своим блаженством.

— Будем надеяться, Каролина! — воскликнул Роже, целуя ее.— Пусть не пугает тебя то, что мог наговорить этот аббат. Правда, духовник моей жены — человек опасный по тому влиянию, которым он пользуется в конгрегации, но если он попытается расстроить наше счастье, я сумею принять меры.

— Что же ты сделаешь?

— Мы уедем в Италию. Придется бежать...

В соседней гостиной послышался крик; вздрогнув, Роже и мадемуазель де Бельфей бросились туда и увидели графиню, лежащую без чувств. Когда г-жа де Гранвиль пришла в себя, она глубоко вздохнула, заметив возле себя графа и свою соперницу, которую она молча оттолкнула с выражением глубочайшего презрения.

Мадемуазель де Бельфей встала и хотела выйти.

— Вы у себя дома, сударыня, останьтесь,— сказал Гранвиль, удерживая Каролину за руку.

Граф поднял умирающую жену, донес до кареты и сел туда вместе с ней.

— Как вы дошли до того, что вы стали избегать меня, желать моей смерти? — спросила графиня слабым голосом, глядя на мужа с возмущением и болью.— Разве я не была молода? Вы находили меня красивой, в чем же вы можете упрекнуть меня? Разве я вам изменяла, разве я не была добродетельной и благоразумной женой? В моем сердце жил только ваш образ, ничей другой голос не ласкал моего слуха. Какой долг я нарушила, в чем отказала вам?

— В счастье,— ответил граф убежденно.— Вы знаете, сударыня, богу можно служить по-разному. Иные христиане воображают, что попадут в рай, если станут ходить в церковь, читать «Отче наш», выстаивать обедни и избегать грехов. Таким христианам, сударыня, уготован ад, они не любили бога ради него самого, они не служили ему так, как он того требует, не приносили ему никакой жертвы; несмотря на внешнюю кротость, они жестоки по отношению к ближнему. Они видят только закон, букву, но не сущность христианства. Так поступили и вы со своим земным супругом. Вы пожертвовали моим счастьем ради спасения своей души, вы были заняты молитвой, когда я приходил к вам с сердцем, преисполненным радости, вы плакали, когда своим присутствием могли бы вносить веселье в мой рабочий кабинет, вы ни разу не пошли навстречу моим желаниям.

— Но ведь ваши желания были преступны! — с жаром воскликнула графиня.— Неужели же, чтоб угодить вам, я должна погубить свою душу?!

— То была бы жертва, и у другой, более любящей, хватило мужества мне ее принести,— холодно сказал Гранвиль.

— О боже, ты слышишь его! — воскликнула она плача.— Разве он достоин молитв, постов и бдений, которыми я изнуряла себя, чтобы искупить его и свои грехи? Для чего же нужна тогда добродетель?

— Чтобы попасть в рай, моя милая. Нельзя быть одновременно женой человека и Христа: это было бы двоебрачием; надо сделать выбор между мужем и монастырем. Ради будущей жизни вы изгнали из своей души всякое чувство любви и преданности, которое бог

повелел вам питать ко мне, и сберегли для мира только ненависть...

— Разве я не любила вас? — спросила она.

— Нет, сударыня.

— Что же такое любовь? — невольно спросила графиня.

— Любовь, моя милая? — повторил Гранвиль с оттенком иронического удивления.— Вам этого не понять. Холодное небо Нормандии не может быть небом Испании. Очевидно, разгадка нашего несчастья заключается в вопросе о климатах. Подчиняться нашим прихотям, угадывать их, находить радость в страдании, пренебрегать ради нас общественным мнением, самолюбием, даже религией и рассматривать все эти жертвы как крупицы фимиама, сжигаемого в честь кумира,— вот что такое любовь...

— Любовь бесстыдной оперной дивы,— проговорила графиня с отвращением.— Такой пожар не может долго длиться, скоро от него останутся угли или пепел, сожаление или отчаяние. По-моему, сударь, супруга должна дать вам искреннюю дружбу, ровную любовь и...

— Вы говорите о любви так же, как негры говорят о снеге,— ответил граф с сардонической улыбкой.— Поверьте, скромнейшая маргаритка бывает пленительнее самых надменных, ярких, но окруженных шипами роз, которые привлекают нас весной своим пьянящим благоуханием и ослепительными красками. Впрочем,— продолжал он,— я отдаю вам должное. Вы так хорошо придерживались буквы закона, что, пожелай я доказать, в чем вы виновны передо мной, мне пришлось бы войти в некоторые подробности, оскорбительные для вас, и разъяснить вещи, которые показались бы вам ниспровержением всякой морали.

— Вы осмеливаетесь говорить о морали, выходя из дома, где вы промотали состояние своих детей, из притона разврата! — воскликнула графиня, возмущенная недомолвками мужа.

— Довольно, сударыня,— сказал граф, хладнокровно прерывая жену.— Если мадемуазель де Бельфей богата, то это никому не принесло ущерба. Мой дядя имел право распоряжаться своим состоянием, у него было не-

сколько наследников, но еще при жизни, из чистой дружбы к той, которую он считал своей племянницей, он подарил ей поместье де Бельфей. Что касается остального, то и этим я обязан его щедрости.

— Так мог поступать только якобинец! — воскликнула благочестивая Анжелика.

— Сударыня, вы забываете, что ваш отец был одним из этих якобинцев, которых вы осуждаете так беспощадно. Гражданин Бонтан подписывал смертные приговоры в то время, когда мой дядя оказывал Франции ценные услуги.

Госпожа де Гранвиль замолчала. Но после минутной паузы воспоминание о только что виденной сцене пробудило в ней ревность, которую ничто не может заглушить в сердце женщины, и графиня сказала тихо, как бы про себя:

— Можно ли так губить свою душу и души других!

— Э, сударыня,— заметил граф, утомленный разговором,— быть может, когда-нибудь вам самой придется ответить за все это.— При последних словах графиня содрогнулась.— В глазах снисходительного судьи, который станет взвешивать наши поступки,— продолжал он,— вы, несомненно, будете правы: вы сделали меня несчастным из добрых намерений. Не думайте, что я ненавижу вас; я ненавижу людей, которые извратили ваше сердце и ваш ум. Вы молились за меня, а мадемуазель де Бельфей отдала мне свое сердце, окружила меня любовью. Вам же приходилось быть поочередно то моей возлюбленной, то святой, молящейся у подножия алтаря. Отдайте мне должное и сознайтесь, что я не порочен, не развращен. Я веду нравственный образ жизни. Увы, по прошествии семи лет страдания потребность в счастье незаметно привела меня к другой женщине, к желанию создать другую семью. Не думайте, впрочем, что я один так поступаю: в этом городе найдется тысяча мужей, вынужденных по различным причинам вести двойную жизнь.

— Великий боже! — воскликнула графиня.— Как тяжек стал мой крест! Если супруг, которого в гневе своем ты даровал мне, может обрести на земле счастье только ценою моей смерти, призови меня в лоно свое!

— Если бы у вас были и раньше такие похвальные

чувства и такая самоотверженность, мы были бы счастливы,— холодно проговорил граф.

— Ну хорошо,— продолжала Анжелика, проливая потоки слез,— простите меня, если я заблуждалась. Да, сударь, я готова во всем повиноваться вам, я уверена, чего бы вы ни потребовали от меня, все будет правильно и справедливо; отныне я буду такой, какой вы желаете видеть супругу.

— Сударыня, если вы хотите, чтобы я признался в том, что больше не люблю вас, у меня хватит жестокого мужества открыть вам глаза. Можно ли приказывать своему сердцу? Может ли одна минута изгладить память о пятнадцати годах страдания? Я больше не люблю вас. В этих словах такая же глубокая тайна, как и в словах «я люблю». Почет, уважение, внимание можно завоевать, потерять и вновь приобрести; что же касается любви, то я мог бы тысячу лет убеждать себя в необходимости любить и все же не пробудил бы в себе этого чувства, особенно по отношению к женщине, которая намеренно себя состарила.

— Ах, граф, я искренне желаю, чтобы ваша возлюбленная никогда не сказала вам этих слов, особенно же таким тоном и с таким выражением...

— Угодно ли вам надеть сегодня вечером платье в греческом стиле и отправиться в Оперу?

Внезапная дрожь, пробежавшая по телу графини, послужила безмолвным ответом на этот вопрос.

В начале декабря 1833 года, в полночь, по улице Гайон проходил седой, как лунь, человек, изможденное лицо которого говорило скорее о том, что его состарили несчастья, чем годы. Приблизившись к невзрачному трехэтажному дому, он остановился и внимательно посмотрел на одно из окон чердачного помещения, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Слабый огонек едва освещал это убогое окошко, где несколько стекол были заменены бумагой. Прохожий вглядывался в этот мерцающий свет с непостижимым любопытством праздношатающихся парижан. Вдруг из дома вышел молодой человек.

Бледный свет уличного фонаря падал на лицо любопытного; не удивительно поэтому, что, несмотря на

позднюю пору, молодой человек приблизился к нему с нерешительностью, свойственной парижанам, когда они боятся ошибиться при встрече со знакомым.

— Что это! — воскликнул он.— Да это вы, господин председатель? Один, пешком, в этот час и так далеко от улицы Сен-Лазар! Окажите мне честь, позвольте предложить вам руку: сегодня так скользко, что мы рискуем упасть, если не будем поддерживать друг друга,— продолжал он, щадя самолюбие старика.

— Но, сударь, на мое несчастье, мне всего пятьдесят лет,— ответил граф де Гранвиль.— Такой прославленный врач, как вы, должен знать, что в этом возрасте мужчина находится в полном расцвете сил.

— Тогда остается предположить, что тут замешано любовное приключение,— продолжал Орас Бьяншон,— полагаю, вы не имеете обыкновения ходить пешком по Парижу. У вас такие прекрасные лошади...

— Если я не выезжаю в свет,— ответил председатель верховного суда,— то из Дворца правосудия или Иностранного клуба по большей части возвращаюсь пешком.

— И конечно, имея при себе большие деньги! — воскликнул молодой врач.— Но ведь это значит напрашиваться на удар кинжала!

— Этого я не боюсь,— возразил граф де Гранвиль с грустным и равнодушным выражением лица.

— Но, во всяком случае, не надо останавливаться,— продолжал врач, увлекая председателя суда по направлению к бульвару.— Еще немного, и я подумал бы, что вы хотите украсть у меня свою последнюю болезнь и умереть не от моей руки.

— Да, вы застали меня за подсматриванием,— проговорил граф.— Бываю ли я здесь пешком или в карете, я в любой час ночи замечаю в окне третьего этажа того дома, откуда вы вышли, чей-то силуэт; по-видимому, кто-то трудится там с героическим упорством.— Тут граф вздохнул, как бы почувствовав внезапную боль.— Я заинтересовался этим чердаком,— прибавил он,— как парижский буржуа окончанием перестройки Пале-Рояля.

— Если так,— с живостью воскликнул Бьяншон, прерывая графа,— я могу вам...

— Не надо,— сказал Гранвиль.— Я не дал бы ни гроша, чтобы узнать, мужская или женская тень мелькает за этими дырявыми занавесками, счастлив или нет обитатель этого чердака! Если я и был удивлен тем, что никто не работает там сегодня вечером, если я и остановился, то исключительно ради удовольствия пофантазировать, строя всякие нелепые предположения, как это делают праздные люди, когда замечают здание, внезапно брошенное в недостроенном виде... Уже девять лет, мой юный...— Граф, казалось, колебался, подбирая слова, затем, махнув рукой, воскликнул: — Нет, я не назову вас другом: я ненавижу все, что говорит о чувствах! Итак, вот уже девять лет, как я перестал удивляться старикам, которые занимаются разведением цветов, посадкой деревьев; жизнь научила их не верить в людскую привязанность, я же в несколько дней превратился в старика. Я хочу любить только бессловесных животных, растения и все, что принадлежит к миру вещей. Мне гораздо дороже танцы Тальони, чем все человеческие чувства, вместе взятые. Я ненавижу жизнь и мир, в котором я одинок. Ничто, ничто,— прибавил граф с таким выражением, что молодой человек вздрогнул,— ничто меня не трогает, ничто не привлекает.

— Но ведь у вас есть дети?

— Дети! — продолжал со странной горечью Гранвиль.— Да, конечно! Старшая из моих двух дочерей — графиня де Ванденес. Что же касается другой, то брак старшей сестры сулит и ей блестящую партию. А сыновья? Они оба сделали прекрасную карьеру. Виконт де Гранвиль был сначала главным прокурором в Лиможе, а теперь занимает пост председателя суда в Орлеане; младший живет здесь, он королевский прокурор. У моих детей свои заботы, свои волнения, свои дела. Если бы хоть один из них посвятил мне свою жизнь и попытался своей любовью заполнить пустоту, которую я ощущаю вот здесь,— сказал он, ударяя себя в грудь,— он оказался бы неудачником, принес бы мне в жертву самого себя. А для чего, спрашивается? Чтобы скрасить несколько лет, которые мне еще осталось прожить? И чего бы он достиг этим? Возможно, я принял бы как должное его великодушные заботы обо мне, но...— Тут старик улыбнулся с горькой иронией.— Но, доктор,

мы не напрасно обучаем своих детей арифметике: они умеют считать! Мои дочери и сыновья, может быть, ждут не дождутся, когда я умру, и заранее прикидывают, какое они получат наследство.

— Ах, граф, как могла подобная мысль прийти вам в голову? Вы так добры, так великодушны, так отзывчивы. Право, если бы я не был живым доказательством благотворительности, которую вы понимаете так широко, так благородно...

— Ради собственного удовольствия,— с живостью возразил граф.— Я плачу за приятное ощущение, а завтра горстью золота оплачу детски наивную иллюзию, если от нее забьется мое сердце. Я помогаю ближним ради себя самого, по той же причине, по какой играю в карты; вот почему я не рассчитываю на благодарность. Даже при вашей кончине я мог бы присутствовать, не моргнув глазом, и вас прошу питать ко мне точно такие же чувства. Ах, молодой человек, мое сердце погребено под пеплом пережитого, как Геркуланум под лавой Везувия, город существует, но он мертв.

— Как виноваты те, кто довел до такой бесчувственности ваше горячее, отзывчивое сердце!

— Ни слова больше,— заметил граф с ужасом.

— Вы больны и должны мне позволить вылечить вас,— сказал Бьяншон взволнованно.

— Но разве вы знаете лекарство против смерти? — воскликнул граф, потеряв терпение.

— Держу пари, граф, что мне удастся воскресить ваше сердце, которое вы считаете таким холодным.

— Вы обладаете даром Тальма? — иронически спросил Гранвиль.

— Нет, граф. Но природа настолько же могущественнее Тальма, насколько Тальма был могущественнее меня. Слушайте же: на чердаке, заинтересовавшем вас, живет женщина лет тридцати; любовь у нее доходит до фанатизма. Ее кумир — юноша, хотя и красивый, но наделенный злой волшебницей всевозможными пороками. Он игрок, и я не знаю, к чему он питает большее пристрастие: к женщинам или к вину. Насколько мне известно, он совершил преступления, за которые подлежит суду исправительной полиции. Так вот эта несчастная женщина принесла ему в жертву прекрасное положение

и обожавшего ее человека, отца ее детей. Но что с вами, граф?

— Ничего, продолжайте.

— Она позволила ему промотать целое состояние и, мне кажется, отдала бы ему весь мир, если бы он принадлежал ей. Она работает день и ночь и не ропщет, когда этот баловень, этот изверг отбирает у нее даже деньги, отложенные на покупку одежды детям, или последний кусок хлеба. Три дня назад она продала свои волосы, а какие у нее были прекрасные волосы! Никогда я таких не видывал. Он пришел, она не успела спрятать золотой, и любовник выпросил эти деньги. За улыбку, за ласку она отдала стоимость двух недель жизни и спокойствия! Разве это не ужасно и не возвышенно в одно и то же время? Но лицо ее уже осунулось от работы. Плач детей надрывает ей душу, она заболела; сейчас она стонет на своем убогом ложе. Сегодня вечером ей нечего было есть, нечего было дать детям, а у них уж не было сил кричать; когда я пришел, они молчали.

Орас Бьяншон умолк. В эту минуту граф де Гранвиль, как бы помимо воли, опустил руку в жилетный карман.

— Я догадываюсь, мой юный друг,— сказал старик,— она жива только потому, что вы ее лечите.

— Ах, бедное создание! — воскликнул врач.— Как не помочь ей? Мне хотелось бы быть богаче, так как я надеюсь излечить ее от этой любви.

— И вы хотите, чтобы я сочувствовал ее нищете? — спросил граф, вынимая из кармана руку; но врач не увидел в ней банковых билетов, которых его покровитель, казалось, искал.— Да ведь такие наслаждения я готов был бы оплатить всем своим состоянием! Эта женщина чувствует, живет. Если бы Людовик XV мог встать из гроба, разве не отдал бы он королевства за три дня жизни и молодости? Не так ли поступили бы миллиарды мертвецов, миллиарды больных, миллиарды стариков?

— Бедная Каролина! — воскликнул врач.

При этом имени граф де Гранвиль вздрогнул, схватил врача за руку, и тому показалось, что он попал в железные тиски.

— Ее зовут Каролина Крошар? — спросил председатель суда изменившимся голосом.

— Так вы ее знаете?..— проговорил врач удивленно.

— А негодяя зовут Сольве?.. О, вы сдержали слово! — воскликнул председатель суда.— Вы взволновали меня. Более страшного ощущения я не испытаю до того дня, когда мое сердце обратится в прах. Это потрясение — еще один подарок, дарованный мне адом, но я все же расквитаюсь с ним.

В это время граф с врачом дошли до угла Шоссе д'Антен. Председатель остановился; тут же, возле тумбы, стоял один из тех ночных бродяг с корзиной за плечами и с крюком в руке, которых во время революции шутливо прозвали членами комитета по розыскам. У тряпичника было характерное старческое лицо, вроде тех, которые обессмертил Шарле в своих размашистых карикатурах.

— Что, часто тебе попадаются тысячефранковые билеты? — спросил у него граф.

— Случается, хозяин.

— И ты их возвращаешь?

— Смотря по обещанному вознаграждению.

— Вот такой человек мне и нужен! — воскликнул граф, показывая тряпичнику тысячефранковый билет.— Возьми и запомни: я даю тебе эту бумажку с одним условием: ты должен растратить все деньги в кабаке, напиться пьяным, устроить драку, поколотить любовницу, подбить глаза приятелям. Это поднимет на ноги стражу, фельдшеров, аптекарей, а возможно, также жандармов, королевских прокуроров, судей, тюремщиков. Не меняй ничего в этой программе, иначе дьявол рано или поздно отомстит тебе.

Чтобы правдиво изобразить эту ночную сцену, надо бы владеть карандашом, как Шарле и Калло, или кистью, как Тенирс и Рембрандт.

— Вот я и свел счеты с адом и получил удовольствие за собственные деньги,— проникновенно сказал граф, указывая изумленному врачу на не поддающееся описанию лицо тряпичника, который застыл с разинутым ртом.— Что касается Каролины Крошар,— продолжал граф,— пусть она умирает в муках голода и жажды,

слыша раздирающие крики умирающих детей, сознавая всю низость своего возлюбленного. Я не дам ни гроша, чтобы избавить ее от страданий, а вас я не желаю больше знать, так как вы ей помогли...

Граф покинул остолбеневшего Бьяншона и исчез в темноте; шагая с юношеской стремительностью, он быстро дошел до улицы Сен-Лазар и у подъезда своего особняка с удивлением заметил карету.

— Господин королевский прокурор прибыл час тому назад и желает говорить с вами, ваше сиятельство,— доложил ему камердинер.— Он ожидает в спальне.

По знаку Гранвиля слуга удалился.

— Почему вы пренебрегли моим приказанием? Ведь я запретил своим детям являться ко мне без зова,— заметил старик, входя, своему сыну.

— Отец,— ответил королевский прокурор почтительным и неуверенным голосом,— смею надеяться, что вы меня простите, после того как выслушаете.

— Ваш ответ вполне благопристоен. Садитесь,— сказал старик, указывая молодому человеку на стул.— Говорите,— буду ли я сидеть или ходить, прошу вас не обращать на меня никакого внимания.

— Отец,— начал барон,— сегодня, в четыре часа дня, какой-то юноша, почти мальчик, был задержан у моего друга, где он совершил довольно крупную кражу. Этот юноша сослался на вас, он выдает себя за вашего сына.

— Как его зовут? — вздрогнув, спросил граф.

— Шарль Крошар.

— Довольно,— сказал отец повелительно. Он стал ходить по комнате в полном молчании, которое сын не решался нарушить.— Сын мой...— Эти слова были произнесены таким ласковым, таким отеческим тоном, что молодой прокурор затрепетал.— Шарль Крошар сказал правду. Я очень доволен, что ты пришел, дорогой мой Эжен,— прибавил старик.— Вот, возьми,— продолжал он, протягивая сыну объемистую пачку банковых билетов.— Тут довольно крупная сумма, употреби ее в этом деле, как сочтешь нужным. Я полагаюсь на тебя и заранее одобряю все твои распоряжения как в настоящем, так и в будущем. Эжен, дитя мое, подойди, поцелуй меня. Возможно, мы видимся в последний раз. Завтра

я подам королю прошение об отставке; я уезжаю в Италию. Если отец и не обязан давать детям отчет в своей жизни, то должен завещать им опыт, за который дорого заплатил судьбе: ведь этот опыт — часть их наследства! Когда ты решишь жениться,— продолжал граф, невольно вздрогнув,— не совершай легкомысленно этого шага, самого серьезного из всех, к каким нас обязывает общество. Постарайся тщательно изучить характер женщины, с которой ты собираешься себя связать. Кроме того, спроси у меня совета, я сам хочу судить о ней. Отсутствие взаимного понимания между супругами, какой бы причиной это ни вызывалось, приводит к ужасным несчастьям; рано или поздно мы бываем наказаны за неповиновение социальным законам. Я напишу тебе по этому поводу из Флоренции. Отцу, особенно когда он имеет честь состоять председателем верховного суда, не подобает краснеть перед сыном. Прощай.

Париж, февраль 1830 — январь 1842 г.

СУПРУЖЕСКОЕ СОГЛАСИЕ

Посвящается моей дорогой племяннице Валентине Сюрвиль.

Романтическая история, описанная здесь, случилась в конце ноября 1809 года, когда краткое царствование Наполеона достигло апогея своего величия. Звуки фанфар, возгласившие победу под Ваграмом, еще отдавались в самом сердце австрийской монархии. Между Францией и коалицией подписывался мир. В те дни короли и принцы, словно светила, кружились вокруг Наполеона, который из прихоти увлекал Европу вслед за собою; это было великолепное испытание могущества, проявленного им позже при Дрездене. Никогда еще, по словам современников, Париж не видывал таких пышных празднеств, какими сопровождалось бракосочетание этого властелина с эрцгерцогиней австрийской. Никогда, даже в самые блестящие дни павшей монархии, не толпилось на берегах Сены такого множества коронованных особ, и никогда еще французская аристократия не была столь богата и столь блистательна, как в те дни. Украшения, щедро усыпанные бриллиантами, мундиры, расшитые золотом и серебром, составляли такой контраст с недавней республиканской бедностью, что, казалось, будто все богатства земного шара сосредоточились в парижских салонах. Словно хмель овладел этой недолговечной империей. Командиры, не исключая их главы, пользовались, как и подобает выскочкам, сокровищами, завоеванными миллионом людей в солдатских шинелях, а им пришлось удовольствоваться кусочками красной

ленты. В эти дни большинство женщин проявляло такое же легкомыслие и вольность в поведении, какими отличалась знать в царствование Людовика XV. То ли подделываясь под тон рухнувшей монархии, то ли потому, что некоторые члены императорской фамилии подавали тому пример, как утверждали недовольные из Сен-Жерменского предместья, но все, и мужчины и женщины, спешили развлекаться с каким-то неистовством, словно ожидали конца света и спешили насладиться жизнью. Было и еще основание для подобной распущенности. Увлечение женщин военными доходило просто до безумия, но так как это вполне совпадало с желанием императора, то он его и не обуздывал. К оружию прибегали столь часто, что все договоры, заключенные между Наполеоном и Европой, походили лишь на перемирия и толкали страсти к быстрой развязке, под стать решениям верховного главы всех этих киверов, доломанов и аксельбантов, пленявших прекрасный пол. Итак, сердца кочевали подобно полкам. В промежутке между первым и пятым сообщением о действиях наполеоновской армии женщина успевала последовательно стать возлюбленной, супругой, матерью и вдовой. То ли надежда быстро овдоветь, то ли получить дарственную запись или желание носить фамилию, которой суждено войти в историю, делало военных неотразимыми в глазах женщин. Влекла ли к ним уверенность, что тайна любви будет погребена на полях сражений, или следует искать причину этого обожания в том благородном очаровании, которое таит для женщины отвага? Видимо, все эти соображения, которые будущий историк нравов Империи, наверное, тщательно взвесит, играли роль в той легкости, с какою женщины предавались любви. Во всяком случае, признаемся: лавры прикрывали в ту пору немало грехов, женщины страстно добивались сближения с этими смелыми авантюристами, казавшимися им источником почестей, богатства или наслаждения, а в глазах простодушных девушек эполеты, эти иероглифы будущности, означали счастье и свободу. Самой характерной чертой для этой неповторимой в наших летописях эпохи была необузданная страсть ко всему, что сверкало. Никогда еще не взвивалось такое множество фейерверков, никогда бриллианты не достигали столь высокой цены.

Мужчины, обожавшие, как и женщины, эти прозрачные камешки, тоже украшали себя ими. Может быть, в армии мода на драгоценности вызывалась необходимостью облегчить перевозку завоеванной добычи. Мужчина не казался смешон, как это было бы в наше время, если на жабо его сорочки или на пальцах красовались крупные бриллианты. Мюрат, настоящий восточный человек по своим вкусам, подавал пример роскоши, которую сочли бы нелепой в современной армии.

Граф де Гондревиль, звавшийся в былые времена гражданином Маленом и прославившийся своим исчезновением, был теперь одним из Лукуллов охранительного, но ничего не охранявшего сената; он устроил бал в честь заключения мира позже всех — желая затмить льстецов, его опередивших, и больше угодить Наполеону. В гостиной богатого сенатора собрались послы всех якобы дружественных держав, самые знатные лица Империи, даже несколько принцев. Танцы замирали, все ждали императора, присутствие которого было обещано графом. Наполеон сдержал бы слово, не вспыхни в тот вечер между ним и Жозефиной ссора, предвестница происшедшего вскоре развода августейших супругов. Эта размолвка, хранившаяся тогда в глубокой тайне, но ставшая достоянием истории, не дошла до ушей царедворцев, однако отсутствие Наполеона отразилось на праздничном настроении гостей графа де Гондревиля. Прелестнейшие женщины Парижа, стремившиеся попасть на бал, который, по слухам, обещал почтить своим присутствием император, состязались в роскоши нарядов, кокетстве, в драгоценностях и красоте. Банкиры, кичившиеся своими богатствами, бросали вызов блестящим генералам и сановникам Империи, только что засыпанным крестами, титулами и знаками отличия. Богатые семьи пользовались случаем и вывозили на такие балы своих наследниц, чтобы они попались на глаза наполеоновским преторианцам; тут сказывалось безрассудное стремление обменять богатое приданое на призрачную милость. А женщины, которые были уверены во власти своей красоты, являлись на балы, чтобы испытать ее силу. Здесь, как и повсюду, веселье было лишь маской. За спокойными и улыбающимися лицами, за безмятежной осанкой таился отвратительный расчет; проявления дружбы бы-

ли ложью, и многие присутствующие опасались не своих врагов, а друзей. Замечания эти необходимы, чтобы объяснить развитие той небольшой интриги, которая составляет содержание настоящего рассказа, и чтобы показать, даже несколько смягченную, картину нравов, царивших в ту эпоху в салонах Парижа.

— Взгляните-ка на ту усеченную колонну с канделябром. Видите вы молодую женщину, причесанную вроде китаянки? Вон там, в углу, налево; у нее синие колокольчики в каштановых волосах, ниспадающих прядями. Заметили? Она бледна, будто нездорова; она прелестна и миниатюрна; вот она обернулась в нашу сторону, ее синие миндалевидные глаза так восхитительно кротки, словно созданы для слез. Смотрите! Она наклоняется, чтобы взглянуть на госпожу де Водремон сквозь этот живой лес голов, но высокие прически мешают ей.

— Вижу, дорогой мой. Ты бы так и сказал, что из всех присутствующих женщин она самая беленькая, и я бы тотчас ее заметил; такого цвета лица мне никогда еще не приходилось видеть. Бьюсь об заклад, что даже отсюда различу на ее шее каждую жемчужину, вставленную между сапфирами. Но она или слишком добродетельна, или же очень кокетлива; рюши корсажа позволяют лишь догадываться о красоте ее форм. Какие плечи! Какая лилейная белизна!

— Кто она? — спросил первый собеседник.

— Не знаю.

— Ах вы, аристократ! Вы хотите, Монкорне, приберечь всех красавиц для себя одного?

— Тебе не терпится подшутить надо мной? — ответил, улыбаясь, Монкорне.— Или ты, счастливый соперник Суланжа, считаешь себя вправе оскорблять бедного полковника вроде меня лишь потому, что каждое твое движение вызывает тревогу госпожи де Водремон? Или потому, что я всего лишь месяц тому назад вступил в эту землю обетованную? Ну и наглецы вы, господа чиновники! Сидите, словно приклеенные к своим стульям, тогда как вокруг нас рвутся снаряды! Хорошо, господин сенатский докладчик, позвольте же нам поживиться остатками колосьев на тех нивах, пользоваться которыми вам удается только в наше отсутствие. Черт

возьми, каждому хочется жить! Друг мой, если бы ты узнал немцев поближе, то, уверен, ты не мешал бы мне пленить эту парижанку, которая тебе так нравится.

— Полковник, поскольку вы удостоили вниманием эту даму, которую я вижу здесь впервые, то будьте добры скажите, танцевала ли она?

— Э! Дорогой мой Марсиаль, да откуда ты явился? Если тебя когда-нибудь назначат в посольство, то предсказываю: успеха ты иметь не будешь. Разве ты не видишь тройного ряда самых предприимчивых кокеток Парижа между нею и толпой танцоров, расхаживающих под люстрой? Разве ты мог бы без лорнета разглядеть ее около колонны,— она словно потонула в темноте, хотя над головой ее горят и свечи? Между нею и нами сверкает столько бриллиантов и взглядов, реет столько перьев, колышется столько кружев, цветов и шиньонов, что было бы воистину чудом, если бы кто-нибудь из танцоров заметил ее среди этих звезд. Как это ты, Марсиаль, не распознал в ней жену какого-нибудь супрефекта из Липпа или Диля, которая приехала, чтобы попытаться сделать мужа префектом?

— Он им будет! — с живостью ответил чиновник.

— Сомневаюсь,— смеясь, возразил полковник-кирасир.— Она, кажется, так же не искушена в интригах, как ты в дипломатии. Готов биться об заклад, Марсиаль, что ты не представляешь себе, каким образом она здесь очутилась.

Чиновник посмотрел на полковника, и взгляд его выражал пренебрежение и любопытство.

— Так вот,— продолжал Монкорне,— она, разумеется, приехала сюда ровно в девять часов,— может быть, первая, и, вероятно, поставила в затруднительное положение графиню де Гондревиль, которая двух слов связать не умеет. Обескураженная приемом хозяйки, оттесняемая со стула на стул каждой вновь прибывающей, она оказалась наконец в темном уголке, став жертвой зависти всех этих дам, которым только и надо было похоронить во мраке опасную незнакомку. У нее не нашлось друга, который помог бы ей удержать за собой место в переднем ряду; каждая из этих коварных женщин запретила своим поклонникам приглашать на танец нашу

бедную красавицу под страхом самых жестоких кар. Вот, дорогой мой, как эти прелестницы, такие нежные, такие кроткие с виду, образовали заговор против незнакомки, и притом каждая из них обронила всего лишь одну фразу: «Знакомы ли вы, моя милая, с маленькой женщиной в голубом?» Поэтому, Марсиаль, если ты хочешь за четверть часа получить столько льстивых взглядов и коварных вопросов, сколько не получишь, быть может, за всю свою дальнейшую жизнь,— попытайся пробиться сквозь тройной вал, защищающий королеву Диля, Липпа или Шаранты. Ты убедишься, что самая пустоголовая дама тотчас же придумает какую-нибудь уловку и удержит человека, даже твердо решившегося извлечь нашу бедную незнакомку из ее уголка. Не находишь ли ты, что она печальна, как элегия?

— А вы находите, Монкорне? Значит, она замужем.

— А почему бы ей не быть вдовой?

— Она была бы предприимчивей,— смеясь, возразил Марсиаль.

— Но может быть, она «соломенная вдова», может быть, муж у нее картежник,— заметил красавец-кирасир.

— В самом деле, с тех пор как заключили мир, появилось множество таких вдов,— ответил Марсиаль,— но, дорогой мой, мы с вами глупцы. Это лицо дышит такой милой наивностью, от этого чела веет такой юностью, свежестью, что она не может быть замужней. Какой нежный тон кожи! Какой точеный носик! Губы, подбородок — все свежо, как бутон белой розы, хотя весь облик как бы затянут дымкой печали. Кто мог довести до слез это молодое существо?

— Женщины плачут из-за всяких пустяков,— сказал полковник.

— Не знаю,— снова заговорил Марсиаль.— Но она плачет не потому, что не танцует,— ее горе давнее. По ее внешности видно, что она обдуманно готовилась к сегодняшнему балу. Она влюблена, держу пари.

— Ты думаешь? Может быть, она дочь какого-нибудь немецкого князька: никто с ней не заговаривает,— заметил Монкорне.

— Как несчастна бедная девушка! — подхватил

Марсиаль.— Здесь нет никого изящней, грациозней нашей маленькой незнакомки! И что же? Ни одна из окружающих ее мегер, считающих себя чуткими созданиями, и словом не перемолвится с ней. А заговори она — мы увидели бы, хороши ли у нее зубки.

— О, да ты закипаешь, как молоко, стоит лишь температуре чуть-чуть повыситься! — воскликнул Монкорне, слегка задетый тем, что так неожиданно встретил соперника в лице друга.

— Неужели,— сказал чиновник, не обращая внимания на замечание полковника и оглядывая в лорнет окружающих,— неужели никто здесь не знает имени этого экзотического цветка?

— Да она просто чья-нибудь компаньонка,— ответил Монкорне.

— Компаньонка! Компаньонка, украшенная сапфирами, достойными королевы, в платье из мехельнских кружев? Кому вы это рассказываете, полковник? Из вас тоже получился бы неважный дипломат, раз вы так опрометчивы в своих заключениях: то она у вас немецкая принцесса, то компаньонка.

Тут полковник Монкорне остановил за руку седого толстяка с умными глазами, коренастая фигура которого мелькала в разных уголках гостиной; он бесцеремонно присоединялся то к одной, то к другой группе гостей, и всюду его почтительно приветствовали.

— Гондревиль, дорогой мой,— обратился к нему Монкорне,— кто эта очаровательная хрупкая женщина, вон там, возле огромного канделябра?

— Канделябр? Это работа Раврио, дорогой мой, по рисунку Изабэ.

— О, я уже оценил твой вкус и твою любовь к искусству... Но кто же эта женщина?

— Понятия не имею. Вероятно, какая-нибудь приятельница моей жены.

— Или твоя любовница, старый плут?

— Честное слово, нет! Только моя супруга и способна приглашать людей, которых никто не знает.

Невзирая на это горькое замечание, с лица толстяка не сходила самодовольная улыбка, вызванная предположением кирасира. Монкорне вернулся к Марсиалю, который уже стоял в ближайшей группе и тщетно старал-

ся собрать сведения о незнакомке. Полковник взял его под руку и прошептал:

— Берегись, милый мой, госпожа де Водремон уже несколько минут внимательно смотрит на тебя, она может угадать, о чем мы говорим,— наши взгляды слишком красноречивы. Она прекрасно заметила и проследила, куда мы смотрим, и, мне кажется, заинтересована сейчас маленькой дамой в голубом сильнее, чем мы с тобой.

— Ты пускаешься на военную хитрость, дружище Монкорне! Ну, какое мне до всего этого дело? Я, как император, одерживаю победы и удерживаю их.

— Марсиаль, тебя стоит проучить за самонадеянность! Как?! Ты — штатский, тебе выпало счастье стать негласным супругом госпожи де Водремон, двадцатидвухлетней вдовы, располагающей рентой в четыре тысячи золотых и украшающей твою руку кольцом с таким вот дивным бриллиантом,— прибавил он, взяв левую руку приятеля, которую тот самодовольно предоставил ему рассматривать.— И ты еще стремишься изображать ловеласа, как какой-нибудь полковник, вынужденный поддерживать в гарнизонах репутацию военных? Фу! Ты только представь себе, что ты можешь потерять!

— Зато не потеряю свободы,— ответил Марсиаль с принужденным смехом.

Он бросил страстный взгляд на г-жу де Водремон, а она в ответ как-то тревожно улыбнулась, заметив, что полковник разглядывает кольцо на руке чиновника.

— Слушай, Марсиаль,— заговорил снова полковник,— если ты будешь порхать вокруг моей юной незнакомки, то я попытаюсь завоевать госпожу де Водремон.

— Пожалуйста, мой милый кирасир. Только вам это не удастся,— насмешливо ответил молодой человек, звонко щелкнув о зуб отполированным ногтем большого пальца.

— Имей в виду, я холостяк,— заметил полковник.— Все мое достояние — моя шпага, и бросить мне такой вызов — это все равно, что посадить Тантала перед лакомым угощением, которое он тотчас же проглотит.

— Бррр!

Это забавное сочетание согласных было ответом на вызов полковника, и, прежде чем расстаться с приятелем, Марсиаль смерил его с ног до головы шутливым взглядом. Мода той эпохи предписывала мужчинам носить на балу белые короткие панталоны из кашемира и шелковые чулки. Изящный наряд великолепно подчеркивал безупречное телосложение Монкорне, которому в ту пору было тридцать пять лет; его высокий рост — необходимая принадлежность кирасиров императорской гвардии — привлекал взоры; красивый мундир обрисовывал стройный стан, еще гибкий, несмотря на дородность, чем полковник был обязан верховой езде. Черные усы придавали открытому лицу действительно воинственное выражение; лоб у него был широкий и высокий, нос орлиный, губы алые. Монкорне держался с чувством собственного достоинства, порожденным привычкой командовать, и это могло нравиться женщине умной, не желающей видеть в муже раба. Полковник улыбнулся, глядя на собеседника, одного из своих лучших школьных товарищей; стройная, но невысокая фигура Марсиаля позволила полковнику в ответ на насмешку дружески посмотреть на него сверху вниз.

Барон Марсиаль де Ла-Рош-Югон, молодой провансалец, которому Наполеон покровительствовал, казалось, предназначая его для блестящего дипломатического поста, пленил императора итальянской услужливостью, умением интриговать, салонным красноречием и изяществом обхождения — такие качества легко заменяют в свете высокие нравственные достоинства людей положительных. Несмотря на жизнерадостность и молодость, глаза его уже были тусклы, как олово, лицо непроницаемо, а это—одно из свойств, необходимых дипломатам: они стараются скрывать движения души, маскировать чувства, но зачастую внешнее бесстрастие возвещает действительное отсутствие душевных волнений и гибель чувств. Сердце дипломата можно считать неразрешимой загадкой, ибо три самых выдающихся дипломата того времени проявили стойкость в ненависти и верность в сердечных привязанностях. Марсиаль принадлежал к разряду людей, способных обдумывать свое будущее даже в минуту самых пламенных наслаждений; он уже знал цену свету, скрывал свои честолюбивые стремления

под личиной фата, любимца женщин, и, заметив, с какой быстротой продвигаются люди, не вызывающие зависти у начальства, облек свой талант в ливрею посредственности.

Друзьям пришлось разойтись, они сердечно пожали друг другу руки. Ритурнель, приглашавшая танцоров начать новую фигуру кадрили, заставила всех уйти с обширного пространства посреди гостиной. Этот беглый разговор в промежутке между фигурами кадрили происходил возле камина в большой гостиной особняка Гондревиля. Собеседники вели эту обычную, пустую светскую болтовню шепотом, на ухо друг другу. Но свечи, горевшие в жирандолях и высоких канделябрах на камине, бросали такой ослепительный свет на двух друзей, что, несмотря на всю их дипломатическую выдержку, у обоих лица не могли скрыть мимолетного выражения чувств ни от проницательной графини де Водремон, ни от наивной незнакомки. Для праздных людей тайная слежка за чужой мыслью является, быть может, одним из тех развлечений, которое они находят в свете, тогда как множество глупцов и простофиль скучает, не смея в том признаться.

Чтобы понять, какой интерес представлял разговор двух друзей, необходимо рассказать о событии, которому предстояло невидимыми узами связать действующих лиц этой маленькой драмы, рассеянных по гостиным. Около одиннадцати часов вечера, в тот миг, когда танцующие занимали места, перед гостями графа Гондревиля предстала самая красивая женщина Парижа, законодательница мод, единственная, которой недоставало в этом блестящем обществе. Она взяла себе за правило приезжать лишь тогда, когда в гостиных уже наступило оживление, которое не позволяет женщинам уберечь свежесть лиц и туалетов. Этот короткий миг — весна бала. Спустя час, когда веселье минует, наступает утомление, все увядает. Г-жа де Водремон никогда не совершала промаха и не оставалась на балу, если цветы ее уже поблекли, локоны развились, наряд смялся, а лицо стало походить на лица тех, кого одолевает дремота. В отличие от соперниц, она старалась, чтобы никто не видел, как красота ее потускнела; она умела искусно поддерживать свою репутацию светской львицы, удаляясь с бала всегда столь же бли-

стательной, какой появилась. Женщины с завистью шептали друг другу, что у нее так много нарядов и драгоценностей, что за один вечер она сменяет их столько раз, сколько балов посещает. Но на этом балу г-же де Водремон не суждено было по собственной воле покинуть гостиную, куда она вошла с таким триумфом. Остановившись на мгновение на пороге, она быстрым зорким взглядом оглядела туалеты женщин, чтобы убедиться, что ее туалет затмил все другие. Знаменитая кокетка предстала перед восхищенными взорами собравшихся в сопровождении одного из самых храбрых гвардейских офицеров, артиллерийского полковника, любимца императора, графа де Суланжа. Мимолетный, неожиданный союз этой четы заключал в себе, несомненно, нечто таинственное. Услышав, что докладывают о приезде графа де Суланжа и графини де Водремон, некоторые женщины, присутствовавшие на балу простыми зрительницами, встали, мужчины поспешили из соседних комнат и столпились в дверях большой гостиной. Один из тех остряков, которые всегда встречаются на многолюдных собраниях, увидев входящую графиню и ее рыцаря, сказал:

— Женщины с таким же любопытством относятся к мужчинам, верным своей любви, с каким мужчины относятся к красивой и непостоянной женщине.

Граф Леон де Суланж, молодой человек лет тридцати двух, был одарен сильным характером, который порождает в мужчине высокие достоинства, однако хилая фигура и бледный цвет лица не красили его; черные живые глаза его светились умом, но в обществе он был молчалив, и ничто не предвещало в нем одного из талантливейших ораторов, которому при Реставрации суждено было блистать среди правых в законодательных собраниях. Графиня де Водремон, высокая, слегка полнеющая женщина, с ослепительно белой кожей, великолепной посадкой маленькой головы, владевшая завидным даром внушать любовь своим любезным обхождением, принадлежала к числу тех созданий, которые не обманывают надежд, внушаемых их красотой. Однако эта пара, привлекшая общее внимание, постаралась не дать пищи для продолжительного злословия. Полковник де Суланж и графиня, по-видимому, прекрасно понимали, что слу-

чай поставил их в неловкое положение. Как только они появились, Марсиаль поспешил к группе мужчин, стоявших возле камина, и с ревнивым вниманием, присущим первому пылу страсти, стал наблюдать за г-жой де Водремон поверх голов, образовавших перед ним своего рода преграду; казалось, тайный голос говорил ему, что успех, вселявший в него такую гордость, будет, пожалуй, непрочен, но вежливо-холодная улыбка, с которой графиня поблагодарила де Суланжа, и жест, которым она отпустила его, садясь около г-жи де Гондревиль, смягчили напряженность лица Марсиаля, вызванную ревностью. Однако, заметив, что в двух шагах от канапе, где сидела г-жа де Водремон, стоит граф де Суланж, очевидно, не разгадавший взгляда молодой кокетки, которым она давала ему понять, какую смешную роль они оба играют, пылкий провансалец снова нахмурил черные брови, осенявшие его голубые глаза; он с виду непринужденно поглаживал свои каштановые локоны и, не выдавая волнения, от которого колотилось его сердце, наблюдал за поведением графини и г-на де Суланжа, болтая в то же время с соседями и пожимая руку полковнику Монкорне, возобновившему с ним знакомство; но он был так озабочен, что слушал, не понимая, о чем тот говорит. Суланж невозмутимо оглядывал четыре ряда женщин, обрамлявшие большую гостиную сенатора, любуясь этим живым бордюром, переливами бриллиантов, рубинов, золотой вязи и ослепительных головных уборов, от блеска которых как будто тускнели огни свечей, хрусталь люстр и позолота. Безмятежное спокойствие соперника вывело Марсиаля из себя. Он не в силах был подавить тайного нетерпения, владевшего им, и подошел к г-же де Водремон, чтобы поздороваться с нею. При появлении провансальца Суланж бросил на него холодный взгляд и дерзко отвернулся. В гостиной воцарилась многозначительная тишина, любопытство достигло высшей точки напряжения. Насторожившиеся лица выражали самые разнообразные чувства; каждый опасался и одновременно ждал одного из тех взрывов, от которых люди воспитанные всегда стараются воздержаться. Вдруг бледное лицо Суланжа вспыхнуло, стало пунцовым, как отвороты и обшлага его мундира, и, не желая, чтобы догадались о причине его волнения, он опустил глаза.

Заметив незнакомку, скромно сидящую под канделябром, Суланж грустно прошел мимо Марсиаля и скрылся в одной из гостиных, где играли в карты. Марсиаль и все присутствующие решили, что Суланж публично уступил ему место, опасаясь показаться смешным, какими обычно кажутся покинутые любовники. Марсиаль приосанился, взглянул на незнакомку, затем непринужденно уселся возле г-жи де Водремон, но слушал ее так рассеянно, что не расслышал слов, которые кокетка произнесла, прикрывшись веером:

— Марсиаль, снимите, пожалуйста, и не надевайте сегодня кольцо, которое вы насильно взяли у меня. На это есть причины, я объясню их вам, когда мы отсюда уедем. Предложите мне руку и проводите меня к принцессе Ваграмской.

— Почему вы позволили полковнику де Суланжу ввести вас под руку в гостиную? — спросил барон.

— Я встретила его у колоннады перед домом,— ответила она.— Но теперь оставьте меня, за нами наблюдают.

Марсиаль вновь подошел к Монкорне. Маленькая женщина в голубом в этот миг была средоточием беспокойства, волновавшего одновременно и столь различно кирасира, Суланжа, Марсиаля и графиню де Водремон. Когда друзья расстались, бросив друг другу шутливый вызов и на этом закончив разговор, Марсиаль поспешил к г-же де Водремон и ловко ввел ее в самый блестящий ряд кадрили. Зная, как опьяняюще действуют на женщин танцы, бальный шум и присутствие разодетых мужчин, Марсиаль вообразил, что может безнаказанно отдаться тому очарованию, которое влекло его к незнакомке. Ему удалось скрыть от тревожно-пытливого взора г-жи де Водремон первые взгляды, которые он бросал на даму в голубом, однако он все же был пойман на месте преступления, и если на первый раз получил прощение, то позже ему нечем было оправдать неуместное молчание, которым он ответил на самый обворожительный вопрос, с каким женщина может обратиться к мужчине: «Любите вы меня сейчас?» Чем задумчивее становился он, тем настойчивее и требовательнее становилась графиня. Пока Марсиаль танцевал, полковник Монкорне переходил от группы к группе гостей, собирая сведения

о юной незнакомке. Исчерпав любезность всех присутствующих, даже самых неразговорчивых, он уже решил было воспользоваться тем, что графиня де Гондревиль на минуту освободилась, и узнать у нее фамилию таинственной дамы, как вдруг заметил узкий проход между усеченной колонной, которая поддерживала канделябр, и двумя стоящими около нее диванчиками. Полковник воспользовался тем, что во время кадрили стулья опустели и образовали ряды укреплений, защищаемые лишь матерями танцорок или пожилыми дамами, и решил пройти через эту изгородь, завешанную шалями и носовыми платками. Он начал с комплиментов старухам, затем, рассыпаясь в любезностях и переходя от женщины к женщине, достиг наконец свободного места около незнакомки. Чуть не доставая головой до грифов и химер огромного канделябра, он словно врос в пол под пламенем восковых свечей, к великому неудовольствию Марсиаля. Как человек неглупый, Монкорне не сразу заговорил с дамой в голубом, оказавшейся справа от него, а сначала обратился к полной, довольно некрасивой даме, сидевшей слева.

— Не правда ли, сударыня, великолепный бал? Какая роскошь, какое оживление! Клянусь честью, тут собрались одни красавицы. Вы не танцуете, разумеется, только оттого, что не желаете?

Затеяв эту пошлую болтовню, полковник хотел вовлечь в разговор соседку справа, которая задумчиво молчала и не обращала на него ни малейшего внимания. У офицера наготове было множество фраз, и он собирался закончить речь обращением, на которое сильно рассчитывал: «А вы, сударыня?» Но, к своему крайнему изумлению, он заметил в глазах незнакомки слезы; а тем временем г-жа де Водремон, казалось, пожирала ее взглядом.

— Вы, без сомнения, замужем, сударыня? — спросил наконец неуверенно полковник Монкорне.

— Да, сударь,— ответила незнакомка.

— Ваш супруг, наверно, здесь?

— Да, сударь.

— А почему же вы, сударыня, выбрали такое место? Из кокетства?

Бедняжка грустно улыбнулась.

— Окажите мне честь, сударыня, разрешите быть вашим кавалером в следующем контрдансе, и я уже не приведу вас сюда. Я вижу около камина свободный диванчик, прошу вас, пересядьте. Не думаю, что в наше время, когда все стремятся к власти и бредят императорским троном, вы откажетесь от титула королевы бала, который предназначен вашей красоте.

— Сударь, я не буду танцевать.

Краткие ответы незнакомки настолько обескуражили полковника, что ему пришлось отступить. Марсиаль, угадав последнюю просьбу полковника и полученный им отказ, улыбнулся, погладил подбородок, и бриллиантовое кольцо, украшавшее его руку, засверкало.

— Над чем вы смеетесь? — спросила его графиня де Водремон.

— Над неудачей бедного полковника,— он сейчас попал впросак...

— Ведь я вас просила снять кольцо! — прервала его графиня.

— Я не слыхал.

— Вы сегодня ничего не слышите, зато все видите, барон,— обиженно возразила г-жа де Водремон.

— Взгляните, какой дивный бриллиант на кольце у того молодого человека,— сказала в это время незнакомка полковнику.

— Изумительный,— ответил он.— Этот молодой человек — барон Марсиаль де Ла-Рош-Югон, мой близкий друг.

— Благодарю вас, что вы сообщили мне его имя. Он, кажется, очень мил.

— Да, только немного ветреник.

— По-видимому, он в хороших отношениях с графиней де Водремон? — сказала молодая дама, вопросительно взглянув на полковника.

— В наилучших!

Незнакомка побледнела.

«Вот как! — подумал полковник.— Она влюблена в Марсиаля, черт его подери!»

— А я думала, что графиня де Водремон уже давно близка с господином де Суланжем,— вновь заговорила молодая женщина, несколько оправившись от внутреннего волнения, омрачившего ее лицо.

— Вот уже неделя, как графиня ему изменяет,— ответил полковник.— Да вы, наверно, заметили беднягу Суланжа, когда он вошел: он все еще не желает поверить в свое несчастье.

— Да, я видела его,— ответила дама в голубом и добавила тоном, в котором звучало желание пресечь беседу: — Благодарю вас, сударь.

В это время танец уже заканчивался, и обескураженный полковник едва успел ретироваться, утешая себя тем, что незнакомка замужем.

— Ну как, храбрый кирасир? — спросил Марсиаль, увлекая полковника к окну, чтобы подышать свежим воздухом, лившимся из сада.— Чего же вы добились?

— Она замужем, мой милый.

— Ну и что же?

— Э, черт возьми! Я человек нравственный,— ответил полковник.— Отныне я намерен ухаживать только за теми женщинами, на которых можно жениться. Кроме того, Марсиаль, она решительно заявила, что не желает танцевать.

— Держу пари, полковник, на вашу серую лошадь в яблоках против ста червонцев, что со мной она будет танцевать сегодня же.

— Согласен,— ответил полковник, хлопнув ладонью по ладони светского денди.— А пока я поищу Суланжа, может быть, он знаком с этой дамой; она, по-моему, им интересуется.

— Друг мой, вы уже проиграли,— смеясь, сказал Марсиаль.— Мы встретились с ней глазами, а я-то уж в этом знаю толк! Любезный мой полковник, вы не обидитесь на меня, если я буду танцевать с ней после того, как вам она отказала?

— Нет, нет, смеется хорошо тот, кто смеется последний. Вообще, Марсиаль, я — недурной игрок и добрый противник. Предупреждаю тебя: она любит бриллианты.

На этом друзья расстались. Полковник Монкорне направился в игорный зал и заметил там графа Суланжа, игравшего в карты. Хотя между двумя полковниками существовали лишь те обычные приятельские отношения, которые создаются на войне и на службе, кирасир все же был глубоко потрясен, увидев, что артиллерист, которого он знал как человека благоразумного, втянулся в игру,

грозившую ему разорением. Груды золота и банковских билетов, лежавшие на роковом сукне, свидетельствовали об очень азартной игре. Вокруг игроков, сидевших за столом, безмолвно стояли зрители. Порой слышались возгласы: «Пас!», «Играю!», «Держу!», «Ставлю тысячу луидоров!»,— хотя казалось, что пятерка неподвижных игроков переговаривается лишь взглядами. Когда Монкорне, встревоженный бледностью Суланжа, приблизился к нему, тот выигрывал. Герцог д'Изамбер и известный банкир Келлер встали, проигравшись в пух и прах. Суланж помрачнел еще больше, сгребая кучу золота и ассигнаций; он даже не сосчитал их; губы его кривились горькой и презрительной усмешкой; он угрожал фортуне, вместо того чтобы благодарить ее за милости

— Мужайтесь, Суланж, мужайтесь! — проговорил полковник и, думая, что окажет ему большую услугу, оторвав его от карт, добавил: — Идемте, у меня есть для вас приятная новость, но я сообщу ее вам только при одном условии.

— Каком? — спросил де Суланж.

— Если вы ответите на мой вопрос.

Граф де Суланж быстро встал, небрежно положил выигрыш в носовой платок, который перед этим судорожно мял в руках, и никто из игроков не решился заметить ему, что не полагается прекращать игру сразу же после выигрыша,— так сурово было его лицо. Все вздохнули свободнее, когда этот несчастный, угрюмый человек покинул ярко освещенный стол.

— Эти проклятые военные действуют заодно, как мошенники на ярмарке,— прошептал наблюдавший за игрой дипломат, занимая место Суланжа.

Лишь один из игроков, бледный и утомленный, обернулся к новому партнеру и, посмотрев на него глазами, блеснувшими, как бриллианты, но тотчас же потухшими, сказал:

— Военный — это еще не значит человек учтивый, господин министр.

— Дорогой мой,— проговорил Монкорне, увлекая де Суланжа в сторону,— сегодня утром император изволил милостиво отозваться о вас, и ваше производство в маршалы — дело решенное.

— Император не жалует артиллерии.

— Да, но он обожает дворянство, а вы из «бывших». Император сказал,— продолжал Монкорне,— что тех, кто женился в Париже во время войны, не следует считать опальными. Ну, как?

Казалось, граф не воспринимал этих слов.

— А теперь,— снова заговорил полковник,— я надеюсь, вы скажете мне, кто та очаровательная маленькая женщина, что сидит возле канделябра...

При этих словах глаза графа вспыхнули, он стремительно схватил руку полковника.

— Дорогой полковник,— сказал он прерывающимся голосом,— если бы этот вопрос задал мне кто-нибудь другой, я раскроил бы ему череп вот этим свертком золота. Оставьте меня, умоляю вас! Сегодня мне лучше застрелиться, чем... все мне здесь опротивело. Я сейчас уеду. Это веселье, музыка, эти дурацкие смеющиеся лица просто невыносимы!

— Мой бедный друг,— мягко произнес Монкорне, дружески похлопывая Суланжа по руке,— вы слишком горячитесь. А что вы скажете, если я сообщу вам, что Марсиаль влюбился в эту очаровательную даму? Он от нее без ума и даже думать забыл о госпоже де Водремон.

— Посмей он только заговорить с ней, этот хвастунишка,— заикаясь от ярости, вскричал Суланж,— и я превращу его в лепешку, даже если он находится под защитой императорского герба!

Граф в изнеможении упал на диванчик, к которому подвел его полковник. Монкорне медленно удалился, поняв, что Суланж охвачен таким неистовым гневом, что шутки или простое товарищеское участие не успокоят его. Когда полковник Монкорне вошел в большой танцевальный зал, ему прежде всего бросилась в глаза г-жа де Водремон, и он заметил на ее лице, обычно таком спокойном, плохо скрытое волнение. Около нее оказался свободный стул, и полковник сел на него.

— Держу пари, что вы чем-то встревожены! — сказал он.

— Пустяки, полковник! Я хотела бы уехать отсюда, я обещала быть на балу у герцогини Берг, а до этого мне надо еще заехать к принцессе Ваграмской. Барону де Ла-Рош-Югон все это великолепно известно, однако он забавляется тем, что ухаживает за старушками.

— Вас тревожит не только это, я готов поспорить на сто луидоров, что вы никуда не поедете.

— Дерзкий!

— Значит, угадал?

— Итак, вам хочется узнать мои мысли? — проговорила г-жа де Водремон, ударив полковника веером по руке.— Пожалуй, я вознагражу вас, если ваша догадка верна.

— Вызова не принимаю, у меня слишком много преимуществ перед вами.

— Какая самонадеянность!

— Вы боитесь видеть Марсиаля у ног...

— У чьих ног? — спросила г-жа де Водремон, притворяясь удивленной.

— Вон того канделябра,— ответил полковник, указывая на прекрасную незнакомку и пристально вглядываясь в графиню.

— Вы угадали,— ответила кокетка, пряча лицо за веером, которым она обмахивалась. Помолчав, она продолжала: — Старуха де Ланса к — а она, сами знаете, хитра, как старая обезьяна,— сейчас сказала мне, будто господин де Ла-Рош-Югон может навлечь на себя какую-то опасность, если станет ухаживать за этой незнакомкой, которая сегодня мешает общему веселью. Лучше бы увидеть смерть, чем это безжалостно-прекрасное лицо, бледное, словно призрак. Она — мой злой гений.— И графиня продолжала, сделав недовольный жест: — Госпожа де Ланса к ездит на балы лишь затем, чтобы за всеми подсматривать, хотя всегда притворяется, будто дремлет. Старуха очень встревожила меня. Марсиаль дорого поплатится за шутку, которую сыграл со мной. Все же, полковник, раз он вам друг, скажите ему, чтобы он не огорчал меня.

— Я только что разговаривал с человеком, который дал слово прострелить Марсиалю голову, если он осмелится заговорить с этой дамой. А человек этот, сударыня, на ветер слов не бросает. Но я знаю Марсиаля, препятствия только дразнят его. Скажу вам больше: мы с ним держали пари.

Тут полковник что-то сказал графине, понизив голос.

— Правда? — спросила она.

— Клянусь честью!

— Благодарю вас, полковник,— ответила г-жа де Водремон, кокетливо взглянув на него.

— Окажите мне честь протанцевать со мной.

— Хорошо, только второй контрданс. Во время первого я хочу узнать, что может выйти из всей этой затеи и кто та худенькая дама в голубом; она, кажется, неглупа.

Полковник понял, что г-жа де Водремон желает остаться одна, и удалился, довольный тем, что так удачно начал атаку.

На балах иной раз можно встретить женщин, которые, как г-жа де Ланеак, следят за всем происходящим, подобно бывалым морякам, наблюдающим с берега борьбу молодых матросов со штормом. В это мгновение г-жа де Ланеак, видимо, заинтересовавшаяся участниками этой сцены, могла легко догадаться о тревоге, терзавшей графиню. Напрасно кокетка изящно обмахивалась веером, напрасно улыбалась она молодым людям, приветствовавшим ее, и пускала в ход все уловки, к которым прибегают женщины, чтобы скрыть сердечное волнение,— г-жа де Ланеак, одна из самых проницательных и лукавых герцогинь XVIII века, унаследованных XIX веком, читала в ее сердце и в мыслях. Старая дама замечала признаки, свидетельствующие о душевном смятении графини де Водремон. Незаметная морщинка, прорезавшая это белое и ясное чело, еле уловимое подергивание лица, чуть нахмуренные брови, почти неприметно вздрагивающие губы, яркость которых не могла ничего утаить от старой герцогини,— все это было приметами, по которым она читала, как в открытой книге. Восседая в покойном кресле, скрытом ее пышными юбками, маститая светская львица болтала с каким-то дипломатом, разыскавшим ее, чтобы послушать анекдоты, которые она так хорошо рассказывала, и в то же время она любовалась отображением былой своей молодости в прелестной графине де Водремон; ей нравилось, как та искусно скрывает свое горе и сердечные раны. И действительно, чем глубже страдала графиня де Водремон, тем больше старалась она казаться веселой; она думала, что найдет в Марсиале человека одаренного и что при его содействии ей удастся играть влиятельную роль в свете; теперь она сознавала свое заблуждение, пагубное для ее репутации

и обидное для ее самолюбия. Чем внезапнее были ее страсти, тем они были сильнее, как у всех женщин той эпохи. Души, увлекающиеся быстро и часто, страдают не менее сильно, чем души, верные одной-единственной привязанности. Правда, графиня де Водремон влюбилась в Марсиаля совсем недавно, но даже самый заурядный хирург знает, что ампутация здорового органа гораздо болезненнее, чем органа больного. В чувстве графини к Марсиалю было что-то обещающее, тогда как связь ее с Суланжем ничего не сулила в будущем и была отравлена угрызениями совести, которые терзали ее любовника. Герцогиня де Лансак, подстерегавшая подходящую минуту, чтобы поговорить с графиней, поторопилась отпустить дипломата, ибо даже у старой женщины в присутствии поссорившихся любовников пропадает интерес ко всему прочему. Г-жа де Лансак, словно подзадоривая графиню, так язвительно взглянула на нее, что молодая женщина испугалась, полагая, что ее судьба находится в руках этой старухи. Иногда взоры, которые женщина бросает на женщину, напоминают пламя факелов, предвещающих развязку трагедии. Надо было знать герцогиню, чтобы понять тот ужас, который внушало графине выражение ее лица. Г-жа де Лансак была представительной женщиной, черты ее лица говорили о том, что когда-то она была очень хороша. Под густым слоем белил и румян почти не было заметно морщин, но глаза ее ничего не могли позаимствовать у поддельной яркости щек и казались еще более тусклыми. Она вся сверкала бриллиантами и одевалась с таким вкусом, что не казалась смешной. Ее острый нос выражал ехидство. Удачно вставленная челюсть придавала рту что-то ироническое, вызывая в памяти усмешку Вольтера. Вместе с тем очаровательная изысканность обхождения настолько смягчала язвительность речи, что упрекать ее за едкость было невозможно. Серые глаза старухи оживились, на губах заиграла улыбка, говорившая: «Ведь я вам обещала!»,— и она устремила торжествующий взгляд в уголок гостиной, где томилась у канделябра молодая дама в голубом: бледное личико незнакомки от радости залилось румянцем. Союз между нею и г-жой де Лансак не ускользнул от проницательного взгляда графини де Водремон, которая почуяла тут какую-то тайну и захотела проникнуть в нее. В это

мгновение барон Марсиаль де Ла-Рош-Югон, расспросив всех пожилых дам и так и не узнав фамилии незнакомки в голубом, сделал еще одну отчаянную попытку и обратился к графине де Гондревиль, но услышал малоудовлетворительный ответ:

— Эту даму мне представила *бывшая* герцогиня де Лансак.

Случайно обернувшись к креслу, на котором сидела старуха, барон перехватил многозначительный взгляд, брошенный ею на незнакомку, и хотя с некоторых пор он был с герцогиней в натянутых отношениях, все же решил подойти к ней. Заметив бойкого барона, вертевшегося около ее кресла, бывшая герцогиня лукаво улыбнулась и так выразительно взглянула на г-жу де Водремон, что полковник Монкорне расхохотался.

«Старая колдунья напускает на себя дружелюбный вид,— подумал барон,— значит, она собирается сыграть со мной какую-нибудь злую шутку».

— Сударыня,— обратился он к ней,— я слышал, будто вам поручено охранять редкостное сокровище.

— Вы принимаете меня за дракона? — спросила старуха.— Но о ком это вы говорите? — добавила она так ласково, что надежда вернулась к Марсиалю.

— О той изящной незнакомке, которая из-за ревности всех этих кокеток пребывает в одиночестве. Вы, разумеется, знаете, кто она?

— Знаю,— ответила герцогиня.— Но зачем вам эта провинциалка, недавно вышедшая замуж? Она никуда не выезжает.

— Почему она не танцует? Она так хороша! Хотите, заключим с вами мирный договор? Если вы соблаговолите дать мне сведения обо всем, что меня интересует, то клянусь, что стоит вам попросить о возврате лесов, которыми владел род Наварренов, и ваша просьба будет горячо поддержана перед императором палатой государственных имуществ.

Принадлежность г-жи де Лансак к младшей ветви дома Наварренов (герб которой изображает на голубом поле серебряный жезл и шесть серебряных наконечников пики, пересекающих поле сверху донизу), а также близость старой дамы к Людовику XV дали ей право на титул «жалованной герцогини»; но Наваррены еще не вер-

нулись из эмиграции, поэтому барон просто-напросто предложил старухе пойти на подлость, намекнув, что она может присвоить себе владения старшей ветви.

— Сударь,— с нарочитой строгостью ответила старая дама,— попросите графиню де Водремон подойти ко мне. Обещаю вам открыть ей тайну о незнакомке, которой все так заинтригованы. Взгляните, все мужчины на балу интересуются ею не меньше, чем вы. Все невольно поглядывают в сторону канделябра,—возле него так скромно сидит моя протеже и принимает дань восхищения, которой завистницы хотели ее лишить. Счастлив тот, кого она удостоит танцем.

Герцогиня умолкла и взглянула на графиню де Водремон, словно сообщая ей: «Мы говорим о вас». Потом добавила:

— Думаю, что вам будет приятнее узнать имя незнакомки из уст вашей прелестной графини, чем от меня.

Герцогиня бросала такие красноречивые взгляды, что г-жа де Водремон встала, подошла к ней, села на стул, подвинутый ей Марсиалем, и, не обращая на него внимания, смеясь, сказала:

— Я поняла, сударыня, что вы говорите обо мне, но я так недогадлива, что не знаю, хвалите вы меня или порицаете.

Госпожа де Лансак сухой, морщинистой рукой пожала прелестную ручку молодой женщины и сочувственно шепнула ей:

— Бедняжка!

Женщины взглянули друг на друга. Г-жа де Водремон поняла, что Марсиаль был лишним, и отпустила его, повелительно сказав:

— Оставьте нас.

Барон, весьма недовольный тем, что графиня поддалась обаянию опасной сивиллы, подозвавшей ее к себе, бросил на г-жу де Водремон один из тех взглядов, которые обладают властью над слепой любовью, но кажутся смешными женщине, когда она начинает здраво судить о том, в кого была влюблена.

— Уж не думаете ли вы подражать императору? — заметила с насмешливым видом г-жа де Водремон, слегка повернув голову.

Марсиаль слишком хорошо знал свет, был слишком

«СУПРУЖЕСКОЕ СОГЛАСИЕ».

«ГОБСЕК»

проницателен и расчетлив, чтобы пойти на риск и порвать с г-жой де Водремон, зная, что она пользуется благосклонностью двора и сам император хочет выдать ее замуж; кроме того, он надеялся, что ревность, которую он намеревался пробудить в графине, явится лучшим средством узнать тайну ее нежданного охлаждения к нему; итак, он охотно удалился, тем более, что в эту минуту новый контрданс вызвал оживление в зале. Барон сделал вид, что освобождает место для кадрили, и, отойдя в сторону, прислонился к мраморному подзеркальнику и, скрестив на груди руки, стал сосредоточенно смотреть на беседующих. Время от времени он улавливал их взгляды, которые они то и дело бросали на незнакомку. Сравнивая графиню с новоявленной красавицей, которую тайна делала столь привлекательной, барон строил чудовищные планы, свойственные баловням женщин; он колебался: завладеть ли ему богатством или же удовлетворить свою прихоть? При свете горевших вокруг свечей его озабоченное и мрачное лицо так резко вырисовывалось на фоне белых муаровых драпировок, которых касались его темные волосы, что его можно было сравнить с каким-то злым духом. Без сомнения, многие гости подумали: «Вот еще один несчастный малый, делающий вид, что ему чрезвычайно весело».

Слегка прислонившись плечом к косяку двери, ведущей из бального зала в игорный, стоял полковник Монкорне; под густыми усами его скрывалась усмешка: он наслаждался, любуясь водоворотом бала, он видел сотни прелестных пар, кружившихся в причудливом вихре танца, он читал на некоторых лицах, как, например, на лице графини и своего друга Марсиаля, тайну их волнения; затем, обернувшись, он подумал: какая же связь существует между мрачным видом графа де Суланжа, все еще сидевшего на диванчике, и печальным обликом незнакомки, в чертах которой сквозили попеременно то радостная надежда, то невольный ужас? Монкорне стоял здесь, словно властелин празднества; он находил в этой движущейся картине яркое отражение всего светского общества и смеялся над ними, ловя заискивающие улыбки сотни блистательных и пышно разодетых женщин; полковник императорской гвардии — чин этот соответствовал чину бригадного генерала — являлся, несомненно, од-

ним из самых блестящих женихов среди военных. Время приближалось к полуночи. Разговоры, картежная игра, танцы, игра в любовь, расчеты, колкости и замыслы — все достигло своего апогея; настал тот миг, когда молодежь невольно восклицает: «Какой чудесный бал!»

— Ангел мой,— говорила г-жа де Ланеак графине,— вы находитесь в том возрасте, когда я совершала множество ошибок. Я понимаю, какие муки терзают вас, и мне захотелось прийти вам на помощь. Сделать ложный шаг в двадцать два года — значит испортить себе все будущее, значит порвать платье, которое собираешься надеть. Дорогая моя, мы слишком поздно узнаем, как надо носить его, чтобы не помять. Продолжайте приобретать себе, дитя мое, умных врагов и искренних друзей, и вы увидите, как хорошо вам будет жить на свете.

— Ах, сударыня, женщине так трудно добиться счастья, не правда ли? — наивно воскликнула графиня.

— Милочка, в ваши годы надо научиться выбирать между удовольствиями и счастьем. Вы хотите выйти замуж за Марсиаля, а он не настолько глуп, чтобы быть хорошим мужем, и не так пылок, чтобы быть любовником. У него долги, дорогая моя, он промотает ваше состояние; однако все это было бы пустяки, если бы он дал вам счастье. Но разве вы не видите, как он истаскан? Он прожигает остатки здоровья. Через три года он будет конченым человеком. Он честолюбец и попытается, быть может, добиться положения, но удастся ли ему это? Не думаю. Кто он такой? Интриган, всегда умеющий воспользоваться обстоятельствами, ловкий пустомеля, но он слишком корыстолюбив, чтобы стать человеком уважаемым; далеко он не продвинется. Вглядитесь в него. Разве на его лице не читаешь, что сейчас он видит в вас не прелестную молодую женщину, а ваши два миллиона? Он не любит вас, дорогая моя, он расчетлив, и брак с вами для него — сделка. Если хотите выйти замуж, изберите человека более пожилого, почтенного и продвигающегося вперед. Вдове не следует выходить замуж легкомысленно, по любви. Мышь, и та не попадается дважды в одну и ту же мышеловку. Теперь брачный контракт должен быть для вас деловым; надо, чтобы, выходя замуж вторично, вы могли по крайней мере надеяться в один прекрасный день оказаться женою маршала.

Тут обе женщины невольно взглянули на представительную фигуру Монкорне.

— А если вам, моя милая крошка, хочется играть трудную роль покорительницы сердец и не выходить вторично замуж,— добродушно продолжала герцогиня,— то вы лучше, чем кто-либо, сумеете собирать предгрозовые тучи и рассеивать их. Но, заклинаю вас, не нарушайте ради забавы супружеское согласие, не разрушайте семейные устои и благополучие счастливых женщин. Когда-то, моя дорогая, я играла эту опасную роль. О, боже мой, как часто ради торжества собственного самолюбия губишь бедные добродетельные создания — а добродетельные женщины, моя дорогая, действительно существуют — и создаешь себе смертельных врагов! К сожалению, я слишком поздно поняла, что одна семга лучше тысячи лягушек, как говорил герцог Альба. Истинная любовь дает во много раз больше наслаждений, чем мимолетные страсти, которые мы внушаем. Знаете ведь, я приехала сюда, чтобы наставить вас. Да, да, ради вас сижу я в этом салоне, который смахивает на лакейскую. Ведь это все комедианты! В былое время, моя дорогая, их пускали не дальше будуара, но принимать их в гостиной, фи! Почему вы так удивленно смотрите на меня? Послушайте! Играйте только теми мужскими сердцами, которые свободны, теми, которые не связаны обязательствами, иначе мужчины не простят нам потрясений, какие вносит в их жизнь наша любовь. Воспользуйтесь этой истиной, я почерпнула ее из моего жизненного опыта. Вот, например, этот несчастный Суланж,— вы вскружили ему голову и за год с небольшим бог знает до чего довели. А знаете ли вы, на что покушаетесь? На жизнь его. Он женат уже два с половиной года; жена, очаровательное создание, обожает его; он ее любит, но изменяет ей. Ее жизнь проходит в слезах и горестном уединении. Не раз любовные радости Суланжа меркли по сравнению с терзавшими его муками совести. А вы, прелестная обманщица, вы предали его! Пойдемте же, посмотрим на дело ваших рук.

Старая герцогиня оперлась на руку г-жи де Водремон, и они встали.

— Взгляните,— сказала г-жа де Лансак, указывая

глазами на бледную и дрожащую незнакомку, сидящую у ярко горевшего канделябра,— это моя племянница, графиня де Суланж; сегодня она уступила наконец моим настояниям и оставила обитель печали, где не может найти утешения, даже любуясь своим ребенком. Видите ее? Она прелестна, не правда ли? Но, красавица моя, представьте себе, какой бы она была, если бы любовь и счастье озаряли это грустное личико!

Графиня де Водремон молча отвернулась; казалось, ее охватило глубокое раздумье. Герцогиня повела ее к дверям игорного зала и заглянула туда, словно отыскивая кого-то.

— А вот и Суланж,— многозначительно сказала она молодой ветренице.

Графиня вздрогнула, заметив в самом темном углу комнаты Суланжа, откинувшегося на спинку диванчика: его бледное и искаженное лицо, повисшие в изнеможении руки и застывшая поза выдавали страдание; игроки проходили, не обращая на него никакого внимания, будто его не существовало. В том зрелище, которое являли собою жена в слезах и мрачный, подавленный муж, разлученные друг с другом среди пышного празднества, как две половины надвое расщепленного дерева, графиня почувствовала что-то пророческое. Она испугалась, что для нее это предвестник будущего возмездия. Ее сердце еще не очерствело, доброта и отзывчивость еще не стали ей совершенно чужды; она пожала руку герцогине, поблагодарив ее улыбкой, от которой веяло детским очарованием.

— Дитя мое,— сказала ей на ухо старуха,— не забывайте, что мы умеем так же искусно отстранять от себя поклонников, как и привлекать их.

— Если вы не наделаете глупостей, она ваша!

Слова эти г-жа де Лансак шепнула полковнику Монкорне, в то время как графиня размышляла о Суланже, жалея его, потому что она еще достаточно искренне его любила; желая ему счастья, красавица дала себе слово воспользоваться неотразимой властью, какую оказывали на него ее чары, и заставить его вернуться к жене.

— О! Я постараюсь убедить его,— сказала она г-же де Лансак.

— Не надо, дорогая! — воскликнула герцогиня, воз-

вращаясь к своему креслу.— Изберите себе хорошего мужа и откажите моему племяннику от дома. Не предлагайте ему даже вашей дружбы. Поверьте, моя милая, женщина не принимает обратно от соперницы сердце своего супруга; она бывает во сто крат счастливее, думая, что отвоевала его сама. Уговорив племянницу приехать сюда, я хотела предоставить ей удобный случай вновь обрести нежность своего супруга. Прошу вас лишь об одном: ради успеха нашего заговора плените полковника Монкорне.

И когда она указала на друга Марсиаля, графиня улыбнулась.

— Ну как, сударыня? Узнали вы наконец имя незнакомки? — обиженно спросил Марсиаль у графини, когда та осталась одна.

— Узнала,— ответила г-жа де Водремон, взглянув на него.

Ее лицо было и лукаво и весело. Оживленная улыбка не сходила с ее губ, мерцающий блеск глаз напоминал блуждающие огоньки, смущающие путника. Марсиаль, нисколько не сомневаясь в том, что он все еще любим, принял изящную позу мужчины, склонившегося перед женщиной, в которую он влюблен, и произнес напыщенно:

— Вы не посетуете на меня, если я скажу вам, что мне очень хотелось бы знать ее имя?

— А вы на меня не посетуете,— спросила г-жа де Водремон,— если я, все еще немного любя вас, не скажу вам ее имени и не позволю вам даже слегка ухаживать за ней? Вы рискуете, быть может, своей жизнью.

— Сударыня, утратить вашу благосклонность — не значит ли утратить больше, чем жизнь?

— Марсиаль,— строго сказала графиня,— это госпожа де Суланж! Ее муж прострелит вам голову, если только у вас на плечах есть голова.

— Ха-ха! — самодовольно рассмеялся Марсиаль.— Полковник не тронул того, кто похитил у него ваше сердце, и вдруг вызовет меня на поединок из-за жены! Какой переворот во взглядах! Умоляю вас, позвольте мне танцевать с этой дамой! Вы получите доказательство, как мало любви к вам жило в холодном сердце Суланжа, ибо если ему не понравится, что я танцую с его женой, то как же он мог вынести, что я...

— Но она любит своего мужа.

— Это — лишнее препятствие, которое только усугубит радость победы.

— Но она замужем.

— Забавное возражение!

— Ах! — горько усмехнувшись, воскликнула графиня.— Вы нас наказываете и за наши проступки и за наше раскаяние.

— Не сердитесь,— с живостью сказал Марсиаль.— Умоляю вас, простите меня! Я больше и не думаю о госпоже де Суланж.

— Вы заслуживаете того, чтобы я вас прогнала к ней.

— Иду,— смеясь, ответил барон,— и вернусь к вам еще более влюбленным. Вы убедитесь, что даже самая прекрасная женщина в мире не может завладеть сердцем, которое принадлежит вам.

— Это значит, что вы желаете выиграть у полковника его коня.

— Вот предатель! — воскликнул, смеясь, Марсиаль и погрозил пальцем улыбавшемуся приятелю.

Полковник подошел к ним, и барон уступил ему место около графини, проговорив насмешливо:

— Сударыня, этот дерзкий человек хвалился, что в один вечер завоюет вашу благосклонность.

И Марсиаль покинул их, радуясь тому, что уязвил самолюбие графини и повредил Монкорне; но, несмотря на его обычную проницательность, от него ускользнула ирония, которой были проникнуты слова г-жи де Водремон, и он не заметил, что она и его приятель одновременно, хотя и бессознательно, сделали несколько шагов навстречу друг другу. Когда барон, порхая, словно мотылек, приблизился к креслу, где сидела бледная и трепещущая графиня де Суланж, все жизненные силы которой, казалось, сосредоточились в глазах, у дверей появился ее муж, бросая вокруг гневные взгляды. Старая герцогиня, наблюдавшая за всем происходившим, быстро подошла к племяннику и, заявив, что она смертельно скучает и хочет уехать, попросила его подать ей руку и вызвать карету; она надеялась, что таким образом искусно предотвратит взрыв его ярости. Прежде чем удалиться, герцогиня выразительно взглянула на племянни-

цу, указывая глазами на предприимчивого кавалера, собиравшегося вступить с ней в беседу, словно говорила этим взглядом: «Вот он, отомсти за себя!»

Госпожа де Водремон перехватила взгляды тетки и племянницы, и внезапное сомнение зародилось в ней: она испугалась, что стала игрушкой старой герцогини, такой хитрой и искушенной в интригах. «Коварная старуха,— подумала она,— может быть, она ради забавы читала мне нравоучение, а между тем сыграла со мной одну из своих злых шуток».

При этой мысли самолюбие г-жи де Водремон было задето, пожалуй, еще сильнее, чем любопытство, побуждавшее ее распутать клубок интриги. Беспокойство, владевшее ею, лишало ее самообладания. Полковник Монкорне, истолковав в свою пользу замешательство, сквозившее в разговоре и обращении графини, стал еще более пылок и настойчив. Старые, пресыщенные дипломаты, ради развлечения наблюдающие на балах за тем, как бывает изменчиво выражение лиц присутствующих, никогда еще не видели и не распутывали такого сплетения интриг. Чувства, волновавшие обе четы, находили отклик в этих многолюдных гостиных, разнообразно отражаясь на множестве лиц. Все эти кипучие страсти, эти любовные ссоры, нежные кары, жестокие милости, пламенные взгляды, эта бурная жизнь, разлитая вокруг,— все это зрелище заставляло стариков еще острее ощущать свое бессилие. Наконец барону удалось сесть около графини де Суланж. Взгляд Марсиаля украдкой скользил по ее шейке, свежей, как роса, и благоуханной, словно полевой цветок. Он вблизи любовался теми прелестями, которые поразили его издали. Он видел маленькую, изящно обутую ножку, оценивал взглядом гибкий и грациозный стан. В те годы женщины носили пояса платьев под самой грудью, подражая греческим статуям; это была жестокая мода для женщин, у которых фигура отличалась каким-либо недостатком. Бросая беглые взгляды на грудь графини, Марсиаль был восхищен ее совершенством.

— Сегодня вы ни разу не танцевали, сударыня,— нежным и вкрадчивым голосом обратился он к графине.— Надеюсь, что не по вине кавалеров?

— Я почти не выезжаю в свет, и меня здесь никто не

знает,— холодно ответила графиня де Суланж, не понявшая взгляда тетки, который советовал ей пленить барона.

Тогда Марсиаль, будто случайно, повел рукой; дивный бриллиант, украшавший его левую руку, заиграл, и блеск драгоценного камня, казалось, прорезал внезапным лучом сознание молодой графини; она покраснела и бросила на барона какой-то неизъяснимый взгляд.

— Вы любите танцы? — спросил провансалец, пытаясь возобновить разговор.

— Очень люблю, сударь.

При этом неожиданном ответе их взгляды встретились. Молодой человек, пораженный взволнованным тоном незнакомки, пробудившим в его сердце смутную надежду, вдруг вопросительно заглянул ей в глаза.

— В таком случае, сударыня, надеюсь, вы не сочтете за дерзость, если я попрошу вас отдать мне первый контрданс?

Графиня мило смутилась, и легкий румянец окрасил ее бледные щеки.

— Но, сударь, я уже отказала одному танцору, военному...

— Не тому ли высокому кавалерийскому полковнику?

— Да, ему.

— Не беспокойтесь, мы с ним приятели. Осмелюсь я надеяться, что вы окажете мне эту милость?

— Хорошо, сударь.

Она говорила с такой непосредственностью, с таким искренним волнением, что пресыщенная душа барона была потрясена. Его, словно юнца, охватила застенчивость, он потерял уверенность в себе, его кровь, кровь южанина, воспламенилась; он хотел было блеснуть в разговоре, но его слова по сравнению с умными и меткими ответами г-жи де Суланж показались ему невыразительными. К счастью для него, началась кадриль. Стоя в паре со своей прелестной дамой, он почувствовал себя уверенней. Некоторые мужчины воображают, что, выставляя напоказ свое изящество в танцах, они пленяют женские сердца сильнее, чем когда обнаруживают в беседе острый ум. Провансалец, очевидно, намеревался, судя по вычур-

ности его движений и жестов, пустить в ход все свое искусство обольщения. Он с победоносным видом ввел графиню в тот ряд танцующих, которому наиболее блестящие светские женщины придавали какое-то особенное значение. Оркестр заиграл ритурнель к первой фигуре кадрили, и барон испытал чувство удовлетворенной гордости, когда, окинув взором дам, построившихся в устрашающее каре, заметил, что туалет г-жи де Суланж затмевает туалет даже г-жи Водремон, которая, может быть, не случайно оказалась в паре с Монкорне напротив барона и его дамы в голубом. На мгновение все взоры обратились к г-же де Суланж: одобрительный шепот свидетельствовал, что она служит предметом разговора каждой танцующей пары. Завистливые и восхищенные взгляды так упорно устремлялись к ней, что молодая женщина, смущенная своим невольным торжеством, скромно потупилась и покраснела, став от этого еще прелестней. Если она и поднимала свои бледные веки, то только для того, чтобы взглянуть на восхищенного кавалера, словно хотела с признательностью дать ему понять, что хотя своим триумфом она обязана ему, но предпочитает всеобщему восторгу его одобрение; кокетство ее было простодушно, казалось, она доверчиво отдается тому наивному восхищению, которое сопутствует зарождающейся любви в искренних юных сердцах. Каждый думал, что графиня, танцуя, стремится пленить лишь Марсиаля и что, несмотря на скромность и неискушенность в светских ухищрениях, она умеет не хуже самой опытной кокетки вовремя взглянуть на него и с притворной стыдливостью потупиться. Когда, по новым правилам контрданса, введенным танцором Трени и получившим его имя, Марсиалю пришлось очутиться против полковника, он, смеясь, сказал:

— Я выиграл твоего коня!

— Зато потерял восемьдесят тысяч франков ренты,— ответил Монкорне, указывая на г-жу де Водремон.

— Мне нет до них дела,— ответил Марсиаль,— госпожа де Суланж стоит миллионов.

К концу контрданса многие начали перешептываться. Женщины некрасивые осуждали в разговорах со своими кавалерами близость, возникавшую между Марсиалем и графиней де Суланж. Красавицы удивлялись быстроте, с

какой она возникла. Мужчины не понимали, чему приписать успех этого ничем не примечательного чиновника. Некоторые снисходительные дамы говорили, что не следует так поспешно осуждать графиню: ведь молодые женщины были бы просто несчастны, если бы каждый выразительный взгляд или несколько грациозно исполненных па компрометировали бы их. Только Марсиаль знал, какого он добился блаженства. В последней фигуре кадрили, когда дамы кружатся с кавалерами, он сжал руку графини, и ему показалось, что пальцы молодой женщины сквозь тонкую и душистую перчатку ответили на его любовный призыв.

— Сударыня,— сказал он, когда контрданс окончился,— не возвращайтесь больше в тот ужасный угол, где вы весь вечер скрывали свою красоту и свой прелестный туалет. Неужели мое восхищение — единственная дань, которую вы извлекли из блеска драгоценностей, украшающих вашу белоснежную шейку и ваши изящно уложенные косы? Пройдемтесь по гостиным, полюбуемся балом, и пусть все полюбуются вами.

Госпожа де Суланж последовала за своим искусителем, полагавшим, что, чем больше вызовут они толков, тем вернее она свяжет себя с ним. Они прошлись между группами гостей, наполнявших парадные покои особняка. На пороге каждой гостиной графиня де Суланж на мгновение боязливо останавливалась и, прежде чем войти, окидывала взглядом всех находившихся там мужчин, словно ища кого-то. Этот страх, наполнявший радостью сердце барона, исчез лишь после того, как он сказал своей пугливой спутнице:

— Успокойтесь, *его* здесь нет.

Так дошли они до обширной картинной галереи, расположенной в одном из крыльев особняка; здесь взгляды радовал великолепно сервированный стол, накрытый на триста персон и уставленный холодными закусками. Ужин должен был скоро начаться, и Марсиаль увлек графиню в овальный будуар, выходивший окнами в сад; здесь редкостные цветы и деревца образовали благоухающий зеленый уголок, завешанный блестящими голубыми драпировками. Тут шум бала замирал. Войдя сюда, графиня вздрогнула и решительно отказалась было следовать за молодым человеком, но, взглянув в зер-

кало, она, по-видимому, заметила, что они не одни, ибо спокойно направилась к оттоманке и села.

— Как здесь хорошо! — сказала она, любуясь стенами, обитыми небесно-голубым штофом, расшитым бисером.

— Здесь все дышит любовью и негой,— взволнованно сказал Марсиаль.

Под покровом таинственного полумрака он взглянул на графиню и уловил на ее слегка возбужденном лице выражение смятения, стыдливости, томления, и это привело его в восторг. Молодая женщина улыбнулась; эта улыбка, казалось, решила исход борьбы чувств, которая происходила в ее душе; обворожительным жестом она взяла левую руку своего поклонника и сняла с его пальца кольцо, привлекавшее ее взоры.

— Какой дивный бриллиант! — воскликнула она с простодушием юной девушки, не умеющей скрыть своего восторга.

Марсиаль, потрясенный невольным, но опьяняющим прикосновением графини, бросил на нее взгляд, сверкавший, как бриллиант.

— Носите его,— сказал он,— в память об этом божественном мгновении и в знак любви...

Она так восторженно посмотрела на него, что он, не договорив, приник к ее руке.

— Вы мне его дарите? — удивленно спросила она.

— Я хотел бы подарить вам весь мир.

— Вы не шутите? — переспросила она, глубоко взволнованная одержанной победой.

— А вы принимаете в дар только мой бриллиант?

— Вы никогда не потребуете его у меня обратно?— спросила она.

— Никогда!

Она надела кольцо. Марсиаль, в предвкушении близкого счастья, хотел обнять графиню за талию, но она сразу встала и произнесла строго и спокойно:

— Сударь, я принимаю от вас этот бриллиант без колебаний, потому что он принадлежит мне.

Марсиаль был ошеломлен.

— Господин де Суланж недавно взял это кольцо с моего туалетного столика. Он сказал, что потерял его.

— Вы заблуждаетесь, сударыня,— ответил Марсиаль оскорбленным тоном,— я получил его от госпожи де Водремон.

— Совершенно верно,— ответила она, улыбнувшись,— мой муж позаимствовал у меня это кольцо и подарил его ей, а она подарила его вам; мое кольцо совершило кругосветное путешествие, вот и все. Может быть, оно расскажет мне о том, чего я не знаю, и научит искусству оставаться всегда желанной. Сударь, если бы кольцо мне не принадлежало, то, поверьте, я не решилась бы заплатить за него такой дорогой ценой; ведь говорят, будто вблизи вас каждой молодой женщине грозит гибель. Посмотрите,— добавила она, нажимая пружинку, скрытую бриллиантом,— тут до сих пор еще хранится локон господина де Суланжа.

Графиня ушла из будуара так стремительно, что было бы бесполезно следовать за ней; кроме того, смущенный Марсиаль потерял охоту продолжать это любовное приключение. Смех г-жи де Суланж словно подхватило эхо — и молодой фат вдруг заметил между двух кустов г-жу де Водремон и Монкорне, смеявшихся над ним от всей души.

— Не нужен ли тебе мой конь, чтобы настичь добычу? — спросил полковник.

Барон так кротко сносил шутки, которыми его засыпали г-жа де Водремон и Монкорне, что они обещали ему хранить молчание об этом вечере, принесшем другу Марсиаля взамен боевого коня молодую, богатую и красивую женщину.

По дороге домой, от Шоссе д'Антен до Сен-Жерменского предместья, графиня де Суланж испытывала сильнейшее душевное волнение. Прежде чем покинуть особняк Гондревиля, она быстро обошла все гостиные и не встретила ни мужа, ни тетки,— они уехали без нее. Тогда щемящие предчувствия вкрались в ее простодушное сердце. Безмолвная свидетельница страданий, жестоко терзавших ее мужа с того дня, как г-жа де Водремон поработила его, она все надеялась, что он скоро раскается и вернется к ней. Она с глубоким отвращением согласилась на заговор, устроенный ее теткой, г-жой де Лансак, и теперь испугалась, что сделала ошибку. Этот вечер омрачил ее невинную душу. Ее потрясло страдальческое

и мрачное выражение лица графа де Суланжа, но еще сильнее ее потрясла красота соперницы, а при виде испорченности светских нравов сердце ее сжалось. Проезжая через Королевский мост, она выбросила осквернённый локон, хранившийся под бриллиантом и полученный ею когда-то как залог чистой любви. Она плакала, вспоминая терзания, на которые так долго была обречена, и содрогалась, думая о том, что долг каждой женщины, желающей жить в добром супружеском согласии, обязывает ее безропотно скрывать глубоко в сердце переживаемые ею муки. «А как же поступают женщины, которые не любят? — думала она.— В чем же источник их снисходительности? Не могу поверить, что, как утверждает тетушка, оставаться преданными помогает им только разум».

Графиня все еще горестно вздыхала, когда егерь опустил изящную подножку кареты. Она вбежала в вестибюль особняка, поспешно поднялась по лестнице и, очутившись в своей комнате, вздрогнула от ужаса: у камина сидел ее муж.

— С каких это пор, моя дорогая, вы выезжаете на бал одна, даже не предупредив меня? — спросил он взволнованным голосом.— Знайте, что замужней женщине не подобает появляться в свете без мужа. Вы просто опозорили себя, забившись у Гондревилей в уголок.

— Дорогой Леон,— ласково ответила она,— я не могла противиться искушению украдкой полюбоваться тобой. Тетушка взяла меня с собой, и я была так счастлива!

Нежность, звучавшая в ее голосе, обезоружила напускную суровость графа, ибо он только что горько упрекал себя и страшился возвращения жены; без сомнения, на балу она должна была узнать об его неверности, которую он надеялся утаить от нее, и, как всякий муж, чувствующий за собой вину, он сам начал с упреков, чтобы избежать ее справедливого гнева. Граф молча взглянул на жену, и никогда еще она не казалась ему такой прекрасной, как сейчас, в ослепительном бальном наряде. Довольная, что видит мужа улыбающимся и что он сидит в ее комнате, куда он с некоторых пор стал редко приходить в этот час, графиня нежно взглянула на него и,

покраснев, потупилась. Великодушие жены очаровало Суланжа тем сильнее, что сцена эта последовала за душевной пыткой, которую ему пришлось пережить во время бала; он взял руку жены и с признательностью ее поцеловал: ведь любовь часто таит в себе чувство благодарности!

— Гортензия, что это у тебя на пальце? Я оцарапался,— спросил он, смеясь.

— Это мой бриллиант: ты говорил, что потерял его, а я его нашла.

Полковник Монкорне все же не женился на графине де Водремон, несмотря на доброе согласие, установившееся между ними: графиня стала жертвой страшного пожара, которым ознаменовался бал, данный австрийским посланником в честь бракосочетания Наполеона с дочерью императора Франца II.

Июль 1829 г.

ГОБСЕК

Барону Баршу де Поноэн

Из всех бывших питомцев Вандомского колледжа, кажется, одни лишь мы с тобой избрали литературное поприще,— недаром же мы увлекались философией в том возрасте, когда нам полагалось увлекаться только страницами De viris. Мы встретились с тобою вновь, когда я писал эту повесть, а ты трудился над прекрасными своими сочинениями о немецкой философии. Итак, мы оба не изменили своему призванию. Надеюсь, тебе столь же приятно будет увидеть здесь свое имя, как мне приятно поставить его.

Твой старый школьный товарищ
де Бальзак.

Как-то раз зимою 1829—1830 года в салоне виконтессы де Гранлье до часу ночи засиделись два гостя, не принадлежавшие к ее родне. Один из них, красивый молодой человек, услышав бой каминных часов, поспешил откланяться. Когда во дворе застучали колеса его экипажа, виконтесса, видя, что остались только ее брат да друг семьи, заканчивавшие партию в пикет, подошла к дочери; девушка стояла у камина и как будто внимательно разглядывала сквозной узор на экране, но, несомненно, прислушивалась к шуму отъезжавшего кабриолета, что подтвердило опасения матери.

— Камилла, если ты и дальше будешь держать себя с графом де Ресто так же, как нынче вечером, мне придется отказать ему от дома. Послушайся меня, детка, если веришь нежной моей любви к тебе, позволь мне руководить тобою в жизни. В семнадцать лет девушка не

может судить ни о прошлом, ни о будущем, ни о некоторых требованиях общества. Я укажу тебе только на одно обстоятельство: у господина де Ресто есть мать, женщина, способная проглотить миллионное состояние, особа низкого происхождения — в девичестве ее фамилия была Горио, и в молодости она вызвала много толков о себе. Она очень дурно относилась к своему отцу и, право, не заслуживает такого хорошего сына, как господин де Ресто. Молодой граф ее обожает и поддерживает с сыновней преданностью, достойной всяческих похвал. А как он заботится о своей сестре, о брате! Словом, поведение его просто превосходно, но,— добавила виконтесса с лукавым видом,— пока жива его мать, ни в одном порядочном семействе родители не отважатся доверить этому милому юноше будущность и приданое своей дочери.

— Я уловил несколько слов из вашего разговора с мадемуазель де Гранлье, и мне очень хочется вмешаться в него! — воскликнул вышеупомянутый друг семьи.— Я выиграл, граф,— сказал он, обращаясь к партнеру.— Оставляю вас и спешу на помощь вашей племяннице.

— Вот уж поистине слух настоящего стряпчего! — воскликнула виконтесса.— Дорогой Дервиль, как вы могли расслышать, что̀ я говорила Камилле? Я шепталась с нею совсем тихонько.

— Я все понял по вашим глазам,— ответил Дервиль, усаживаясь у камина в глубокое кресло.

Дядя Камиллы сел рядом с племянницей, а г-жа де Гранлье устроилась в низеньком покойном кресле между дочерью и Дервилем.

— Пора мне, виконтесса, рассказать вам одну историю, которая заставит вас изменить ваш взгляд на положение в свете графа Эрнеста де Ресто.

— Историю?!—воскликнула Камилла.— Скорей рассказывайте, господин Дервиль!

Стряпчий бросил на г-жу де Гранлье взгляд, по которому она поняла, что рассказ этот будет для нее интересен. Виконтесса де Гранлье по богатству и знатности рода была одной из самых влиятельных дам в Сен-Жерменском предместье, и, конечно, может показаться удивительным, что какой-то парижский стряпчий решался говорить с нею так непринужденно и держать себя в ее

салоне запросто, но объяснить это очень легко. Г-жа де Гранлье, возвратившись во Францию вместе с королевской семьей, поселилась в Париже и вначале жила только на вспомоществование, назначенное ей Людовиком XVIII из сумм цивильного листа,— положение для нее невыносимое. Стряпчий Дервиль случайно обнаружил формальные неправильности, допущенные в свое время Республикой при продаже особняка Гранлье, и заявил, что этот дом подлежит возвращению виконтессе. По ее поручению он повел процесс в суде и выиграл его. Осмелев от этого успеха, он затеял кляузную тяжбу с убежищем для престарелых и добился возвращения ей лесных угодий в Лиснэ. Затем он утвердил ее в правах собственности на несколько акций Орлеанского канала и довольно большие дома, которые император пожертвовал общественным учреждениям. Состояние г-жи де Гранлье, восстановленное благодаря ловкости молодого поверенного, стало давать ей около шестидесяти тысяч франков годового дохода, а тут подоспел закон о возмещении убытков эмигрантам, и она получила огромные деньги. Этот стряпчий, человек высокой честности, знающий, скромный и с хорошими манерами, стал другом семейства Гранлье. Своим поведением в отношении г-жи де Гранлье он достиг почета и клиентуры в лучших домах Сен-Жерменского предместья, но не воспользовался их благоволением, как это сделал бы какой-нибудь честолюбец. Он даже отклонил предложение виконтессы, уговаривавшей его продать свою контору и перейти в судебное ведомство, где он мог бы при ее покровительстве чрезвычайно быстро сделать карьеру. За исключением дома г-жи де Гранлье, где он иногда проводил вечера, он бывал в свете лишь для поддержания связей. Он почитал себя счастливым, что, ревностно защищая интересы г-жи де Гранлье, показал и свое дарование, иначе его конторе грозила бы опасность захиреть,— в нем не было пронырливости истого стряпчего. С тех пор как граф Эрнест де Ресто появился в доме виконтессы, Дервиль, угадав симпатию Камиллы к этому юноше, стал завсегдатаем салона г-жи де Гранлье, словно щеголь с Шоссе д'Антен, только что получивший доступ в аристократическое общество Сен-Жерменского предместья. За несколько дней до описываемого вечера

он встретил на балу мадемуазель де Гранлье и сказал ей, указывая глазами на графа:

— Жаль, что у этого юноши нет двух — трех миллионов! Правда?

— Почему жаль? Я не считаю это несчастьем,— ответила она.— Господин де Ресто — человек очень одаренный, образованный, на хорошем счету у министра, к которому он прикомандирован. Я нисколько не сомневаюсь, что из него выйдет выдающийся деятель. А когда «этот юноша» окажется у власти, богатство само придет к нему в руки.

— Да, но вот если б он уже сейчас был богат!

— Если б он был богат?..— краснея, повторила Камилла.— Что ж, все танцующие здесь девицы оспаривали бы его друг у друга,— добавила она, указывая на участниц кадрили.

— И тогда,— заметил стряпчий,— мадемуазель де Гранлье не была бы единственным магнитом, притягивающим его взоры. Вы, кажется, покраснели,— почему бы это? Вы к нему неравнодушны? Ну, скажите...

Камилла вспорхнула с кресла.

«Она влюблена в него»,— подумал Дервиль.

С этого дня Камилла выказывала стряпчему особое внимание, поняв, что Дервиль одобряет ее склонность к Эрнесту де Ресто. А до тех пор, хотя ей и было известно, что ее семья многим обязана Дервилю, она питала к нему больше уважения, чем дружеской приязни, и в обращении ее с ним сквозило больше любезности, чем теплоты. В ее манерах и в тоне голоса было что-то, указывавшее на расстояние, установленное между ними светским этикетом. Признательность — это долг, который дети не очень охотно принимают по наследству от родителей.

Дервиль помолчал, собираясь с мыслями, а затем начал так:

— Сегодняшний вечер напомнил мне об одной романической истории, единственной в моей жизни... Ну вот, вы уж и смеетесь, вам забавно слышать, что у стряпчего могут быть какие-то романы. Но ведь и мне было когда-то двадцать пять лет, а в эти молодые годы я уже насмотрелся на многие удивительные дела. Мне придется сначала рассказать вам об одном действующем лице моей повести, которого вы, конечно, не могли знать,— речь

идет о некоем ростовщике. Не знаю, можете ли вы представить себе с моих слов лицо этого человека, которое я, с дозволения Академии, готов назвать *лунным ликом*, ибо его желтоватая бледность напоминала цвет серебра, с которого слезла позолота. Волосы у моего ростовщика были совершенно прямые, всегда аккуратно причесанные и с сильной проседью — пепельно-серые. Черты лица, неподвижные, бесстрастные, как у Талейрана, казались отлитыми из бронзы. Глаза, маленькие и желтые, словно у хорька, и почти без ресниц, не выносили яркого света, поэтому он защищал их большим козырьком потрепанного картуза. Острый кончик длинного носа, изрытый рябинами, походил на буравчик, а губы были тонкие, как у алхимиков и древних стариков на картинах Рембрандта и Метсу. Говорил этот человек тихо, мягко, никогда не горячился. Возраст его был загадкой: я никогда не мог понять, состарился ли он до времени или же хорошо сохранился и останется моложавым на веки вечные. Все в его комнате было потерто и опрятно, начиная от зеленого сукна на письменном столе до коврика перед кроватью,— совсем как в холодной обители одинокой старой девы, которая весь день наводит чистоту и натирает мебель воском. Зимою в камине у него чуть тлели головни, прикрытые горкой золы, никогда не разгораясь пламенем. От первой минуты пробуждения и до вечерних приступов кашля все его действия были размеренны, как движения маятника. Это был какой-то человек-автомат, которого заводили ежедневно. Если тронуть ползущую по бумаге мокрицу, она мгновенно остановится и замрет; так же вот и этот человек во время разговора вдруг умолкал, выжидая, пока не стихнет шум проезжающего под окнами экипажа, так как не желал напрягать голос. По примеру Фонтенеля он берег жизненную энергию, подавляя в себе все человеческие чувства. И жизнь его протекала так же бесшумно, как сыплется струйкой песок в старинных песочных часах. Иногда его жертвы возмущались, поднимали неистовый крик, потом вдруг наступала мертвая тишина, как в кухне, когда зарежут в ней утку. К вечеру человек-вексель становился обыкновенным человеком, а слиток металла в его груди — человеческим сердцем. Если он бывал доволен истекшим днем, то потирал себе руки, а из глубоких морщин, бороздивших его лицо, как будто под-

нимался дымок веселости,— право, невозможно изобразить иными словами его немую усмешку, игру лицевых мускулов, выражавшую, вероятно, те же ощущения, что и беззвучный смех Кожаного Чулка. Всегда, даже в минуты самой большой радости, говорил он односложно и сохранял сдержанность. Вот какого соседа послал мне случай, когда я жил на улице де-Грэ, будучи в те времена всего лишь младшим писцом в конторе стряпчего и студентом-правоведом последнего курса. В этом мрачном, сыром доме нет двора, все окна выходят на улицу, а расположение комнат напоминает устройство монашеских келий: все они одинаковой величины, в каждой единственная ее дверь выходит в длинный полутемный коридор с маленькими оконцами. Да это здание и в самом деле когда-то было монастырской гостиницей. В таком угрюмом обиталище сразу угасала бойкая игривость какого-нибудь светского повесы, еще раньше, чем он входил к моему соседу; дом и его жилец были под стать друг другу — совсем как скала и прилепившаяся к ней устрица. Единственным человеком, с которым старик, как говорится, поддерживал отношения, был я. Он заглядывал ко мне попросить огонька, взять книгу или газету для прочтения, разрешал мне по вечерам заходить в его келью, и мы иной раз беседовали, если он бывал к этому расположен. Такие знаки доверия были плодом четырехлетнего соседства и моего примерного поведения, которое по причине безденежья во многом походило на образ жизни этого старика. Были ли у него родные, друзья? Беден он был или богат? Никто не мог бы ответить на эти вопросы. Я никогда не видел у него денег в руках. Состояние его, если оно у него было, вероятно, хранилось в подвалах банка. Он сам взыскивал по векселям и бегал для этого по всему Парижу на тонких, сухопарых, как у оленя, ногах. Кстати сказать, однажды он пострадал за свою чрезмерную осторожность. Случайно у него было при себе золото, и вдруг двойной наполеондор каким-то образом выпал у него из жилетного кармана. Жилец, который спускался вслед за стариком по лестнице, поднял монету и протянул ему.

— Это не моя! — воскликнул он, замахав рукой.— Золото! У меня? Да разве я стал бы так жить, будь я богат!

По утрам он сам себе варил кофе на железной печурке, стоявшей в закопченном углу камина; обед ему приносили из ресторации. Старуха-привратница в установленный час приходила прибирать его комнату. А фамилия у него по воле случая, который Стерн назвал бы предопределением, была весьма странная — Гобсек [1]. Позднее, когда он поручил мне вести его дела, я узнал, что ко времени моего с ним знакомства ему уже было почти семьдесят шесть лет. Он родился в 1740 году, в предместье Антверпена; мать у него была еврейка, отец — голландец, полное его имя было Жан-Эстер ван Гобсек. Вы, конечно, помните, как занимало весь Париж убийство женщины, прозванной *Прекрасная Голландка*. Как-то в разговоре с моим бывшим соседом я случайно упомянул об этом происшествии, и он сказал, не проявив при этом ни малейшего интереса или хотя бы удивления:

— Это моя внучатная племянница.

Только эти слова и вызвала у него смерть его единственной наследницы, внучки его сестры. На судебном разбирательстве я узнал, что Прекрасную Голландку звали Сарра ван Гобсек. Когда я попросил Гобсека объяснить то удивительное обстоятельство, что внучка его сестры носила его фамилию, он ответил, улыбаясь:

— В нашем роду женщины никогда не выходили замуж.

Этот странный человек ни разу не пожелал увидеть ни одной из представительниц четырех женских поколений, составлявших его родню. Он ненавидел своих наследников и даже мысли не допускал, что кто-либо завладеет его состоянием хотя бы после его смерти. Мать пристроила его юнгой на корабль, и в десятилетнем возрасте он отплыл в голландские владения Ост-Индии, где и скитался двадцать лет. Морщины его желтоватого лба хранили тайну страшных испытаний, внезапных ужасных событий, неожиданных удач, романтических превратностей, безмерных радостей, голодных дней, попранной любви, богатства, разорения и вновь нажитого богатства, смертельных опасностей, когда жизнь, висевшую на волоске, спасали мгновенные и, быть может, жестокие действия, оправданные необходимостью. Он знал господина

---

[1] Живоглот.

де Лалли, адмирала Симеза, господина де Кергаруэта и Д'Эстена, байи де Сюффрена, господина де Портандюэра, лорда Корнуэлса, лорда Гастингса, отца Типпо-Саиба и самого Типпо-Саиба. С ним вел дела тот савояр, что служил в Дели радже Махаджи-Синдиаху и был пособником могущества династии Махараттов. Были у него какие-то связи и с Виктором Юзом и другими знаменитыми корсарами, так как он долго жил на острове Сен-Тома. Он все перепробовал, чтобы разбогатеть, даже пытался разыскать пресловутый клад — золото, зарытое племенем дикарей где-то в окрестностях Буэнос-Айреса. Он имел отношение ко всем перипетиям войны за независимость Соединенных Штатов. Но об Индии или об Америке он говорил только со мною, и то очень редко, и всякий раз после этого как будто раскаивался в своей «болтливости». Если человечность, общение меж людьми считать своего рода религией, то Гобсека можно было назвать атеистом. Хотя я поставил себе целью изучить его, должен, к стыду своему, признаться, что до последней минуты его душа оставалась для меня тайной за семью замками. Иной раз я даже спрашивал себя, какого он пола. Если все ростовщики похожи на него, то они, верно, принадлежат к разряду бесполых. Остался ли он верен религии своей матери и смотрел на христиан как на добычу? Стал ли католиком, магометанином, последователем брахманизма, лютеранином? Я ничего не знал о его верованиях. Он казался скорее равнодушным к вопросам религии, чем неверующим. Однажды вечером я зашел к этому человеку, обратившемуся в золотого истукана и прозванному его жертвами в насмешку или по контрасту «папаша Гобсек». Он, по обыкновению, сидел в глубоком кресле, неподвижный, как статуя, вперив глаза в выступ камина, словно перечитывал свои учетные квитанции и расписки. Коптящая лампа на зеленой облезлой подставке бросала свет на его лицо, но от этого оно нисколько не оживлялось красками, а казалось еще бледнее. Старик поглядел на меня и молча указал рукой на мой привычный стул.

«О чем думает это существо? — спрашивал я себя.— Знает ли он, что есть в мире бог, чувства, женская любовь, счастье?»

И мне даже как-то стало жаль его, точно он был тяж-

ко болен. Однако я прекрасно понимал, что если у него есть миллионы в банке, то в мыслях он мог владеть всеми странами, которые исколесил, обшарил, взвесил, оценил, ограбил.

— Здравствуйте, папаша Гобсек,— сказал я.

Он повернул голову, и его густые черные брови чуть шевельнулись,— это характерное для него движение было равносильно самой приветливой улыбке южанина.

— Вы что-то хмуритесь сегодня, как в тот день, когда получили известие о банкротстве книгоиздателя, которого вы хвалили за ловкость, хотя и оказались его жертвой.

— Жертвой? — удивленно переспросил он.

— А помните, он добился полюбовной сделки с вами, переписал свои векселя на основании устава о неплатежеспособности, а когда его дела поправились, потребовал, чтобы вы скостили ему долг по этому соглашению.

— Да, он хитер был,— подтвердил старик.— Но я его потом опять прищемил.

— Может быть, вам надо предъявить ко взысканию какие-нибудь векселя? Кажется, сегодня тридцатое число.

Я в первый раз заговорил с ним о деньгах. Он вскинул на меня глаза и как-то насмешливо шевельнул бровями, а затем пискливым тихим голоском, очень похожим на звук флейты в руках неумелого музыканта, произнес:

— Я развлекаюсь.

— Так вы иногда и развлекаетесь?

— А по-вашему, только тот поэт, кто печатает свои стихи? — спросил он, пожав плечами и презрительно сощурившись.

«Поэзия? В такой голове?» — удивился я, так как еще ничего не знал тогда о его жизни.

— А у кого жизнь может быть такой блистательной, как у меня? — сказал он, и взгляд его загорелся.— Вы молоды, кровь у вас играет, а в голове от этого туман. Вы глядите на горящие головни в камине и видите в огоньках женские лица, а я вижу только угли. Вы всему верите, а я ничему не верю. Ну что ж, сберегите свои иллюзии, если можете. Я вам сейчас подведу итог человеческой жизни. Будь вы бродягой-путешественником, будь вы домоседом и не расставайтесь весь век со своим камельком да со своей супругой, все равно приходит возраст, когда вся жизнь — только привычка к излюбленной среде.

И тогда счастье состоит в упражнении своих способностей применительно к житейской действительности. А кроме этих двух правил, все остальные — фальшь. У меня вот принципы менялись сообразно обстоятельствам,— приходилось менять их в зависимости от географических широт. То, что в Европе вызывает восторг, в Азии карается. То, что в Париже считают пороком, за Азорскими островами признается необходимостью. Нет на земле ничего прочного, есть только условности, и в каждом климате они различны. Для того, кто волей-неволей применялся ко всем общественным меркам, всяческие ваши нравственные правила и убеждения — пустые слова. Незыблемо лишь одно-единственное чувство, вложенное в нас самой природой: инстинкт самосохранения. В государствах европейской цивилизации этот инстинкт именуется личным интересом. Вот поживете с мое, узнаете, что из всех земных благ есть только одно, достаточно надежное, чтобы стоило человеку гнаться за ним. Эго... золото. В золоте сосредоточены все силы человечества. Я путешествовал, видел, что по всей земле есть равнины и горы. Равнины надоедают, горы утомляют; словом, в каком месте жить — это значения не имеет. А что касается нравов,— человек везде одинаков: везде идет борьба между бедными и богатыми, везде. И она неизбежна. Так лучше уж самому давить, чем позволять, чтобы другие тебя давили. Повсюду мускулистые люди трудятся, а худосочные мучаются. Да и наслаждения повсюду одни и те же, и повсюду они одинаково истощают силы; переживает все наслаждения только одна утеха — тщеславие. Тщеславие! Это всегда наше «я». А что может удовлетворить тщеславие? Золото! Потоки золота. Чтобы осуществить наши прихоти, нужно время, нужны материальные возможности или усилия. Ну что ж! В золоте все содержится в зародыше, и все оно дает в действительности.

Одни только безумцы да больные люди могут находить свое счастье в том, чтобы убивать все вечера за картами в надежде выиграть несколько су. Только дураки могут тратить время на размышления о самых обыденных делах — возляжет ли такая-то дама на диван одна или в приятном обществе, и чего у ней больше: крови или лимфы, темперамента или добродетели? Только просто-

фили могут воображать, что они приносят пользу ближним, занимаясь установлением принципов политики, чтобы управлять событиями, которых никогда нельзя предвидеть. Только олухам может быть приятно болтать об актерах и повторять их остроты, каждый день кружиться на прогулках, как звери в клетках, разве лишь на пространстве чуть побольше; рядиться ради других, задавать пиры ради других, похваляться чистокровной лошадью или новомодной коляской, которую посчастливилось купить на целых три дня раньше, чем соседу. Вот вам вся жизнь ваших парижан, вся она укладывается в эти несколько фраз,— верно? Но взгляните на существование человека с той высоты, на какую им не подняться. В чем счастье? Это или сильные волнения, подтачивающие нашу жизнь, или размеренные занятия, которые превращают ее в некое подобие хорошо отрегулированного английского механизма. Выше этого счастья стоит так называемая «благородная» любознательность, стремление проникнуть в тайны природы и добиться известных результатов, воспроизводя ее явления. Вот вам в двух словах искусство и наука, страсть и спокойствие. Верно? Так вот, все человеческие страсти, распаленные столкновением интересов в нынешнем вашем обществе, проходят передо мною, и я произвожу им смотр, а сам живу в спокойствии. Научную вашу любознательность, своего рода поединок, в котором человек всегда бывает повержен, я заменяю проникновением во все побудительные причины, которые движут человечеством. Словом, я владею миром, не утомляя себя, а мир не имеет надо мною ни малейшей власти.

Да вот послушайте,— заговорил он, помолчав,— я расскажу вам две истории, случившиеся сегодня утром на моих глазах, и вы поймете, в чем мои утехи.

Он поднялся, заложил дверь засовом, подошел к окну, задернул старый ковровый занавес, кольца которого взвизгнули, скользнув по металлическому пруту, и снова сел в кресло.

— Нынче утром,— сказал он,— мне надо было предъявить должникам только два векселя — остальные я еще вчера пустил в ход при расчетах по своим операциям. И то барыш! Ведь при учете я сбрасываю с платежной суммы расходы по взиманию долга и ставлю по сорок су за извозчика, хотя и не думал его нанимать. Разве не за-

бавно, что из-за каких-нибудь шести франков учетного процента я бегу через весь Париж? Это я-то! Человек, который никому не подвластен и платит налога всего семь франков. Первый вексель, на тысячу франков, учел у меня молодой человек, писаный красавец и щеголь: у него жилетки с искрой, у него и лорнет, и тильбюри, и английская лошадь, и тому подобное. А выдан был вексель женщиной, одной из самых прелестных парижанок, женой какого-то богатого помещика и вдобавок графа. Почему же ее сиятельство графиня подписала вексель, юридически недействительный, но практически вполне надежный? Ведь эти жалкие женщины, светские дамы, до того боятся семейных скандалов в случае протеста векселя, что готовы бывают расплатиться собственной своей особой, коли не могут заплатить деньгами. Мне захотелось узнать тайную цену этого векселя. Что тут скрывается: глупость, опрометчивость, любовь или сострадание? Второй вексель на такую же сумму, подписанный некоей Фанни Мальво, учел у меня купец, торгующий полотном, верный кандидат в банкроты. Ведь ни один человек, если у него еще есть хоть самый малый кредит в банке, не придет в мою лавочку: первый же его шаг от порога моей комнаты к моему письменному столу изобличает отчаяние, тщетные поиски ссуды у всех банкиров и надвигающийся крах. Я вижу у себя только затравленных оленей, за которыми гонится целая свора заимодавцев. Графиня живет на Гельдерской улице, а Фанни Мальво — на улице Монмартр. Сколько догадок я строил, когда выходил нынче утром из дому! Если у этих двух женщин нечем заплатить, они, конечно, примут меня ласковей, чем отца родного. Уж как графиня начнет фокусничать, какую будет комедию ломать из-за тысячи франков! Приветливо заулыбается, заговорит вкрадчивым, нежным голоском, каким любезничает с тем молодчиком, на чье имя выдан вексель, пожалуй, будет даже умолять меня! А я...

Старик бросил на меня холодный взгляд.

— А я непоколебим! — сказал он.— Я появляюсь как возмездие, как укор совести... Ну, оставим мои догадки. Прихожу.

«Графиня еще не вставала»,— заявляет мне горничная.

«Когда ее можно видеть?»

«Не раньше двенадцати».

«Что ж, графиня больна?».

«Нет, сударь, она вернулась с бала в три часа утра».

«Моя фамилия — Гобсек. Доложите, что приходил Гобсек. Я еще раз зайду в полдень».

И я спустился по лестнице к выходу, наследив грязными подошвами на ковре, устилавшем мраморные ступени. Я люблю пачкать грязными башмаками ковры у богатых людей — не из мелкого самолюбия, а чтобы дать почувствовать когтистую лапу Неотвратимости. Прихожу на улицу Монмартр, в неказистый дом, отворяю ветхую калитку в воротах, вижу двор — настоящий колодец, куда никогда не заглядывает солнце. В каморке привратницы темно, стекло в окне грязное, как измызганный, засаленный рукав теплого халата, да еще все в трещинах.

«Здесь живет мадемуазель Фанни Мальво?»

«Живет, только ее сейчас нет дома. Но если вы насчет векселя, то она оставила для вас деньги».

«Я зайду попозже»,— сказал я.

Деньги оставлены у привратницы — прекрасно, но мне любопытно посмотреть на самое должницу. Мне почему-то казалось, что это хорошенькая вертихвостка. Ну вот. Утро я провел на бульваре, рассматривал гравюры в окнах магазинов. Но ровно в полдень я уже проходил по гостиной, смежной со спальней графини.

«Барыня только что позвонила,— заявила мне горничная.— Не думаю, чтобы она сейчас приняла вас».

«Я подожду»,— ответил я и уселся в кресло.

Открываются жалюзи, прибегает горничная

«Пожалуйте, сударь».

По сладкому голоску горничной я понял, что хозяйке заплатить нечем. Зато какую же я красавицу тут увидел! В спешке она только накинула на обнаженные плечи кашемировую шаль и куталась в нее так искусно, что под этим покровом вырисовывалась вся ее статная фигура. На ней был лишь пеньюар, отделанный белоснежным рюшем,— значит, не меньше двух тысяч франков в год уходило на прачку, мастерицу по стирке тонкого белья. Голова ее была небрежно повязана, как у креолки, пестрым шелковым платком, а из-под него выбивались крупные черные локоны. Раскрытая постель была смята, и беспорядок ее говорил о тревожном сне. Художник дорого бы

дал, чтобы побыть хоть несколько минут в спальне моей должницы в это утро. Складки занавесей у кровати дышали сладострастной негой, сбитая простыня на голубом шелковом пуховике, смятая подушка, резко белевшая на этом лазурном фоне кружевными своими оборками, казалось, еще сохраняли неясный отпечаток дивных форм, дразнивший воображение. На медвежьей шкуре, разостланной у бронзовых львов, поддерживающих кровать красного дерева, блестел атлас белых туфелек, небрежно сброшенных усталой женщиной по возвращении с бала. Со спинки стула свешивалось измятое платье, рукавами касаясь ковра. Вокруг ножки кресла обвились прозрачные чулки, которые унесло бы дуновением ветерка. По диванчику протянулись белые шелковые подвязки. На камине переливались блестки полураскрытого дорогого веера. Ящики комода остались незадвинутыми. По всей комнате раскиданы были цветы, бриллианты, перчатки, букет, пояс и прочие принадлежности бального наряда. Пахло какими-то тонкими духами. Во всем была красота, лишенная гармонии, роскошь и беспорядок. И уже нищета, грозившая этой женщине или ее возлюбленному, притаившаяся за всей этой роскошью, поднимала голову и казала им свои острые зубы. Утомленное лицо графини было под стать всей ее опочивальне, усеянной приметами минувшего празднества.

Разбросанные повсюду безделки вызвали во мне чувство жалости: еще вчера все они были ее убором, и кто-нибудь восторгался ими. И все они сливались в образ любви, отравленной угрызениями совести, в образ рассеянной жизни, роскоши, шумной суеты и выдавали танталовы усилия поймать ускользающие наслаждения. Красные пятна, проступившие на щеках этой молодой женщины, свидетельствовали лишь о нежности ее кожи, но лицо ее как будто припухло, темные тени под глазами, казалось, обозначались резче обычного. И все же природная энергия била в ней ключом, а все эти признаки безрассудной жизни не портили ее красоты. Глаза ее сверкали, она была великолепна: она напоминала одну из прекрасных Иродиад кисти Леонардо да Винчи (я ведь когда-то перепродавал картины старых мастеров), от нее веяло жизнью и силой. Ничего не было хилого, жалкого ни в линиях ее стана, ни в ее чертах: она,

несомненно, должна была внушать любовь, но сама, казалось, была сильнее любви. Словом, эта женщина понравилась мне. Давно мое сердце так не билось. Ну, значит, я уже получил плату. Я сам отдал бы тысячу франков за то, чтобы вновь изведать ощущения, напоминающие мне дни молодости.

«Сударь,— сказала она, предложив мне сесть,— не будете ли вы так любезны немного отсрочить платеж?»

«До полудня следующего дня, графиня,— сказал я, складывая вексель, который предъявил ей.— До этого срока я не имею права опротестовать ваш вексель».

А мысленно я говорил ей: «Плати за всю эту роскошь, плати за свой титул, плати за свое счастье, за все исключительные преимущества, которыми ты пользуешься. Для охраны своего добра богачи изобрели трибуналы, судей, гильотину, к которой, как мотыльки на гибельный огонь, сами устремляются глупцы. Но для вас, для людей, которые спят на шелку и шелком укрываются, существует кое-что иное: укоры совести, скрежет зубовный, скрываемый улыбкой, химеры с львиной пастью, вонзающие свои клыки вам в сердце».

«Опротестовать вексель? Неужели вы решитесь? — воскликнула она, вперив в меня взгляд.— Неужели вы так мало уважаете меня?»

«Если бы сам король был мне должен, графиня, и не уплатил бы в срок, я бы подал на него в суд еще скорее, чем на всякого другого должника».

В эту минуту кто-то тихо постучался в дверь.

«Меня нет дома!» — властно крикнула графиня.

«Анастази, это я. Мне нужно поговорить с вами».

«Попозже, дорогой»,— ответила она уже менее резким тоном, но все же отнюдь не ласково.

«Что за шутки! Ведь вы с кем-то разговариваете»,— отозвался голос, и в комнату вошел мужчина,— несомненно, сам граф.

Графиня на меня взглянула, я понял ее,— она стала моей рабой. Было время, юноша, когда я по глупости иной раз не опротестовывал векселей. В 1763 году в Пондишери я пощадил одну женщину, и что же! Здорово она меня общипала! Поделом мне,— зачем я ей доверился?

«Что вам угодно, сударь?» — спросил меня граф.

И тут я вдруг заметил, что его жена вся дрожит мелкой дрожью и белая атласная шея пошла у нее пупырышками,— как говорится, покрылась гусиной кожей. А я смеялся в душе, но ни один мускул на лице у меня не шевельнулся.

«Это один из моих поставщиков»,— сказала графиня.

Граф повернулся ко мне спиной, а я вытащил из кармана угол сложенного векселя. Увидев этот беспощадный жест, молодая женщина подошла ко мне и подала мне бриллиант.

«Возьмите,— сказала она.— И скорее уходите».

В обмен на бриллиант я отдал вексель и, поклонившись, вышел. На мой взгляд, бриллиант стоил верных тысячу двести франков. На графском дворе я увидел толпу всякой челяди,— лакеи чистили щетками свои ливрейные фраки, наводили глянец на сапоги, конюхи мыли роскошные экипажи. Вот что гонит ко мне знатных господ. Вот что заставляет их пристойным образом красть миллионы, продавать свою родину. Чтобы не запачкать лакированных сапожек, расхаживая пешком, важный барин и всякий, кто силится подражать ему, готовы с головой окунуться в грязь. Как раз тут ворота распахнулись и въехал в кабриолете тот самый молодой щеголь, который учел у меня вексель графини.

«Сударь,— сказал я, когда он выскочил из кабриолета,— вот двести франков, передайте их, пожалуйста, графине и скажите ей, что заклад, который она мне дала, я немного придержу и недельку он будет в ее распоряжении».

Щеголь взял двести франков, и по губам его скользнула насмешливая улыбка, говорившая: «Ага, заплатила! Ну, что ж, отлично!»

И я прочел на его лице всю будущность графини. Этот белокурый красавчик, холодный, бездушный игрок, разорится сам, разорит ее, разорит ее мужа, разорит детей, промотав их наследство, да и в других салонах учинит разгром почище, чем артиллерийская батарея в неприятельских войсках.

Затем я отправился на улицу Монмартр к мадемуазель Фанни. Я поднялся по узкой крутой лестнице на шестой этаж. Меня впустили в квартирку из двух комнат, где все сверкало чистотой, блестело, как новенький

дукат; ни пылинки не было на мебели в первой комнате, где меня приняла хозяйка, мадемуазель Фанни, молоденькая девушка, одетая просто, но с изяществом парижанки; у нее была грациозная головка, свежее личико и приветливый вид; каштановые, красиво зачесанные волосы, спускаясь двумя гладкими полукружиями, прикрывали виски, и это сообщало какое-то тонкое выражение ее голубым глазам, чистым, как кристалл. Солнце, пробиваясь сквозь занавесочки на окнах, озаряло мягким светом весь ее скромный облик. Вокруг нее стопками лежали раскроенные куски полотна, и я понял, чем она зарабатывала на жизнь: она, конечно, была белошвейкой. Эта девушка казалась феей одиночества.

Я протянул ей вексель и сказал, что приходил утром, но не застал ее.

«А ведь деньги были у привратницы»,— сказала она.

Я притворился, что не расслышал.

«Вы, как видно, рано выходите из дому».

«Вообще я очень редко куда выхожу, но, знаете, когда всю ночь просидишь за работой, хочется пойти искупаться».

Я посмотрел повнимательней и с первого взгляда разгадал ее. Передо мной, несомненно, была девушка, которую нужда заставляла трудиться, не разгибая спины,— вероятно, дочь какого-нибудь честного фермера: на лице ее еще виднелись мелкие веснушки, свойственные крестьянским девушкам. От нее веяло чем-то хорошим, по-настоящему добродетельным. Я как будто вступил в атмосферу искренности, чистоты душевной, и мне даже как-то стало легче дышать. Бедная простушка! Она во что-то верила: над изголовьем ее немудреной деревянной кровати висело распятие, украшенное двумя веточками букса. Я почти умилился. Я готов был предложить ей денег взаймы всего лишь из двенадцати процентов, чтобы помочь ей купить какое-нибудь прибыльное дело. «Ну нет,— образумил я себя.— У нее, пожалуй, есть молодой двоюродный братец, который заставит ее подписывать векселя и обчистит бедняжку». С тем я и ушел, предостерегая себя от великодушных порывов: ведь мне частенько приходилось наблюдать, что если самому благодетелю и не вредит благодеяние, то для того, кому оно оказано, подобная милость бывает гибельной. Когда

вы вошли сегодня в мою комнату, я как раз думал о Фанни Мальво,— вот из кого вышла бы хорошая жена, мать семейства. Сравнить только чистую одинокую жизнь этой девушки с жизнью богатой графини, которая уже принялась подписывать векселя и скоро скатится на самое дно всяческих пороков!

Задумавшись, он молчал с минуту, я же в это время разглядывал его.

— А ну-ка, скажите,— вдруг промолвил он,— разве плохие у меня развлечения? Разве не любопытно заглянуть в самые сокровенные изгибы человеческого сердца? Разве не любопытно проникнуть в чужую жизнь и увидеть ее без прикрас, во всей неприкрытой наготе? Каких только картин не насмотришься! Тут и мерзкие язвы и неутешное горе, тут любовные страсти, нищета, которую подстерегают воды Сены, наслаждения юноши — роковые ступени, ведущие к эшафоту, смех отчаяния и пышные празднества. Сегодня видишь трагедию: какой-нибудь честный труженик, отец семейства, покончил с собою, оттого что не мог прокормить своих детей. Завтра смотришь комедию: молодой бездельник пытается разыграть перед тобой современный вариант классической сцены обольщения Диманша его должником! Вы, конечно, читали о хваленом красноречии новоявленных добрых пастырей прошлого века? Я иной раз тратил время, ходил их послушать. Им удавалось кое в чем повлиять на мои взгляды, но повлиять на мое поведение — никогда! — как выразился кто-то. Так знайте же, все эти ваши прославленные проповедники, всякие там Мирабо, Верньо и прочие — просто-напросто жалкие заики по сравнению с моими повседневными ораторами. Какая-нибудь влюбленная молодая девица, старик-купец, стоящий на пороге разорения, мать, пытающаяся скрыть проступок сына, художник без куска хлеба, вельможа, который впал в немилость и того и гляди из-за безденежья потеряет плоды своих долгих усилий,— все эти люди иной раз изумляют меня силой своего слова. Великолепные актеры! И дают они представление для меня одного! Но обмануть меня им никогда не удается. У меня взор, как у господа бога: я читаю в сердцах. От меня ничто не укроется. А разве могут отказать в чем-либо тому, у кого в руках мешок с золотом? Я достаточно

«ГОБСЕК».

«ВТОРОЙ СИЛУЭТ ЖЕНЩИНЫ».

богат, чтобы покупать совесть человеческую, управлять всесильными министрами через их фаворитов, начиная с канцелярских служителей и кончая любовницами. Это ли не власть? Я могу, если пожелаю, обладать красивейшими женщинами и покупать нежнейшие ласки. Это ли не наслаждение? А разве власть и наслаждение не представляют собою сущности вашего нового общественного строя? Таких, как я, в Париже человек десять; мы властители ваших судеб — тихонькие, никому неведомые. Что такое жизнь, как не машина, которую приводят в движение деньги? Помните, что средства к действию сливаются с его результатами: никогда не удастся разграничить душу и плотские чувства, дух и материю. Золото — вот духовная сущность всего нынешнего общества. Я и мои собратья, связанные со мною общими интересами, в определенные дни недели встречаемся в кафе «Фемида» возле Нового моста. Там мы беседуем, открываем друг другу финансовые тайны. Ни одно самое большое состояние не введет нас в обман, мы владеем секретами всех видных семейств. У нас есть своего рода «черная книга», куда мы заносим сведения о государственном кредите, о банках, о торговле. В качестве духовников биржи мы образуем, так сказать, трибунал священной инквизиции, анализируем самые на вид безобидные поступки состоятельных людей и всегда угадываем верно. Один из нас надзирает за судейской средой, другой — за финансовой, третий — за высшим чиновничеством, четвертый — за коммерсантами. А под моим надзором находится золотая молодежь, актеры и художники, светские люди, игроки — самая занятная часть парижского общества. И каждый нам рассказывает о тайнах своих соседей. Обманутые страсти, уязвленное тщеславие болтливы. Пороки, разочарование, месть — лучшие агенты полиции. Как и я, мои собратья всем насладились, всем пресытились и любят теперь только власть и деньги ради самого обладания властью и деньгами. Вот здесь,— сказал он, поведя рукой,— в этой холодной комнате с голыми стенами, самый пылкий любовник, который во всяком другом месте вскипит из-за малейшего намека, вызовет на дуэль из-за острого словечка, молит меня, как бога, смиренно прижимая руки к груди! Проливая слезы бешеной ненависти или скорби, молит меня и самый спеси-

вый купец, и самая надменная красавица, и самый гордый военный. Сюда приходит с мольбою и знаменитый художник и писатель, чье имя будет жить в памяти потомков. А вот здесь,— добавил он, прижимая палец ко лбу,— здесь у меня весы, на которых взвешиваются наследства и корыстные интересы всего Парижа. Ну как вам кажется теперь,— сказал он, повернувшись ко мне бледным своим лицом, будто вылитым из серебра,— не таятся ли жгучие наслаждения за этой холодной, застывшей маской, так часто удивлявшей вас своей неподвижностью?

Я вернулся к себе в комнату совершенно ошеломленным. Этот высохший старикашка вдруг вырос в моих глазах, стал фантастической фигурой, олицетворением власти золота. Жизнь и люди внушали мне в эту минуту ужас.

«Да неужели все сводится к деньгам?» — думал я.

Помнится, я долго не мог заснуть. Мне все мерещились вокруг груды золота. Да и красавица-графиня очень занимала меня. Должен признаться, к стыду моему, что она совсем затмила образ Фанни Мальво, простодушного, чистого создания, обреченного на труд и безвестность. Но утром, в туманных грезах пробуждения, милый девический образ сразу возник передо мной во всей прелести, и я уже думал только о Фанни.

— Не хотите ли выпить стакан воды с сахаром? — спросила г-жа Гранлье, прервав Дервиля.

— С удовольствием,— ответил он.

— Знаете, я не вижу, какое отношение к нам имеет вся эта история,— заметила г-жа Гранлье, позвонив в колокольчик.

— Гром и молния! — воскликнул Дервиль, употребив любимое свое выражение.— Я сейчас сразу прогоню сон от глаз мадемуазель Камиллы,— пусть она знает, что ее счастье совсем еще недавно зависело от папаши Гобсека. Но так как старик на днях умер, дожив до восьмидесяти девяти лет, господин де Ресто скоро вступит во владение превосходным состоянием. Как и почему — это надо объяснить. А что касается Фанни Мальво, то вы ее хорошо знаете. Это моя жена.

— Друг мой,— заметила виконтесса де Гранлье,—

вы, по свойственной вам откровенности, пожалуй, признаетесь в этом при двадцати свидетелях!

— Да я готов крикнуть это всему миру! — заявил стряпчий.

— Вот вода с сахаром, пейте, милый мой Дервиль. Никогда вы ничего не достигнете, зато будете счастливейшим и лучшим из людей.

— Я немножко потерял нить,— сказал вдруг брат виконтессы, пробуждаясь от сладкой дремоты.— Так вы, значит, были у какой-то графини на Гельдерской улице. Что вы там делали?

— Через несколько дней после моего разговора со стариком-голландцем,— продолжал свой рассказ Дервиль,— я защитил диссертацию, получил степень лиценциата прав, затем был зачислен в коллегию стряпчих. Доверие ко мне старого скряги Гобсека очень возросло. Он даже обращался ко мне за советами по разным своим рискованным аферам, в которые смело пускался, собрав точные сведения, хотя даже самый искушенный делец счел бы их опасными. К удивлению моему, этот человек, на которого никто ни в чем не мог повлиять, выслушивал мои советы с какой-то почтительностью. Правда, они всегда шли ему на пользу. Но вот, проработав три года в конторе стряпчего, я получил там должность старшего клерка и переехал с улицы де-Грэ, так как мой патрон, помимо ста пятидесяти франков жалованья в месяц, давал мне теперь еще стол и квартиру. Какой это был счастливый день для меня! Когда я зашел к старому ростовщику проститься, он не сказал мне ни одного дружеского слова, не выразил никакого сожаления, не пригласил бывать у него, а только бросил на меня взгляд, свой удивительный, необыкновенный взгляд, по которому можно было подумать, что он обладает даром ясновидения. Однако неделю спустя старик сам навестил меня, принес запутанное дело об отчуждении земельного участка и с тех пор по-прежнему стал пользоваться моими безвозмездными советами с такою непринужденностью, как будто платил за них. В конце второго, 1818—1819 года, зимою, мой патрон, большой кутила и расточитель, оказался в стесненных обстоятельствах, вынуждавших его продать контору. Хотя в те времена цены на патент стряпчего не достигали таких баснослов-

ных сумм, как теперь, он запросил за свое заведение немало — сто пятьдесят тысяч франков. Если б деятельному, знающему и толковому стряпчему доверили такую сумму на покупку этой конторы, он мог бы прилично жить на доходы от нее, уплачивать проценты и за десять лет расквитаться с долгом. Но у меня гроша за душой не было, так как отец у меня мелкий провинциальный буржуа. Я седьмой по счету в нашей семье, а из всех капиталистов в мире я был близко знаком только с Гобсеком... Но, представьте, честолюбивое желание и какой-то слабый луч надежды внушили мне дерзкую мысль обратиться к нему. И вот однажды вечером я медленным шагом направился на улицу де-Грэ. Сердце у меня сильно билось, когда я постучался в двери хорошо мне знакомого угрюмого дома. Мне вспомнилось все, что я слышал от старого скряги в ту пору, когда я и не подозревал, какая мучительная тревога терзает людей, переступающих порог его жилища. А вот теперь я иду проторенной ими дорожкой и буду так же просить, как они. «Ну нет,— решил я,— честный человек должен всегда и везде сохранять свое достоинство. Унижаться из-за денег не стоит. Покажу себя таким же практичным, как он».

Когда я съехал с квартиры, папаша Гобсек снял мою комнату, чтобы избавиться от соседей, и велел в своей двери прорезать решетчатое окошечко; меня он впустил только после того, как разглядел в это окошечко мое лицо.

— Что ж,— сказал он пискливым голоском,— ваш патрон продает контору?

— Откуда вы знаете? Он никому не говорил об этом, кроме меня.

Губы старика раздвинулись, и в углах рта собрались складки, как на оконных занавесках, но его немую усмешку сопровождал холодный взгляд.

— Только этому я и обязан честью видеть вас у себя,— добавил он сухим тоном и умолк.

Я сидел как потерянный.

— Выслушайте меня, папаша Гобсек,— заговорил я наконец, изо всех сил стараясь говорить спокойно, хотя бесстрастный взгляд этого старика, не сводившего с меня светлых блестящих глаз, смущал меня.

Он сделал жест, означавший: «Говорите!»

— Я знаю, что растрогать вас очень трудно. Поэтому я не стану тратить красноречия, пытаясь изобразить вам положение нищего клерка, у которого вся надежда только на вас, так как в целом мире ему не найти близкую душу, которой небезразлична его будущность. Но оставим близкие души в покое, дела решаются по-деловому, без чувствительных излияний и всяких нежностей. Положение дел вот какое. Моему патрону контора приносит двадцать тысяч дохода в год; но я думаю, что в моих руках она будет давать сорок тысяч. Я чувствую: вот тут есть кое-что,— сказал я, постучав себя пальцем по лбу,— и если бы вы согласились ссудить мне сто пятьдесят тысяч, необходимые для покупки конторы, я в десять лет расплатился бы с вами.

— Умные речи! — сказал Гобсек и наградил меня рукопожатием.— Никогда еще с тех пор, как я веду дела, ни один человек так ясно не излагал мне цели своего посещения. А какие гарантии? — спросил он, смерив меня взглядом, и тут же сам себе ответил: — Никаких. Сколько вам лет?

— Через десять дней исполнится двадцать пять. Иначе я бы не мог заключать договоры.

— Правильно.

— Ну, так как же?

— Пожалуй!

— Правда? Тогда надо все поскорее устроить, иначе перебьют, дадут дороже.

— Завтра утром принесите метрическую выпись, и мы поговорим о вашем деле. Я подумаю.

Утром, в восемь часов, я уже был у старика. Он взял у меня метрику, надел очки, откашлялся, сплюнул, закутался поплотнее в черную свою крылатку и внимательно прочел всю метрическую выпись, от первого до последнего слова, повертел ее в руках, поглядел на меня, опять покашлял, заерзал на стуле и сказал:

— Ну что ж, давайте торговаться.

Я затрепетал.

— Я беру за кредит по-разному,— сказал он,— самое меньшее — пятьдесят процентов, сто, двести, а когда и пятьсот.

Я побледнел.

— Ну, а с вас по знакомству я возьму только двенадцать с половиной процентов...— Он замялся.— Нет, не так,— с вас я возьму тринадцать процентов в год. Подойдет вам?

— Подойдет,— ответил я.

— Смотрите. Если много, защищайтесь, Гроций (он иногда в шутку называл меня Гроцием). Я с вас прошу тринадцать процентов—такое уж мое ремесло. Прикиньте: под силу вам столько платить? Я не люблю, когда человек сразу сдается. Еще раз спрашиваю: не много ль это?

— Нет,— ответил я.— Я расплачусь, придется только приналечь на работу.

— Вот оно что! — заметил Гобсек, поглядывая на меня искоса лукавым взглядом.— Значит, клиенты расплатятся?

— Ну нет, черт возьми! — воскликнул я.— Сам расплачусь. Я скорее дам себе руку отрубить, чем стану грабить людей.

— До свидания,— сказал Гобсек.

— Гонорар я буду брать по таксе.

— Таксы нет на некоторые дела,— например, на получение отсрочек по платежам, на полюбовные соглашения. Тут можно брать по две, по три тысячи франков, а то и по шести тысяч, в зависимости от важности дела, да еще за переговоры, за разъезды, за составление актов, всяких выписок и за говорильню в суде. Надо только уметь находить такие дела. Я вас буду рекомендовать как очень знающего и толкового стряпчего, стану посылать к вам клиентов, и они понатащат к вам столько судебных исков, что ваша адвокатская братия лопнет от зависти. Мои коллеги, Вербруст, Пальма́, Жигонне, поручат вам вести дела об отчуждении земельных участков, а у них таких дел уйма. Значит, у вас будут две клиентуры: одна по наследству от вашего патрона, другую предоставлю вам я. Пожалуй, надо бы взять с вас пятнадцать процентов годовых, я ведь вам полтораста тысяч даю.

— Хорошо, пусть будет так, но не больше,— сказал я с твердостью, желая показать, что это предел и что дальше я не пойду.

Гобсек смягчился,— он, видимо, был доволен мной.

— За контору я сам уплачу вашему патрону,— сказал он,— я постараюсь добиться солидной скидки и с цены и с суммы залога.

— Пожалуйста. Обеспечьте себя какими угодно гарантиями.

— А вы мне выдадите после этого пятнадцать векселей, каждый на десять тысяч франков.

— Только надо зарегистрировать эту двойную сделку и...

— Нет! — сердито воскликнул Гобсек, прерывая меня.— Почему я должен доверять вам больше, чем вы мне?

Я промолчал.

— А сверх процентов,— добавил он уже благодушным тоном,— вы будете бесплатно, пока я жив, вести мои дела. Хорошо?

— Согласен, но никаких расходов из своих средств производить я не буду.

— Правильно! — сказал Гобсек.— А кстати,— добавил он с необычным для него ласковым выражением лица,— вы позволите мне навещать вас?

— Всегда буду рад вас видеть.

— Только, знаете, утром это и вам и мне неудобно: у вас свои дела, у меня свои.

— Приходите по вечерам.

— Нет, это тоже не годится,— живо возразил он.— Вам надо бывать в обществе, встречаться с клиентами. А у меня есть приятели, мы проводим вечера в кафе.

«Приятели? Неужели?» — подумал я и сказал:

— Знаете что? Будем встречаться за обедом.

— Превосходно! — одобрил Гобсек.— После биржи, в пять часов. Условимся так: я буду приходить к вам два раза в неделю — по средам и субботам. Мы будем беседовать о делах, как друзья. Ого! Я иной раз бываю в веселом расположении духа. Вы угостите меня крылышком куропатки, бокалом шампанского, и мы с вами поболтаем. У меня в запасе уйма занимательных историй, о которых теперь уже можно рассказывать, и вы из них многому научитесь, узнаете людей, особенно женщин.

— Идет! Куропатка и шампанское.

— Смотрите не роскошествуйте, а то лишитесь моего доверия. Не вздумайте поставить дом на широкую ногу. Наймите старуху-кухарку, вот и вся прислуга. Я буду навещать вас, узнавать, в добром ли вы здоровье. Ведь я вложу в вас целый капитал! Хе-хе! Надо же мне, конечно, знать, как идут ваши дела. Ну, до свидания. Приходите под вечер с вашим патроном.

— Разрешите спросить, если вы не сочтете это нескромным любопытством,— сказал я старику, когда он проводил меня до порога,— зачем вам понадобилась моя метрическая выпись?

Жан-Эстер ван Гобсек пожал плечами и, хитро улыбаясь, ответил:

— До чего глупа молодежь! Извольте знать, господин стряпчий, и запомните хорошенько, чтоб вас не провели при случае,— ежели человеку меньше тридцати, то его честность и дарования еще могут служить в некотором роде обеспечением ссуды. А после тридцати уже ни на кого полагаться нельзя.

И он запер за мною дверь.

Три месяца спустя я стал стряпчим, а вскоре после этого мне посчастливилось, сударыня, выиграть тяжбы о возвращении вам вашей недвижимости. Успех этот принес мне некоторую известность. Хотя мне приходилось выплачивать Гобсеку огромные проценты, я через пять лет уже расквитался с ним полностью. Я женился на Фанни Мальво, которую полюбил всей душой. Сходство нашей с нею участи, трудовая жизнь и успехи еще укрепили наше взаимное чувство. Умер один из ее дядьев — разбогатевший фермер, и она получила по наследству семьдесят тысяч франков, это помогло мне расплатиться с Гобсеком. А с тех пор моя жизнь — непрерывное счастье и благополучие. Больше я о себе говорить не буду: счастливый человек — тема нестерпимо скучная. Вернемся к героям моей истории. Спустя год после покупки конторы я однажды, почти против воли, попал на холостяцкую пирушку. Один из моих приятелей давал обед, проиграв пари молодому франту, светскому льву. Слава господина де Трай, блестящего денди, гремела тогда в салонах.

— Да и теперь еще гремит,— заметил граф де Борн,

прерывая стряпчего.— Он неподражаемо носит фрак, неподражаемо правит лошадьми, запряженными цугом. А как Максим играет в карты, как он кушает и пьет! Такого изящества манер в целом мире не увидишь. Он знает толк и в скаковых лошадях, и в модных шляпах, и в картинах. Женщины без ума от него. В год он промотывает тысяч сто, однако ж не слыхать, чтобы у него было хоть захудалое поместье или хоть какая-нибудь рента. Это образец странствующего рыцаря нашего времени,— странствует же он по салонам, будуарам, бульварам нашей столицы, это своего рода амфибия, ибо в натуре у него мужских черт столько же, сколько женских. Да, граф Максим де Трай — существо самое странное, на все пригодное и никуда негодное, субъект, внушающий и страх и презрение, всезнайка и круглый невежда, способный оказать благодеяние и совершить преступление, то подлец, то само благородство, бретер, больше испачканный грязью, чем запятнанный кровью, человек, которого могут терзать заботы, но не угрызения совести, которого ощущения занимают сильнее, чем мысли, по виду душа страстная и пылкая, а внутренне холодная, как лед,— блестящее соединительное звено между обитателями каторги и людьми высшего света. Ум у Максима де Трай незаурядный, из таких людей иногда выходят Мирабо, Питты, Ришелье, но чаще всего — графы де Хорн, Фукье-Тенвили и Коньяры.

— Так вот,— заговорил Дервиль, внимательно выслушав брата виконтессы,— я много слышал об этом человеке от несчастного старика Горио, одного из моих клиентов, и старательно уклонялся от опасной чести познакомиться с ним, когда встречал его в обществе. Но тут мой приятель так настойчиво звал меня на свой пир, что я не мог отказаться, иначе меня ославили бы ханжой. Вам, сударыня, трудно представить себе, что такое холостяцкий званый обед. Пышность, редкостные блюда, во всем роскошь, как у скряги, вздумавшего из тщеславия на один день пуститься в мотовство. Войдешь и глаз оторвать не можешь: какой стройный порядок царит на накрытом столе! Сверкает серебро и хрусталь, снежной белизной блещет камчатная скатерть. Словом, жизнь в цвету. Молодые люди очаровательны, улыбаются, говорят тихо, похожи на женихов под венцом, и все во-

круг них сияет девственной чистотой. А через два часа... На столе разгром, как на бранном поле после побоища; повсюду осколки разбитых бокалов, скомканные салфетки; на блюдах искромсанные кушанья, на которые противно смотреть; крик, хохот, шутовские тосты, перекрестный огонь эпиграмм и циничных острот, побагровевшие лица, бессмысленные горящие глаза, разнузданная откровенность душевных излияний. Шум поднимается адский: один бьет бутылки, другой затягивает песню, третий вызывает приятеля на дуэль, а те, глядишь, обнимаются или дерутся. В воздухе стоит отвратительный чад, в котором смешалась целая сотня запахов, и такой рев, как будто кричат сто голосов разом. Никто уже не замечает, что он ест, что пьет и что говорит; один молчит угрюмо, другие болтают без умолку, а кто-нибудь, точно сумасшедший, твердит все одно и то же слово, равномерно гудит, как колокол; другие пытаются командовать этим сумбуром, самый искушенный предлагает поехать в злачные места. Если бы трезвый человек вошел сюда в это время, он, наверное, подумал бы, что попал на вакханалию. И вот в таком диком угаре господин де Трай попытался заручиться моим расположением. Я еще кое-что соображал и держался настороже. Зато он казался вдребезги пьяным, хотя в действительности был в полном рассудке и думал только о своих делах. Уж не знаю, как это случилось, но он совсем меня околдовал, и в девять часов вечера, выходя из гостиной де Гриньона, я пообещал, что завтра утром свезу его к Гобсеку. Этот златоуст де Трай сумел просто с волшебной ловкостью опутать меня своими речами, вставляя в них, и всегда очень к месту, такие слова, как «честь», «благородство», «графиня», «порядочная женщина», «добродетель», «несчастье», «отчаяние» и так далее. Утром, проснувшись, я попытался вспомнить, что я наговорил вчера, и с трудом мог собраться с мыслями. Наконец я припомнил, что, кажется, дочь одного из моих клиентов попала в беду и может лишиться доброго имени, уважения и любви супруга, если нынче утром до двенадцати часов не достанет пятидесяти тысяч франков. Тут были замешаны и карточные долги, и счета каретника, и какие-то растраты... Мой обаятельный собутыльник заверял меня, что эта дама довольно богата и за

несколько лет сумеет бережливостью возместить урон, который нанесла своему состоянию. И только тут я понял, почему мой приятель так настойчиво приглашал меня к себе. Но, признаюсь, к стыду своему, мне и на ум не приходило, что сам Гобсек был весьма заинтересован в примирении с блистательным денди. Едва я успел встать с постели, явился господин де Трай.

— Граф,— сказал я, когда мы обменялись обычными любезностями,— я, право, не понимаю, зачем вам нужно, чтобы я привел вас к Гобсеку,— ведь он самый учтивый и самый безобидный из всех ростовщиков. Он вам даст денег, если они есть у него, вернее, если вы представите ему достаточные гарантии.

— Господин Дервиль,— ответил де Трай,— я не намерен насильно требовать от вас этой услуги, хотя вчера вы обещали мне оказать ее.

«Гром и молния! — мысленно воскликнул я.— Неужели я дам этому человеку повод думать, будто я не умею держать слово!»

— Вчера я имел честь объяснить вам, что очень некстати поссорился с папашей Гобсеком,— заметил де Трай.— Ведь во всем Париже, кроме него, не найдется такого финансиста, который в конце месяца, пока не подведен баланс, может выложить в одну минуту сотню тысяч. Вот я и попросил вас помирить меня с ним. Но не будем больше говорить об этом...

И господин де Трай, посмотрев на меня с учтиво-оскорбительной усмешкой, направился к двери.

— Я поеду с вами к Гобсеку,— сказал я.

Когда мы приехали на улицу де-Грэ, денди все озирался вокруг с таким странным, напряженным вниманием и взгляд его выражал такую тревогу, что я был поражен. Он то бледнел, то краснел, то вдруг желтизна проступала у него на лице, а лишь только он завидел подъезд Гобсека, на лбу у него заблестели капельки пота. Когда мы выскочили из кабриолета, из-за угла на улицу де-Грэ завернул фиакр. Ястребиным своим взором молодой щеголь сразу разглядел в уголке кареты женскую фигуру, на его лице вспыхнула почти звериная радость. Он подозвал проходившего мимо мальчишку и поручил ему подержать лошадь. Мы поднялись по лестнице и вошли к старику-дисконтеру.

— Господин Гобсек,— сказал я,— вот я привел к вам одного из самых близких моих друзей. (Бойтесь его, как дьявола,— шепнул я на ухо старику.) Надеюсь, по моей просьбе вы возвратите ему доброе свое расположение (за обычные проценты) и выручите его из беды (если это вам выгодно).

Господин де Трай низко поклонился ростовщику, сел и, приготовляясь выслушать его, принял изящно-угодливую позу царедворца, которая пленила бы кого угодно; но мой Гобсек сидел в кресле у камелька все так же неподвижно, все такой же бесстрастный. Он походил на статую Вольтера в перистиле Французской комедии, освещенную вечерними огнями. В качестве приветствия он лишь слегка приподнял истрепанный картуз, всегда покрывавший его голову, и мелькнувшая полоска голого черепа, желтого, как старый мрамор, довершила это сходство.

— Деньги у меня есть только для моих постоянных клиентов,— сказал он.

— Так вы, значит, очень разгневались, что я к другим пошел разоряться? — улыбнувшись, отозвался граф.

— Разоряться? — с иронией переспросил Гобсек.

— Вы хотите сказать, что у кого в кармане свистит, тому и разоряться нечего? А вы попробуйте-ка сыскать в Париже человека с таким вот солидным капиталом, как у меня! — воскликнул этот фат и, встав, повернулся на каблуках.

Шутовская его выходка, имевшая почти серьезный смысл, нисколько, однако, не расшевелила Гобсека.

— А кто у меня самые закадычные друзья? — продолжал де Трай.— Господа Ронкероль, де Марсе, Франкессини, оба Ванденеса, Ажуда-Пинто — словом, самые блестящие в Париже молодые люди. Я неизменный партнер за карточным столом одного принца и хорошо известного вам посланника. Я собираю доход в Лондоне, в Карлсбаде, в Бадене, в Бате. Великолепный промысел! Разве не верно?

— Верно.

— Вы со мной обращаетесь, как с губкой, черт подери! Даете мне пропитаться золотом в светском обществе, а в трудную для меня минуту возьмете да выжме-

те. Но смотрите, ведь и с вами то же самое случится. Смерть и вас выжмет, как губку.

— Возможно.

— Да если б не расточители, что бы вы делали? Мы с вами друг для друга необходимы, как душа и тело.

— Правильно.

— Ну, дайте руку, помиримся, папаша Гобсек. И проявите великодушие, если все это возможно, верно и правильно.

— Вы пришли ко мне,— холодно ответил ростовщик,— только потому, что Жирар, Пальма́, Вербруст и Жигонне по горло сыты вашими векселями и всем их навязывают, даже с убытком для себя в пятьдесят процентов. Но выложили-то они вам, по всей вероятности, только половину номинала, значит, векселя ваши и двадцати пяти процентов не стоят. Нет, нет. Слуга покорный! Куда это годится? — продолжал Гобсек.— Разве можно ссудить хоть грош человеку, у которого долгов на триста тысяч франков, а за душой ни сантима? Третьего дня на балу у барона Нусингена вы проиграли в карты десять тысяч.

— Милостивый государь,— ответил граф, с редкостной наглостью смерив его взглядом,— мои дела вас не касаются. Долг платежом красен.

— Верно.

— Мои векселя всегда будут оплачены.

— Возможно.

— И в данном случае весь вопрос сводится для вас к одному: могу я или не могу представить вам достаточный залог под ссуду на ту сумму, которую я хотел бы занять?

— Правильно.

С улицы донесся шум подъезжавшего к дому экипажа.

— Сейчас я принесу вам кое-что, и вы, думается мне, будете вполне удовлетворены,— сказал де Трай и выбежал из комнаты.

— О сын мой! — воскликнул Гобсек, вскочив и пожимая мне руку.— Если заклад у него ценный, ты спас мне жизнь! Ведь я чуть не умер! Вербруст и Жигонне вздумали сыграть со мной шутку. Но благодаря тебе я сам нынче вечером посмеюсь над ними.

В радости этого старика было что-то жуткое. Впервые он так ликовал при мне, и, как ни мимолетно было это мгновение торжества, оно никогда не изгладится из моей памяти.

— Сделайте одолжение, побудьте-ка здесь,— добавил Гобсек.— Хотя при мне пистолеты и я уверен в своей меткости, потому что мне случалось и на тигра ходить и на палубе корабля драться в абордажной схватке не на жизнь, а на смерть, я все-таки побаиваюсь этого элегантного мерзавца.

Он подошел к письменному столу и сел в кресло. Лицо его вновь стало бледным и спокойным.

— Так, так! — сказал он, повернувшись ко мне.— Вы, несомненно, увидите сейчас ту красавицу, о которой я когда-то рассказывал вам. Я слышу в коридоре шаги аристократических ножек.

В самом деле, молодой франт вошел, ведя под руку даму, и я сразу узнал в ней одну из дочерей старика Горио, а по описанию Гобсека, ту самую графиню, в чью опочивальню он проник однажды Она же сначала не заметила меня, так как я стоял в оконной нише и тотчас повернулся лицом к стеклу.

Войдя в сырую и темную комнату ростовщика, графиня бросила недоверчивый взгляд на Максима де Трай. Она была так хороша, что я, невзирая на все ее прегрешения, пожалел ее. Видно было, что сердце у нее щемит от ужасных мук, и ее гордое лицо с благородными чертами искажала плохо скрытая боль. Молодой щеголь стал ее злым гением. Я подивился прозорливости Гобсека,— уже четыре года назад он предугадал судьбу этих двух людей по первому их векселю. «Вероятно, это чудовище с ангельским лицом,— думал я,— властвует над ней, пользуясь всеми ее слабостями: тщеславием, ревностью, жаждой наслаждений, светской суетностью».

— Да и самые добродетели этой женщины, несомненно, были его оружием! — воскликнула виконтесса.— Он пользовался ее преданностью, умел разжалобить до слез, играл на великодушии, свойственном нашему полу, злоупотреблял ее нежностью и очень дорого продавал ей преступные радости.

— Должен вам признаться,— заметил Дервиль, не понимая знаков, которые делала ему г-жа де Гранлье,—

я не оплакивал участи этого несчастного создания, пленительного в глазах света и ужасного для тех, кто читал в ее сердце, но я с отвращением смотрел на ее молодого спутника, сущего убийцу, хотя у него было такое ясное чело, румяные, свежие уста, милая улыбка, белоснежные зубы и ангельский облик. Оба они в эту минуту стояли перед своим судьей, а он наблюдал за ними таким взглядом, каким, верно, в шестнадцатом веке старый монах-доминиканец смотрел на пытки каких-нибудь двух мавров в глубоком подземелье святейшей инквизиции.

— Сударь,— заговорила графиня срывающимся голосом,— можно получить вот за эти бриллианты полную их стоимость, оставив, однако, за собою право выкупить их? — И она протянула Гобсеку ларчик.

— Можно, сударыня,— вмешался я, выходя из оконной ниши.

Графиня быстро повернулась в мою сторону, вздрогнула, узнав меня, и бросила мне взгляд, который на любом языке означает: «Не выдавайте».

— У нас, юристов, такая сделка именуется «условной продажей, с правом последующего выкупа», и состоит она в передаче движимого или недвижимого имущества на определенный срок, по истечении коего собственность может быть возвращена владельцу при внесении им покупщику обусловленной суммы.

Графиня вздохнула с облегчением. Максим де Трай нахмурился, видимо, опасаясь, что при такой сделке ростовщик даст меньше, ибо ценность бриллиантов неустойчива. Гобсек молча схватил лупу и принялся рассматривать содержимое ларчика. Проживи я на свете еще сто лет, мне не забыть этой картины. Бледное лицо его разрумянилось, глаза загорелись каким-то сверхъестественным огнем, словно в них отражалось сверкание бриллиантов. Он встал, подошел к окну и, разглядывая драгоценности, подносил их так близко к своему беззубому рту, словно хотел проглотить их. Он бормотал какие-то бессвязные слова, доставал из ларчика то браслеты, то серьги с подвесками, то ожерелья, то диадемы, поворачивал их, определяя чистоту воды, оттенок и грань алмазов, искал, нет ли изъяна. Он вытаскивал их из ларчика, укладывал обратно, опять вынимал, опять поворачивал, чтобы они заиграли всеми таивши-

мися в них огнями. В эту минуту он был скорее ребенком, чем стариком, или, вернее, он был и ребенком и стариком.

— Хороши! Ах, хороши! Такие бриллианты до революции стоили бы триста тысяч! Чистейшей воды! Несомненно, из Индии — из Голконды или из Висапура. Да разве вы знаете им цену! Нет, нет, во всем Париже только Гобсек сумеет их оценить. При Империи запросили бы больше двухсот тысяч, чтобы сделать на заказ такие уборы.— И с досадливым жестом он добавил: — А нынче бриллианты падают в цене, с каждым днем падают! После заключения мира Бразилия наводнила рынок алмазами, хоть они и желтоватой воды, не такие, как индийские. Да и дамы носят теперь бриллианты только на придворных балах. Вы, сударыня, бываете при дворе?

И, сердито бросая эти слова, он с невыразимым наслаждением рассматривал бриллианты один за другим.

— Хорош! Без единого пятнышка! — бормотал он.— А вот на этом точечка! А тут трещинка! А эгот красавец! Красавец!

Все его бледное лицо было освещено переливающимися отблесками алмазов, и мне пришли на память в эту минуту зеленоватые старые зеркала в провинциальных гостиницах, тусклое стекло которых совсем не отражает световых бликов, а смельчаку, дерзнувшему поглядеться в них, преподносит образ человека, умирающего от апоплексического удара.

— Ну так как же? — спросил граф, хлопнув Гобсека по плечу.

Старый младенец вздрогнул. Он оторвался от любимых игрушек, положил их на письменный стол, сел в кресло и вновь стал только ростовщиком, учтивым, но холодным и жестким, как мраморный столб.

— Сколько вы желали бы занять?

— Сто тысяч. На три года,— ответил граф.

— Что ж, можно,— согласился Гобсек, осторожно доставая из шкатулки красного дерева свою драгоценность — неоценимые, точнейшие весы.

Он взвесил бриллианты, определяя на глаз (бог весть как!) вес старинной оправы. Во время этой операции лицо

его выражало и ликование и стремление побороть его. Графиня словно оцепенела, погрузившись в раздумье; и я порадовался за нее,— мне казалось, что эта женщина увидела вдруг, в какую глубокую пропасть она скатилась. Значит, совесть у нее еще не совсем заглохла, и, может быть, достаточно только некоторого усилия, достаточно лишь протянуть сострадательно руку, чтобы спасти ее. И я сделал попытку.

— Это ваши собственные бриллианты, сударыня? — спросил я.

— Да, сударь,— ответила она, надменно взглянув на меня.

— Пишите акт о продаже с последующим выкупом, болтун,— сказал Гобсек и, встав из-за стола, указал мне рукой на свое кресло.

— Вы, сударыня, вероятно, замужем? — задал я второй вопрос.

Графиня нетерпеливо кивнула головой

— Я отказываюсь составлять акт! — воскликнул я.

— Почему это? — спросил Гобсек.

— Как «почему»? — возмутился я и, отведя старика к окну, вполголоса сказал: — Замужняя женщина во всем зависит от мужа, сделка будет признана незаконной, а вам не удастся сослаться на свое неведение, раз налицо будет акт. Вам придется предъявить эти бриллианты, так как в акте будут указаны их вес, стоимость и грань.

Гобсек прервал меня кивком головы и повернулся к двум преступникам.

— Он прав. Условия меняются. Восемьдесят тысяч наличными, а бриллианты останутся у меня,— добавил он глухим и тоненьким голоском.— При сделках на движимое имущество собственность лучше всяких актов.

— Но...— заговорил было де Трай.

— Соглашайтесь или берите обратно,— перебил его Гобсек и протянул ларчик графине.— Я не хочу рисковать.

— Гораздо лучше для вас броситься к ногам мужа,— шепнул я графине.

Ростовщик понял по движению моих губ, что́ я сказал, и бросил на меня холодный взгляд.

Молодой щеголь побледнел как полотно. Графиня явно колебалась. Максим де Трай подошел к ней, и, хотя он говорил очень тихо, я расслышал слова: «Прощай, дорогая Анастази. Будь счастлива. А я... Завтра я уже избавлюсь от всех забот».

— Сударь! — воскликнула графиня, быстро повернувшись к Гобсеку.— Я согласна, я принимаю ваши условия.

— Ну, вот и хорошо! — отозвался старик.— Трудно вас уломать, красавица моя.— Он подписал банковский чек на пятьдесят тысяч и вручил его графине.— А вдобавок к этому,— сказал он с улыбкой, очень похожей на вольтеровскую,— я в счет остальной платежной суммы дам вам на тридцать тысяч векселей, самых бесспорных, самых для вас надежных. Все равно, что золотом выложу эту сумму. Граф де Трай только что сказал мне: *«Мои векселя всегда будут оплачены»*,— добавил Гобсек, подавая графине векселя, подписанные графом, опротестованные накануне одним из собратьев Гобсека и, вероятно, проданные за бесценок.

Максим де Трай разразился рычанием, в котором явственно прозвучали слова: «Старый подлец!»

Гобсек и бровью не повел, спокойно достал из картонного футляра пару пистолетов и холодно сказал:

— Первый выстрел за мной, по праву оскорбленной стороны.

— Максим! — тихо вскрикнула графиня.— Извинитесь. Вы должны извиниться перед господином Гобсеком.

— Сударь, я не имел намерения оскорбить вас,— пробормотал граф.

— Я это прекрасно знаю,— спокойно ответил Гобсек.— В ваши намерения входило только не заплатить по векселям.

Графиня встала и, поклонившись, выбежала, видимо, охваченная ужасом. Графу де Трай пришлось последовать за ней, но на прощанье он сказал:

— Если вы хоть словом обмолвитесь обо всем этом, господа, прольется ваша или моя кровь.

— Аминь! — ответил ему Гобсек, пряча пистолеты.— Чтобы пролить свою кровь, надо ее иметь, милый мой, а у тебя в жилах вместо крови грязь.

Когда хлопнула наружная дверь и оба экипажа отъехали, Гобсек вскочил с места и, приплясывая, закричал:

— А бриллианты у меня! А бриллианты-то мои! Великолепные бриллианты! Дивные бриллианты! И как дешево достались! А-а, господа Вербруст и Жигонне! Вы думали поддеть старика Гобсека? А я сам вас подцел! Я все получил сполна! Куда вам до меня! Мелко плаваете! Какие у них глупые будут рожи, когда я расскажу нынешнюю историю между двумя партиями в домино!

Эта свирепая радость, это злобное торжество дикаря, завладевшего блестящими камешками, ошеломили меня. Я остолбенел, онемел.

— Ах, ты еще тут, голубчик! Я и забыл совсем. Мы нынче пообедаем вместе. У тебя пообедаем,— я ведь не веду хозяйства, а все эти рестораторы с их подливками да соусами, с их винами — сущие душегубы. Они самого дьявола отравят.

Заметив наконец выражение моего лица, он сразу вернулся к холодной бесстрастности.

— Вам этого не понять,— сказал он, усаживаясь у камина, где стояла на жаровне жестяная кастрюлька с молоком.— Хотите позавтракать со мной? — добавил он.— Пожалуй, и на двоих хватит.

— Нет, спасибо,— ответил я.— Я всегда завтракаю в полдень.

В эту минуту в коридоре послышались чьи-то торопливые шаги.

Кто-то остановился у дверей Гобсека и яростно постучал в них. Ростовщик направился к порогу и, поглядев в окошечко, отпер двери. Вошел человек лет тридцати пяти, вероятно, показавшийся ему безобидным, несмотря на свой гневный стук.

Посетитель одет был просто, а наружностью напоминал покойного герцога Ришелье. Это был супруг графини, и вы, вероятно, встречали его в свете: у него была, прошу извинить меня за это определение, вельможная осанка государственных мужей, обитателей вашего предместья.

— Сударь,— сказал он Гобсеку, к которому вернулось все его спокойствие,— моя жена была у вас?

— Возможно.

— Вы что же, сударь, не понимаете меня?

— Не имею чести знать вашу супругу,— ответил ростовщик.— У меня нынче утром перебывало много народу — мужчины, женщины, девицы, похожие на юношей, и юноши, похожие на девиц. Мне, право, трудно...

— Шутки в сторону, сударь! Я говорю о своей жене. Она только что была у вас.

— Откуда же мне знать, что эта дама — ваша супруга? Я не имел удовольствия встречаться с вами.

— Ошибаетесь, господин Гобсек,— сказал граф с глубокой иронией. — Мы встретились с вами однажды утром в спальне моей жены. Вы приходили взимать деньги по векселю, по которому она никаких денег не получала.

— А уж это не мое дело — разузнавать, какими ценностями ей была возмещена эта сумма,— возразил Гобсек, бросив на графа ехидный взгляд.— Я учел ее вексель при расчетах с одним из моих коллег. Кстати, позвольте заметить вам, граф,— добавил Гобсек без малейшей тени волнения, неторопливо засыпав кофе в молоко,— позвольте заметить вам, что, по моему разумению, вы не имеете права читать мне нотации в собственном моем доме. Я, сударь, достиг совершеннолетия еще в шестьдесят первом году прошлого века.

— Милостивый государь, вы купили у моей жены по крайне низкой цене бриллианты, не принадлежащие ей,— это фамильные драгоценности.

— Я не считаю себя обязанным посвящать вас в тайны моих сделок, но скажу вам, однако, что если графиня и взяла у вас без спросу бриллианты, вам следовало предупредить письменно всех ювелиров, чтобы их не покупали,— ваша супруга могла продать бриллианты по частям.

— Сударь! — воскликнул граф.— Вы ведь знаете мою жену!

— Верно.

— Как замужняя женщина, она подчиняется мужу.

— Возможно.

— Она не имела права распоряжаться этими бриллиантами!

— Правильно.

— Ну, так как же, сударь?

— А вот как! Я знаю вашу жену, она подчинена мужу,— согласен с вами; ей еще и другим приходится подчиняться,— но *ваших бриллиантов я не знаю*. Если ваша супруга подписывает векселя, то, очевидно, она может и заключать коммерческие сделки, покупать бриллианты или брать их на комиссию для продажи. Это бывает.

— Прощайте, сударь! — воскликнул граф, бледнея от гнева.— Существует суд.

— Правильно.

— Вот этот господин,— добавил граф, указывая на меня,— был свидетелем продажи.

— Возможно.

Граф направился к двери.

Видя, что дело принимает серьезный оборот, я решил вмешаться и примирить противников.

— Граф,— сказал я,— вы правы, но и господин Гобсек не виноват. Вы не можете привлечь его к суду, оставив вашу жену в стороне, а этим процессом будет опозорена не только она одна. Я стряпчий и, как должностное лицо, да и просто как порядочный человек, считаю себя обязанным подтвердить, что продажа произведена в моем присутствии. Но я не думаю, что вам удастся расторгнуть эту сделку как незаконную, и нелегко будет установить, что проданы именно ваши бриллианты. По справедливости вы правы, но по букве закона вы потерпите поражение. Господин Гобсек — человек честный и не станет отрицать, что купил бриллианты очень выгодно для себя, да и я по долгу и по совести засвидетельствую это. Но если вы затеете тяжбу, исход ее крайне сомнителен. Советую вам пойти на мировую с господином Гобсеком. Он ведь может доказать на суде свою добросовестность, а вам все равно придется вернуть сумму, уплаченную им. Согласитесь считать свои бриллианты в закладе на семь, на восемь месяцев, даже на год, если раньше этого срока вы не в состоянии вернуть деньги, полученные графиней. А может быть, вы предпочтете выкупить их сегодня же, представив достаточные для этого гарантии?

Ростовщик преспокойно макал хлеб в кофе и завтракал с полнейшей невозмутимостью, но, услышав слова «пойти на мировую», бросил на меня взгляд, говорив-

ший: «Молодец! Ловко пользуешься моими уроками!» Я ответил ему взглядом, который он прекрасно понял: «Дело очень сомнительное и грязное, надо вам немедленно заключить полюбовное соглашение». Гобсек не мог прибегнуть к запирательству, зная, что я скажу на суде всю правду. Граф поблагодарил меня благосклонной улыбкой. После долгих обсуждений, в которых хитростью и алчностью Гобсек заткнул бы за пояс участников любого дипломатического конгресса, я составил акт, где граф признавал, что получил от Гобсека восемьдесят пять тысяч франков, включая в эту сумму и проценты по ссуде, а Гобсек обязывался при уплате ему всей суммы долга вернуть бриллианты графу.

— Какая расточительность! — горестно воскликнул муж графини, подписывая акт.— Как перебросить мост через эту бездонную пропасть?

— Сударь, много у вас детей? — серьезным тоном спросил Гобсек.

Граф от этих слов вздрогнул, как будто старый ростовщик, словно опытный врач, сразу нащупал больное место. Он ничего не ответил.

— Так, так,— пробормотал Гобсек, поняв его угрюмое молчание.— Я вашу историю наизусть знаю. Эта женщина — демон, а вы, должно быть, все еще любите ее. Понимаю! Она даже и меня в волнение привела. Может быть, вы хотите спасти свое состояние, сберечь его для одного или для двух своих детей? Советую вам: бросьтесь в омут светских удовольствий, играйте для виду в карты, проматывайте деньги да почаще приходите к Гобсеку. В светских кругах будут называть меня жидом, эфиопом, ростовщиком, грабителем, говорить, что я разоряю вас. Мне наплевать! За оскорбление обидчик дорого поплатится! Ваш покорный слуга прекрасно стреляет из пистолета и владеет шпагой. Это всем известно. А еще, советую вам, найдите надежного друга, если можете, и путем фиктивной продажной сделки передайте ему все свое имущество. Как это у вас, юристов, называется? Фидеикомис, кажется? — спросил он, повернувшись ко мне.

Граф был весь поглощен своими заботами и, уходя, сказал Гобсеку:

— Завтра я принесу вам деньги. Держите бриллианты наготове.

— По-моему, он глупец, как все эти ваши порядочные люди,— презрительно бросил Гобсек, лишь только мы остались одни.

— Скажите лучше—как люди, захваченные страстью.

— А за составление закладной пусть вам заплатит граф,— сказал Гобсек, когда я прощался с ним.

Через несколько дней после этой истории, открывшей мне мерзкие тайны светской женщины, граф утром явился ко мне.

— Сударь,— сказал он, войдя в мой кабинет.— Я хочу посоветоваться с вами по очень важному делу. Считаю своим долгом заявить, что я питаю к вам полное доверие и надеюсь доказать это. Ваше поведение в процессах госпожи де Гранлье выше всяких похвал. (Вот видите, сударыня,— заметил стряпчий, повернувшись к виконтессе,— услугу я оказал вам очень простую, а сколько раз был за это вознагражден...) — Я почтительно поклонился графу и ответил, что только выполнил долг честного человека.

— Так вот, сударь. Я тщательно навел справки о том странном человеке, которому вы обязаны своим положением,— сказал граф,— и из всех моих сведений видно, что этот Гобсек — философ из школы циников. Какого вы мнения о его честности?

— Граф,— ответил я,— Гобсек оказал мне благодеяние... Из пятнадцати процентов,— добавил я смеясь.— Но его скупость все же не дает мне права слишком откровенничать о нем с незнакомым мне человеком.

— Говорите, сударь. Ваша откровенность не может повредить ни ему, ни вам. Я отнюдь не надеюсь встретить в лице этого ростовщика ангела во плоти.

— У папаши Гобсека,— сказал я,— есть одно основное правило, которого он придерживается в своем поведении. Он считает, что деньги — это товар, который можно со спокойной совестью продавать, дорого или дешево, в зависимости от обстоятельств. Ростовщик, взимающий большие проценты за ссуду, по его мнению, такой же капиталист, как и всякий другой участник прибыльных предприятий и спекуляций. А если отбросить его финансовые принципы и его рассуждения о натуре

человеческой, которыми он оправдывает свои ростовщические ухватки, то я глубоко убежден, что вне этих дел он человек самой щепетильной честности во всем Париже. В нем живут два существа: скряга и философ, подлое существо и возвышенное. Если я умру, оставив малолетних детей, он будет их опекуном. Вот, сударь, каким я представляю себе Гобсека на основании личного своего опыта. Я ничего не знаю о его прошлом. Возможно, он был корсаром; возможно, блуждал по всему свету, торговал бриллиантами или людьми, женщинами или государственными тайнами, но я глубоко уверен, что ни одна душа человеческая не получила такой жестокой закалки в испытаниях, как он. В тот день, когда я принес ему свой долг и расплатился полностью, я с некоторыми риторическими предосторожностями спросил у него, какие соображения заставили его брать с меня огромные проценты и почему он, желая помочь мне, своему другу, не позволил себе оказать это благодеяние совершенно бескорыстно. «Сын мой, я избавил тебя от признательности, я дал тебе право считать, что ты мне ничем не обязан. И поэтому мы с тобой лучшие в мире друзья». Этот ответ, сударь, лучше всяких моих слов нарисует вам портрет Гобсека.

— Мое решение бесповоротно,— сказал граф.— Потрудитесь подготовить все необходимые акты для передачи Гобсеку прав на мое имущество. И только вам, сударь, я могу доверить составление встречной расписки, в которой он заявит, что продажа является фиктивной, даст обязательство управлять моим состоянием по своему усмотрению и передать его в руки моего старшего сына, когда тот достигнет совершеннолетия. Но я должен сказать вам следующее: я боюсь хранить у себя эту расписку. Мой сын так привязан к матери, что я и ему не решусь доверить этот драгоценный документ. Я прошу вас взять его к себе на хранение. Гобсек на случай своей смерти назначит вас наследником моего имущества. Итак, все предусмотрено.

Граф умолк, и вид у него был очень взволнованный.

— Приношу тысячу извинений, сударь, за беспокойство,— заговорил он наконец.— но я так страдаю, да и здоровье мое вызывает у меня сильные опасения. Недавние горести были для меня жестоким ударом, боюсь, что

мне недолго жить, и решительные меры, которые я хочу принять, просто необходимы.

— Сударь,— ответил я,— прежде всего позвольте поблагодарить вас за доверие. Но, чтоб оправдать его, я должен указать вам, что этими мерами вы совершенно обездолите... ваших младших детей, а ведь они тоже носят ваше имя. Пускай жена ваша грешна перед вами, все же вы когда-то ее любили, и дети ее имеют право на известную обеспеченность. Должен заявить вам, что я не соглашусь принять на себя почетную обязанность, которую вам угодно на меня возложить, если их доля не будет точно установлена.

Граф вздрогнул, слезы выступили у него на глазах, и он сказал, крепко пожав мне руку:

— Я еще не знал вас как следует. Вы и причинили мне боль и обрадовали меня. Да, надо определить в первом же пункте встречной расписки, какую долю выделить этим детям.

Я проводил его до дверей моей конторы, и мне показалось, что лицо у него просветлело от чувства удовлетворения справедливым поступком. Вот, Камилла, как молодые женщины могут по наклонной плоскости скатиться в пропасть. Достаточно иной раз кадрили на балу, романса, спетого за фортепьяно, загородной прогулки, чтобы за ними последовало непоправимое несчастье. К нему стремятся сами, послушавшись голоса самонадеянного тщеславия, гордости, поверив иной раз улыбке, поддавшись опрометчивому легкомыслию юности! А лишь только женщина перейдет известные границы, она неизменно попадает в руки трех фурий, имя которых — позор, раскаяние, нищета, и тогда...

— Бедняжка Камилла, у нее совсем слипаются глаза,— заметила виконтесса, прерывая Дервиля.— Ступай, детка, ложись. Нет надобности пугать тебя страшными картинами, ты и без них останешься чистой, добродетельной.

Камилла де Гранлье поняла мать и удалилась.

— Вы зашли немного далеко, дорогой Дервиль,— сказала виконтесса.— Поверенный по делам — это все-таки не мать и не проповедник.

— Но ведь газеты в тысячу раз более...

— Дорогой мой! — удивленно сказала виконтесса.—

Я, право, не узнаю вас! Неужели вы думаете, что моя дочь читает газеты? Продолжайте,— добавила она.

— Прошло три месяца после утверждения купчей на имущество графа, перешедшее к Гобсеку...

— Можете теперь называть графа по имени — де Ресто, раз моей дочери тут нет,— сказала виконтесса.

— Прекрасно,— согласился стряпчий. —Прошло много времени после этой сделки, а я все не получал того важного документа, который должен был храниться у меня. В Париже стряпчих так захватывает поток житейской суеты, что они не могут уделять делам своих клиентов больше внимания, чем сами их доверители,— за отдельными исключениями, которые мы умеем делать. Но все же как-то раз, угощая Гобсека обедом у себя дома, я спросил его, когда мы встали из-за стола, не знает ли он, почему ничего больше не слышно о господине де Ресто.

— На то есть основательные причины,— ответил он.— Граф при смерти. Душа у него нежная. Такие люди не умеют совладать с горем, и оно убивает их. Жизнь — это сложное, трудное ремесло, и надо приложить усилия, чтобы научиться ему. Когда человек узнает жизнь, испытав ее горести, фибры сердца у него закалятся, окрепнут, а это позволяет ему управлять своей чувствительностью. Нервы тогда становятся не хуже стальных пружин — гнутся, а не ломаются. А если вдобавок и пищеварение хорошее, то при такой подготовке человек будет живуч и долголетен, как кедры ливанские, действительно великолепные деревья.

— Неужели граф умрет? — воскликнул я.

— Возможно,— заметил Гобсек.— Дело о его наследстве — лакомый для вас кусочек.

Я посмотрел на своего гостя и сказал, чтобы прощупать его намерения:

— Объясните вы мне, пожалуйста, почему из всех людей только граф и я вызвали в вас участие?

— Потому что вы одни доверились мне без всяких хитростей.

Хотя этот ответ позволял мне думать, что Гобсек не злоупотребит своим положением, даже если встречная расписка исчезнет, я все-таки решил навестить графа. Сославшись на какие-то дела, я вышел из дому вместе

с Гобсеком. На Гельдерскую улицу я приехал очень быстро. Меня провели в гостиную, где графиня играла с младшими своими детьми. Когда лакей доложил обо мне, она вскочила с места, пошла было мне навстречу, потом села и молча указала рукой на свободное кресло у камина. И сразу же она как будто прикрыла лицо маской, под которой светские женщины так искусно прячут свои страсти. От пережитых горестей красота ее уже поблекла, но чудесные черты лица не изменились и свидетельствовали о былом его очаровании.

— У меня очень важное дело к графу; я бы хотел, сударыня, поговорить с ним.

— Если вам это удастся, вы окажетесь счастливее меня,— заметила она, прерывая мое вступление.— Граф никого не хочет видеть, с трудом переносит визиты врача, отвергает все заботы, даже мои. У больных странные причуды. Они, как дети, сами не знают, чего хотят.

— Может быть, наоборот,— они, как дети, прекрасно знают, чего хотят.

Графиня покраснела. Я же почти раскаивался, что позволил себе такую реплику в духе Гобсека, и поспешил переменить тему разговора.

— Но как же,— спросил я,— разве можно оставлять больного все время одного?

— Около него старший сын,— ответила графиня.

Я пристально поглядел на нее, но на этот раз она не покраснела; мне показалось, что она твердо решила не дать мне проникнуть в ее тайны.

— Поймите, сударыня,— снова заговорил я,— моя настойчивость вовсе не вызвана нескромным любопытством. Дело касается очень существенных интересов...

И тут же я прикусил язык, почувствовав, что пошел по неверному пути. Графиня тотчас воспользовалась моей оплошностью.

— Интересы мужа и жены нераздельны. Ничто не мешает вам обратиться ко мне...

— Простите, дело, которое привело меня сюда, касается только графа,— возразил я.

— Я прикажу передать о вашем желании поговорить с ним.

Однако учтивый ее тон и любезный вид, с которым

она это сказала, не обманули меня,— я догадался, что она ни за что не допустит меня к своему мужу.

Мы еще немного поговорили о самых безразличных вещах, и я в это время наблюдал за графиней. Но, как все женщины, составив себе определенный план действий, она скрывала его с редкостным искусством, представляющим собою высшую степень женского вероломства. Страшно сказать, но я всего опасался с ее стороны, даже преступления. Ведь в каждом ее жесте, в ее взгляде, в ее манере держать себя, в интонациях голоса сквозило, что она знает, какое будущее ждет ее. Я простился с нею и ушел... А теперь я расскажу вам заключительные сцены этой драмы, добавив к тем обстоятельствам, которые выяснились со временем, кое-какие подробности, разгаданные проницательным Гобсеком и мною самим. С той поры как граф де Ресто, по видимости, закружился в вихре удовольствий и принялся проматывать свое состояние, между супругами происходили сцены, скрытые от всех,— они дали графу основание еще больше презирать жену. Когда же он тяжело заболел и слег, проявилось все его отвращение к ней и к младшим детям: он запретил им входить к нему в спальню, и если запрет пытались нарушить, это вызывало такие опасные для его жизни припадки, что сам врач умолял графиню подчиниться распоряжениям мужа. Графиня де Ресто видела, как все семейное состояние — поместья, фермы, даже дом, где она живет,— уплывает в руки Гобсека, казавшегося ей сказочным колдуном, пожирателем ее богатства, и она, несомненно, поняла, что у мужа есть какой-то умысел. Де Трай, спасаясь от ярых преследований кредиторов, путешествовал по Англии. Только он мог бы раскрыть графине глаза, угадав тайные меры, подсказанные графу ростовщиком в защиту от нее. Говорят, она долго не давала свою подпись, а это, по нашим законам, необходимо при продаже имущества супругов. Но граф все же добился ее согласия. Графиня воображала, что муж обращает свое имущество в деньги и что пачечка кредитных билетов, в которую оно превратилось, хранится в потайном шкафу у какого-нибудь нотариуса или в банке. По ее расчетам, у господина де Ресто должен был находиться на руках документ, который дает старшему сыну возможность

защитить свои права на причитающуюся ему долю наследства. Поэтому она решила установить строжайшее наблюдение за спальней мужа. В доме она была полновластной хозяйкой и все подчинила своему женскому шпионству. Весь день она безвыходно сидела в гостиной перед спальней графа, прислушиваясь к каждому его слову, к малейшему движению, а на ночь ей тут же стлали постель, но она не смыкала глаз. Врач был всецело на ее стороне. Ее показная преданность мужу всех восхищала. С прирожденной хитростью вероломного существа она скрывала истинные причины отвращения, которое выказывал ей муж, и так замечательно разыгрывала скорбь, что стала, можно сказать, знаменитостью. Некоторые блюстительницы нравственности даже находили, что она искупила свои грехи. Но все время у нее перед глазами стояли картины нищеты, угрожавшей ей, если она потеряет присутствие духа. И вот эта женщина, изгнанная мужем из комнаты, где он стонал на смертном одре, очертила вокруг него магический круг. Она была и далеко от него и вместе с тем близко, лишена всех прав и вместе с тем всемогуща, притворялась самой преданной супругой, но стерегла час его смерти и свое богатство, словно то насекомое, которое роет в песке норку, изогнутую спиралью, и, притаившись на дне ее, поджидает намеченную добычу, прислушиваясь к падению каждой песчинки. Самому суровому моралисту поневоле пришлось бы признать, что графиня оказалась страстно любящей матерью. Говорят, смерть отца послужила ей уроком. Она обожала детей и стремилась скрыть от них свою беспутную жизнь; нежный их возраст легко позволял это сделать и внушить им любовь к ней. Она дала им превосходное, блестящее образование. Признаюсь, я с некоторым восхищением и жалостью относился к этой женщине, за что Гобсек еще недавно подтрунивал надо мною. В ту пору графиня уже убедилась в подлости Максима де Трай и горькими слезами искупала свои прошлые грехи. Я уверен в этом. Меры, которые она принимала, чтобы завладеть состоянием мужа, конечно, были гнусными, но ведь их внушала ей материнская любовь, желание загладить свою вину перед детьми. Да и очень возможно, что, как многие женщины, пережившие бурю страсти, она теперь искренне стремилась к добро-

детели. Может быть, только тогда она и узнала ей цену, когда пожала печальную жатву своих заблуждений. Всякий раз, как ее старший сын, Эрнест, выходил из отцовской комнаты, она подвергала его допросу, хитро выпытывала, что делал граф, что говорил. Мальчик отвечал с большой охотой, приписывая все ее вопросы нежной любви к отцу. Мое посещение всполошило графиню: она увидела во мне орудие мстительных замыслов мужа и решила не допускать меня к умирающему. Я почуял недоброе и горячо желал добиться свидания с господином де Ресто, так как беспокоился о судьбе встречных расписок. Я боялся, что эти документы попадут в руки графини, она может предъявить их, и тогда начнется нескончаемая тяжба между нею и Гобсеком. Я уже хорошо знал характер этого ростовщика и был уверен, что он не отдаст графине имущества, переданного ему графом, а в тексте встречных расписок, которые привести в действие мог только я, имелось много оснований для судебной кляузы. Желая предотвратить это несчастье, я вторично пошел к графине.

Я заметил, сударыня,— сказал Дервиль виконтессе де Гранлье, принимая таинственный вид,— что существует одно моральное явление, на которое мы в житейской суете не обращаем должного внимания. По своей натуре я склонен к наблюдениям, и в дела, которые мне приходилось вести, особенно если в них разгорались человеческие страсти, всегда как-то невольно вносил дух анализа. И знаете, сколько раз я убеждался в удивительной способности противников разгадывать тайные мысли и намерения друг друга? Иной раз два врага проявляют такую же проницательность, такую же силу внутреннего зрения, как двое влюбленных, читающих в душе друг у друга. И вот, когда мы вторично остались с графиней с глазу на глаз, я сразу понял, что она ненавидит меня, и угадал, почему, хотя она прикрывала свои чувства самой милой обходительностью и радушием. Ведь я оказался случайным хранителем ее тайны, а женщина всегда ненавидит тех, перед кем ей приходится краснеть. Она же догадалась, что если я и был доверенным лицом ее мужа, то все же он еще не успел передать мне свое состояние. Я избавлю вас от пересказа нашего разговора в тот день, замечу лишь, что он остался в мо-

ей памяти как одно из самых опасных сражений, которые мне приходилось вести в своей жизни. Эта женщина, наделенная от природы всеми чарами искусительницы, проявляла то уступчивость, то надменность, то приветливость, то доверчивость; она даже пыталась разжечь во мне мужское любопытство, заронить любовь в мое сердце и покорить меня,— она потерпела поражение. Когда я собрался уходить, глаза ее горели такой лютой ненавистью, что я содрогнулся. Мы расстались врагами. Ей хотелось уничтожить меня, я же чувствовал к ней жалость, а для таких натур, как она, это равносильно нестерпимому оскорблению. Она почувствовала эту жалость и под учтивой формой последних моих фраз, сказанных на прощанье. Я дал ей понять, что, как бы она ни изощрялась, ее ждет неизбежное разорение, и, вероятно, ужас охватил ее.

— Если б я мог поговорить с графом, то по крайней мере судьба ваших детей...

— Нет! Тогда я во всем буду зависеть от вас! — воскликнула она, прервав меня презрительным жестом.

Раз борьба между нами приняла такой открытый характер, я решил сам спасти эту семью от ожидавшей ее нищеты. Для такой цели я готов был, если понадобится, пойти даже на действия, юридически незаконные. И вот что я предпринял. Я возбудил против графа де Ресто иск на всю сумму его фиктивного долга Гобсеку и получил исполнительный лист. Графине, конечно, пришлось скрывать от света судебное решение: оно давало мне право после смерти графа опечатать его имущество. Затем я подкупил одного из слуг в графском доме, и этот человек обещал вызвать меня, когда его хозяин будет при последнем издыхании, хотя бы это случилось в глухую ночь. Я решил приехать неожиданно, запугать графиню угрозой немедленной описи имущества и таким путем спасти документ, хранившийся у графа. Позднее я узнал, что эта женщина рылась в «Гражданском кодексе», прислушиваясь к стонам умирающего мужа. Ужасную картину увидели бы мы, если б могли заглянуть в души наследников, обступающих смертное ложе. Сколько тут козней, расчетов, злостных ухищрений — и все из-за денег! Ну, оставим эти подробности, довольно противные сами по себе, хотя о них нужно было сказать, так как

они помогут нам представить себе страдания этой женщины, страдания ее мужа и приоткроют завесу над скрытыми семейными драмами, похожими на их драму. Граф де Ресто два месяца лежал в постели, запершись в спальне, примирившись со своей участью. Смертельный недуг постепенно разрушал его тело и разум. У него появились причуды, которые иногда овладевают больными и кажутся необъяснимыми,— он запрещал прибирать в его комнате, отказывался от всех услуг, даже не позволял перестилать постель. Крайняя его апатия запечатлелась на всем: мебель в комнате стояла в беспорядке, пыль и паутина покрывала даже самые хрупкие, изящные безделушки. Человеку, когда-то богатому и отличавшемуся изысканными вкусами, как будто доставляло удовольствие плачевное зрелище, открывавшееся перед его глазами в этой комнате, где и камин, и письменный стол, и стулья были загромождены предметами ухода за больным, где всюду виднелись всякие грязные пузырьки, с лекарствами или пустые, разбросанное белье, разбитые тарелки, где перед камином валялась грелка без крышки и стояла ванна с невылитой минеральной водой. В каждой мелочи этого безобразного хаоса чувствовалось крушение человеческой жизни. Готовясь удушить человека, смерть проявляла свою близость в вещах. Дневной свет вызывал у графа какой-то ужас, поэтому решетчатые ставни всегда были закрыты, и в полумраке комната казалась еще угрюмее. Больной сильно исхудал. Казалось, только в его блестящих глазах еще теплится последний огонек жизни. Что-то жуткое было в мертвенной бледности его лица, особенно потому, что на впалые щеки падали длинные прямые пряди непомерно отросших волос, которые он ни за что не позволял подстричь. Он напоминал фанатиков-пустынников. Горе угасило в нем все человеческие чувства; а ведь ему еще не было пятидесяти лет, и было время, когда весь Париж видел его таким блестящим, таким счастливым!

Однажды утром, в начале декабря 1824 года, Эрнест, сын графа, сидел в ногах его постели и с глубокой грустью смотрел на отца. Граф зашевелился и взглянул на него.

— Болит, папа? — спросил Эрнест.

— Нет,— ответил граф с душераздирающей улыбкой.— *Все вот тут и вот тут, у сердца!*

И он коснулся своей головы исхудалыми пальцами, а потом с таким страдальческим взглядом прижал руку к впалой груди, что сын заплакал.

— Почему же Дервиль не приходит? — спросил граф своего камердинера, которого считал преданным слугой, меж тем как этот человек был всецело на стороне его жены.— Как же это, Морис? — воскликнул умирающий и, приподнявшись, сел на постели; казалось, сознание его стало совершенно ясным.— За последние две недели я раз семь, не меньше, посылал вас за моим поверенным, а его все нет. Вы что, шутите со мной? Сейчас же, сию минуту поезжайте и привезите его! Если вы не послушаетесь, я встану с постели, я сам поеду...

— Графиня,— сказал камердинер, выйдя в гостиную,— вы слышали, что граф сказал? Как же теперь быть?

— Ну, сделайте вид, будто отправляетесь к этому стряпчему, а вернувшись, доложите графу, что он уехал из Парижа за сорок лье на важный процесс. Добавьте, что его ждут в конце недели.

«Больные никогда не верят близости конца. Он будет спокойно дожидаться возвращения своего поверенного»,— думала графиня. Накануне врач сказал ей, что граф вряд ли протянет еще сутки. Через два часа, когда камердинер сообщил графу неутешительное известие, тот пришел в крайнее волнение.

— Господи, господи! — шептал он.— На тебя все мое упование!

Он долго глядел на сына и наконец сказал ему слабым голосом:

— Эрнест, мальчик мой, ты еще очень молод, но у тебя чистое сердце, ты поймешь, как свято обещание умирающему отцу... Чувствуешь ли ты себя в силах соблюсти тайну, сохранить ее в душе так крепко, чтобы о ней не узнала даже мать? Во всем доме я теперь только тебе одному верю. Ты не обманешь моего доверия?

— Нет, папа.

— Так вот, Эрнест, я тебе сейчас передам запечатан-

ный конверт; он адресован Дервилю. Сбереги его, спрячь хорошенько так, чтобы никто не подозревал, что он у тебя. Незаметно выйди из дому и опусти его в почтовый ящик на углу.

— Хорошо, папа.

— Могу я положиться на тебя?

— Да, папа.

— Подойди поцелуй меня. Теперь мне не так тяжело будет умереть, дорогой мой мальчик. Лет через шесть, через семь ты узнаешь, какая это важная тайна, ты будешь вознагражден за свою понятливость и за преданность отцу. И ты увидишь тогда, как я любил тебя. А теперь оставь меня одного на минутку и никого не пускай ко мне.

Эрнест вышел в гостиную и увидел, что там стоит мать.

— Эрнест,— прошептала она,— поди сюда.— Она села и, притянув к себе сына, крепко прижав его к груди, поцеловала с нежностью.— Эрнест, отец сейчас говорил с тобой?

— Да, мама.

— Что ж он тебе сказал?

— Не могу пересказывать это, мама.

— Ах, какой ты у меня славный мальчик! — воскликнула графиня и горячо поцеловала его.— Как я рада, что ты умеешь молчать! Всегда помни два самых главных для человека правила: не лгать и быть верным своему слову.

— Мамочка, какая ты хорошая! Ты-то уж, конечно, никогда в жизни не лгала! Я уверен.

— Нет, Эрнест, иногда я лгала. Я изменила своему слову, но в таких обстоятельствах, которые сильнее всех законов. Послушай, Эрнест, ты уже большой и умный мальчик, ты, верно, замечаешь, что отец отталкивает меня, гнушается моими заботами. А это несправедливо. Ты ведь знаешь, как я люблю его.

— Да, мама.

— Бедный мой мальчик,— сказала графиня, проливая слезы.— Всему виной злые люди, они оклеветали меня, задались целью разлучить твоего отца со мною, оттого что они корыстные, жадные. Они хотят отнять у нас все наше состояние и присвоить себе. Если б отец

был здоров, наша размолвка скоро бы миновала, он добрый, он любит меня, он понял бы свою ошибку. Но болезнь помрачила его рассудок, предубеждение против меня превратилось у него в навязчивую мысль, в какое-то безумие. И он вдруг стал оказывать тебе предпочтение перед всеми детьми,— это тоже доказывает умственное его расстройство. Ведь ты же не замечал до его болезни, чтоб он Полину и Жоржа любил меньше, чем тебя. Все теперь зависит у него от болезненных капризов. Его нежность к тебе могла внушить ему странные замыслы. Скажи, он дал тебе какое-нибудь распоряжение? Ангел мой, ведь ты не захочешь разорить брата и сестру, ты не допустишь, чтобы твоя мама, как нищенка, молила о куске хлеба! Расскажи мне все...

— А-а! — закричал граф, распахнув дверь.

Он стоял на пороге полуголый, иссохший, худой, как скелет. Сдавленный его крик потряс ужасом графиню, она остолбенела, глядя на мужа; этот изможденный, бледный человек казался ей выходцем из могилы.

— Вам мало, что вы всю жизнь мою отравили горем, вы мне не даете умереть спокойно, вы хотите развратить душу моего сына, сделать его порочным человеком! — кричал он слабым, хриплым голосом.

Графиня бросилась к ногам умирающего, страшного, почти уродливого в эту минуту последних волнений жизни; слезы текли по ее лицу.

— Пожалейте! Пожалейте меня! — стонала она.

— А вы меня жалели? — спросил граф.— Я дозволил вам промотать все ваше состояние, а теперь вы хотите и мое состояние пустить по ветру, разорить моего сына!

— Хорошо! Не щадите, губите меня! Детей пожалейте! — молила она.— Прикажите, и я уйду в монастырь на весь свой вдовий век. Я подчинюсь, я все сделаю, что вы прикажете, чтобы искупить свою вину перед вами. Но дети!.. Пусть хоть они будут счастливы... Дети, дети!..

— У меня только один ребенок! — воскликнул граф, в отчаянии протягивая иссохшие руки к сыну.

— Прости! Я так раскаиваюсь, так раскаиваюсь! — вскрикивала графиня, обнимая худые и влажные от испарины ноги умирающего мужа.

Рыдания не давали ей говорить, горло перехватывало, у нее вырывались только невнятные слова.

— Вы раскаиваетесь?! Как вы смеете произносить это слово после того, что сказали сейчас Эрнесту! — ответил умирающий и оттолкнул ее ногой.

Она упала на пол.

— Озяб я из-за вас,— сказал он с каким-то жутким равнодушием.— Вы были плохой дочерью, плохой женой, вы будете плохой матерью...

Несчастная женщина лишилась чувств. Умирающий добрался до постели, лег и через несколько часов потерял сознание. Пришли священники причастить его. В полночь он скончался. Объяснение с женой лишило его последних сил. Я приехал в полночь вместе с Гобсеком. Благодаря смятению в доме мы без помехи прошли в маленькую гостиную, смежную со спальней покойного, и увидели плачущих детей; с ними были два священника, оставшиеся, чтобы провести ночь возле тела. Эрнест подошел ко мне и сказал, что его мать пожелала побыть одна в комнате умершего.

— Не входите туда! — сказал он, и меня восхитили его тон и жест, который сопровождал эти слова.— Она молится...

Гобсек засмеялся характерным своим беззвучным смехом, но меня так взволновало скорбное и негодующее выражение лица этого юноши, что я не мог разделять иронии старого ростовщика. Увидев, что мы все-таки направились к двери, мальчик подбежал к порогу и, прижавшись к створке, крикнул:

— Мама, к тебе пришли эти гадкие люди!

Гобсек отбросил его, точно перышко, и отворил дверь. Какое зрелище предстало перед нами! В комнате был подлинный разгром. Графиня стояла неподвижно, растрепанная, с выражением отчаяния на лице, и растерянно смотрела на нас сверкающими глазами, а вокруг нее разбросано было платье умершего, бумаги, скомканные тряпки. Ужасно было видеть этот хаос возле смертного ложа. Лишь только граф испустил дыхание, его жена взломала все шкафы, все ящики письменного

стола, и ковер вокруг нее густо устилали обрывки разодранных писем; шкатулки были сломаны, портфели разрезаны,— везде шарили ее дерзкие руки. Возможно, ее поиски сначала были бесплодными, но сама ее поза, ее волнение навели меня на мысль, что в конце концов она обнаружила таинственные документы. Я бросил взгляд на постель и чутьем, развившимся в привычных стряпчему делах, угадал все, что произошло. Труп графа де Ресто лежал ничком, головой к стене, свесившись за кровать, презрительно отброшенный, как один из тех конвертов, которые валялись на полу, ибо и он теперь был лишь ненужной оболочкой. Его окоченевшее тело, раскинувшее руки и ноги, застыло в ужасной и нелепой позе. Несомненно, умирающий прятал встречную расписку под подушкой, надеясь, что таким способом он до последней своей минуты убережет ее от посягательства. Графиня догадалась, где хранились бумаги, да, впрочем, это можно было понять и по жесту мертвой руки с закостеневшими скрюченными пальцами. Подушка была сброшена, и на ней еще виднелся след женского ботинка. А на ковре, у самых ног графини, я увидел разорванный пакет с гербовыми печатями графа. Я быстро подобрал этот пакет и прочел сделанную на нем надпись, указывающую, что содержимое его должно быть передано мне. Я посмотрел на графиню пристальным, строгим взглядом, как следователь, допрашивающий преступника.

В камине догорали листы бумаги. Услышав, что мы пришли, графиня бросила их в огонь, ибо увидела в первых строках имущественных распоряжений имена своих младших детей и вообразила, что уничтожает завещание, лишающее их наследства, меж тем как наследство им обеспечивалось по моему настоянию. Смятение чувств, невольный ужас перед совершенным преступлением помрачили ее рассудок. Она видела, что поймана с поличным; быть может, перед глазами ее возник эшафот, и она уже чувствовала, как палач выжигает ей клеймо раскаленным железом. Она молчала и, тяжело дыша, глядела на нас безумными глазами, выжидая наших первых слов.

— Что вы наделали! — воскликнул я, выхватив из камина клочок бумаги, еще не тронутый огнем.— Вы

разорили своих детей! Ведь эти документы обеспечивали им состояние...

Рот у графини перекосился, казалось, с ней вот-вот случится удар.

— Хе-хе! — проскрипел Гобсек, и возглас этот напоминал скрип медного подсвечника, передвинутого по мраморной доске.

Помолчав немного, старик сказал мне спокойным тоном:

— Уж не думаете ли вы внушить графине мысль, что я не являюсь законным владельцем имущества, проданного мне графом? С этой минуты дом его принадлежит мне.

Меня точно обухом по голове ударили, я онемел от мучительного изумления. Графиня подметила удивленный взгляд, который я бросил на ростовщика.

— Сударь! Сударь! — бормотала она, не находя других слов.

— У вас фидеикомис? — спросил я Гобсека.

— Возможно.

— Вы хотите воспользоваться преступлением графини?

— Верно.

Я направился к двери, а графиня, упав на стул у постели покойника, залилась горючими слезами. Гобсек пошел за мною следом. На улице я молча повернул в другую сторону, но он подошел ко мне и, бросив на меня глубокий взгляд, проникавший в самую душу, крикнул тоненьким, пронзительным голоском:

— Ты что, судить меня берешься?

С этого дня мы виделись редко. Особняк графа Гобсек сдал внаймы; лето проводил по-барски в его поместьях, держал себя там хозяином, строил фермы, чинил мельницы и дороги, сажал деревья. Однажды я встретился с ним в одной из аллей Тюильри.

— Графиня ведет жизнь просто героическую,— сказал я ему.— Она всецело посвятила себя детям, дала им прекрасное воспитание и образование. Старший ее сын — премилый юноша.

— Возможно.

— Послушайте, разве вы не обязаны помочь Эрнесту?

— Помочь Эрнесту? — переспросил Гобсек.— Нет, нет! Несчастье — лучший учитель. В несчастье он многому научится, узнает цену деньгам, цену людям — и мужчинам и женщинам. Пусть поплавает по волнам парижского моря. А когда станет искусным лоцманом, мы его в капитаны произведем

Я простился с ним, не желая вникать в смысл этих загадок. Хотя мать внушила господину де Ресто отвращение ко мне и он совсем не склонен был обращаться ко мне за советами, я на прошлой неделе пошел к Гобсеку, решив рассказать ему о любви Эрнеста к Камилле и поторопить его выполнить свои обязательства, так как молодой граф скоро достигнет совершеннолетия. Старика я застал в постели: он уже давно был болен и доживал последние дни. Мне он сказал, что даст ответ, когда встанет на ноги и будет в состоянии заниматься делами,— несомненно, он не желал расставаться с малейшей частицей своих богатств, пока еще в нем тлеет хоть искра жизни. Другой причины отсрочки не могло быть. Я видел, что он болен гораздо серьезнее, чем это казалось ему самому, и довольно долго пробыл у него,— мне хотелось посмотреть, до каких пределов дошла его жадность, превратившаяся на пороге смерти в какое-то сумасшествие. Не желая видеть по соседству посторонних людей, он теперь снимал весь дом, жил в нем один, а все комнаты пустовали. В его спальне все было по-старому. Ее обстановка, хорошо мне знакомая, нисколько не изменилась за шестнадцать лет — каждая вещь как будто сохранялась под стеклом. Все та же привратница, преданная ему старуха, по-прежнему состояла его доверенным лицом, вела его хозяйство, докладывала о посетителях, а теперь, в дни болезни, ухаживала за ним, оставляя своего мужа-инвалида стеречь входную дверь, когда поднималась к хозяину. Гобсек был очень слаб, но все же принимал еще некоторых клиентов, сам получал доходы, но так упростил свои дела, что для управления ими вне стен комнаты ему достаточно было изредка посылать с поручениями инвалида. При заключении договора, по которому Франция признала республику Гаити, Гобсека назна-

чили членом комиссии по оценке и ликвидации владений французских подданных в этой бывшей колонии и для распределения между ними сумм возмещения убытков, ибо он обладал большими сведениями по части старых поместий в Сан-Доминго, их собственников и плантаторов. Изобретательность Гобсека тотчас подсказала ему мысль основать посредническое агентство по реализации претензий бывших землевладельцев и их наследников, и он получал доходы от этого предприятия наравне с официальными его учредителями, Вербрустом и Жигонне, не вкладывая никаких капиталов, так как его познания являлись сами по себе достаточным вкладом. Агентство действовало не хуже перегонного куба, вытягивая прибыли из имущественных претензий людей несведущих, недоверчивых или знавших, что их права являются спорными. В качестве ликвидатора Гобсек вел переговоры с крупными плантаторами, и каждый из них, стремясь повысить оценку своих земель или поскорее утвердиться в правах, делал ему подарки сообразно своему состоянию. Взятки эти представляли нечто вроде учетного процента, возмещавшего Гобсеку доходы с тех долговых обязательств, которые ему не удавалось захватить; затем через агентство он скупал по дешевке обязательства на мелкие суммы, а также те обязательства, владельцы которых спешили реализовать их, предпочитая получить немедленно хотя бы незначительное возмещение, чем ждать постепенных и ненадежных платежей Республики. В этой крупной афере Гобсек был ненасытным удавом. Каждое утро он получал дары и алчно разглядывал их, словно министр какого-нибудь набоба, обдумывающий, стоит ли за такую цену подписать помилование. Гобсек принимал все, начиная от корзинки с рыбой, преподнесенной каким-нибудь бедняком, и кончая пачками свечей — подарком людей скуповатых, брал столовое серебро от богатых людей и золотые табакерки от спекулянтов. Никто не знал, куда он девал все эти подношения. Все доставляли ему на дом, но ничего оттуда не выносили

— Ей-богу, по совести скажу,— уверяла меня привратница, моя старая знакомая,— сдается мне, он все это глотает, да только не на пользу себе — исхудал,

высох, почернел, будто кукушка на моих стенных часах.

Но вот в прошлый понедельник Гобсек прислал за мной инвалида, и тот, войдя ко мне в кабинет, сказал:

— Едемте скорее, господин Дервиль. Хозяин последний счет подводит, пожелтел, как лимон, торопится поговорить с вами. Смерть уж за глотку его схватила, в горле хрип клокочет.

Войдя в комнату умирающего, я, к удивлению своему, увидел, что он стоит на коленях у камина, хотя там не было огня, а только большая куча золы. Он слез с кровати и дополз до камина, но ползти обратно уже не было у него сил и не было голоса позвать на помощь.

— Старый друг мой,— сказал я, поднимая его и помогая добраться до постели.— Вам холодно? Почему вы не велите затопить камин?

— Мне вовсе не холодно,— сказал он.— Не надо топить, не надо! Я ухожу, голубчик,— промолвил он, помолчав, и бросил на меня угасший, тусклый взгляд.— Куда ухожу, не знаю, но ухожу отсюда. У меня уж *карфология* началась,— добавил он, употребив медицинский термин, что указывало на полную ясность сознания.— Мне вдруг почудилось, будто по всей комнате золото катится, и я встал, чтобы подобрать его. Куда ж теперь все мое добро пойдет? Казне я его не оставлю; я завещание написал. Найди его, Гроций. У Прекрасной Голландки осталась дочь. Я как-то раз встретил ее вечером на улице Вивьен. Хорошенькая, как купидон. У нее прозвище — *Огонек*. Разыщи ее, Гроций. Я тебя душеприказчиком назначил. Бери тут все, что хочешь, кушай, еды у меня много. Паштеты из гусиной печенки есть, мешки кофе, сахару. Ложки есть золотые. Возьми для своей жены сервиз работы Одио. А кому же бриллианты? Ты нюхаешь табак, голубчик? У меня много табака, разных сортов. Продай его в Гамбург, там в полтора раза дороже дадут. Да, все у меня есть, и со всем надо расстаться. Ну, ну, папаша Гобсек, не трусь, будь верен себе...

Он приподнялся на постели; его лицо четко, как бронзовое, вырисовывалось на белой подушке. Протянув иссохшие руки, он вцепился костлявыми пальцами в

одеяло, будто хотел за него удержаться, взглянул на камин, такой же холодный, как его металлический взгляд, и умер в полном сознании, явив своей привратнице, инвалиду и мне образ настороженного внимания, подобно тем старцам древнего Рима, которых Летьер изобразил позади консулов на своей картине «Смерть детей Брута».

— Молодцом рассчитался, старый сквалыга! — по-солдатски отчеканил инвалид.

А у меня все еще звучало в ушах фантастическое перечисление богатств, которое я слышал от умершего, и я невольно посмотрел на кучу золы в камине, увидев, что к ней устремлены его застывшие глаза. Величина этой кучи поразила меня. Я взял каминные щипцы и, сунув их в золу, наткнулся на что-то твердое,— там лежала груда золота и серебра, вероятно, его доходы за время болезни. У него уже не было сил припрятать их получше, а недоверчивость не позволяла отослать все это в банк.

— Бегите к мировому судье! — сказал я инвалиду.— Надо тут немедленно все опечатать.

Вспомнив поразившие меня последние слова Гобсека и то, что мне говорила привратница, я взял ключи от комнат обоих этажей и решил осмотреть их. В первой же комнате, которую я отпер, я нашел объяснение его речам, казавшимся мне бессмысленными, и увидел, до чего может дойти скупость, превратившаяся в безотчетную, лишенную всякой логики страсть, примеры которой мы так часто видим в провинции. В комнате, смежной со спальней покойного, действительно оказались и гниющие паштеты, и груды всевозможных припасов, даже устрицы и рыба, покрывшаяся пухлой плесенью. Я чуть не задохся от смрада, в котором слились всякие зловонные запахи. Все кишело червями и насекомыми. Подношения, полученные недавно, лежали вперемешку с ящиками различных размеров, с цибиками чаю и мешками кофе. На камине в серебряной суповой миске хранились накладные различных грузов, прибывшие на его имя в портовые склады Гавра: тюки хлопка, ящики сахара, бочонки рома, кофе, индиго, табака — целого базара колониальных товаров! Комнату загромождала дорогая мебель, серебряная утварь, лампы, картины, вазы, книги, превосходные гравюры без рам, свернутые трубкой, и самые раз-

нообразные редкости. Возможно, что не вся эта груда ценных вещей состояла из подарков,— многие из них, вероятно, были невыкупленными закладами. Я видел там ларчики с драгоценностями, украшенные гербами и вензелями, прекрасные камчатные скатерти и салфетки, дорогое оружие, но без клейма. Раскрыв какую-то книгу, казалось недавно вынимавшуюся из стопки, я обнаружил в ней несколько банковых билетов по тысяче франков. Тогда я решил внимательно осмотреть каждую вещь, вплоть до самых маленьких, все перевернуть, исследовать половицы, потолки, стены, карнизы, чтобы разыскать золото, к которому питал такую алчную страсть этот голландец, достойный кисти Рембрандта. Никогда еще в своей юридической практике я не встречал такого удивительного сочетания скупости со своеобразием характера. Вернувшись в спальню умершего, я нашел на его письменном столе разгадку постепенного скопления всех этих богатств. Под пресс-папье лежала переписка Гобсека с торговцами, которым он обычно продавал подарки своих клиентов. Но оттого ли, что купцы не раз оказывались жертвами уловок Гобсека, или оттого, что он слишком дорого запрашивал за съестные припасы и вещи, ни одна сделка не состоялась. Он не желал продавать накопившуюся у него снедь в магазин Шеве, потому что Шеве требовал тридцатипроцентной скидки. Он торговался из-за нескольких франков, а в это время товар портился. Серебро не было продано, потому что Гобсек отказывался взять на себя расходы по доставке. Мешки кофе залежались, так как он не желал скинуть на утруску. Словом, каждый предмет сделки служил ему поводом для бесконечных споров,— несомненный признак, что он уже впал в детство и проявлял то дикое упрямство, что развивается у всех стариков, одержимых какой-либо страстью, пережившей у них разум. И я задал себе тот же вопрос, который слышал от него: кому же достанется все это богатство?.. Вспомнив, какие странные сведения он дал мне о своей единственной наследнице, я понял, что мне придется вести розыски во всех злачных местах Парижа и отдать огромное богатство в руки какой-то непотребной женщины. Но прежде всего знайте, что в силу совершенно бесспорных документов граф Эрнест де Ресто на днях вступит во владение состоянием,

которое позволит ему жениться на мадемуазель Камилле да еще выделить вполне достаточный капитал матери и брату, а сестре приданое.

— Хорошо, дорогой Дервиль, мы подумаем,— ответила г-жа де Гранлье.— Господину де Ресто нужно быть очень богатым, чтобы такая семья, как наша, согласилась породниться с его матерью. Не забывайте, что мой сын рано или поздно станет герцогом де Гранлье и объединит состояние двух ветвей нашего рода. Я хочу, чтобы зять был ему под пару.

— А вы знаете,— спросил граф де Борн,— какой герб у Ресто? Четырехчастное червленое поле с серебряной полосой и черными крестами. Очень древний герб.

— Это верно,— подтвердила виконтесса,— к тому же Камилла может и не встречаться со своей свекровью, нарушительницей девиза на этом гербе — Res tuta [1].

— Госпожа де Босеан принимала у себя графиню де Ресто,— заметил старик-дядюшка.

— О, только на раутах! — возразила виконтесса.

Париж, январь 1830 г.

---

[1] Надежность *(лат.)*.

СИЛУЭТ ЖЕНЩИНЫ

Посвящается
Джованни-Карлоди Негро.

Маркиза де Листомэр — молодая женщина, воспитанная в духе Реставрации. У нее твердые принципы, она постится, говеет и, тем не менее, любит наряжаться, выезжать на балы, в Итальянский театр, в Оперу. Ее духовник дозволяет ей сочетать мирское с небесным. Она неизменно пребывает в полном согласии и с церковью и с правилами светского общества — словом, является прообразом современности, провозгласившей своим девизом слово «законность». В поведении маркизы де Листомэр сказывается столько набожности, что в случае появления новой г-жи де Ментенон она могла бы приблизиться к мрачному благочестию последних дней царствования Людовика XIV, и в то же время в ней вполне достаточно суетности, которая могла бы соответствовать галантным нравам первых дней этого царствования, если бы они воскресли. Сейчас она добродетельна из расчета, а может быть, по склонности. Будучи в течение семи лет замужем за маркизом де Листомэром, одним из депутатов, ожидающих звания пэра, она, вероятно, полагает, что своим поведением способствует честолюбивым замыслам семьи. Окончательное суждение о ней некоторые женщины откладывают до того времени, когда маркиз де Листомэр будет пэром, а ей исполнится тридцать шесть лет — возраст, когда большинство женщин начинают понимать, что были обмануты общественными законами.

Маркиз — человек довольно незначительный; он на хорошем счету при дворе, его достоинства, так же как недостатки, ничтожны; первые не придают ему ореола добродетели, вторые не создают вокруг него шумихи, этой спутницы пороков. Будучи депутатом, он никогда не выступает, зато голосует благонамеренно. В супружеской жизни он ведет себя так же, как и в палате, а потому слывет за одного из самых образцовых супругов во Франции. Ему не свойственно приходить в восторг, но он не брюзжит, только бы ему не досаждали. Друзья прозвали его «пасмурною погодой». Действительно, он не бывает ни слишком весел, ни слишком мрачен. Он похож на всех министров, чередовавшихся во Франции со времени Хартии. Женщине с установившимися житейскими правилами трудно было попасть в лучшие руки. Разве для добродетельной женщины не значит достичь уже многого, выйдя замуж за человека, не способного на легкомыслие? Находились глупцы, осмеливавшиеся во время танца слегка пожать маркизе руку; ответом бывал лишь презрительный взгляд, и каждый ощущал то оскорбительное равнодушие, которое, подобно весенним заморозкам, губит побеги самых радужных надежд. Красавицы, остряки, фаты, повесы, носители древних или просто известных имен, люди высокого полета, люди незначительные — все близ нее тускнели. Она завоевала себе право, не подавая повода к злословию, беседовать так долго и так часто, как ей вздумается, с мужчинами, которые кажутся ей умными. Иные ветреные женщины готовы следовать этому плану в течение семи лет с тем, чтобы впоследствии удовлетворять свои капризы; но приписать такой расчет маркизе де Листомэр значило бы оклеветать ее. Я имел счастье видеть эту чудо-маркизу. Она умеет вести беседу, я умею слушать. Я ей понравился и бываю на ее вечерах. Большего мне не надо. Госпожа де Листомэр ни урод, ни красавица; у нее белые зубы, яркий румянец, алые губы; она высокого роста, стройна; ножки у нее изящные и маленькие, но она не выставляет их напоказ; глаза у нее не тусклые, как у большинства парижан, а излучают мягкий свет, который чарует, если она невзначай оживится. Сквозь эту неопределенную внешность угадывается душа. Если маркиза увлечена беседой, то из-под внешней сдержанности

выступает скрытое в ней обаяние, и тогда она становится пленительной. Она не гонится за успехом, но пользуется им. Ведь всегда находишь то, чего не ищешь. Это замечание так часто оправдывает себя, что со временем станет поговоркой. Оно-то и будет моралью этого романтического происшествия, которое я не позволил бы себе рассказать, если бы отзвук его сейчас не звучал во всех парижских салонах.

Около месяца назад маркиза де Листомэр танцевала с молодым человеком столь же скромным, сколь ветреным, обладающим множеством достоинств, но обнаруживающим лишь свои недостатки: он страстен, но над страстями издевается; одарен, но одаренность свою скрывает; корчит ученого с аристократами и аристократа с учеными. Эжен де Растиньяк принадлежит к числу очень рассудительных молодых людей, пробующих свои силы на всем и словно прощупывающих настоящее, чтобы узнать, что сулит грядущее. Пока еще не пробил для него час честолюбия, он над всем издевается; он изящен и оригинален — два редких свойства, ибо одно исключает другое. Он около получаса беседовал с маркизой де Листомэр, но не рассчитывал на успех. Пользуясь непринужденностью беседы, касавшейся то оперы «Вильгельм Телль», то вопроса об обязанностях женщин, он несколько раз поглядывал на маркизу так, словно хотел поцеловать ее; затем отошел от нее и уже за весь вечер не перемолвился с ней ни словом. Он танцевал, играл в экарте, оказался в небольшом проигрыше и отправился спать. Имею честь уверить вас, что все произошло именно так. Я ничего не преувеличиваю и ничего не преуменьшаю.

На следующее утро Растиньяк проснулся поздно и долго нежился в постели, предаваясь, несомненно, тем утренним грезам, в которых молодой человек мысленно, подобно сильфу, проскальзывает под шелковые, кашемировые или ситцевые пологи. В эти мгновения чем глубже тело погружено в дрему, тем бодрее дух. Наконец Растиньяк встал, слегка зевнул, как благовоспитанный человек, позвонил слуге, приказал подать чай, выпил его очень много, что покажется вполне естественным любителям этого напитка; людям же, пьющим чай лишь как лекарство, я должен пояснить, что Эжен одновременно пи-

сал письмо. Он сидел удобно, поставив ноги не столько на меховой коврик, сколько на каминную решетку. Как приятно, проснувшись и накинув халат, протянуть ноги на полированный железный прут, соединяющий двух грифов каминной решетки, и мечтать о любимой! Как я жалею, что у меня нет ни возлюбленной, ни камина, ни халата! Когда все это у меня будет, то я о своих наблюдениях рассказывать не буду, а извлеку из них полезный урок.

На первое письмо Эжен потратил каких-нибудь четверть часа; он сложил его, запечатал и, не надписав адреса, положил возле себя. Второе, начатое в одиннадцать часов, было окончено только к полудню. Все четыре страницы были исписаны.

«Эта женщина не выходит у меня из головы»,— думал он, запечатывая второе послание; он положил его около себя, рассчитывая, по-видимому, надписать адрес, когда очнется от грез. Запахнув полы узорного халата, он спустил ноги на скамеечку, засунул руки в кармашки красных кашемировых панталон и развалился в удобном мягком кресле с подушками, сиденье которого образовало со спинкой угол в сто двадцать градусов. Он перестал пить чай и сидел неподвижно, устремив взор на позолоченную ручку угольного совка, не видя ни совка, ни ручки, ни позолоты. Он даже не помешивал угли в камине. Какая оплошность! Разве не наслаждение — разгребать жар, мечтая о женщинах? Наша мысль ссужает словами голубые язычки пламени, которые, вдруг полыхнув, лепечут в очаге. Толкуешь выразительный и резкий язык *бургундцев*.

На этом слове задержимся и приведем несведущим людям пояснение одного весьма почтенного этимолога, пожелавшего остаться неизвестным. *Бургундец* — народное, условное наименование, данное со времен царствования Карла VI тем трескучим вспышкам пламени, которые выбрасывают на ковер или на одежду угольки, зародыш пожара. Огонь, говорят, высвобождает воздушный пузырек, оставленный в сердцевине дерева древесным червем. Inde amor, inde burgundus [1]. Боязливо наблюдаешь, как, подобно лавине, скатываются угли, которые

[1] Где любовь, там и бургундец (*лат.*).

были так старательно уложены между двумя горящими поленьями. О! Помешивать угли в камине, когда ты влюблен,— разве это не значит облекать свои мысли в изменчивые образы?

Именно в эту минуту я вошел к Эжену. Он вскочил и воскликнул:

— А, вот и ты, дорогой Орас! Давно ты здесь?

— Только что вошел!

— А!

Растиньяк взял письма, надписал на них адреса и позвонил слуге:

— Отнеси это в город.

Жозеф молча отправился. Превосходный слуга!

Мы завели разговор о Морейской экспедиции, в которой я намеревался принять участие в качестве врача. Эжен заметил мне, что я многое потеряю, уехав из Парижа, и мы заговорили о безразличных вещах. Думаю, что на меня не посетуют, если я опущу наш разговор.

. . . . . .

Около двух часов дня, когда маркиза де Листомэр встала, горничная Каролина подала ей письмо. Маркиза принялась читать его, пока Каролина ее причесывала. (Неосторожность, свойственная многим молодым женщинам!)

«О дорогой, ненаглядный ангел мой, источник жизни и счастья!» Прочитав эти слова, маркиза хотела было бросить письмо в огонь, но ей пришла в голову прихоть, которую всякая добродетельная женщина прекрасно поймет,— узнать, как закончит мужчина письмо, начатое в таком тоне. Она продолжала читать. Дойдя до четвертой страницы, она, словно утомившись, опустила руки.

— Каролина, пойдите узнайте, кто принес это письмо.

— Сударыня, я приняла его сама от слуги барона де Растиньяка.

Наступило длительное молчание.

— Не угодно ли одеваться?

— Нет.

«Какой нахал!» — подумала маркиза.

. . . . . .

Я прошу всех женщин самим сделать комментарии.

Комментарии г-жи де Листомэр закончились тем, что она твердо решила не принимать больше Эжена де Растиньяка, а если встретит его в свете, показать ему более чем презрение, ибо его дерзость была несравнима с тем, что маркизе до сей поры случалось прощать. Первым ее побуждением было сохранить письмо, но, обдумав, она сожгла его.

— Барыня сейчас получила потрясающее любовное письмо и прочла его! — сообщила Каролина ключнице.

— Вот уж этого я от барыни никак не ожидала! — воскликнула изумленная ключница.

Вечером маркиза де Листомэр отправилась к виконтессе де Босеан, куда, по всей вероятности, должен был приехать и Растиньяк. Это было в субботу, в приемный день виконтессы. Виконтесса находилась в дальнем родстве с г-ном де Растиньяком, и молодой человек не преминет, конечно, посетить ее. Госпожа де Листомэр, приехавшая затем, чтобы уничтожить Эжена своей холодностью, прождала его понапрасну до двух часов ночи. Один очень умный человек, Стендаль, создал оригинальную теорию «кристаллизации» — и она вполне применима к той работе мысли, какая совершалась в маркизе до, во время и после этого вечера.

Четыре дня спустя Эжен бранил своего слугу:

— Вот что, Жозеф, мне придется дать тебе расчет, голубчик.

— Почему, сударь?

— Ты делаешь только глупости. Куда ты отнес те два письма, которые я дал тебе в пятницу?

Жозеф остолбенел; он замер, как статуя в портале собора, и напряг всю свою память. Вдруг он глупо ухмыльнулся и ответил:

— Сударь, одно я отнес маркизе де Листомэр, на улицу Сен-Доминик, другое вашему поверенному.

— Ты уверен в этом?

Жозеф пришел в совершенное замешательство. Случайно присутствуя при этом, я решил, что мне пора вмешаться.

— Жозеф прав,— сказал я.

Эжен повернулся ко мне.

— Я невольно прочел адреса и...

— И что же? — воскликнул Эжен.— Одно из писем было адресовано госпоже де Нусинген.

— Нет, черт возьми! Я даже подумал, мой милый, что твое сердце перекочевало с улицы Сен-Лазар на улицу Сен-Доминик.

Эжен хлопнул себя ладонью по лбу и усмехнулся. Жозеф сразу понял, что ошибка произошла не по его вине.

А вот и выводы, над которыми все молодые люди должны бы призадуматься. Ошибка первая: Эжену показалось забавным насмешить г-жу Листомэр недоразумением, сделавшим ее обладательницей письма, которое предназначалось не ей. Ошибка вторая: он отправился к маркизе де Листомэр лишь спустя четыре дня после происшествия, дав, таким образом, возможность мыслям этой добродетельной женщины кристаллизоваться. Можно найти тут и еще десяток промахов, но о них лучше умолчать, чтобы предоставить дамам удовольствие объяснить их ex professo [1] тем, которые не поняли их сами. Эжен подъехал к дому Листомэров, но привратник остановил его, говоря, что маркизы нет дома. Он уже хотел снова садиться в экипаж, как подошел маркиз.

— Идемте к нам, Эжен; жена у себя.

Не осуждайте маркиза! Ведь как бы хорош ни был муж, он редко достигает совершенства. Только поднимаясь по лестнице, Растиньяк осознал те десять ошибок против светской логики, которые он сделал на этой странице чудесной книги своей жизни. Когда г-жа де Листомэр увидела Эжена, входившего с ее мужем, то невольно покраснела. Молодой человек заметил этот внезапный румянец. Если даже самый скромный мужчина не лишен некоторого налета самовлюбленности, подобно тому как женщина — роковой кокетливости, то кто же осудит Эжена за то, что он подумал: «Вот как, и эта крепость взята?» Он приосанился. Молодым людям не свойственна алчность, но все же они никогда не отказываются от трофеев.

Господин де Листомэр взял «Газетт де Франс», которую заметил на камине, и удалился к окну, чтобы при

---

[1] Со знанием дела *(лат.)*.

содействии журналиста выработать собственное мнение о положении дел во Франции. Женщина, даже самая застенчивая, умеет быстро выйти из любого затруднительного положения; кажется, будто у нее всегда под рукой фиговый листок, данный ей нашею праматерью Евой. Когда Эжен, истолковав в свою пользу нежелание принять его, довольно развязно поклонился маркизе, то она уже успела скрыть свои мысли за одной из тех женских улыбок, которые еще загадочнее, чем слово короля.

— Вы были нездоровы, сударыня? Мне сказали, что вы не принимаете.

— Нет, сударь.

— Может быть, вы собирались из дому?

— Тоже нет.

— Вы ждали кого-нибудь?

— Никого.

— Если мой визит некстати, вините в этом только маркиза. Я повиновался вашему таинственному запрету, но он сам пригласил меня переступить порог святилища.

— Господин де Листомэр не был посвящен в мои дела. Иногда из осторожности не посвящаешь мужа в некоторые тайны...

Твердый и кроткий тон маркизы, внушительный взгляд, которым она окинула Растиньяка, зародили в нем мысль, что он, пожалуй, торжествует преждевременно.

— Сударыня, я понимаю вас,— сказал он, смеясь.— Значит, я должен вдвойне радоваться тому, что встретил маркиза: он предоставил мне случай оправдаться перед вами, что было бы рискованно, не будь вы воплощенной добротой.

Маркиза удивленно взглянула на барона, но ответила с достоинством:

— Сударь, лучшим извинением для вас было бы молчание. Что же касается меня, то обещаю вам полное забвение. Такое великодушие вы вряд ли заслужили.

— Сударыня,— живо возразил Растиньяк,— прощение излишне там, где нет оскорбления! Письмо,— добавил он, понизив голос,— полученное вами и показавшееся вам столь неприличным, предназначалось не вам.

Маркиза не могла сдержать улыбки, так ей хотелось быть оскорбленной.

— Зачем лгать! — сказала она снисходительно-насмешливым тоном, но довольно мягко.— Теперь, когда я вас пожурила, я охотно посмеюсь над этой уловкой, не лишенной коварства. Я знаю, есть простушки, которые легко попались бы на эту удочку. «Боже мой! Как он влюблен!» — решили бы они.— Маркиза принужденно засмеялась и добавила снисходительно: — Если вы хотите, чтобы мы остались друзьями, не будем говорить об «ошибках», меня так легко не проведешь.

— Но даю вам слово, сударыня, вы заблуждаетесь гораздо сильнее, чем думаете,— живо возразил Эжен.

— О чем вы там толкуете? — спросил г-н де Листомэр, который прислушивался к разговору, но никак не мог проникнуть в его туманную сущность.

— Да вам это неинтересно,— ответила маркиза.

Господин де Листомэр спокойно продолжал читать, потом сказал:

— Ах! Госпожа де Морсоф скончалась. Ваш бедный брат, по всей вероятности, находится в Клошгурде.

— Вы понимаете ли, сударь, что сказали мне дерзость? — спросила маркиза, обращаясь к Эжену.

— Если бы я не знал строгости ваших житейских правил,— наивно ответил он,— то подумал бы, что вы или хотите приписать мне мысли, которые я решительно отрицаю, или задумали вырвать у меня мою тайну. А может быть, вы желаете посмеяться надо мной?

Маркиза улыбнулась. Эта улыбка вывела Эжена из себя.

— Я был бы счастлив, сударыня, если бы вы и в дальнейшем продолжали верить в это «оскорбление», хоть я в нем и неповинен. Надеюсь, что случай не даст вам возможности встретить в свете ту, которой было адресовано это письмо.

— Как! Неужели это все еще госпожа де Нусинген? — воскликнула маркиза де Листомэр, движимая таким любопытством узнать тайну, что оно заглушило в ней желание отомстить молодому человеку за его колкость.

Эжен покраснел. В двадцать пять лет еще краснеешь, когда тебе вменяют в вину верность, над которой женщины смеются, чтобы скрыть, как они ей завидуют. Однако Растиньяк ответил довольно сдержанно:

— А почему бы и нет, сударыня?

Вот какие ошибки мы совершаем в двадцать пять лет! Это признание причинило г-же де Листомэр сильнейшее душевное волнение; но Эжен еще не умел читать по женскому лицу, взглянув на него искоса или вскользь. Губы маркизы побелели. Она позвонила и приказала принести дров, давая этим понять Растиньяку, что ему пора уходить.

— Если все это так,— задерживая Эжена, холодно и чопорно сказала она,— то как объясните вы, сударь, почему на конверте вы поставили мое имя? Ведь ошибиться адресом на письме не так легко, как взять, уезжая с бала, по рассеянности чужой цилиндр.

Эжен смущенно и вместе с тем дерзко взглянул на маркизу; он чувствовал, что становится смешон, и, пробормотав какую-то мальчишескую фразу, вышел.

Несколько дней спустя маркиза убедилась, что Эжен говорил правду. Вот уже шестнадцать дней, как она не выезжает в свет.

На все вопросы о причине этого затворничества маркиз отвечает: «У моей жены гастрит».

Но я лечу ее, мне известна ее тайна; я знаю, что у нее лишь легкое нервное расстройство, которым она и воспользовалась, чтобы не выезжать.

Париж, февраль 1830 г.

ВТОРОЙ СИЛУЭТ ЖЕНЩИНЫ.

Леону Гозлану в знак доброго литературного содружества.

В Париже балы и рауты обычно заключают в себе два рода званого вечера. Первый — официальный, на нем присутствуют приглашенные, общество изысканное, скучающее. Тут каждый рисуется перед соседом. Большинство молодых женщин приезжает ради кого-нибудь одного. После того как каждая из них убедится в том, что в глазах избранника она прекраснее всех и что мнение это разделяют еще некоторые гости; после того как собравшиеся перекинутся пустыми фразами вроде таких: «Когда вы собираетесь в Крампад?», «Как прелестно пела госпожа де Портандюэр!», «Кто эта маленькая женщина, вся в бриллиантах?» — или бросят несколько язвительных замечаний, одним доставляющих мимолетное удовольствие, а других глубоко ранящих, группы приглашенных постепенно редеют, посторонние разъезжаются, свечи догорают в розетках. Тогда хозяйка дома удерживает несколько артистов, весельчаков, друзей, говоря: «Оставайтесь. Мы поужинаем в тесном кругу». Все собираются в маленькой гостиной. Начинается второй, и уже настоящий, званый вечер, где, как в былые времена, каждый внимателен друг к другу. Беседа становится общей, тут поневоле делаешься остроумным и принимаешь участие в общем оживлении; все выступает ярче, чванливость, которая в обществе иной раз омрачает и самые прекрасные лица, сменяется искренним смехом. Словом, веселье начинается только после того, как кончится раут.

Раут, этот надменный парад роскоши, этот церемониальный марш самомнений, является одною из тех английских выдумок, которые стремятся обратить в машину и другие нации. Англия хочет, чтобы весь мир скучал, как она, и не меньше, чем она. Таким образом, в некоторых домах Франции этот второй вечер выливается в радостный протест былого духа нашей жизнерадостной страны. Но, к сожалению, мало кто протестует, и причина этому проста: званые ужины стали теперь редки потому, что ни при каком режиме не бывало так мало людей обеспеченных, утвердившихся и достигших прочного положения, как в царствование Луи-Филиппа, когда революция возродилась легально. Все стремятся к какой-нибудь цели или торопятся разбогатеть. Время, говорят, теперь стало дороже денег, и никто не имеет возможности с чудесной расточительностью тратить его, возвращаясь домой под утро и вставая за полдень. Поэтому поздние ужины бывают лишь у женщин богатых, которым под силу иметь открытый дом. С июля 1830 года такие женщины в Париже наперечет. Несмотря на молчаливую оппозицию Сен-Жерменского предместья, две — три женщины — среди них маркиза д'Эспар и мадемуазель де Туш — не пожелали отказаться от влияния, которое они оказывали на парижское светское общество, и не закрыли своих салонов.

Салон мадемуазель де Туш, столь известный в Париже,— последнее убежище, где нашло приют старинное французское остроумие с его скрытой глубиной, с тысячью его уловок и изысканной учтивостью. Там вы еще можете встретить утонченное обхождение, невзирая на условность манер; можете услышать непринужденный разговор, вопреки сдержанности, присущей людям хорошо воспитанным, а главное, там вы найдете богатство мыслей. Там никто не думает приберечь какую-нибудь свою идею для драмы; никто, слушая рассказ, не намеревается создать из него книгу. Одним словом, там перед вами не возникает поминутно отвратительный скелет литературы, подстерегающей случайную добычу— удачную, остроумную фразу или занимательный сюжет. Воспоминание об одном из таких званых вечеров глубоко врезалось мне в память,— причина тому — откровенные признания знаменитого де Марсе, в которых он вскрыл то-

гда один из самых сложных тайников женского сердца, а главное, вызванный его рассказом обмен мнениями о переменах, происшедших во французской женщине со времени злополучной Июльской революции.

На этом вечере случайно собралось несколько человек, стяжавших неоспоримыми заслугами европейскую славу. Это не лесть по отношению к Франции,— среди нас находилось и несколько иностранцев. Впрочем, более всего блистали в разговоре люди не самые знаменитые. Находчивые реплики, тонкие замечания, прелестные шутки, образы, очерченные с поразительной четкостью, рождались как будто непроизвольно, расточались пренебрежительно, но без снобизма. Их тонко понимали и тонко оценивали. Люди светские вносили в беседу изящество и совершенно художественное вдохновение. Вы можете и в других странах Европы встретить изящные манеры, приветливость, добродушие и образованность; но только в Париже, только в этом салоне и в тех, о которых я только что упоминал, вы найдете тот особый ум, который придает всем этим качествам приятное и причудливое единство. Не знаю, что за подводное течение так легко управляет этим потоком мыслей, афоризмов, рассказов, исторических справок. Париж — город изысканного вкуса, ему одному ведома наука превращать банальный разговор в словесный турнир, где в метком слове сквозит природный склад характера, где каждый высказывает свое мнение, в брошенной реплике делится опытом, где все веселятся, отдыхают и изощряются в остроумии. И только здесь вы действительно обмениваетесь мыслями, а не принимаете обезьяну за человека, как дельфин в известной басне; здесь вас поймут, и вы не рискуете, поставив ставку золотом, выиграть ломаный грош. Здесь наконец коварная откровенность, легкая болтовня и глубокие наблюдения сливаются в живой разговор, который струится, кружится, прихотливо меняет течение и оттенки при каждой фразе. Оживленная критика, рассуждения и сжатые рассказы сменяют друг друга. Здесь говорят и слушают, вопрошают взглядом и на лице читают ответ. Словом, здесь во всем блещет ум, все полно мысли. Никогда еще меня так не пленяла сила удачно задуманного и умело примененного слова, этого орудия актера и повествователя. И не я один подпал под власть этого волшебства,—

мы все провели прелестный вечер. Беседа, превратившаяся в повествование, повлекла за собою любопытные признания, наброски портретов, картины безрассудств; эту восхитительную импровизацию, полную естественности, свежести, прихотливости и лукавства, передать невозможно. Но, быть может, вы хоть отчасти поймете очарование настоящего французского званого вечера — в тот его момент, когда самая приятная непринужденность заставляет каждого забыть о своих корыстных интересах, о честолюбии или, если вам угодно, о своих притязаниях.

Около двух часов ночи, когда ужин подходил к концу, за столом оставались только самые близкие знакомые, испытанные пятнадцатью годами дружбы, или люди хорошего вкуса, прекрасно воспитанные, знающие свет. По молчаливому и строго соблюдаемому соглашению всякий в этом доме во время ужина отрекается от своих личных заслуг. Царит полное равенство. Впрочем, здесь собрались люди, из которых каждый мог гордиться собою. Госпожа д'Эспар всегда просит своих гостей не вставать из-за стола: она замечала не раз, что перемена места расхолаживает общее настроение. Переход из столовой в гостиную нарушает очарование. По словам Стерна, мысли писателя, после того как он побрился, отличаются от тех, какие были у него до бритья. Если Стерн прав, то можно смело утверждать, что расположение духа людей, сидящих за столом, иное, чем у людей, вернувшихся в гостиную. Исчезла опьяняющая атмосфера, перед вами уже нет живописного беспорядка десерта, утрачено преимущество той снисходительности, той благожелательности, которые овладевают нами, когда мы находимся в настроении, присущем человеку сытому, удобно расположившемуся на одном из тех мягких стульев, какие теперь так хорошо делают. Пожалуй, мы охотнее всего беседуем за десертом, наслаждаясь превосходным вином и пользуясь вольностью, разрешающей облокотиться на стол и подпереть голову рукою. В такие минуты каждый любит не только поговорить, но и послушать. Сытый человек бывает, сообразно с характером, или болтлив, или молчалив. Каждый тогда выбирает, что ему приятнее. Это вступление было необходимо, чтобы подготовить вас к обаянию того рассказа, где знаменитый человек, ныне покойный, обрисовал невинное коварство женщины, выказав при этом тон-

кое лукавство,— эта черта свойственна людям, много видавшим, и она делает государственных мужей великолепными рассказчиками, если только они, как князь Талейран и Меттерних, снисходят до рассказов.

Де Марсе, назначенный полгода назад премьер-министром, уже успел проявить свои выдающиеся дарования. Те, кто знал его давно, не были удивлены, что он обнаружил таланты и многообразные способности государственного деятеля, но многих занимала мысль, были ли они результатом сноровки, долгой выучки, или открылись в нем нежданно, в ходе каких-нибудь обстоятельств. Такой вопрос — разумеется, с философской точки зрения — и задал ему один умный и наблюдательный человек, бывший журналист, которого он назначил префектом; этот человек восхищался г-ном де Марсе, не примешивая к своему восхищению ни капли едкой критики, которая в Париже оправдывает в глазах выдающихся людей их восхищение другими выдающимися людьми.

— Был ли в вашей жизни случай, мысль, желание, подсказавшие вам ваше призвание? — спросил Эмиль Блонде.— Ведь у всех нас, как у Ньютона, есть свое яблоко, которое, падая, указывает нам, на какой почве развиваются наши способности.

— Да, был,— ответил де Марсе.— И я сейчас расскажу вам об этом.

Красавицы, политические денди, художники, старики, близкие друзья де Марсе — все уселись поудобнее, каждый, как привык, и сосредоточили внимание на премьер-министре. Слуг в комнате уже, конечно, не было, двери были закрыты, и портьеры задернуты. Воцарилась полная тишина, так что со двора слышны были говор кучеров и удары копыт — лошади рвались к себе в конюшни.

— Положение государственного деятеля, друзья мои, поддерживается лишь одним качеством,—сказал министр, играя золотым с перламутром ножом.— Он всегда должен уметь владеть собой, учитывать любой исход, каким бы неожиданным он ни был для него,— одним словом, он должен таить в себе существо холодное и бесстрастное, которое в качестве зрителя присутствует при всех тревогах его жизни, при его страстях, переживаниях и подсказывает ему по поводу всего приговор, почерпнутый из некоей таблицы моральных вычислений.

— Вы объясняете этим, почему во Франции так редки государственные мужи,— заметил старый лорд Дэдлей.

— С точки зрения чувств, это ужасно,— вновь заговорил министр.— Ужасно, если нечто подобное проявляется у молодого человека. (Ришелье, предупрежденный накануне письмом об опасности, грозящей Кончини, спал до полудня, хотя знал, что в десять часов утра должны убить его благодетеля.) Такой молодой человек, будь он Питтом или Наполеоном,— явление чудовищное. Я таким чудовищем сделался очень рано, и благодаря женщине.

— А я думала,— сказала г-жа де Монкорне, улыбаясь,— что мы, женщины, чаще портим политических деятелей, чем способствуем их появлению.

— Чудовище, о котором идет речь, потому только и чудовище, что сопротивляется вам,— сказал рассказчик, иронически поклонившись.

— Если речь идет о любовном приключении, то прошу не прерывать рассказчика никакими рассуждениями,— сказала баронесса де Нусинген.

— Рассуждения в любви неуместны! — воскликнул Жозеф Бридо.

— Мне было семнадцать лет,— продолжал де Марсе,— Реставрация упрочилась; мои старые друзья знают, каким я был в ту пору пылким и страстным. Я любил впервые и теперь могу признаться, что я был одним из самых красивых молодых людей в Париже. Красота и молодость — два случайных преимущества, которыми мы гордимся, словно победой. О прочем я вынужден молчать. Как большинство юношей, я был влюблен в женщину старше меня на шесть лет. Никто из вас,— сказал он, оглядывая сидящих за столом,— не подозревает ее имени и не узнает его. В ту пору Ронкероль был единственным человеком, проникшим в мою тайну, но он честно сохранил ее. Я несколько побаивался его усмешки, но он ушел,— сказал министр, оглядываясь кругом.

— Он не захотел остаться ужинать,— сказала г-жа де Серизи.

— Целых полгода я был одержим любовью и не понимал, что эта страсть господствует надо мной,— продолжал премьер-министр.— Я весь отдавался восторжен-

ному поклонению, ведь в нем и торжество и хрупкое счастье юности. Я хранил ее старые перчатки; словно вином, упивался ароматом цветов, которыми она украшала себя; вставал по ночам, чтобы взглянуть на ее окна. Вся кровь приливала мне к сердцу, когда я вдыхал запах духов, которыми она душилась. Я был далек от мысли, что пылкие, как огонь, женщины таят в груди черствое сердце.

— О, избавьте нас от ваших ужасных сентенций! — улыбнувшись, сказала г-жа де Кан.

— Мне кажется, в ту пору я испепелил бы презрением философа, который высказал эту страшную и глубоко правдивую мысль,— заметил де Марсе.— Все вы люди проницательные, и мне нет надобности развивать ее. То, что я сказал, напомнит вам ваши собственные безрассудства. Моим кумиром была знатная дама из самого высшего общества, и вдобавок бездетная вдова (о, тут все сочеталось!). Ради меня она уединялась в своих покоях, чтобы вышивать на моем белье метки из своих волос. Одним словом, на мои безумства она отвечала безумствами. Как же не поверить страсти, если она подтверждается безумствами? Мы приложили все старание, чтобы скрыть от света нашу любовь, такую полную, такую дивную. Нам это удалось. И какое очарование таилось в наших похождениях! Об этой женщине я не скажу вам ни слова. Она была в ту пору безупречно красивой и долго еще считалась одной из самых прекрасных женщин Парижа. А тогда за один ее взгляд многие готовы были пожертвовать жизнью. Ее материальное положение было вполне удовлетворительно для женщины влюбленной и обожаемой, однако оно не соответствовало ее знатному имени и тому блеску, которым она была обязана Реставрации. Я был настолько самоуверен, что не питал относительно нее никаких подозрений. Хотя я и был ревнив, как сто двадцать Отелло, это ужасное чувство дремало во мне, как золото в самородке. Я велел бы своему слуге отколотить меня палкой, если бы во мне зародилась хоть тень подлого сомнения в чистоте этого ангела, такого хрупкого и такого сильного душой, такого белокурого и наивного, невинного и чистосердечного, чьи голубые глаза с такой прелестной покорностью позволяли моему взору проникать в глубь ее сердца. Никогда никакой фальши

в позе, во взгляде или в слове. Всегда беленькая, свежая, всегда готовая ответить на ласку возлюбленного, как лилия Востока из «Песни песней»! Ах, друзья мои,— горестно воскликнул министр, вновь превращаясь в юношу,— нужно очень сильно удариться головой и набить себе шишку, чтобы рассеялась эта поэзия!

Этот искренний вопль души нашел отклик среди гостей и еще сильнее подстрекнул их любопытство, уже и без того искусно возбужденное рассказчиком.

— Каждое утро, оседлав великолепного скакуна Султана, которого вы прислали из Англии,— сказал он, повернувшись к лорду Дэдлею,— я гарцевал на нем около ее коляски. Экипаж нарочно ехал шагом, и букет, который она держала в руках, служил условным знаком на тот случай, если нам не удастся наскоро обменяться словами. Мы почти каждый вечер встречались в свете, и она ежедневно писала мне, но, чтобы опровергнуть малейшие подозрения и обмануть наблюдавших за нами, мы выработали особый образ действий. Не смотреть друг на друга, избегать друг друга, говорить друг о друге дурное, слишком откровенно любоваться и расхваливать друг друга или прикидываться отвергнутым.— все эти старые уловки ничего не стоят! Гораздо лучше выказывать притворную страсть к какой-нибудь безразличной тебе особе и учтивое равнодушие к твоему кумиру. Если двое любовников станут играть в эту игру, свет всегда будет одурачен ими. Но они должны быть очень уверены друг в друге. Она в качестве ширмы избрала сановника, бывшего тогда в милости при дворе, человека очень сдержанного и набожного. У себя она никогда его не принимала. Комедия разыгрывалась для простаков в светских гостиных, где ее находили забавной. Между нами не было разговоров о браке. Шесть лет разницы могли тревожить ее, о моем состоянии ей ничего не было известно,— я всегда умалчивал о нем из принципа. Что же касается меня, то я был очарован ее умом, ее манерами, ее образованностью, знанием света и, не колеблясь, женился бы на ней. Однако ее сдержанность нравилась мне. Если бы она первая заговорила со мной о браке, то, может быть, эта утонченная женщина показалась бы мне вульгарной. Полгода полного, безоблачного счастья, бриллиант чистейшей воды — вот доля любви, предопределенная мне

судьбой в этом бренном мире. Однажды утром, страдая ломотой во всем теле, предвещающей простуду и лихорадку, я написал ей записку, прося перенести на другой день один из наших тайных праздников, которые, как жемчужины в море, скрыты от глаз под кровлями Парижа. Отправив письмо, я стал терзаться раскаянием. «Она не поверит, что я болен!» — подумал я. Надо вам сказать, что она притворялась ревнивой и подозрительной. Если вы действительно ревнуете — значит, любите по-настоящему,— добавил де Марсе.

— Почему?— быстро спросила княгиня де Кадиньян.

— Истинная и единственная любовь порождает физическое равновесие, вполне соответствующее тому созерцательному состоянию, в которое впадаешь. Тогда разум все усложняет, работает самостоятельно, измышляет фантастические терзания и придает им реальность. Такая ревность столь же прекрасна, сколь стеснительна.

Иностранный посол улыбнулся какому-то своему воспоминанию, подтвердившему справедливость этого замечания.

— Кроме того, говорил я себе, зачем терять минуты счастья? — продолжал рассказ де Марсе.— Не лучше ли поехать на свидание даже больным? Узнав, что я болен, она, конечно, способна приехать ко мне и может себя скомпрометировать. Сделав над собой усилие, я пишу ей второе письмо и везу его сам, так как мой доверенный слуга уже ушел. Нас разделяла река, и мне надо было пересечь весь Париж. Наконец на довольно значительном расстоянии от ее особняка я заметил рассыльного и поручил ему тотчас же отнести письмо. У меня явилась счастливая мысль проехать мимо ее дома, чтобы удостовериться, не получила ли она оба письма одновременно. Когда я подъезжал, в два часа дня, ворота ее особняка распахнулись и впустили экипаж... Чей же он был? Того, кто играл роль ее подставного возлюбленного! Это произошло пятнадцать лет назад, но и сейчас еще, говоря об этом, я, выдохшийся оратор, зачерствевший от государственных дел министр, чувствую, как сжимается мое сердце, и мне становится душно. Спустя час я вновь проезжаю мимо ее дома. Экипаж еще стоит во дворе. По всей вероятности, мое письмо лежало у швейцара. Наконец в половине четвертого экипаж отъехал. Мне удалось раз-

глядеть лицо моего соперника: оно было надменно, он не улыбался, но он был влюблен, это было ясно, и, конечно, они говорили о каком-то важном деле. Я отправился на свидание. Владычица моего сердца тоже пришла, была спокойна, невинна, безмятежна. Тут я должен вам признаться, что всегда находил Отелло не только безумцем, но и человеком дурного тона. Только мавр может вести себя подобным образом. Это чувствовал и сам Шекспир, озаглавивший свою пьесу «Венецианский Мавр». Встреча с любимой женщиной таит в себе нечто исцеляющее сердце — сразу улетучиваются все муки, сомнения, горести. Мой гнев остыл, я снова улыбался. Итак, сдержанность и спокойствие, которые теперь, в мои годы, могли бы оказаться страшным притворством, были просто следствием моей молодости и любви. Совладав со своей ревностью, я нашел в себе силы наблюдать. Но было заметно, что я нездоров, а терзавшие меня страшные сомнения еще способствовали этому впечатлению. Наконец я нашел случай и как бы невзначай спросил: «У вас сегодня никого не было?»—и в объяснение своего вопроса сказал, как я беспокоился, что она, получив мою записку, посвятит этот день приему гостей.

— Ах,— воскликнула она,— только у мужчины может возникнуть такая мысль! Как могла я думать о чем-нибудь ином, кроме твоей болезни? Пока я не получила твою вторую записку, я все придумывала, как бы тебя увидеть.

— И ты была одна?

— Одна,— ответила она простодушно; вероятно, именно такое простодушие и побудило мавра убить Дездемону. Так как моя возлюбленная занимала весь особняк и других жильцов там не было, эти слова являлись ужасной ложью. Одна такая ложь разрушает безграничное доверие, на котором для иных душ, зиждется любовь. Чтобы передать вам, что я переживал в это мгновение, следует допустить, что в нас сокрыто какое-то внутреннее существо, для которого наше видимое «я» служит оболочкой. Это существо, блистательное, как звезда, нежное, как тень, навеки облеклось в траур... Да, я почувствовал, как сухая и холодная рука распростерла надо мной саван тяжкого опыта и навсегда оставила в моей душе горечь, вызываемую первым предательством. Я по-

тупился, чтобы она не заметила, как я потрясен. Но тут мне пришла тщеславная мысль, которая несколько отрезвила меня: «Если она обманывает, она не достойна тебя!» Я объяснил краску, выступившую на моем лице, и слезы на глазах нездоровьем, и нежное создание пожелало проводить меня домой на извозчике; она опустила в карете шторы и всю дорогу была так ласкова, так нежна, что обманула бы самого венецианского мавра, которого я привел в пример. Действительно, если бы это большое дитя стало еще несколько мгновений колебаться, то всякий догадливый зритель сообразил бы, что он готов просить у Дездемоны прощения. Да и убить женщину — это ребяческая месть. При расставании моя возлюбленная плакала, до того она была огорчена, что не может ухаживать за мной. Ей хотелось быть моим слугой, она завидовала этому счастливцу, и все говорилось ею так гладко, словно было взято из писем Клариссы в дни ее счастья! Даже в самой красивой и в самой ангелоподобной женщине всегда скрыта ловкая обезьяна.

Тут все женщины потупились, словно их задела эта жестокая истина, так жестоко высказанная.

— Я не стану говорить, как я провел ночь и всю следующую неделю,— продолжал де Марсе.— Я признал в себе способности государственного человека.

Это было сказано так к месту, что все мы с восторгом посмотрели на него.

— Пересматривая с дьявольской изощренностью все настоящие, жестокие способы мести женщине (а так как мы друг друга любили, то были среди них страшные, непоправимые), я презирал себя, чувствовал себя вульгарным и бессознательно создавал отвратительный кодекс: кодекс Снисходительности Отомстить женщине — разве не значит признаться, что, кроме нее, для тебя не существует женщин, что без нее ты не в силах жить? В таком случае можно ли местью вернуть ее? А если она нам не необходима, если для нас существуют и другие, то почему не предоставить ей право, которое мы присвоили себе,— право измены? Все эти рассуждения, конечно, относятся только к страсти, иначе они были бы антиобщественны. А неустойчивость страсти убедительнее всего доказывает, насколько необходима нерасторжимость брака. Словно дикие звери, каковы они и есть, оба пола

должны быть прикованы друг к другу нерушимыми, неумолимыми и безгласными законами. Уничтожьте месть, и измена в любви станет пустяком. Те, которые полагают, что для них в целом мире существует лишь одна женщина, должны признавать месть. Но тогда настоящая месть только одна — месть Отелло. А вот какова была моя месть.

Эти слова вызвали среди слушателей неуловимое движение, которое журналисты в отчетах о парламентских выступлениях обозначают так: (Сильное оживление).

— Излечившись от простуды и от единственной, божественной, чистой любви, я разрешил себе любовное приключение, героиня которого была очаровательна и совсем не похожа на моего ангела-предателя. Я не порвал окончательно с обманщицей, такой сильной и такой ловкой комедианткой, так как не знаю, доставляет ли истинная любовь такие же тонкие наслаждения, как искусный обман. Подобное лицемерие стоит добродетели («Я говорю это не для англичанок, миледи»,— мягко сказал министр, обращаясь к леди Баримор, дочери лорда Дэдлея). Словом, я старался быть прежним влюбленным. Мне надо было заказать цепочку из нескольких прядей моих волос для моего нового ангела, и я отправился к искусному мастеру, жившему на улице Буше. Этот человек не знал соперников в изготовлении подарков из волос. Я даю его адрес тем, у кого мало волос: у него в мастерской всегда имеются волосы всевозможных оттенков и всяких сортов. Приняв от меня заказ, он показал мне свои работы. Я увидел предметы, стоившие такого кропотливого труда, который превосходит все, что в сказках приписывают феям, и все, что изготовляют каторжники. Он посвятил меня во все причуды моды на волосяные изделия. «Вот уже год, как все неистово увлекаются модой метить белье вышивкой из волос,—сказал он.— К счастью, у меня превосходный подбор волос и умелые вышивальщицы». При этих словах меня кольнуло подозрение; я вынимаю свой носовой платок и говорю: «Так это вышивали у вас из фальшивых волос?» Он взглянул на платок и ответил: «О, конечно, и заказчица была очень требовательна, она пожелала сличить вышивку с оттенком своих волос. Эти носовые платки моя жена метила сама. У вас, сударь, одна из лучших вышивок, которые когда-либо нами выпол-

нялись». До этого последнего луча, осветившего мне всю картину, я все еще верил во что-то, я придавал еще значение женскому слову. Я вышел из мастерской другим человеком. Веру в наслаждение я сохранил, но веру в любовь утратил. Я стал атеистом, как математик. Два месяца спустя я сидел около моей божественной возлюбленной, в ее будуаре, на ее диване, держал ее руку в своей руке — а ручки у нее были прелестные,— и мы взбирались на альпийские вершины чувств, срывая самые дивные цветы, обрывая лепестки ромашек (всегда бывают минуты, когда обрываешь лепестки ромашек, даже если находишься в салоне и никаких ромашек нет). В минуту самой глубокой нежности, когда сильнее всего любишь, сознание бренности любви так остро, что непреодолимо хочется спросить: «Любишь ли ты меня? Всегда ли будешь любить?» Я воспользовался этим элегическим моментом, таким сладостным, таким опьяняющим, чтобы заставить ее искусно лгать мне, говорить на очаровательном, поэтическом языке влюбленных. Шарлотта расточала сокровища своих лживых фантазий: она не может жить без меня, я для нее единственный на свете, она боится надоесть мне, ибо в моем присутствии теряет разум, возле меня все ее способности воплощаются в любовь. К тому же она слишком нежно любит меня, а это внушает ей страх. Полгода она придумывала, как бы привязать меня к себе навеки, но эта тайна известна только богу. Одним словом, я был ее божеством.

Женщины, слушая повествование де Марсе, казалось, были обижены, что он так хорошо их изображает,— он сопровождал рассказ ужимками, качал головой, жеманничал, создавая полную иллюзию женских повадок.

— Я уже готов был поверить этой очаровательной лжи, но, продолжая держать ее влажную ручку в своей руке, спросил: «А когда ты выходишь замуж за герцога?» Удар был так метко направлен, мой взгляд так смело встретил ее взгляд, а рука ее так безмятежно покоилась в моей, что, как ни легко было ее содрогание, скрыть его совсем было невозможно. Она не вынесла моего взгляда, легкий румянец окрасил ее щеки.

— За герцога? Что вы хотите сказать этим? — спросила она, притворяясь глубоко изумленной.

— Мне все известно,— продолжал я,— и, по-моему,

вам не следует больше медлить: он богат, он герцог, он более чем набожен — он верующий. И я вполне убежден, что благодаря его щепетильности вы оставались мне верны. Вы и не представляете себе, как для вас важно, чтобы он согрешил перед самим собой и перед богом,— ведь в противном случае вы ничего не добьетесь от него

— Что это — сон? — воскликнула она, проводя рукой по волосам,— знаменитый жест Малибран, но она опередила Малибран на пятнадцать лет.

— Полно, не ребячься, мой ангел,— сказал я и хотел взять ее за руки, но она с видом недотроги гневно спрятала их за спиной.— Выходите за него замуж, я разрешаю вам,— продолжал я, ответив церемонным *вы* на ее жест.— Больше того, я настаиваю на этом.

— Но,— воскликнула она, падая передо мной на колени,— это какое-то ужасное недоразумение. Я люблю только тебя, проси у меня каких хочешь доказательств.

— Встаньте, дорогая, и окажите мне честь — будьте правдивой.

— Хорошо, как перед богом.

— Сомневаетесь вы в моей любви?

— Нет.

— В моей верности?

— Нет.

— Ну так вот, я совершил величайший грех, я усомнился в вашей любви и в вашей верности. Между двумя страстными свиданиями я начал хладнокровно следить за вами.

— Хладнокровно! — воскликнула она, вздыхая.— Довольно, Анри, вы меня больше не любите.

Как видите, она уже нашла лазейку, чтобы ускользнуть. В подобного рода сценах каждое лишнее слово опасно. К счастью, примешалось любопытство.

— А что вы заметили? Разве я виделась с герцогом где-нибудь, кроме как в свете? Разве в моих глазах вы что-нибудь уловили?

— Нет, не в ваших,— ответил я,— в его глазах. Вы восемь раз заставили меня прослушать мессу в церкви святого Фомы Аквинского; я наблюдал, как вы молитесь там вместе с ним.

— А-а! — воскликнула она наконец.— Значит, вы ревнуете!

— О, я очень хотел бы ревновать! — ответил я, любуясь гибкостью этого живого ума и уловками, которыми, однако, можно одурачить только слепцов.— Но, посещая церковь, я стал очень недоверчив... В день моей первой простуды и вашего первого обмана, когда вы полагали, что я лежу в постели, вы принимали герцога, а мне вы сказали, что ни с кем не видались.

— Знаете, ваше поведение постыдно!

— Почему? Я нахожу, что ваш брак с герцогом — удачная затея. Он даст вам громкое имя, единственное достойное вас, блестящее и почетное положение. Вы будете одной из цариц Парижа, и я был бы не прав, если бы воспрепятствовал вам устроить свою жизнь. Зачем вам упускать такую великолепную партию? Ах, Шарлотта, когда-нибудь вы отдадите мне справедливость, поняв, насколько я отличаюсь характером от других молодых людей! Скоро вы были бы вынуждены обманывать меня. Да, вам было бы очень трудно порвать со мной, а ведь герцог следит за вами. Пора нам расстаться. Герцог — человек строгих правил. Вам следует стать образцом нравственности, советую вам. Герцог спасив, он будет гордиться своей женой.

— Ах! — воскликнула она, заливаясь слезами.— Анри, если бы ты заговорил раньше, да, если бы ты захотел (я уже, как видите, был виноват!), мы уехали бы в какой-нибудь уголок, обвенчались бы там и жили бы, счастливые, не таясь от света.

— Теперь поздно говорить об этом,— сказал я, целуя ее руки и принимая вид несчастной жертвы.

— Но, боже мой, я могу еще все расстроить! — воскликнула она.

— Нет, вы слишком далеко зашли с герцогом. Мне придется уехать путешествовать, чтобы нам легче было перенести разрыв. Иначе нам обоим надо будет опасаться нашей любви.

— Разве вы думаете, Анри, что герцог подозревает что-нибудь?

Я был еще «Анри», но уже утратил «ты».

— Нет, не думаю,— ответил я, принимая личину и тон *преданного друга*,— но будьте очень набожны, примиритесь с богом, ибо герцог ждет доказательств, он колеблется, надо подтолкнуть его.

Она встала и дважды прошлась по будуару, может быть, искренне, а может быть, и притворно взволнованная. Затем она, видимо, нашла позу, взгляд, соответствовавшие новым обстоятельствам, и, став передо мной, протянула мне руку и растроганно сказала:

— Ну что ж, Анри, вы прямодушный, благородный, прекрасный человек. Я никогда вас не забуду.

Это был замечательно искусный ход. Она была очаровательна, сумев так быстро переменить тактику, а это было необходимо в том новом положении, в которое она хотела поставить себя. Что касается меня, то всем своим видом, взглядом, позой я выразил глубокую скорбь и заметил, что надменность моей возлюбленной смягчилась. Она взглянула на меня, взяла за руку, привлекла к себе, слегка толкнула на диван и, помолчав, сказала:

— Мне страшно тяжело, дитя мое. Вы меня любите?

— Еще бы!

— Так что же с вами будет?

Тут все женщины переглянулись.

— Мне до сих пор невыносимо воспоминание об ее измене, но и до сих пор мне смешно, когда я вспоминаю ее лицо, выражавшее глубокую убежденность, спокойную уверенность если не в моей смерти, то по крайней мере в моей вечной печали,— продолжал де Марсе.— О, подождите еще смеяться,— обратился он к присутствующим.— Произошло нечто еще более поразительное. Помолчав, я взглянул на нее влюбленными глазами и сказал:

— Да, я уже и сам думал об этом.

— И что же вы будете делать?

— Я уже думал об этом на другой день после простуды...

— И...? — спросила она с явным беспокойством.

— И начал ухаживать за той дамочкой, в которую меня считали влюбленным.

Шарлотта, словно вспугнутая лань, вскочила с дивана, задрожала, как лист, и бросила на меня взгляд, которым женщина выдает лютую злобу, забыв всю свою стыдливость, всю проницательность и даже все

свое изящество,— сверкающий взгляд преследуемой и пойманной в своем гнезде гадюки; она сказала:

— А я-то его любила! Я-то боролась! Я-то... (На третьей мысли, о которой я предоставляю вам догадываться, она сделала самое красноречивое ударение, какое мне когда-либо приходилось слышать.) Боже мой! — воскликнула она.— Как мы несчастны! Нам никогда не удается заслужить любви. Вы относитесь легко даже к самым искренним чувствам. Но не обольщайтесь: когда вы хитрите с нами, вы все же всегда бываете одурачены.

— Я это прекрасно вижу,— ответил я грустно.— Вы слишком благоразумны в гневе, значит, сердце ваше молчит.

Эта скромная насмешка удвоила ее ярость; даже слезы выступили у нее на глазах.

— Вы опорочили в моих глазах весь мир и жизнь,— сказала она,— вы лишили меня всех иллюзий, вы развратили мое сердце.

Она сказала мне все то, что я имел право высказать ей,— сказала с такой беззастенчивой самоуверенностью, с такой наивной дерзостью, что другой окаменел бы на месте.

— Что будет с нами, несчастными женщинами, в обществе, которое создала нам Хартия Людовика Восемнадцатого? (Судите сами, куда завело ее красноречие!) Да, мы рождены для страданий. В страсти мы всегда честнее вас. В вашем сердце нет ни капли благородства. Для вас любовь — игра, в которой вы всегда плутуете.

— Дорогая,— ответил я,— относиться к чему-нибудь серьезно в современном обществе — это значит играть в искреннюю любовь с актрисой.

— Какая подлая измена! Она заранее обдумана!

— Нет, она оправдана!

— Прощайте, господин де Марсе,— сказала она,— вы низко обманули меня!

— А будет ли герцогиня помнить обиды, нанесенные Шарлотте? — спросил я смиренно.

— Конечно,— ответила она с горечью.

— Итак, вы меня ненавидите?

Она кивнула головой, а я подумал: «Значит, не все

потеряно!» Я ушел, оставив ее в убеждении, что ей есть за что мстить. Знаете, друзья мои, я изучал жизнь мужчин, пользовавшихся успехом у женщин, но полагаю, что ни маршал Ришелье, ни Лозен, ни Людовик де Валуа в первый раз так искусно не отступали, как я. А что касается моего ума и сердца, то именно тут они окончательно определились, и сила воли, с которой я тогда сумел обуздать порывы чувства, заставляющие нас совершать такое множество необдуманных поступков, дала мне то самообладание, которое вам известно.

— Как мне жаль вторую вашу страсть! — сказала баронесса де Нусинген.

От загадочной улыбки, скользнувшей по губам де Марсе, Дельфина де Нусинген покраснела.

— *Как фсе сапыфается!* — воскликнул барон де Нусинген.

Наивность знаменитого банкира имела такой успех, что даже жена его, которая и была второй страстью де Марсе, не могла не засмеяться вместе со всеми.

— Вы все склонны осуждать эту женщину,— сказала леди Дэдлей,— а я понимаю, почему она не считала свое замужество изменой. Мужчины никогда не желают делать различия между постоянством и верностью. Я знаю женщину, о которой рассказывал господин де Марсе, это была одна из ваших последних знатных дам.

— Увы, миледи, вы правы,— сказал де Марсе,— скоро уже пятьдесят лет, как мы присутствуем при непрерывном разрушении социальных различий. Нам следовало бы оградить женщин от этого страшного крушения, но свод законов сравнял и их. Как ни ужасно то, что я скажу, но сказать надо: герцогини исчезают, маркизы тоже. А что касается баронесс (прошу прощения у госпожи де Нусинген, которая будет графиней, когда ее муж станет пэром Франции), то к баронессам никогда не относились серьезно.

— Аристократия начинается с виконтессы,— заметил, улыбаясь, Блонде.

— Графини останутся,— вновь заговорил де Марсе,— изящная женщина всегда будет более или менее гра-

финей, графиней времен Империи или графиней новоиспеченной, графиней из старинного дворянства или, как говорят итальянцы, графиней по изысканности. Но что касается знатной дамы, то она исчезла вместе со всем пышным окружением прошлого столетия, вместе с пудрой, с мушками, туфельками без задников, корсажами на планшетках, украшенными множеством пышных бантов. Современные герцогини легко проходят в двери, которые нет надобности расширять для необъятных фижм. Империя видела последние платья со шлейфами. Я до сих пор удивляюсь, каким образом монарх, желавший, чтобы паркет его дворцовых покоев подмегали атласные или бархатные шлейфы герцогинь, не закрепил за некоторыми семьями при помощи незыблемых законов право первородства. Наполеон не учел последствий своего Кодекса, которым так гордился. Этот человек, создавая новых герцогинь, вызвал к жизни наших современных светских женщин, посредственный продукт его законодательства.

— Когда только что окончивший школу юнец или бездарный журналист пользуется мыслью, словно молотом, она разрушает основы общественного порядка,— сказал граф де Ванденес.— В наше время всякий пройдоха, умеющий пускать пыль в глаза, украсить свою мощную грудь атласным жилетом в виде панциря, хранить на челе под ниспадающими кудрями печать сомнительной гениальности, умеющий вихлять в лакированных бальных туфлях, шестифранковых шелковых носках и, гримасничая, носить монокль,— будь он писцом у стряпчего, или сыном подрядчика, или побочным сыном банкира,— позволяет себе дерзко с ног до головы оглядывать самую красивую герцогиню, оценивать ее, когда она спускается по лестнице в каком-нибудь театре, и говорить приятелю, одевающемуся у Бюиссона, где мы все одеваемся, и обутому в лакированную обувь, как любой герцог: «Вот, милый мой, великосветская женщина!».

— Вы не сумели создать партию,— сказал лорд Дэдлей,— и у вас еще долго не будет политики. Во Франции много толкуют об упорядочении труда, но вы еще до сих пор не упорядочили собственности, и вот что с вами происходит: при Людовике Восемнадцатом или Карле

Десятом еще встречались герцоги, у которых было по двести тысяч ливров ренты, великолепные особняки и величественные слуги,— такой герцог мог жить, как вельможа. Последним из французских вельмож был князь Талейран. Так вот, герцог оставляет четверых детей, из них две дочери. Предположим, что он очень удачно их женил и выдал замуж; каждый из его прямых наследников имеет в данное время уже не более шестидесяти — восьмидесяти тысяч ливров ренты. Каждый из них — отец или мать многочисленного потомства; следовательно, они вынуждены жить в квартире, где-нибудь в нижнем или втором этаже, соблюдая строжайшую экономию. Быть может, они даже выслеживают наследство. Итак, у жены старшего сына, оставшейся герцогиней только по имени, нет ни собственного выезда, ни лакеев, ни ложи в театре, ни приемных дней, у нее нет «своей половины» в особняке, ни собственного состояния, ни безделушек; она похоронила себя в семейной жизни, как женщина из предместья Сен-Дени — в своей торговле. Она сама выкармливает своих дорогих малюток, сама покупает для них чулки, наблюдает за дочерьми, которых уже не отдают в монастырский пансион. Таким образом, самые знатные ваши женщины обратились в почтенных наседок.

— Увы, это верно! — воскликнул Жозеф Бридо.— Наша эпоха утратила прелестную женщину — цветок, украшавший великолепные времена французской монархии. Веер знатной дамы сломан: женщине уже не нужно больше за ним скрываться, краснеть, задумываться, шептаться, выглядывать из-за него. В наше время веер лишь веет ветерком. А ведь любая вещь, когда она представляет собою лишь то, что она есть, становится только полезной и перестает быть предметом роскоши.

— Все во Франции способствовало появлению светской женщины, — сказал Даниэль д'Артез, — аристократия допустила это, удалившись в глушь своих поместий, куда она скрылась, чтобы умирать; она эмигрировала в глубь страны перед натиском новых идей, как когда-то эмигрировала за границу перед натиском народных масс. Женщины, которые могли бы создавать европейские салоны, управлять общественным мнением,

выворачивая его, словно перчатку, господствуя над людьми искусства или мысли, которые должны господствовать над светом,— эти женщины совершили ошибку: они покинули поле битвы, считая позорным для себя бороться с буржуазией, опьяненной властью, выступившей на арену и не понимающей, что ее растерзают на куски варвары, которые следуют за ней по пятам. Поэтому там, где буржуа думает видеть принцесс, встречаются только молодые светские особы. В настоящее время принцы уже не находят знатных дам, которых они могут компрометировать, они даже не могут прославить женщину, случайно ставшую им близкой. Последний, воспользовавшийся этим правом, был герцог Бурбонский.

— И один бог знает, чего ему это стоило,— заметил лорд Дэдлей.

— В настоящее время князья женаты на светских женщинах, которые вынуждены абонировать ложу сообща с подругами и которых даже королевская милость ни на йоту не возвеличила бы. Они незаметно скользят между двумя течениями: буржуазией и дворянством,— не будучи сами ни тем, ни другим,— с горечью сказала маркиза де Рошфид.

— Наследницей женщины стала печать! — воскликнул Растиньяк.— В настоящее время женщина утратила способность быть живым фельетоном, очаровательно злословить, украшая беседу изысканными словечками. Теперь мы читаем фельетоны, написанные на жаргоне, меняющемся каждые три года, и развлекают нас нынешние газетки, остроты которых веселы, как факельщики в похоронной процессии, и легки, как свинец типографских литер. Из конца в конец Франции ведутся разговоры на революционной тарабарщине, которую тискают длинными столбцами на бумаге в особняках, где вместо былых бесед в блестящем кругу теперь скрипит печатный станок.

— Звучит похоронный звон высшему обществу, вы слышите его? — спросил русский князь.— Первый удар этого колокола — ваше модное слово: светская женщина.

— Вы правы, князь,— сказал де Марсе,— эта женщина, вышедшая из рядов дворянства или выскочив-

шая из буржуазии, вырастает на любой почве, даже на провинциальной; вот вам выразительница нашей эпохи, последнее воплощение хорошего тона, ума, изящества, собранных воедино, но в уменьшенном виде. Мы больше не увидим во Франции знатных дам, но еще долго будут светские женщины, избранные общественным мнением в женскую законодательную палату, и они будут для прекрасного пола тем, кем в Англии является джентльмен.

— И это они называют прогрессом! — сказала мадемуазель де Туш.— Хотела бы я знать, в чем же здесь прогресс?

— А вот в чем,— ответила г-жа де Нусинген.— В былое время женщина могла отличаться голосом торговки, походкой гренадера, лицом дерзкой куртизанки, прилизанной прической, огромными ногами, толстыми руками,— и, тем не менее, она оставалась знатной дамой. Теперь же знатная женщина, будь она хоть из рода Монморанси (если только девицы Монморанси могут обладать такой внешностью), все равно не будет светской женщиной.

— Но что подразумеваете вы под понятием «светская женщина»? — наивно спросил граф Адам Лагинский.

— Это модное создание, жалкий триумф выборной системы в применении к прекрасному полу,— ответил министр.— Каждая революция порождает слово, которое подводит ей итог и ее характеризует.

— Вы правы,— сказал русский князь, приехавший в Париж с целью создать себе здесь литературную славу. — Если объяснить некоторые слова, из века в век прибавлявшиеся к вашему прекрасному языку, то можно было бы написать замечательную историю. Например, слово «организовать». Оно создано Империей и включает в себя целиком понятие «Наполеон».

— Но все это не объясняет мне, что же такое светская женщина! — воскликнул молодой поляк.

— Хорошо, я объясню вам это,— ответил Эмиль Блонде графу Адаму.— Вы бродите в ясный, погожий день по Парижу. Уже больше двух часов, но пяти еще нет. Навстречу вам приближается женщина. Первый беглый взгляд, который вы бросаете на нее, для

вас как бы предисловие к чудесной книге; вы предчувствуете уже целый мир, изысканный и утонченный. Как ботаник, собирающий по горам и долинам гербарий, вы среди вульгарных парижанок встретили наконец редкий цветок. Эту женщину сопровождают двое мужчин с весьма благородной осанкой, из которых по крайней мере один с орденской ленточкой в петлице, или же в десяти шагах за ней следует слуга в будничной ливрее. Она не носит ярких тканей, ажурных чулок, вычурных пряжек на поясе, ни панталон с вышитой оборкой, пенящейся вокруг щиколотки. Она обута в прюнелевые башмачки с лентами, переплетающимися на тончайшем шерстяном или шелковом чулке, сером, без узоров, или же в легкие, очаровательно простые полусапожки. Одежда на ней из красивой, но не очень дорогой ткани, и многие мещанки стараются запомнить фасон ее платья. Чаще всего это редингот, завязывающийся бантами и изящно обшитый петельками из шнура или тонкой вязаной сеточкой. У незнакомки своя, особая манера кутаться в шаль или тальму. Она умеет так завернуться в них, что голова ее выступает словно из какого-то панциря, который мещанку сделал бы похожей на черепаху, но у нашей незнакомки он дает представление о безупречной ее фигуре. Каким образом достигает она этого? Это ее тайна, и она не гонится за патентом изобретателя. Легкая, плавная походка придает ее движениям что-то цельное, гармоничное, и ее формы играют под одеждой с пленительной и опасной грацией. Так в полдень извивается змейка под зеленым покровом шелестящей травы. Кому обязана она, ангелу или демону, изящной плавностью своих движений, которые колышат длинную черную накидку, шевеля кружева по краям и распространяя легкий аромат духов,— я охотно дам ему наименование «Ветерок парижанки»? Вы сразу узнаете целую науку, сложную науку в расположении складок самой грубой ткани, драпирующей ее плечи, шею, стан так искусно, что кажется, видишь перед собой античную Мнемозину. Ах, как понятен такой женщине *рисунок походки*,— простите мне это выражение. Вглядитесь, как благопристойно она выступает, обрисовывая под одеждой свой стан, вызывая у прохожего восхищение, смешанное с

желанием, но умеряемое глубоким почтением. Когда англичанка пытается идти такой походкой, она похожа на гренадера, атакующего редут. Да, парижанкам принадлежит гений походки! Должно быть, ради них городскому управлению пришлось залить асфальтом тротуары. Эта незнакомка никого не толкнет. С горделивой скромностью ожидает она, чтобы ей уступили дорогу. Особое отличие хорошо воспитанной женщины заметно хотя бы по ее манере придерживать на груди шаль или тальму. Она идет по улицам Парижа, храня скромный и бесстрастный вид, напоминая мадонн Рафаэля в их окружении. Ее осанка, одновременно и спокойная и пренебрежительная, заставляет самого дерзкого денди почтительно посторониться перед ней. Ее изысканно простая шляпка отделана свежими лентами, иногда цветами. Но самые искусные женщины ограничиваются только завязками из лент. Перьев вы на их шляпках не увидите,— перьям приличествует экипаж; цветы привлекают слишком много взглядов. Из-под шляпки выглядывает свежее спокойное личико женщины не чванливой, уверенной в себе; она ни на что не смотрит пристально, но все замечает; всегда удовлетворенное тщеславие придает ее чертам выражение какого-то равнодушия, которое дразнит любопытство. Она знает, что на нее оглядываются все, даже женщины, и проносится мимо них, тоненькая, светлая, словно осенняя паутинка. Эта великолепная порода любит самые жаркие широты и самые чистые долготы Парижа. Вы увидите ее между десятой и сто десятой аркадой улицы Риволи на Больших бульварах — от экватора пассажа Панорамы, где процветают изделия Индии, где разложены самые последние новинки промышленности, до мыса Мадлен, в местностях, наименее опошленных буржуазией, между 30-м и 150-м номерами улицы Фобур-Сент-Оноре. Зимой она любит гулять по террасе Фельянов, но не по асфальтовому тротуару, идущему вдоль нее. В хорошую погоду она скользит по аллее Елисейских полей, окаймленных с востока площадью Людовика Пятнадцатого, с запада — проспектом Мариньи, с юга — тротуарами для пешеходов и с севера — садами предместья Сент-Оноре. Вы никогда не встретите этой прелестной разновидности жен-

щин на северных окраинах улицы Сен-Дени, никогда не увидите ее на Камчатке узких, грязных торговых улочек, и никогда, нигде вы не встретите ее в дождь и холод. Эти цветы Парижа распускаются только при знойной погоде, их ароматом напоены места прогулок, но бьет пять часов, и они свертываются, как трехцветный вьюнок. Женщины, которых вы встретите позже, несколько похожи на них и пытаются подражать им, но это *женщины как бы светские*, тогда как прекрасная незнакомка, ваша дневная Беатриче — *женщина светская*. Трудно иностранцам, дорогой граф, заметить признаки, по которым опытные наблюдатели узнают как бы светских женщин, до такой степени ловко они маскируются, но парижанам эти различия бросаются в глаза. Это неумело скрытые застежки, пожелтевшие тесемки шнуровки, видной сквозь прореху корсажа, расстегнувшегося на спине, стоптанные башмаки, отглаженные ленты на шляпке, слишком пышные сборки платья, слишком накрахмаленный турнюр. Вы заметите, что ресницы она опускает как-то неестественно, и все ее манеры выдают какую-то напряженность. Что же касается женщины буржуазного круга, то ее никак не примешь за светскую женщину,— отличие резко подчеркнуто; потому-то наша незнакомка и производит такое сильное впечатление. Буржуазная женщина деловита, выходит из дому в любую погоду, куда-то семенит, спешит, возвращается, не знает, войти ей в магазин или не войти. В тех случаях, когда светская женщина твердо знает, чего она хочет и что ей делать, женщина буржуазная колеблется; она высоко подбирает платье, чтобы перейти канавку, тащит за собой ребенка и поэтому опасливо озирается, остерегаясь экипажей. Она мать на глазах у всех; она болтает с дочерью, деньги носит в ручной корзиночке, а чулки у нее ажурные. Зимой сверх меховой пелерины она набрасывает боа, а летом поверх шали — шарф, нагромождает в своем туалете одно на другое. Вашу прелестную незнакомку вы увидите у Итальянцев или на балу в Опере. Там она предстанет перед вами в совершенно ином обличье, и вы скажете: «Но это же не она!» Там эта женщина — словно бабочка, выпорхнувшая из своего таинственного кокона. Как самым утонченным ла-

комством, позволяет она вашим взорам наслаждаться лицезрением ее фигуры, которую утром корсаж лишь слегка обрисовывал. В театре она сидит не выше второго яруса, за исключением Итальянской оперы. Вы можете любоваться изысканной плавностью ее движений. Очаровательная плутовка пускает в ход всевозможные женские уловки, но делает это чрезвычайно естественно — вам и в голову не придет, что все это совершается сознательно, преднамеренно. Если у нее царственно-прекрасная рука, то даже самый проницательный человек поверит, что ей необходимо было закрутить, поправить или отбросить локон или завиток волос, которых она слегка касается. Если у нее прекрасный профиль, то вам покажется, что она насмехается или хвалит, рассказывая что-то соседу, нечаянно придав головке тот излюбленный великими художниками поворот, при котором свет падает на щеку, четко обрисовывается линия носа, освещаются розовые ноздри, сглаживаются очертания слишком выпуклого лба, в глазах, устремленных куда-то вдаль, усиливается их искристый блеск, и светлым бликом выступает белоснежная округлость подбородка. Если у нее хорошенькая ножка, то она, нежась, словно кошечка на солнце, опустится на диван, вытянет ножки, и вы в этом положении тела не найдете ничего, кроме самой восхитительной позы, вызванной усталостью. Только светская женщина чувствует себя непринужденно в своей одежде. Ничто не стесняет ее. Вы никогда не увидите, чтобы она, как буржуазка, натягивала на плечо соскользнувшую с него ленту, или вправляла выскочившую из корсета планшетку, или смотрела, охраняет ли шейная косынка, этот неверный страж, два белоснежных сокровища, или же смотрелась в зеркало, чтобы убедиться, что прическа не растрепалась. Наряд ее всегда соответствует ее внешности. Она, не жалея времени, на досуге изучила себя, устанавливая, что к ней не идет. Вы не увидите ее при разъезде, она исчезнет до окончания спектакля, а если случайно, спокойная и величественная, она покажется на красном ковре лестницы, то вызовет пылкое восхищение зрителей. Она здесь по чьему-то приказанию, ей надо кому-то бросить украдкой взгляд, получить какое-то обещание.

Быть может, она так медленно спускается, чтобы удовлетворить тщеславие раба, которому она порой сама повинуется! Встретив ее на каком-нибудь балу или званом вечере, вы насладитесь искусственной нежностью ее вкрадчивого голоса, вас восхитит ее пустая болтовня, которой она с неподражаемым умением придаст видимость мысли.

— Разве не надо быть умной, чтобы слыть светской женщиной? — спросил польский граф.

— Ею невозможно быть, не обладая вкусом,— ответила г-жа д'Эспар.

— Во Франции обладать вкусом — это больше, чем обладать умом,— заметил русский князь.

— Ум такой женщины является торжеством искусства пластического,— продолжал Блонде.— Вы не знаете еще, что она скажет, но вы уже очарованы. Покачает ли она головой или мило пожмет плечами, она уже позолотила незначительную фразу очаровательной улыбкой, гримаской или вложила смысл вольтеровской эпиграммы в восклицания: «Вот как!», или «Неужели?», или «Еще бы!». Поворот ее головы может стать самым пытливым вопросом. Она придает смысл даже тому движению, каким играет флакончиком с духами, подвешенным к кольцу на ее пальце. Все это искусственное величие достигается самыми пустячными мелочами. Вот она небрежно свесила руку с локотника кресла, а вам кажется, что это спадают капли росы с лепестков цветка, и этим все решено; этим движением она сказала свое слово, взволновав даже самых хладнокровных. Она умеет вас слушать, она доставляет вам возможность быть остроумным, а ведь такие минуты (я обращаюсь к вашей скромности) бывают редки.

Молодой поляк слушал Блонде с таким простодушным видом, что все рассмеялись.

— Вам достаточно полчаса побеседовать с буржуазной женщиной, и она уже заговорит о своем муже,— продолжал Блонде, не утратив комической серьезности. — Но если даже вам известно, что ваша светская женщина замужем, у нее хватит такта не занимать вас разговорами о своем супруге, и вам понадобятся усилия Христофора Колумба, чтобы открыть

ее мужа среди гостей. Случается, что вам одному сделать это не под силу. Если вам никого не удалось расспросить, то только к концу вечера вы замечаете, как она пристально смотрит на мужчину средних лет, украшенного орденами, который, кивнув головой, выходит: она попросила мужа вызвать экипаж и уезжает. Вы сами отнюдь не цветок, но вы находились в его близости и вернетесь домой в золотистом тумане дивных грез, которые, быть может, продолжатся и в сновидениях, когда Сон своей могучей дланью распахнет ослепительно-белые врата храма фантазии. Ни одна светская женщина не принимает у себя ранее четырех часов. Она прекрасно понимает, что надо заставить вас подождать ее. Убранство ее дома всегда самое изысканное, в нем роскошь стала повседневностью, всегда свежа и уместна. Вы там не увидите ничего хранящегося под стеклянным колпаком, не увидите суконных вышитых конвертов, висящих на стене, словно шкапчики для провизии. Уже на лестнице вам будет тепло. Повсюду цветы будут радовать ваш взор. Цветы — единственное подношение, которое она принимает, и то лишь от очень немногих. Букеты живут только день, доставляют радость и требуют обновления. Для нее они, как на Востоке, символ, обещание. Повсюду разбросаны модные дорогие безделушки, но комнаты не напоминают ни музей, ни антикварную лавку. Вы найдете эту женщину в ее любимом уголке у огня, на диванчике; она приветствует вас, не вставая. Здесь ее беседа будет иной, чем на балу. Вне дома она была вашим заимодавцем, а дома сама заимствует у вас то, что доставляет удовольствие ее уму. Всеми этими оттенками светская женщина владеет в совершенстве. Она ценит в вас человека, который приумножит собирающееся у нее общество,— предмет беспокойства и забот светской женщины в наши дни. Чтобы сделать вас постоянным посетителем ее салона, она будет с вами очаровательно кокетлива. Это даст вам почувствовать, как обособленно живут женщины в наше время и почему они так хотят иметь свой мирок, для которого они будут светилом. Беседа немыслима без общности интересов.

— Да,— сказал де Марсе,— тебе хорошо известен

порок нашего времени. Эпиграмма — книга, включенная в одну остроту, но теперь она направлена не на личность, не на предметы, как то было в восемнадцатом веке, а на пошлые происшествия, и живет теперь эпиграмма лишь один день.

— Ум светской женщины, если только он у нее есть,— продолжал Блонде,— это ум скептический, тогда как ум буржуазной женщины доверчивый. В этом и заключается главное различие этих двух женских типов. Мещанка, несомненно, добродетельна, светская же дама не уверена, есть ли у нее добродетель и будет ли она всегда добродетельна. Она колеблется и противится, тогда как мещанка сначала отказывает наотрез, а затем безоговорочно уступает. Эти постоянные колебания светской женщины — последнее очарование, оставленное ей нашей ужасной эпохой. Она редко бывает в церкви, но много говорит о религии и постарается обратить вас на путь истинный, если у вас достаточно сообразительности, чтобы разыгрывать перед ней вольнодумца,— этим вы дадите исход ее рвению, и оно выразится в шаблонных фразах, в установленном для сего случая выражении лица, в жестах, принятых у светских женщин. «Ах, как это нехорошо, а я полагала, что вы настолько умны, что не будете нападать на религию! Общество рушится, а вы лишаете его опоры. В данное время религия — это вы и я, это собственность, это будущее наших детей. Ах, не будем эгоистичны! Себялюбие — болезнь нашего века, и единственное лекарство против него — это религия, она вносит единение в семьи, разъединенные вашими законами» и т. п. Она начинает разговор в неохристианском духе, уснащенный политикой, в духе ни католическом, ни протестантском, зато разговор нравственный, о, чертовски нравственный! В нем вы узнаете обрывки, лоскутки всех сотканных ныне разношерстных доктрин.

Тут женщины рассмеялись: такими забавными ужимками сопровождал Эмиль Блонде свои выпады.

— Эти слова докажут вам, дорогой граф Адам,— продолжал Блонде, глядя на поляка,— что в голове светской женщины настоящая каша из модных политических, религиозных и прочих идеек: вместе с тем она

окружена блестящими, но непрочными изделиями современной промышленности, которая стремится, чтобы ее товары жили недолго и быстро заменялись новыми. Вы уйдете от этой женщины, говоря себе: «У нее, несомненно, возвышенный образ мыслей». Вы тем более будете в этом убеждены, что она своей нежной рукой сумела прощупать ваше средце и ум, она выведала ваши тайны, ибо светская женщина делает вид, что ничего не знает, чтобы обо всем узнать, и есть тайны, о которых она всегда слышит якобы в первый раз, даже когда эти тайны ей прекрасно известны. Итак, вы уходите от нее очарованным, но обеспокоенным. От вас состояние ее сердца скрыто. В былое время знатные дамы дерзко афишировали свою страсть, теперь же страсть светской женщины размечена, как нотная бумага. У нее свои восьмушки, свои четверти, свои полуноты, свои четвертные паузы, свои фермато, свои диезы. Как женщина слабая, она не хочет компрометировать ни своей любви, ни своего мужа, ни будущности своих детей. Ныне имя, положение, состояние не являются флагом, который внушает уважение и прикрывает любые контрабандные товары на борту. Аристократы не выступают теперь дружным отрядом, чтобы заслонить согрешившую знатную даму. Поэтому нынешняя светская женщина не отличается величественностью, как прежняя знатная дама; она ничего не может попирать своей пятой, ибо сама будет попрана. Поэтому-то она лицемерит, соблюдает приличия, старается сохранить свою страсть втайне и благополучно провести ее по руслу, усеянному подводными камнями. Она опасается своих слуг, как англичанка, которой всюду мерещится судебный процесс за греховные разговоры. Эта женщина, такая непринужденная на балу, такая прелестная на прогулке, рабыня у себя дома; она независима только в очень замкнутом кругу да в мыслях. Она желает оставаться светской женщиной — вот ее задача. А в наши дни женщина, покинутая мужем, ограниченная скромной пенсией, лишенная выезда, роскоши, ложи в театре, лишенная прелестных принадлежностей туалета, уже больше ни женщина, ни распутница, ни хозяйка. Она исчезла, превратилась в вещь. В монастырь, служить

супругу небесному, замужнюю женщину не примут: это было бы двоемужеством. Будет ли она всегда дорога своему любовнику? Это вопрос. Поэтому светская женщина всегда может подать повод к клевете, но никогда к злословию.

— Все это жестокая правда,— сказала княгиня де Кадиньян.

— Потому-то,— продолжал Блонде,— светская женщина и живет между английским лицемерием и прелестной откровенностью восемнадцатого века: ублюдочная система, разоблачающая время, где ничто новое не похоже на прошедшее, где новшества ни к чему не ведут, где господствуют только оттенки, где значительные люди стушевываются, где различия чисто индивидуальны. Я убежден, что женщине, даже рожденной вблизи трона, невозможно постичь до двадцати пяти лет науку интриги, невозможно понять значение мелочей, переливы голоса и гармонию красок, ангельское коварство и невинное плутовство, искусство болтовни и молчания, серьезности и шутки, ума и глупости, дипломатии и невежества — одним словом, постичь все, что составляет сущность светской женщины.

— При таких взглядах,— спросила мадемуазель де Туш Эмиля Блонде,— куда же вы определите женщину-писательницу? Кто она, по-вашему? Светская женщина или нет?

— Если она не талантлива, то это женщина никчемная,— ответил Эмиль Блонде, сопровождая ответ лукавым взглядом, который мог сойти за похвалу, откровенно обращенную к Камиллу Мопену. — Это мнение Наполеона, а не мое,— добавил он.

— Ах, не порочьте Наполеона! — воскликнул высокопарно Каналис.— Конечно, у него были свои слабости, и одна из них — зависть к литературным дарованиям. Но кто сумеет объяснить, изобразить или понять Наполеона? Человек, которого изображают со скрещенными на груди руками и который совершил столько дел? Скажите, кто обладал более славной, более сосредоточенной, более разъедающей, более подавляющей властью? Своеобразный гений, пронесший повсюду вооруженную цивилизацию и нигде ее не закрепивший; человек, который мог всего достичь, потому

что хотел всего; человек феноменальной воли, укрощавший недуг битвой и, однако же, обреченный умереть в постели от болезни, после жизни, проведенной среди ядер и пуль; человек, голова которого вмещала законодательство и меч, слово и действие; проницательный ум, все предвидевший, кроме своего крушения; странный политик, в азартной своей игре бросавший без счета человеческие жизни и пощадивший трех людей: Талейрана, Поццо ди Борго и Меттерниха — дипломатов, смерть которых спасла бы его Империю и которые в его глазах имели больше веса, чем тысячи солдат; человек, которому природа по исключительной милости оставила сердце в бронзовом теле; веселый и добрый в полночь, среди женщин, он утром без стеснения распоряжался Европой, как проказница-девчонка для забавы расплескивает воду в ванне! Лицемерный и великодушный, любящий мишуру и одновременно простой, человек, лишенный вкуса и покровитель искусства,— невзирая на все эти противоречия, он был инстинктивно или органически велик во всем; Цезарь — в двадцать пять лет, Кромвель — в тридцать, добрый отец и примерный супруг, как лавочник с улицы Пер-Лашез. Наконец он создал памятники, государства, королей, кодексы законов, стихи, роман, и все это больше по вдохновению, чем по правилам. Он хотел всю Европу сделать Францией! Сделав нас для всего земного шара бременем, едва не нарушившим законы тяготения, он оставил нас беднее, чем в тот день, когда наложил на нас руку. И он, завоевавший империю ради своей славы, утратил славу на краю своей империи в море крови и солдат. Человек, который был весь мысль и действие, заключил в себе Дезэ и Фуше.

— То воплощенный произвол, то сама справедливость, смотря по обстоятельствам! Настоящий король! — сказал де Марсе.

— *Ах, какое утофольстфие слюшать фас!* — воскликнул барон де Нусинген.

— А вы что думаете! Разве мы угощаем вас заурядными мыслями? — спросил Жозеф Бридо.— Если бы надо было платить за удовольствие беседы, как вы оплачиваете танцы или музыку, то всего вашего состоя-

ния на это не хватило бы! У нас острота дважды в одинаковой форме не подается.

— Неужели же мы действительно так измельчали, как полагают эти господа? — сказала княгиня де Каниньян, обращаясь к женщинам с вопросительной и насмешливой улыбкой.— Неужели потому, что мы живем при таком режиме, который все умаляет и уже приучил нас любить простенькие блюда, маленькие квартирки, убогие картины, незначительные статейки, маленькие газетки, жалкие книжонки,— неужели должны измельчать и женщины. Почему сердце человеческое должно измениться оттого, что человек переменил одежду? Страсти всегда останутся страстями. Мне известны примеры изумительной преданности, возвышенных страданий, но им не хватает гласности, славы, если хотите, которая в былое время превозносила заблуждения некоторых женщин. Но можно быть Агнесой Сорель и не спасая короля Франции. Разве наша дорогая маркиза д'Эспар не стоит госпожи Дюбле или госпожи дю Дефан, у которых говорили и делали столько зла? Разве Тальони не стоит Камарго? Малибран разве не равна Сент-Юберти? Разве наши поэты не превосходят поэтов восемнадцатого века? Если в данное время по вине лавочников, которые нами управляют, у нас нет собственного стиля, то разве Империя не накладывала на все своего отпечатка, подобно веку Людовика Пятнадцатого, и ее блеск разве не был сказочным? А разве измельчали науки?

— Я совершенно согласен с вами, сударыня; женщины нашей эпохи действительно величественны,— сказал генерал де Монриво.— Когда нам на смену придет потомство, госпожа Рекамье будет ему казаться столь же великой, как самые прекрасные женщины прошлого столетия! Наша история так многогранна, что не хватит историков для нее! Век Людовика Четырнадцатого имел лишь одну госпожу де Севинье, а у нас в Париже их сейчас тысячи, и они, несомненно, пишут лучше, чем госпожа де Севинье, но не печатают своих писем. Как бы француженка ни именовалась, «светской женщиной» или «знатной дамой», она всегда будет женщиной в истинном значении этого слова. Эмиль Блонде нарисовал нам современную женщину и ее ис-

кусство обольщать, но эта женщина, которая жеманится, наряжается, щебечет, повторяя мысли такого-то и такого-то, в нужную минуту может стать героиней. Ваши ошибки, сударыни, тем более поэтичны, что они неизменно и во все времена грозят вам величайшими опасностями. Я много наблюдал свет и, быть может, понял его слишком поздно. Но в тех случаях, когда незаконность ваших чувств была извинительна, я всегда видел следствие какой-нибудь случайности,— назовите это, если хотите, провидением,— которая роковым образом поражает ту, кого мы называем женщиной легкомысленной.

— Надеюсь,— возразила г-жа де Ванденес,— что мы можем быть героинями и в других случаях...

— Ах, позвольте уж маркизу де Монриво закончить поучения! — воскликнула г-жа д'Эспар.

— Тем более, что он много поучал примером,— заметила баронесса де Нусинген.

— Право,— произнес генерал де Монриво,— среди множества драм — я говорю «драм», так как вы часто употребляете это слово,— сказал он, обращаясь к Блонде,— среди известных мне драм, в которых сказался перст божий, самая страшная была почти делом моих рук...

— Расскажите же, я обожаю все жуткое! — воскликнула леди Баримор.

— Все добродетельные женщины это любят,— ответил де Марсе, взглянув на очаровательную дочь лорда Дэдлея.

— Во время кампании 1812 года,— начал генерал Монриво, обращаясь ко мне,— я был невольной причиной ужасного несчастья, которое может помочь вам, доктор Бьяншон, разрешить некоторые проблемы, так как вы занимаетесь не только человеческим организмом, но и психологией. Это был мой второй поход; я любил опасность и смеялся над всеми, как и подобает молодому и простодушному лейтенанту. Когда мы подошли к Березине, армия, как вам известно, уже совсем разложилась и забыла, что значит дисциплина. Это было скопище людей различных национальностей, которое инстинктивно двигалось с севера на юг. Солдаты гнали от своих костров генерала в лохмотьях, если он не приносил

им пищи и питья. После переправы через эту знаменитую реку беспорядок не уменьшился. Спокойно, однакож, без продовольствия я выбрался из Зембинских болот и стал искать дом, где мне оказали бы гостеприимство. Я шел, не встречая на пути никакого жилья, или получал отказ там, где просил приюта, но вечером, к счастью, я заметил жалкую, маленькую польскую ферму, какую вы и представить себе не можете, если только не видели деревянных хижин Нормандии или самых бедных мыз Босской долины. Такие жилища состоят из одной горницы, разделенной дощатой перегородкой. Отгороженная часть служит складом для сена и соломы. Я чудом разглядел при вечерних сумерках легкий дымок, подымавшийся над этим домом. Рассчитывая найти там товарищей более сострадательных, чем те, к которым до тех пор обращался, я смело двинулся к этой ферме. Войдя, я увидел накрытый стол. Несколько офицеров и среди них одна женщина — явление довольно обычное — ели картошку, конину, поджаренную на углях, и мороженую свеклу. В числе сидящих я узнал двух — трех капитанов первого артиллерийского полка, где я служил. Меня встретили громким «ура», что меня сильно удивило бы по ту сторону Березины; но в данный момент мороз был уже не таким суровым, офицеры отдыхали, им было тепло, они ели, и горница, устланная охапками соломы, сулила им чудесный сон. В ту пору мы были неприхотливы. Филантропия давалась моим товарищам даром — это ведь самый обычный вид филантропии. Я уселся на вязанках соломы и принялся за еду. В конце стола, около двери в боковушку, служившую сеновалом, сидел мой бывший командир, один из самых необыкновенных людей, каких я когда-либо встречал среди человеческого сброда, с которым мне приходилось сталкиваться. Он был итальянец. А уж если южанин красив, то его красота всегда совершенна. Обращали ли вы внимание на исключительную белизну кожи тех итальянцев, которые от природы бледны? Эта белизна изумительна, особенно при свечах. Когда я прочитал описание фантастического образа полковника Удэ, изображенного Шарлем Нодье, то в каждой из его изящных фраз я нашел отклик собственных впечатлений. Итак, мой полковник был итальянец, как

и большинство офицеров его полка, взятого императором из армии принца Евгения; он был высокого, саженного роста, великолепно сложен, пожалуй, слишком дороден, но отличался необычайной физической силой, а вместе с тем был ловкий и проворный, как борзая. Черные вьющиеся кольцами волосы оттеняли нежный, как у женщины, цвет лица; руки у него были маленькие, нога красива, рот прелестный; нос орлиный, тонких очертаний, причем кончик его как-то сжимался и белел, когда полковник сердился, а случалось это часто. Вспыльчивость его была столь невероятна, что лучше я умолчу о ней; вы сами будете судить о ней. Никто возле него не чувствовал себя спокойно. Пожалуй, один я не боялся его; правда, он почувствовал ко мне такую исключительную дружбу, что все, что бы я ни делал, он находил прекрасным. Когда он приходил в ярость, лоб его морщился и посередине его прорезались складки в виде дельты, или, вернее, в виде подковы коня Редгаунтлета. Этот признак ужасал еще сильнее, чем магнетический блеск его синих глаз. Тело его содрогалось, и в порыве гнева физическая сила его, и без того огромная, становилась почти беспредельной. Он сильно картавил. Его голос, не менее мощный, чем голос полковника Удэ в рассказе Шарля Нодье, звучал всевозможными раскатами и переливами в словах со звуком «р». Этот недостаток речи являлся, однако, достоинством в некоторые моменты, например, когда полковник командовал на маневрах или был взволнован, и вы не можете себе представить, сколько энергии и воли выражало это произношение, считающееся вульгарным в Париже. Надо было слышать полковника, чтобы понять это! Когда он был спокоен, его глаза выражали ангельскую кротость, а безоблачное чело было полно очарования. Ни на одном параде во всей итальянской армии никто не мог с ним сравниться. И даже д'Орсэ, сам великолепный д'Орсэ, был побежден нашим полковником во время последнего парада, устроенного Наполеоном перед походом в Россию. В этом одаренном человеке все было противоречиво. Страсть питается контрастами. Не спрашивайте меня, оказывал ли он на женщин то неотразимое впечатление, которому ваша женская природа (тут генерал взглянул на княгиню де

Кадиньян) покоряется, как расплавленное стекло стеклодуву; но по странной случайности — наблюдатели, вероятно, замечали эту странность — полковник не имел большого успеха у женщин, а может быть, и пренебрегал им. Чтобы дать представление о его вспыльчивости, я расскажу в двух словах, на что он был способен в припадке гнева. Однажды мы продвигались с пушками по узкой дороге, с одной стороны которой был крутой откос, с другой — лес. В пути мы повстречали другой артиллерийский полк, во главе которого шел полковник. Он потребовал, чтобы капитан, командир нашей первой батареи, уступил дорогу. Капитан, конечно, воспротивился. Тогда полковник отдал приказ своей первой батарее двигаться вперед, и, как ни старался ездовой держаться как можно ближе к лесу, колесо первого лафета задело правую ногу нашего капитана, переломило ее и выбило его из седла. Все произошло в мгновение ока. Наш полковник, находившийся неподалеку, догадался о происшедшем столкновении и во весь опор, перескакивая через ямы и пни, с риском сломать себе шею, подскакал к чужому полковнику в то мгновение, когда наш капитан, падая, крикнул: «Ко мне!» Наш полковник-итальянец уже не был похож на человека. Как в бокале шампанского, на его губах вскипела пена, он рычал, словно лев. Не будучи в силах произнести ни слова, ни даже закричать, он подал грозный знак своему противнику, указав на лес, и выхватил саблю. Оба полковника направились туда. Через две секунды мы увидели противника нашего полковника распростертым на земле, с раскроенным черепом. Солдаты его уступили нам дорогу; да, черт побери, живо уступили! Капитан, еле живой, лежал в придорожной канаве, куда его отбросило колесо лафета. Он был женат на прелестной итальянке из Мессины, и она нравилась нашему полковнику. Это обстоятельство усиливало его ярость. Он считал себя обязанным защищать мужа так же, как ее самое. И вот теперь я встретил их, всех троих, в хижине, где меня так гостеприимно приняли: капитан сидел против меня, а жена его — на другом конце стола, против полковника. Эта итальянка была невысокого роста, очень смуглая, в ее черных глазах миндалевидного разреза таился весь зной сицилийского солн-

ца; звали ее Розиной. В то время она была жалостно худа, щеки ее запылились, словно золотистый персик, претерпевший все непогоды в долгом пути. Едва прикрытая лохмотьями, изнуренная переходами, со спутанными, слипшимися волосами, прикрытыми косынкой, она все же сохраняла остатки женственности. Ее движения были грациозны; розовые, красиво изогнутые губы, белые зубы, овал лица, стан этой женщины, подвергавшейся лишениям, холоду, пренебрежению, могли еще внушать любовь тому, кто был в состоянии мечтать о любви. Розина принадлежала к числу хрупких по внешности, но сильных и выносливых от природы женщин. Лицо ее мужа, пьемонтского дворянина, выражало насмешливое добродушие, если дозволено сочетать эти два слова. Храбрый и образованный, он, казалось, не подозревал о трехлетней связи своей жены с полковником. Я приписывал это попустительство итальянским нравам или какой-нибудь супружеской тайне; и все же в лице этого человека было нечто, всегда внушавшее мне смутное недоверие. Его нижняя губа, тонкая и очень подвижная, была не приподнята в уголках рта, а опускалась, что, по-моему, служило признаком жестокости в этом человеке, с виду таком флегматичном и ленивом. Вы прекрасно понимаете, что разговор, когда я пришел, был не особенно оживленным. Мои товарищи, очень уставшие, ели молча, но они, конечно, кое о чем расспросили меня. Мы поведали друг другу о наших злоключениях, попутно делясь мыслями о войне, о генералах, об их ошибках, о русских и о холоде. Вскоре после моего прихода полковник, закончив свою скудную трапезу, вытер усы, пожелал нам спокойной ночи и, бросив на итальянку сумрачный взгляд, сказал ей: «Розина!» Затем, не дожидаясь ответа, ушел в клеть, где лежало сено. Смысл его приглашения было легко понять. У молодой женщины вырвался непередаваемый жест, говоривший, что она глубоко возмущена, видя, как грубо выставляют напоказ ее зависимость и оскорбляют ее женское достоинство и достоинство ее мужа. Но в том, как омрачилось ее лицо, как нахмурились брови, сквозило и что-то иное, какое-то предчувствие, быть может, предвидение своей судьбы. Розина продолжала спокойно сидеть за столом. Спустя мгновение,

по-видимому улегшись на постели из сена и соломы, итальянец повторил: «Розина!». Тон этого вторичного призыва был еще грубее первого. Картавость полковника и растягивание гласных в конце слов, присущее итальянскому языку, передавали весь деспотизм, нетерпение и волю этого человека. Розина побледнела, но встала, прошла позади нас и направилась к полковнику. Все мои товарищи хранили глубокое молчание, но я, к несчастью, обвел всех их взглядом и засмеялся. Мой смех заразил остальных. «Turidi?» [1]— сказал муж. «Честное слово, товарищ,— ответил я, перестав смеяться,— признаюсь: виноват. Приношу тысячу извинений; если же тебе мало моих извинений, то я к твоим услугам...» «Не ты виноват, а я»,— ответил он холодно. Вслед за тем все мы легли в этой же горнице и крепко уснули. На следующее утро каждый, не будя соседа, не подыскивая себе спутника, пустился в дорогу куда глаза глядят, с тем эгоизмом, который и превратил наше отступление в самую страшную, жалкую и отвратительную личную драму, какая когда-либо имела место на земле. Однако шагах в семистах — восьмистах от места нашего ночлега мы почти все сошлись и дальше уже продолжали путь вместе, словно стая гусей, подгоняемая слепой прихотью ребенка. Одна и та же необходимость гнала нас всех вперед. Дойдя до пригорка, откуда еще видна была ферма, в которой мы провели ночь, мы услышали крики, похожие на рычание льва в пустыне, на рев быка. Да что говорить,— эти вопли ни с чем знакомым сравнить нельзя. Мы различили также и слабый женский крик, примешавшийся к зловещим, хриплым воплям. Мы все, как один, оглянулись, охваченные ужасом. Мы больше не увидели дома, а лишь огромный костер. Строение, которое было кругом забаррикадировано, пылало. Вместе с клубами дыма ветер доносил до нас дикий вой и какой-то странный запах. В нескольких шагах от нас шел капитан, он только что спокойно присоединился к нашему каравану. Мы все молча смотрели на него; никто не осмеливался обратиться к нему с вопросом, но он догадался о терзавшем нас любопытстве, постучал себя в грудь указательным пальцем пра-

[1] Смеешься? *(итал.)*

вой руки, а левой указал на пожар. «Son'io!» [1] — сказал он. Мы продолжали путь, не сказав ему ни слова.

— Нет ничего страшнее взбесившегося барана,— заметил де Марсе.

— Было бы просто жестоко оставлять нас под жутким впечатлением этого рассказа; мне все это будет сниться...— сказала г-жа де Портандюэр.

— А какова же была кара, постигшая первую страсть господина де Марсе?—спросил, улыбаясь, лорд Дэдлей.

— Шутки англичан всегда безобидны,— заметил Блонде.

Де Марсе, обращаясь ко мне, ответил:

— Об этом может нам рассказать господин Бьяншон, он видел, как эта женщина умирала.

— Да,— ответил я,— и смерть ее была одна из самых прекрасных, какие я когда-либо видел. Мы с герцогом провели всю ночь у изголовья умирающей; острое воспаление легких не оставляло никакой надежды. Накануне ее соборовали. Герцог дремал. Около четырех часов утра герцогиня проснулась и, дружески улыбаясь, подала мне трогательный знак, чтобы я не будил его, а между тем ведь она умирала! Она страшно исхудала, но черты лица и его овал сохранили дивную красоту. Это бледное лицо было прозрачным, как фарфоровая ваза, освещенная изнутри. Блестевшие глаза и лихорадочный румянец четко выделялись на нем, но все оно дышало мягкой прелестью и величавым покоем. Казалось, она жалеет герцога, и чувство это исходило из возвышенной нежности, которая с приближением смерти была беспредельна. Царила глубокая тишина. Комната, еле освещенная затененной лампой, была похожа на комнату всякого умирающего. В это время пробили часы. Герцог проснулся и пришел в отчаяние от того, что задремал. Я не заметил досадливого жеста, которым он выразил сожаление, что пропустил несколько мгновений, из тех последних мгновений, которые ему суждено было провести с женой; и, несомненно, всякая другая женщина могла бы не понять его, но умирающая поняла. Этот государственный

---

[1] Это я! *(итал.)*

деятель, поглощенный делами Франции, отличался множеством странностей, из-за которых талантливых людей принимают за сумасшедших, меж тем как они объясняются тонкостью их организации и требованиями их ума. Он пересел в кресло подле кровати жены и стал пристально смотреть на нее. Умирающая с трудом взяла руку мужа, слабо пожала ее и чуть слышным, нежным и взволнованным голосом сказала: «Мой бедный друг, кто же теперь будет понимать тебя?» — И, глядя на него, она умерла.

— Истории, которые доктор рассказывает, производят глубокое впечатление,— заметил герцог де Реторе.

— И очень трогательное,— добавила мадемуазель де Туш.

— Ах, сударыня,— ответил доктор,— я храню в памяти и жуткие истории. Но для каждого рассказа нужна особая обстановка. Помните, как остроумно, по словам Шанфора, кто-то ответил герцогу де Фронсаку: «Чтобы оценить твою шутку, недостает бутылки шампанского».

— Но ведь уже два часа, и рассказ о Розине подготовил нас,— сказала хозяйка дома.

— Расскажите, господин Бьяншон, расскажите! — послышалось со всех сторон.

Доктор жестом выразил согласие, и тотчас воцарилось молчание.

— Шагах в ста от Вандома, на берегу Луары,— начал Бьяншон,— стоит ветхий, побуревший дом с очень высокой кровлей. Стоит он на отшибе, и близ него нет ни зловонного кожевенного завода, ни жалкой харчевни, какие встречаются на окраинах почти всех маленьких городов. Перед домом раскинулся большой сад, спускающийся к реке; буксовые деревья, в былое время подстриженные и тянувшиеся аллеями, разрослись в причудливом беспорядке. Кудрявый ивняк, поднимавшийся от самой воды, быстро вытянулся вверх и образовал изгородь, наполовину скрывшую дом. Так называемые сорные травы украсили сочной зеленью откос берега. Фруктовые деревья, за десять лет успевшие одичать, уж не приносят плодов, и их побеги образуют густую поросль. Ряды рассаженных деревьев превратились в лиственные завесы. Дорожки. когда-то

посыпавшиеся песком, теперь покрылись портулаком, да и следов-то этих дорожек не осталось. Стоя на вершине горы, где вздымаются развалины старинного замка герцогов Вандомских,— на единственном месте, откуда взору доступно проникнуть за эту ограду,— думаешь, что когда-то, давным-давно (даже трудно вообразить себе, когда именно), этот земной уголок был отрадой какого-нибудь дворянина, занятого разведением роз или тюльпанов, словом, садовода и любителя редких плодов. С горы видна увитая зеленью беседка, точнее, ее развалины; там стоит стол, еще не совсем разрушенный временем. Вид этого заглохшего сада дает представление о скромных, безмятежных радостях, которыми наслаждаются в провинциальной тиши,— так по эпитафии на памятнике представляешь себе весь жизненный путь какого-нибудь почтенного купца. Благонамеренно христианская надпись на циферблате солнечных часов «Ultimam cogita» [1] навевает чувство грусти и отрешенности. Кровля дома сильно обветшала, ставни всегда закрыты, балконы усеяны гнездами ласточек, двери неизменно заколочены. Высокие травы зелеными штрихами прочертили трещины каменного крыльца, железная оковка дверей заржавела. Ветер, солнце, зима, лето, снег источили дерево, покоробили доски, изъели все краски. Царящий здесь мертвенный покой нарушают лишь птицы, кошки, куницы, крысы да мыши, которым привольно здесь бегать, драться, грызться. Невидимая рука всюду начертала слово *тайна*. Если же вы, покорясь любопытству, вздумаете взглянуть на дом со стороны улицы, то увидите большие, сверху закругленные ворота, в которых озорники ребятишки проковыряли множество отверстий. Позже я узнал, что эти ворота были забиты уже десять лет. Посмотрев сквозь их пробоины, можно убедиться, что и во дворе такое же запустение, как в саду. Пучки травы пробиваются между каменными плитами. Огромные трещины бороздят стены, почерневшие зубцы которых покрылись вьющимися растениями. Ступени крыльца разошлись, шнур от звонка истлел, водосточные желоба разбиты. «Что за пламя, низвергшееся с неба, про-

[1] Думай о смертном часе *(лат.)*.

неслось здесь? Что за судилище обрекло смерти эту обитель? Богохульствовали здесь? Или здесь предавали Францию?» — спрашиваешь себя. Но пресмыкающиеся ползут здесь, не отвечая. Этот пустой и заброшенный дом — непроницаемая тайна, разгадать которую невозможно. Когда-то встарь это было небольшое ленное владение, называвшееся Гранд-Бретеш. В пору моего пребывания в Вандоме, когда Деплен оставил меня там для наблюдения за одним богатым пациентом, созерцание этого странного жилища стало одним из моих живейших удовольствий. Ведь оно было значительнее обычной руины! С руинами связываются воспоминания о чем-то неопровержимо подлинном; эта же обитель, еще не рухнувшая, но постепенно разрушаемая чьей-то беспощадной рукой, скрывала тайну, скрывала неведомый замысел или, по меньшей мере, прихоть. Нередко по вечерам я подходил к одичавшей ивовой изгороди, ограждавшей дом. Не обращая внимания на царапины, я пробирался через кустарник в этот покинутый сад, в это владение, которое не было больше ни частным, ни общественным. Часами я всматривался в царивший там хаос. Но я ни за что не стал бы расспрашивать какого-нибудь болтливого вандомского обывателя об истории, с которой, несомненно, было связано это своеобразное зрелище. Я сам придумывал ряд упоительных приключений, я отдавался здесь тихим радостям грусти, восхищавшим меня. Если бы я узнал причину этой заброшенности,— быть может, пошлую,— я лишился бы опьянявшей меня неизъяснимой поэзии. Уединенный приют вызывал в моем воображении разнообразнейшие картины человеческого бытия, омраченного печалями: то мне рисовался монастырь, но без монахов, то покой кладбища, но без усопших, которые говорят с нами языком надгробных надписей. Сегодня мне чудился тут дом прокаженных, завтра — дом Атридов, но чаще всего — провинциальная жизнь с ее отсталыми взглядами, с ее сонным бытием. Не раз плакал я там, но никогда не смеялся. Нередко я ощущал невольный ужас, слыша над головой глухой свист крыльев диких голубей. Почва под ногами была сырая. Надо было остерегаться ящериц, змей, лягушек, которым привольно жилось в этом саду. Главное, надо

было сносить холод, который окутывал ледяным плащом, подобно руке Командора, обнявшей шею Дон-Жуана. Однажды вечером меня охватил ужас: ветер повернул старый, заржавевший флюгер, и его скрип показался мне стоном, вырвавшимся у дома, в тот самый миг, когда в моем воображении завершалась мрачная драма, объяснявшая сущность этой воплощенной в камне скорби. Я вернулся в гостиницу во власти мрачных дум. Едва я поужинал, как ко мне в комнату с таинственным видом вошла хозяйка и сказала:

— Сударь, вас спрашивает господин Реньо.

— Господин Реньо? Кто это такой?

— Вы не знаете, кто такой господин Реньо? Странно,— проговорила она, уходя.

И вдруг передо мной вырос долговязый хилый человек в черном, с шляпой в руке, появившийся, словно баран, готовый броситься на врага. Я увидел покатый лоб, клинообразную голову и какое-то серое лицо, похожее на стакан с мутной водой. Вот такие бывают привратники у министров. На этом человеке был поношенный сюртук, сильно потертый по швам, но в жабо его сорочки сверкал бриллиант, а в ушах были золотые серьги.

— Сударь, с кем имею честь? — спросил я.

Он сел на стул, придвинулся к огню, положил шляпу на стол и, потирая руки, ответил:

— Какой холод! Сударь, моя фамилия — Реньо.

Я поклонился, подумав: «Ну и что же?»

— Я — вандомский нотариус,— продолжал он.

— Очень приятно, сударь,— воскликнул я,— но по некоторым личным соображениям я отнюдь не собираюсь писать завещания.

— Минуточку! — сказал он, подняв руку, словно призывал меня к молчанию.— Позвольте, сударь, позвольте! Мне стало известно, что вы иногда прогуливаетесь в парке Гранд-Бретеш.

— Прогуливаюсь, сударь.

— Минуточку! — И он повторил тот же жест.— Тем самым вы совершаете правонарушение. Сударь, я пришел к вам во имя покойной графини де Мерэ и в качестве ее душеприказчика с просьбой прекратить эти прогулки. Минуточку! Я не дикарь и отнюдь не собираюсь

обвинять вас в преступлении. К тому же вполне естественно, что вы не подозреваете причин, которые заставляют меня не препятствовать разрушению самого прекрасного в Вандоме особняка. Однако, сударь, вы как будто человек образованный и должны знать, что закон предусматривает строгие кары за вторжение в частное владение, находящееся на запоре. Изгородь — та же стена. Правда, извинением вашему любопытству может служить состояние, в котором находится дом. Я был бы очень рад разрешить вам сколько угодно ходить туда, однако, являясь душеприказчиком покойной владелицы, я обязан, сударь, просить вас прекратить посещение ее парка. Я и сам, сударь, с того часа, как вскрыл завещание, не переступал порога этого дома, который, как я имел честь доложить вам, является частью наследства, оставшегося после госпожи де Мерэ. Мы только переписали все окна и двери, чтобы установить размер налога, который я и плачу ежегодно из сумм, завещанных на это покойной графиней. Ах, сударь, ее завещание наделало немало шуму в Вандоме!

Тут достойный человек умолк и высморкался. Я с уважением отнесся к его болтливости, прекрасно понимая, что завещательное распоряжение госпожи де Мерэ является самым значительным событием его жизни, основою его репутации, всей его славы и благоденствия. Приходилось сказать «прости» моим чудесным мечтаниям, моим выдумкам, и я поддался искушению узнать истину от служителя закона.

— Сударь,— спросил я,— если вы не сочтете это нескромностью с моей стороны, разрешите спросить у вас о причинах столь странного завещания?

При этих словах на лице нотариуса мелькнуло выражение, появляющееся у людей, когда они садятся на своего любимого конька. Он несколько фатовато поправил воротничок сорочки, вынул табакерку, открыл ее, предложил мне табаку и, когда я отказался, взял большую понюшку. Он был совершенно счастлив. Человек, не имеющий любимого конька, не подозревает, каких наслаждений он лишает себя. Любимый конек — это нечто среднее между страстью и помешательством. В эту минуту я во всей полноте понял Стерна и

целиком постиг ту радость, с которой дядюшка Тоби, при помощи Трима, садился на своего боевого коня.

— Сударь,— сказал мне господин Реньо,— я был первым клерком у Рогена, в Париже. Превосходная контора! Вы о ней, вероятно, слышали? Нет? А между тем несчастное банкротство сделало ее знаменитой. Не имея достаточно средств, чтобы устроиться в Париже, где в 1816 году цены на нотариальные конторы сильно возросли, я приехал сюда с целью купить контору моего предшественника. В Вандоме у меня были родственники, и среди них очень богатая тетка, на дочери которой я женился. Сударь,— продолжал он, передохнув,— спустя три месяца после того, как я был утвержден господином министром юстиции, однажды вечером, когда я уже собирался ложиться спать (я тогда еще не был женат), меня вызвали к графине де Мерэ, в ее поместье Мерэ. Служанка, достойная девица, которая в настоящее время служит в этой гостинице, ждала меня у ворот в коляске графини. Минуточку! Надо вам сказать, сударь, что граф де Мерэ за два месяца до того, как я поселился здесь, уехал в Париж и там умер. Кончил он плохо, так как стал предаваться всевозможным излишествам. Понимаете? В день его отъезда графиня де Мерэ покинула Гранд-Бретеш и вывезла оттуда всю обстановку. Некоторые утверждали, будто она даже сожгла мебель, ковры, одним словом, все предметы, кои составляют обстановку дома, ныне находящегося во владении вышеупомянутого лица... Постойте, что это я, однако, говорю?.. Извините, мне показалось, что я диктую арендный договор... Итак, она будто бы сожгла всю мебель на лугу в Мерэ. Бывали вы в Мерэ, сударь? Нет, конечно,— ответил он за меня,— ах, это очень живописное место! До отъезда из Гранд-Бретеш,— продолжал он, слегка кивнув головой,— граф с графиней месяца три вели несколько странный образ жизни. Они перестали принимать гостей, жили на разных половинах: графиня — в нижнем этаже, граф — наверху. Оставшись одна, графиня выходила только в церковь; она отказывалась принимать друзей и подруг, приезжавших навестить ее. Когда она покинула Гранд-Бретеш, чтобы переехать в Мерэ, она уже сильно изменилась. Дра-

гоценная женщина! Я говорю «драгоценная», так как этот бриллиант получен мною от нее; но я ее видел, впрочем, один-единственный раз... Итак, эта добрая женщина была тяжело больна. Видимо, она считала свою болезнь неизлечимой, ибо скончалась, так и не прибегнув к помощи врача. Правда, многие из наших дам полагали, что она немножко была не в своем уме. Поэтому мое любопытство, сударь, было сильно возбуждено, когда я узнал, что госпожа де Мерэ нуждается в моих услугах. Да и не я один интересовался этой историей. В тот же вечер, хотя час был поздний, весь город уже знал, что я приглашен в Мерэ. На вопросы, которые я задавал в пути служанке, она отвечала очень неопределенно. Все же она сказала, что днем ее госпожу исповедовал кюре и что вряд ли она доживет до утра. Часов в одиннадцать мы приехали в замок. Я поднялся по большой лестнице, затем, пройдя целую анфиладу высоких темных покоев, чертовски холодных и сырых, добрался до парадной спальни, где находилась графиня. По слухам, носившимся об этой женщине,— сударь, я никогда не закончу своей истории, если начну передавать все россказни, ходившие на ее счет,— я воображал, что увижу светскую львицу. Представьте же себе, что я с трудом разглядел ее на огромной кровати, где она лежала. Правда, этот обширный покой с фризами в старорежимном стиле, до такой степени запыленными, что при одном взгляде на них уже хотелось чихать, освещался только одной масляной лампой. Ах, да! Ведь вы никогда не бывали в Мерэ! Так вот, сударь, там была старинная кровать, с балдахином из набивной узорчатой материи; возле кровати стоял ночной столик, а на нем лежало «Подражание Христу». Как книгу, так и лампу, замечу в скобках, я впоследствии приобрел для жены. Тут же рядом стояло мягкое кресло для служанки и два стула. Камин не топился. Вот и вся обстановка. В инвентарной описи она не заняла бы и десяти строк. Ах, сударь, если бы вы видели, как довелось увидеть мне, эту огромную спальню, затянутую коричневым штофом, вам показалось бы, что вы перенеслись на страницу какого-то романа. От всего веяло ледяным холодом, больше того, веяло смертью,— проговорил он, те-

атральным жестом воздев руку, и сделал паузу.— Лишь подойдя вплотную к кровати и пристально всмотревшись,— продолжал он,— я разглядел наконец госпожу де Мерэ; да и то благодаря тому, что свет от лампы падал на подушки. Лицо у графини было желтое, как воск, и напоминало сжатый кулачок. На ней был кружевной чепчик, из-под которого выбивались прекрасные, но совсем седые, белые как лунь волосы. Она приподнялась, хотя это стоило ей, видимо, неимоверных усилий. Большие черные глаза, провалившиеся от болезни, уже почти угасшие, смотрели неподвижным взглядом. «Садитесь»,— прошептала она, чуть приподняв брови. Ее лоб покрылся испариной. Худые руки были словно кости, обтянутые тонкой кожей; на них отчетливо проступали все вены и мышцы. Когда-то она была, наверно, красавицей. Но в ту минуту при взгляде на нее какое-то неописуемое чувство овладело мною. По словам людей, облачавших ее в саван, они просто ужасались ее худобе. Словом, то была жуткая картина. Болезнь так изглодала эту женщину, что она казалась призраком. Когда она заговорила, синеватые губы ее как будто не шевелились. Хотя моя профессия и приучила меня к подобным зрелищам и мне не раз доводилось у изголовья умирающих скреплять их завещания, признаюсь вам, что слезы родных и агония этих умирающих не производили на меня такого тяжелого впечатления, как смерть этой одинокой, молчаливой женщины в ее обширном замке. Не слышно было ни малейшего звука, даже не видно было легкого движения покрывала, которое приподнималось бы от дыхания больной. Я стоял неподвижно, глядя на нее в каком-то оцепенении. Я вижу ее как сейчас. Наконец ее большие глаза ожили, она попыталась поднять правую руку, но рука бессильно упала на постель, и чуть слышный шепот, словно вздох, слетел с ее уст.

— Я с нетерпением ждала вас! — Ее щеки порозовели; ей трудно было говорить.

— Сударыня...— начал было я.

Она сделала мне знак молчать. А тут еще старуха-служанка встала с кресла и шепнула мне:

— Молчите! Графиня не выносит ни малейшего шума. Ваши слова могут ее взволновать.

Я сел. Спустя несколько секунд госпожа де Мерэ собрала остаток сил и с бесконечным трудом просунула правую руку под подушку. Секунду она лежала неподвижно, потом сделала последнее усилие и вытащила из-под подушки запечатанный конверт; крупные капли пота выступили у нее на лбу.

— Я доверяю вам мое завещание. О боже! Боже мой! — простонала она.

И это был конец. Она взяла распятие, лежавшее на постели, судорожным движением поднесла его к губам и умерла. Право, как вспомню, какие у нее были глаза в смертную минуту, мне до сих пор делается не по себе. Наверно, она сильно страдала, но в ее последнем взгляде светилась радость, и это чувство запечатлелось в ее застывших глазах. Я унес завещание; вскрыв его, я узнал, что госпожа де Мерэ назначила меня своим душеприказчиком. Все свое имущество, за исключением некоторых особо оговоренных сумм, она завещала больнице в Вандоме. А относительно Гранд-Бретеш она распорядилась так. Она предписывала оставить дом в течение пятидесяти лет после ее смерти в том самом виде, в каком он окажется в день ее кончины, воспрещала доступ в него кому бы то ни было, не дозволяла производить ни малейших починок этого дома и даже выделила определенную сумму на жалованье сторожам, если в них будет надобность, чтобы в точности выполнялась ее последняя воля. По истечении указанного в завещании срока, если воля покойной будет соблюдена, дом должен перейти к моим наследникам,— вам, сударь, наверно, известно, что сами нотариусы не имеют права наследовать по завещанию своих клиентов. Если же воля завещательницы будет нарушена, то все переходит к законным наследникам с тем, однако, что будет выполнено дополнительное завещательное распоряжение, каковое должно быть вскрыто по истечении указанных пятидесяти лет. До сей поры завещание не было опротестовано, следовательно...

Долговязый нотариус, не договорив фразы, с торжествующим видом посмотрел на меня, а я привел его в полный восторг, сказав ему несколько приятных слов.

— Сударь,— сказал я,— вы произвели на меня своим

рассказом такое сильное впечатление, что мне кажется, будто я вижу перед собой эту умирающую, с лицом белее простыни; горящие глаза ее внушают мне ужас. Она будет сниться мне сегодня всю ночь. Но, по всей вероятности, у вас возникли кое-какие догадки по поводу этого странного завещания?

— Сударь,— ответил господин Реньо с забавной важностью,— я никогда не позволю себе критиковать поведение лиц, удостоивших меня таким подарком, как вот эта бриллиантовая булавка.

Вскоре, однако, мне удалось преодолеть щепетильность вандомского нотариуса, и господин Реньо сообщил мне — разумеется, со множеством отступлений — соображения глубоких политиков обоего пола, мнения которых в Вандоме неоспоримы, как закон. Но эти соображения были столь противоречивы, столь путаны, что я, невзирая на весь мой интерес к этой достоверной истории, чуть не задремал. Глухой, однообразный голос нотариуса, привыкшего, видимо, прислушиваться только к собственным словам и заставлять выслушивать себя своих клиентов и сограждан, усыпил меня, восторжествовав над моим любопытством. К счастью, господин Реньо собрался уходить.

— Ах, сударь,— сказал он, спускаясь по лестнице,— многие хотели бы прожить еще сорок пять лет, но... минуточку!..— И он лукаво приложил указательный палец правой руки к ноздре, словно хотел сказать «внимание!».— Чтобы столько прожить, надо быть моложе шестидесяти лет!

Я закрыл за ним дверь, выведенный из дремоты его последними словами, которые, очевидно, казались ему необычайно остроумными. Затем я уселся в кресло, поставил ноги на каминную решетку и принялся воображать роман в духе госпожи Радклиф, построенный на юридических данных нотариуса Реньо, как вдруг дверь моей комнаты отворилась от энергичного прикосновения ловкой женской руки. Вошла моя хозяйка, полная, жизнерадостная, добродушная женщина, не исполнившая своего предназначения: это была настоящая фламандка, ее следовало бы запечатлеть на одном из полотен Тенирса.

— Ну что, сударь,— сказала она,— господин Ре-

нью, верно, выложил вам свою историю о Гранд-Бретеш?

— Да, тетушка Лепа.

— Что же он вам рассказал?

Я вкратце повторил ей смутную и бесцветную повесть о госпоже де Мерэ. При каждом слове она все больше настораживалась, глядя на меня с пытливостью трактирщицы,— это качество является чем-то средним между чутьем жандарма, хитростью шпиона и лукавством купца.

— Дорогая тетушка Лепа,— добавил я, кончив рассказ,— мне кажется, что вы знаете еще кое-что... Иначе зачем бы вам сейчас прийти ко мне?

— Ах, честное слово, нет! Это так же верно, как то, что я зовусь Лепа.

— Не клянитесь! По глазам вижу, что вам известна какая-то тайна. Вы знавали господина де Мерэ. Что это был за человек?

— Боже мой, господин де Мерэ был красавец-мужчина, такой высокий ростом, что его взглядом не охватишь. Настоящий пикардийский дворянин! А уж нравный! Чуть что, вспыхнет как порох,—так у нас здесь говорят. За все он всегда расплачивался наличными, чтобы ни с кем не иметь осложнений. Очень уж он был горячего нрава. Все наши дамы были от него без ума.

— Потому что он был горячего нрава? — спросил я хозяйку.

— Может быть, и так,— ответила она.— Сами понимаете, сударь, за какого-нибудь обыкновенного человека госпожа де Мерэ не пошла бы,—не в обиду будь сказано другим, она была самая красивая и самая богатая невеста во всей Вандомской округе. У нее было тысяч двадцать ренты. Весь город собрался на ее свадьбу. Новобрачная была такая хорошенькая, такая приветливая, просто прелесть, не женщина, а золото! Ах, какая это была пара!

— Брак был счастливый?

— Да как вам сказать?.. И да, и нет... наверняка-то мы ничего не знали, сами понимаете, ведь знатные господа с нами не бывают на короткой ноге. Госпожа де Мерэ была женщина добрая, ласковая, пожалуй, ей иногда не сладко жилось из-за крутого нрава мужа.

А он был гордый, но мы все же любили его. Ну, уж такой он был! Дворянин... сами понимаете...

— Однако должна же была случиться какая-то беда, чтобы господа де Мерэ так скоро разошлись?

— Я не сказала, что случилась беда, сударь. Об этом я ничего не знаю.

— Ах, вот как? Теперь я уверен, что вы все знаете!

— Ну, ладно, сударь, я все вам расскажу. Когда я увидела, что к вам идет господин Ренье, я сразу поняла, что разговор пойдет о госпоже де Мерэ и об ее усадьбе. И вот надумала я, сударь, посоветоваться с вами; вы человек, видно, благоразумный и плохого не посоветуете такой беззащитной женщине, как я. Я ведь никогда никому не делала зла, а все-таки совесть меня мучает. Никому из здешних жителей я не смею признаться. Они все сплетники и не умеют держать язык за зубами. А к вам, сударь, я привыкла — другие-то постояльцы никогда не жили у нас так долго, как вы, и мне некому было рассказать про эти пятнадцать тысяч франков...

— Дорогая тетушка Лепа,—прервал я поток ее красноречия,— если ваша исповедь может доставить мне какие-нибудь неприятности, то я ни за какие блага в мире не хочу ее выслушивать.

— Не бойтесь,— перебила она меня,— вот сейчас сами увидите.

Настойчивость моей почтенной хозяйки навела меня на мысль, что я не первый, кому она доверяет тайну, единственным хранителем которой я должен был явиться. Я стал слушать.

— Сударь, когда император послал сюда на жительство военнопленных и прочих иностранцев, то у меня за счет казны поселили одного молодого испанца — его оставили в Вандоме под честное слово. Но хоть он и дал честное слово, что не убежит, а все равно каждый день должен был являться в префектуру. А испанец-то был знатного рода, уж поверьте. Имя у него кончалось на «ос» и «диа», что-то вроде Багос де Фередиа. Оно записано у меня в книге постояльцев; если хотите, можете взглянуть. Вот уж красивый был молодой человек! А говорят, что все испанцы — уроды. Ростом был невелик — пять футов с небольшим, но сло-

жен был прекрасно. Руки у него были маленькие, и уж как он их холил! Поглядели бы вы, сколько у него было разных щеточек, не меньше, чем у женщин, для всяких прихорашиваний. Волосы у него были густые, черные, глаза огненные, цвет лица довольно смуглый, но мне это очень нравилось. Белье он носил очень тонкое, я такого ни у кого не видывала, хотя у меня и останавливались важные особы, и между прочим генерал Бертран, герцог д'Абрантес с супругой, господин Деказ и даже сам король испанский. Кушал он мало, зато был так учтив, так любезен, что сердиться на него было невозможно. Да, очень он мне пришелся по душе, хотя никак, бывало, с ним не разговоришься; обращаешься к нему, он не отвечает: такая уж у него была странность, вроде чудачества; говорят, испанцы все такие. Он, словно священник, все читал молитвенник, исправно ходил к обедне и на все прочие богослужения. В церкви — мы потом только обратили на это внимание — он всегда садился на одно и то же место, в двух шагах от часовни госпожи де Мерэ. Но так как он сел туда в первый же раз, когда пришел в церковь, то никто не подумал, что он делал это с умыслом. К тому же бедняга сидел, все время уткнувшись в молитвенник. В ту пору, сударь, он по вечерам прогуливался на горе, среди развалин замка. Только и было у него, несчастного, развлечения: там он вспоминал свою родину. Говорят, в Испании везде горы. С первых же дней своего плена он стал приходить домой поздно. Я сильно встревожилась, вижу, что он возвращается только в полночь; но потом все мы привыкли к его причудам. Он взял ключ от входных дверей, и мы его больше не дожидались. Жил он в нашем доме на улице Казерн, и вот однажды один из наших конюхов сказал нам, что как-то вечером, когда он водил лошадей на водопой, ему показалось, будто вдали купается в реке наш испанский гранд, плывет, словно рыба. Когда постоялец вернулся домой, я посоветовала ему остерегаться водорослей. Мне показалось, он очень недоволен, досадует, что его заметили на реке. И что же, сударь, как-то днем, вернее, утром, комната его оказалась пуста: он не вернулся. Я все обшарила и нашла в ящике стола записку, пятьдесят испанских червонцев,— зна-

чит, около пяти тысяч франков, да на десять тысяч франков бриллиантов в запечатанной коробочке. В записке было сказано, что в случае, если он не вернется, бриллианты и деньги он оставляет нам с тем, однако, условием, чтобы мы заказали молебен о его спасении и благополучии. Мой муж был еще в ту пору жив. Он побежал на розыски. И вот какие странные дела! Он нашел одежду испанца под большим камнем около свай, на берегу реки, вблизи замка, почти насупротив Гранд-Бретеш. Муж отправился туда так рано, что его никто и не заметил. Он принес платье испанца домой, а как прочел записку, сжег его, и мы, согласно желанию графа Фередиа, заявили, что он бежал. Супрефект поставил на ноги всю жандармерию, но не тут-то было! Его так и не поймали. Лепа решил, что испанец утонул. А я, сударь, по-другому думаю: мне кажется, тут замешана госпожа де Мерэ, ведь Розали как-то говорила мне, что у ее хозяйки было распятие из черного дерева и серебра, и она так дорожила этим распятием, что велела положить его с собой в гроб, а между тем в первые дни, как господин Фередиа поселился у нас, я видела у него точно такое распятие, а потом оно куда-то исчезло. Теперь скажите, сударь, правда ведь, что я могу со спокойной совестью взять эти пятнадцать тысяч франков, что оставил мне испанец? Ведь они принадлежат мне законно?

— Конечно! Ну, а пробовали вы расспросить Розали?

— Как же, сударь, пробовала... Но что поделаешь! Молчит девушка. Она что-то знает, да у нее ничего не выпытаешь.

Поговорив со мной еще немного, хозяйка удалилась, оставив меня во власти смутных и мрачных дум, романтического любопытства и суеверного ужаса, который сродни глубокому чувству, овладевающему нами, когда мы ночью входим в темную церковь и замечаем вдали, под высокими сводами, слабый свет; скользит чья-то черная фигура... слышится шуршание то ли платья, то ли сутаны... и мы вздрагиваем. Гранд-Бретеш и его высокие травы, его заколоченные окна, его заржавевшие железные засовы, запертые двери, пустынные покои вдруг возникли передо мной какой-то фантастической,

страшной сказкой. Я мысленно пытался проникнуть в таинственную обитель, стараясь распутать узел этой сложной истории, этой драмы, погубившей трех человек. Розали стала для меня самым интересным человеком в Вандоме. Присматриваясь к ней, я заметил следы затаенной думы на ее пышущем здоровьем, румяном лице. Что-то говорило в ней то ли об угрызениях совести, то ли о надежде; все в ней свидетельствовало о тайне, как облик исступленно молящейся святоши или девушки-детоубийцы, которой непрестанно слышится последний крик ее младенца. Однако повадки Розали были грубоваты и наивны, бесхитростная улыбка не таила в себе ничего преступного, и вы сочли бы ее ни в чем не повинной простушкой при одном взгляде на ее большой сине-красный клетчатый платок, прикрывавший пышную грудь, туго стянутую платьем в белую и лиловую полоску. Нет, решил я, не уеду из Вандома до тех пор, пока не узнаю истории Гранд-Бретеш! Чтобы достичь цели, я даже сделаюсь, если понадобится, любовником Розали.

— Розали,— обратился я к ней однажды вечером.

— Что угодно, сударь?

— Вы не замужем?

Она слегка вздрогнула.

— О! Женихов много! Да зачем замуж идти? Не хочу несчастной быть,— ответила она, смеясь.

Она быстро справилась с охватившим ее душевным беспокойством, ибо все женщины, начиная от знатных дам и кончая служанками в харчевне, в достаточной мере наделены самообладанием.

— Вы такая свеженькая, такая миловидная, от поклонников у вас, вероятно, отбоя нет; скажите же, почему вы после смерти госпожи де Мерэ поступили служанкой в эту гостиницу? Неужели она не завещала вам хотя бы самой скромной ренты?

— Ну, конечно, сударь, завещала. А что же мне не служить здесь? У меня лучшее место во всем Вандоме.

Судьи и адвокаты именуют такой ответ «уклончивым». Во всей этой истории Розали являлась, на мой взгляд, центром шахматной доски! К ней тянулись все нити тайны и ее разгадки; она казалась мне запутанной в этот узел. Теперь вопрос шел уже не о вульгар-

ной попытке обольстить ее; эта девушка таила в себе развязку романа, и она стала для меня предметом неусыпного внимания. Присматриваясь к Розали, я открыл в ней — это всегда бывает, когда на женщине сосредоточиваются наши мысли,— множество достоинств. Она была опрятна, щеголевата и, разумеется, красива — об этом и говорить нечего; вскоре я нашел в ней все то очарование, которым страсть наделяет в наших глазах женщину, какое бы положение она ни занимала. Две недели спустя после посещения нотариуса, как-то поздней ночью, точнее ранним утром, ибо было еще очень рано, я сказал Розали:

— Расскажи мне все, что ты знаешь о госпоже де Мерэ.

— Ох! — воскликнула она с ужасом.— Не просите меня об этом, господин Орас.

Ее красивое, живое лицо омрачилось, румянец поблек, глаза утратили свой наивный, мягкий блеск. Я настаивал.

— Ну, хорошо, пусть. Раз вы так хотите, я все вам расскажу, но только сохраните это в тайне.

— Будь спокойна, дорогая, я сохраню все твои секреты с безукоризненной честностью вора; это честность самая надежная.

— Нет уж,— пошутила она,— я лучше положусь на вашу собственную честность.

Тут она поправила на себе шаль и устроилась поудобнее. Ведь когда приступаешь к рассказу, необходимо, чтобы все располагало к доверию и спокойствию. Самые интересные истории рассказываются в уютной обстановке, вот как сейчас, когда мы собрались вокруг этого стола. Видано ли, чтобы кто-нибудь рассказывал стоя или натощак? Если бы мне пришлось в точности передать многословное красноречие Розали, вряд ли хватило бы для него и целой книги. Но поскольку ее сбивчивый рассказ дополняет болтовню нотариуса и болтовню госпожи Лепа, как средний член арифметической пропорции дополняет два крайних ее члена, необходимо вкратце изложить его. Итак, я расскажу лишь самое существенное.

— Комната, которую госпожа де Мерэ занимала в Бретеше, находилась в нижнем этаже; устроенный в

стене чуланчик, площадью фута в четыре, служил ей гардеробной. Месяца за три до происшествия, о котором пойдет речь, госпожа де Мерэ так серьезно заболела, что муж не решался беспокоить ее и устроился в другой комнате, этажом выше. Однажды вечером из-за случайного совпадения обстоятельств, которого никак нельзя предвидеть, он вернулся двумя часами позже обычного из клуба, куда всегда ходил читать газеты и толковать о политике. Жена была уверена, что он уже дома, уже лег в постель и спит. Но вторжение неприятеля во Францию вызвало между посетителями клуба горячие споры, партия в бильярд проходила азартно; граф проиграл сорок франков — сумму огромную для Вандома, где все скряжничают и где нравы отличаются похвальной скромностью; эта скромность, быть может, и становится источником истинного счастья. Жаль, что ни один парижанин не ценит его. С некоторых пор господин де Мерэ довольствовался тем, что осведомлялся у Розали, легла ли жена спать, и, неизменно получая утвердительный ответ, тотчас же поднимался к себе; привычка и доверие делали его недальновидным. На этот раз ему пришла, однако, фантазия зайти к жене, чтобы поделиться своими злоключениями, а может быть, и найти у нее утешение. За обедом он заметил, что госпожа де Мерэ одета очень кокетливо; возвращаясь из клуба, он думал о том, что жена его, как видно, поправилась и после болезни очень похорошела; как все мужья, он заметил это несколько поздно. Вместо того чтобы позвать Розали, которая в это время была на кухне и следила за тем, как кучер с кухаркой разыгрывают сложную партию в бриск, господин де Мерэ направился в комнату жены, осветив себе путь большим фонарем, который он поставил на первую ступеньку лестницы. Его шаги, которые нетрудно было узнать, гулко отдавались под сводами коридора. В тот момент, когда он отворял дверь в комнату жены, ему послышалось, будто дверца чуланчика, о котором я упоминал выше, захлопнулась. Но когда он вошел, госпожа де Мерэ была одна; она стояла возле камина. Муж простодушно решил про себя, что в чуланчике находится Розали. Однако подозрение, словно колокольчик звеневшее у него над ухом, пробудило в нем глухое недо-

верие. Он взглянул на жену и прочел в ее глазах замешательство и какой-то злобный испуг. «Как вы поздно вернулись»,— сказала она. Ее голос, обычно такой чистый и мягкий, показался ему слегка изменившимся. Господин де Мерэ ничего не ответил, так как в эту минуту вошла Розали. Все это было для него словно удар молнии. Скрестив на груди руки, он машинально принялся ходить по комнате от окна к окну.

— У вас какие-нибудь неприятности или вам нездоровится? — робко спросила его жена, в то время как Розали помогала ей раздеваться.

Он промолчал.

— Ступайте,— приказала госпожа де Мерэ служанке,— я сама закручу папильотки.

Одного взгляда на лицо мужа ей было достаточно, чтобы почувствовать, что произошло что-то непоправимое, и ей хотелось остаться с ним наедине. Когда Розали ушла или сделала вид, что ушла (она задержалась на несколько мгновений в коридоре), господин де Мерэ сел около жены и холодно спросил:

— Сударыня, в вашей гардеробной кто-нибудь есть?

Она спокойно взглянула на мужа и просто ответила:

— Никого нет.

Это «нет» повергло господина де Мерэ в отчаяние. Он не поверил, а между тем никогда еще жена не казалась ему такой чистой, такой непорочной, как в эту минуту. Он встал и пошел к гардеробной, намереваясь открыть дверь. Госпожа де Мерэ схватила его за руку, удержала и, печально взглянув на него, сказала непривычно взволнованным голосом:

— Если вы там никого не найдете, то знайте, между нами все будет кончено!

Неизъяснимое достоинство, которым дышало все поведение жены, вернуло графу его глубокое уважение к ней и внушило ему одно из тех решений, которым не хватает только более обширной арены, чтобы стать бессмертными.

— Хорошо, Жозефина,— сказал он,— я не войду туда. В том и другом случае нам пришлось бы расстаться навеки. Слушай, я знаю, как чиста твоя душа,

знаю, что ты ведешь жизнь праведницы, ты не совершишь смертного греха даже ради спасения своей жизни.

При этих словах госпожа де Мерэ растерянно взглянула на мужа.

— Возьми распятие и поклянись мне перед богом, что там никого нет. Я поверю тебе и не открою эту дверь.

Госпожа де Мерэ взяла распятие.

— Клянусь! — проговорила она.

— Громче! — приказал муж.— Скажи: «Клянусь перед богом, что там никого нет».

Не дрогнув, она повторила эти слова.

— Отлично,— холодно сказал господин де Мерэ.

Наступило короткое молчание.

— Какая прекрасная вещь, я прежде не видел ее у вас. Очень тонкая работа,— заметил господин де Мерэ, разглядывая распятие из черного дерева, отделанное серебром.

— Я купила его у Дювивье. В прошлом году, когда отряд пленных проходил через Вандом, он приобрел его у одного набожного испанца.

— Вот как! — сказал господин де Мерэ, повесив распятие на прежнее место. Он позвонил. Розали не замедлила явиться. Господин де Мерэ быстро пошел ей навстречу, отвел ее к окну, выходящему в сад, и, понизив голос, сказал:

— Мне известно, что Горанфло мечтает на тебе жениться и только бедность препятствует вашему браку. Ты сказала ему, что выйдешь за него замуж лишь тогда, когда он станет подрядчиком строительных работ. Так вот, сходи за ним, приведи его сюда. Пусть захватит с собой мастерок и прочий инструмент. Постарайся никого не разбудить в доме, кроме него. Вознаграждение превысит его мечты. Но смотри, выйдя отсюда, не болтай, иначе...— Он нахмурил брови. Розали пошла было, но он вернул ее.

— Возьми мой ключ.

— Жан! — позвал он на весь коридор. Жан, бывший одновременно и кучером и доверенным лицом графа, бросил карты и явился.

— Ложитесь все спать,— сказал хозяин и, сделав

ему знак приблизиться, шепотом добавил: - Когда все уснут,— уснут, понимаешь? — доложи мне об этом.

Отдавая это приказание, господин де Мерэ не спускал глаз с жены, затем спокойно сел около нее, возле камина, и стал рассказывать о партии в бильярд и о спорах в клубе. Когда Розали вернулась, она застала супругов за дружеской беседой. Незадолго перед тем граф отделал потолки во всех парадных комнатах нижнего этажа. В Вандоме очень мало гипса, а расходы по доставке сильно удорожают его; поэтому господин де Мерэ закупил гипса с избытком, будучи уверен, что излишки всегда у него кто-нибудь купит. Это обстоятельство внушило ему замысел, который он и привел в исполнение.

— Сударь, Горанфло пришел,— тихо доложила Розали.

— Пусть войдет,— ответил граф.

Госпожа де Мерэ при виде каменщика слегка побледнела.

— Горанфло,— сказал муж,— сходи за кирпичом, принеси сюда столько, чтобы хватило заложить дверь этого чулана. Возьми гипс, который остался, и оштукатурь стену.— Затем, подозвав к себе ближе каменщика и Розали, он тихо добавил:

— Слушай, Горанфло, сегодня ночью ты будешь работать здесь. А завтра утром получишь пропуск, с которым уедешь за границу — в тот город, который я тебе укажу. На дорогу я дам тебе шесть тысяч франков. В этом городе ты проживешь десять лет. Если тебе там не понравится, можешь переехать в другой город, но только в той же стране. Поезжай через Париж и жди меня там. В Париже я дам тебе вексель еще на шесть тысяч франков, которые будут тебе выплачены при твоем возвращении, в том случае, если ты точно выполнишь наш договор. За это ты должен хранить молчание обо всем, что будешь делать здесь в эту ночь. Что же касается тебя, Розали, ты получишь десять тысяч франков. Деньги будут выплачены тебе в день свадьбы, при условии, что ты выйдешь замуж за Горанфло. Но если вы хотите, чтобы ваша свадьба состоялась, вы должны молчать. Иначе никакого приданого.

— Розали,— позвала госпожа де Мерэ,— причеши меня.

Муж спокойно прохаживался по комнате, наблюдая за дверью, за каменщиком и за женой, но не выказывал при этом оскорбительного недоверия. В ходе работы Горанфло приходилось стучать. Госпожа де Мерэ воспользовалась мгновением, когда он сбрасывал кирпич, а муж находился на другом конце комнаты, и шепнула Розали:

— Получишь тысячу франков ренты, дорогая, если сумеешь шепнуть Горанфло, чтобы он оставил внизу отверстие,— и вслух спокойно добавила:

— Иди же, помоги ему!

Супруги безмолвно сидели все время, пока Горанфло замуровывал дверь. Со стороны мужа это молчание было преднамеренным: он не хотел дать жене возможность бросить какую-нибудь фразу, которая могла иметь двоякий смысл. А госпожа де Мерэ молчала из страха или из гордости. Стена была воздвигнута до половины, и тут хитрый каменщик воспользовался моментом, когда господин де Мерэ стоял к нему спиной, и пробил киркой щель в одной из створок двери. Госпожа де Мерэ поняла, что Розали передала Горанфло ее слова. И тогда все трое увидели мрачное смуглое лицо черноволосого человека с горящим взглядом. Прежде чем муж обернулся, несчастная женщина успела кивнуть ему, как бы говоря: «Надейтесь!»

В четыре часа утра, когда только еще стало светать (это было в сентябре), каменщик закончил работу; он остался под присмотром Жана, а господин де Мерэ лег спать в комнате жены. На следующее утро он беззаботно воскликнул:

— Ах, черт возьми! Мне надо пойти в мэрию за пропуском.

Он надел шляпу, пошел было к двери, но вернулся и захватил распятие. Жена вздрогнула от радости. «Он пойдет к Дювивье»,— подумала она. Как только он вышел, она позвонила Розали.

— Кирку! Скорее кирку! — закричала она.— Я видела вчера, как работал Горанфло. Мы успеем пробить отверстие и вновь замуровать его.

В мгновение ока Розали принесла топорик, и госпожа де Мерэ с рвением, которое трудно вообразить, принялась разрушать каменную кладку. Ей уже удалось выбить несколько кирпичей, но когда она собиралась нанести еще один самый сокрушительный удар, в комнату вдруг вошел господин де Мерэ. Она лишилась чувств.

— Положите графиню в постель,— холодно приказал муж.

Предвидя то, что должно произойти в его отсутствие, он расставил жене западню: мэру он просто-напросто написал записку, а за ювелиром послал. Когда Дювивье пришел, в комнате все уже было приведено в порядок.

— Дювивье,— спросил его граф,— покупали вы распятия у испанцев, проходивших здесь?

— Нет, сударь.

— Хорошо, благодарю вас,— ответил он, бросив на жену взгляд, полный ненависти.— Жан,— добавил он, обратясь к доверенному слуге,— вы будете подавать мне еду в комнату графини, она больна, и я не оставлю ее, пока она не выздоровеет.

Жестокий человек в продолжение двадцати дней не покидал спальни жены.

В первое время, когда в замурованном чулане слышался шум, Жозефина порывалась броситься к мужу, чтобы умолить его сжалиться над умирающим, но граф отвечал, не давая ей вымолвить слова:

— Вы поклялись на распятии, что там никого нет.

Когда Бьяншон кончил, все женщины встали из-за стола, и это нарушило впечатление, произведенное рассказом. Все же некоторые из них испытали леденящий ужас от последних его слов.

Париж, июнь 1839—1842 гг.

ПРИМЕЧАНИЯ

В настоящее собрание сочинений включены произведения Бальзака, опубликованные в пятнадцатитомном собрании сочинений Гослитиздата 1951—1955 гг. и двухтомном собрании повестей и рассказов (Гослитиздат, 1959). Кроме того, в нашем издании публикуются следующие произведения Бальзака, не входившие в указанные собрания: «Г-жа Фирмиани», «Альбер Саварюс», «Лилия долины», «Мелкие буржуа», «Сельский священник», «Иисус Христос во Фландрии», «Прощай», «Луи Ламбер», «Марана», «Гамбара», «О Екатерине Медичи» и некоторые очерки и письма.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены частной жизни

Предисловие к «Человеческой комедии»

«Предисловие» Бальзака к «Человеческой комедии» датировано июлем 1842 года и впервые опубликовано в первом издании «Человеческой комедии», предпринятом издательством Фюрн в Париже в том же году.

Есть основания думать, что Бальзак назвал свою эпопею «Человеческой комедией» по аналогии с «Божественной комедией» Данте. В 1840 году в письме к издателю (имя не установлено) Бальзак сообщает о возникшем у него плане издания всех своих произведений под названием «Человеческая комедия». Это первое упоминание Бальзака о «Человеческой комедии». Затем Бальзак упоминает о «Человеческой комедии» в письме от 1 июня 1841 года, адресованном Эвелине Ганской.

Однако если окончательно название произведения было определено Бальзаком лишь в 1840 году, то самая идея объединить все свои романы, повести и рассказы воедино возникла у писателя много раньше, в начале тридцатых годов. 26 октября 1834 года Бальзак писал в письме Ганской о том, что его произведение

будет состоять из трех больших разделов: «Этюды о нравах», «Философские этюды», «Аналитические этюды».

Читатели впервые познакомились с грандиозным замыслом Бальзака в конце 1834 года, когда вышло в свет отдельное издание его «Философских этюдов» с «Введением», написанным молодым французским критиком Феликсом Давеном. Через несколько месяцев, в апреле 1835 года, Феликс Давен написал еще одно введение — на этот раз к отдельному изданию «Этюдов о нравах» Бальзака.

В своих вводных статьях Давен, приводя намеченное Бальзаком деление его будущей эпопеи на три раздела («Этюды о нравах», «Философские этюды», «Аналитические этюды»), сообщал, что «Этюды о нравах» будут, в свою очередь, состоять из шести циклов: «Сцены частной жизни», «Сцены провинциальной жизни», «Сцены парижской жизни», «Сцены военной жизни», «Сцены политической жизни» и «Сцены сельской жизни».

Первоначально Бальзак предполагал назвать свое произведение в целом «Социальными этюдами».

Это название нашло свое отражение в одном из изданий Бальзака. В 1838 году парижское издательство Делуа и Лену выпустило иллюстрированное издание романа Бальзака «Шагреневая кожа». На переплете книги стояло название серии — «Иллюстрированный Бальзак», а ниже — подзаголовок «Социальные этюды».

Бальзак предполагал, что предисловие к первому изданию «Человеческой комедии» будет написано Жорж Санд.

20 апреля 1842 года он сообщал Ганской, что Жорж Санд хочет написать о нем большую статью. В этой статье, добавлял писатель, она намерена дать «исчерпывающую оценку моих произведений, моего замысла, моей жизни и характера; это явится ответом на все низости, которые пишут по моему поводу. Она хочет отомстить за меня, а когда она горячо воодушевлена, ее перо становится красноречивым».

Статья Жорж Санд о Бальзаке в то время написана не была. Она появилась лишь после смерти писателя, в 1853 году.

«Предисловие» Бальзака к «Человеческой комедии» было впоследствии опубликовано с небольшими изменениями в газете «Пресса» («La presse»), издававшейся Эмилем Жирарденом, в номере от 25 октября 1846 года.

Стр. 22. *Кювье, Жорж* (1769—1832) — известный французский натуралист, палеонтолог. Основой исследования Кювье является примененный им принцип соотношения, или «корреляции частей организма», согласно которому каждая форма животного организма представляет собою замкнутую систему, части которой взаимно соответствуют как в отношении их строения, так и в отношении их функций. Изменение одной части неизменно влечет за собой соответствующее изменение другой части организма, что дает возможность на основе одной части судить о целом организме. Кювье, однако, придерживался метафизического положения о неизменности биологических видов, он отвергал теорию единства организации животных. Принцип корреляции позволил Кювье реконструировать

ценные ископаемые организмы по немногим частям, найденным при раскопках. Стремясь объяснить изменения земной фауны, Кювье выдвинул теорию геологических катастроф, при которых, по его мнению, уничтожился весь органический мир, после чего появились новые формы. Эта теория, по определению Энгельса, «была революционна на словах и реакционна на деле».

Жоффруа Сент-Илер, Этьен (1772—1844) — известный французский ученый-зоолог. Выдвинул прогрессивную для своего времени научную теорию единства строения организмов животного мира, которую Кювье оспаривал. Упоминаемый Бальзаком спор между Кювье и Жоффруа Сент-Илером имел место в 1830 году.

Сведенборг, Эммануил (1688—1772) — реакционный шведский философ-мистик.

Сен-Мартен, Луи-Клод (1743—1803) — реакционный французский философ-мистик, находившийся под влиянием идей Сведенборга; воздействие философских взглядов Сен-Мартена заметно в произведениях Бальзака «Серафита» и «Луи Ламбер».

Нидгем, Джон-Тербевиль (1713—1781) — английский естествоиспытатель, безуспешно пытался доказать существование «нематериальных» сил в животном организме.

Стр. 23. *Пэр Франции* — член так называемой палаты пэров, созданной в 1814 году при реставрации Бурбонов в противовес палате депутатов; члены ее назначались королем, звание пэра было пожизненным и передавалось по наследству старшему сыну. Палата пэров была упразднена после революции 1848 года.

Стр. 24. *Левенгук*, Антон (1632—1723) — голландский ученый; известен важными наблюдениями над жизнью микроорганизмов.

Сваммердам, Ян (1637—1680) — голландский ученый, биолог и анатом.

Спалланцани, Лаццаро (1729—1799) — итальянский ученый, натуралист и физиолог.

Реомюр, Рене-Антуан (1683—1757) — французский ученый, биолог и физик.

Мюллер, Оттон-Фридрих (1730—1784) — датский ученый-натуралист.

Галлер, Альбрехт (1708—1777) — швейцарский ученый-натуралист, работавший в области анатомии и физиологии человека, и поэт.

Петроний, Кай, прозванный Арбитр (I век н. э.) — римский политический деятель и писатель, предполагаемый автор романа «Сатирикон», содержащего яркие картины из римской жизни и быта I века н. э. (дошли только отрывки).

Бартелеми, Жан-Жак (1716—1795) — французский археолог. Бальзак имеет в виду его известное в свое время сочинение «Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию» (1788).

Стр. 25. *Труверами* называли в средние века в Северной Франции лирических поэтов (подобных трубадурам в Провансе), а также авторов эпических и драматических произведений.

Стр. 26. *Монтейль*, Аман-Алексис (1769—1850) — автор многотомной «Истории различных сословий Франции за последние пять столетий», в которой он стремился объяснять исторические события экономическими и социальными причинами.

Стр. 27. *Макиавелли*, Никколо (1469—1527) — итальянский политический деятель и писатель эпохи Возрождения. Классовый смысл политической доктрины Макиавелли, изложенной им в книге «Государь» и в других произведениях,— проповедь жесточайшей буржуазной диктатуры в целях подавления недовольства эксплуатируемых народных масс, борьбы с феодальной реакцией и создания в Италии единого светского государства. Для достижения этих целей Макиавелли считал возможным применять любые средства и методы. Цинизм, двурушничество и беспринципность Макиавелли поднимают на щит буржуазные идеологи и политики.

Гоббс, Томас (1588—1679) — английский философ, представитель механистического и метафизического материализма. Враг демократии, Гоббс в своей теории государства предвосхитил будущее складывавшегося буржуазного общества с его беспощадной конкуренцией и разнузданным индивидуализмом.

Боссюэ, Жак-Бенинь (1627—1704) — французский епископ и придворный проповедник, идеолог абсолютизма, автор сочинений на богословские темы.

Монтескье, Шарль-Луи (1689—1755) — французский буржуазный просветитель, писатель-публицист и социолог, автор известного политико-философского трактата «Дух законов».

Бональд, Луи-Габриель, виконт де (1753—1840) — французский реакционный писатель, идеолог Реставрации, крайний роялист и сторонник господства католической церкви.

Стр. 30. *Лютер*, Мартин (1483—1546) — руководитель религиозной реформации в Германии в первой четверти XVI века.

Кальвин, Жан (1509—1564) — основатель одного из течений протестантства — так называемого кальвинизма, являвшегося выражением интересов подымавшейся буржуазии. Уроженец Франции, Кальвин большую часть жизни прожил в Швейцарии.

Стр. 31. *Кромвель*, Оливер (1599—1658) — один из крупнейших политических деятелей английской буржуазной революции XVII века; в 1653—1658 годы — лорд-протектор, фактически правитель Англии.

Стр. 32. *Г-жа Неккер.*— Имеется в виду французская либеральная писательница, принадлежавшая к романтическому направлению,— Жермена де Сталь (1766—1817), дочь министра Людовика XVI Неккера.

Стр. 33. *Лафатер*, Иоганн-Каспар (1741—1801) — швейцарский философ и богослов, автор псевдонаучной системы физиогномики, определявшей характер человека по чертам его лица и форме головы.

Галль, Франц-Иосиф (1758—1828) — австрийский врач и анатом (с 1807 года живший в Париже); выдвинул антинаучную теорию — френологию — о якобы существующей связи между наружным строением черепа и умственными способностями, а также характером человека.

Стр. 34. *Ричардсон*, Сэмюэль (1689—1761) — английский писатель, автор романа в письмах «Кларисса, или История молодой леди».— *Ловлас* (или Ловелас) — развратный светский щеголь — отрицательный герой этого романа; его имя стало нарицательным

для обозначения волокиты и обольстителя.— *Кларисса* — добродетельная девушка, положительная героиня того же романа.

Стр. 35. *Давен*, Феликс (1807—1836) — французский журналист и критик, автор нескольких романов; друг Бальзака.

ДОМ КОШКИ, ИГРАЮЩЕЙ В МЯЧ

Маленькая повесть «Дом кошки, играющей в мяч» была впервые опубликована Бальзаком во втором томе первого издания «Сцен частной жизни», выпущенного парижским издательством Мам и Делоне-Валле в 1830 году.

Первоначально произведение называлось «Слава и несчастье». Название это перекликается с текстом произведения. «Она,— пишет Бальзак о главной героине повести Августине Гильом,— вздохнула, увидев окно, откуда послала первый поцелуй тому, кто наполнил ее жизнь и *славой* и *несчастьем*».

Включая произведение в первое издание «Человеческой комедии» (1842), Бальзак дал ему новое название — «Дом кошки, играющей в мяч».

Стр. 41. *Каракалла* — римский император (III век н. э.).

Давид, Жак-Луи (1748—1825) — известный французский художник периода французской буржуазной революции XVIII века и наполеоновской империи; крупнейший представитель революционного классицизма во французской живописи.

Стр. 44. *Гумбольдт рассматривал первого электрического угря, пойманного им в Америке.*—Гумбольдт, Александр (1769—1859)— великий немецкий естествоиспытатель и путешественник. В течение пяти лет, с 1799 по 1804 год, вместе с французским ботаником Э. Бонпланом путешествовал по Южной Америке, посетил Мексику и Соединенные Штаты. Результатом путешествий явился незаконченный тридцатитомный труд «Путешествие по тропическим областям Нового Света». Путешествие Гумбольдта и Бонплана называют вторым научным открытием Америки.

Стр. 45. *Кювье* — см. примечание к стр. 22.

Меркурий.— В древнеримской мифологии бог Меркурий (в древнегреческой мифологии — Гермес) — вестник богов; он считался также покровителем торговли и ремесел.

Режим «максимума».— Бальзак имеет в виду декрет, принятый в сентябре 1793 года Конвентом о введении твердых цен на главные продукты питания, промышленные товары и сырье. Этот декрет был направлен против спекулянтов, искусственно взвинчивавших цены.

Стр. 51. *«Ипполит, граф Дуглас»* — любовный роман XVII века, написанный графиней д'Онэ (ум. в 1705); *«Граф де Комминг»* — драма второстепенного французского писателя, драматурга и романиста Франсуа-Тома Бакюлара д'Арно (1718—1805).

Стр. 54. *Жироде*, Луи (1767—1824) — французский художник, ученик Давида.

Стр. 55. *Фиваида* — старинное название Верхнего Египта; оно фигурирует в легендах о первых христианских отшельниках.

Стр. 58. *Аргус* — в древнегреческой мифологии великан, обла-

давший множеством глаз; в переносном смысле — неусыпный страж.

Стр. 64. *Селадон* — пастух из романа французского писателя Оноре д'Юрфе (1568—1625) «Астрея». Здесь в ироническом смысле: человек, изнывающий от любви.

Стр. 68. *Верне*, Клод-Жозеф (1714—1789) — французский художник-маринист.

Лекен — псевдоним французского трагического актера Анри-Луи Кена (1728—1778).

Новерр, Жан-Жорж (1727—1810) — французский балетмейстер, автор ряда балетов.

Сен-Жорж — известный во Франции во второй половине XVIII века щеголь, «законодатель мод».

Филидор, Франсуа-Андре (1726—1795) — французский композитор, автор многочисленных комических опер.

Стр. 69. *«Гений христианства»* — произведение французского реакционного романтика Франсуа-Рене Шатобриана (1768—1848).

Дюпон, Жан (род. в 1736 году) — французский коммерсант и банкир. При Людовике XVIII пэр Франции.

Стр. 81. *...этой битве при Маренго старика Гильома.*— Маренго — селение в Северной Италии, где в июне 1800 года французские войска под командованием Наполеона одержали победу над австрийской армией.

Стр. 82. *«Путешествия барона Онтана»* — путевые записки барона Онтана о Канаде; впервые были изданы в Гааге между 1703 и 1709 годами.

Стр. 94. *Мессалина* — жена римского императора *Клавдия*, (I век н. э.), известная своим распутством и жестокостью.

ЗАГОРОДНЫЙ БАЛ

Еще до опубликования рассказа Бальзак поместил отрывок из него в парижском еженедельном журнале «Волер», в номере от 4 января 1830 года. Полностью рассказ был напечатан в апреле того же года в первом издании «Сцен частной жизни» (Париж, издательство Мам и Делоне-Валле) под названием «Бал в Со, или Пэр Франции». Впоследствии, при включении рассказа в первое издание «Человеческой комедии» (1842), вторая половина названия была Бальзаком отброшена. В настоящем издании при переводе рассказ озаглавлен «Загородный бал».

Стр. 96. *...во время войны вандейцев против республики.*— Речь идет о контрреволюционном роялистском восстании, начавшемся в 1793 году в департаменте Вандея (Сев.-Зап. Франция). Это восстание, направленное против республиканского правительства Франции, было подавлено лишь в 1796 году; отдельные выступления мятежников имели место и позднее — вплоть до 1800 года.

Стр. 97. *...двадцать лет негласного царствования Людовика XVIII...*— В результате французской буржуазной революции конца XVIII века династия Бурбонов была свергнута. Однако после казни Людовика XVI и смерти так называемого Людовика XVII

брат Людовика XVI, граф Прованский, находясь в эмиграции, в 1795 году объявил себя французским королем. В результате поражения наполеоновской империи в 1814 году Людовик XVIII вступил на французский престол.

Стр. 98. *Времена Лиги и Баррикад.*— Речь идет о так называемой Католической лиге — организации католической партии, созданной герцогом Гизом во Франции в 1576 году. Ее официальной задачей была защита католической религии против кальвинистов, в действительности же члены лиги стремились возвести на французский престол своих главарей — герцогов Гизов. *Баррикады* — имеется в виду восстание населения Парижа в мае 1588 года против войск короля Генриха III — так называемый «день баррикад».

Беньо, Жак-Клод (1761—1835) — французский политический деятель, умеренный роялист.

...все нам напортили в Сент-Уане.— Намек на так называемый Сент-Уанский манифест Людовика XVIII от 2 мая 1814 года; в нем были намечены основы «Конституционной хартии», провозглашавшей установление во Франции конституционной монархии с двухпалатным парламентом.

Стр. 99. *События двадцатого марта.*— 20 марта 1815 года Наполеон I, бежавший с острова Эльбы, вступил в Париж. С этого дня начался период вторичного правления Наполеона — так называемый период «Ста дней» (с 20 марта по 22 июня 1815 года).

...разделивших с королевским двором тяжесть изгнания в Генте...— После возвращения Наполеона I с Эльбы (март 1815 года) Людовик XVIII бежал с приближенными во Фландрию, в город Гент, где находился до вторичного отречения Наполеона от престола (июнь 1815 года).

Стр. 100. *Битва при Трокадеро.*— В ночь с 30 на 31 августа 1823 года французские войска, посланные Людовиком XVIII для подавления антимонархического восстания в Испании, заняли испанский форт на полуострове Трокадеро и город Кадикс, находившиеся в руках восставших.

Стр. 101. *Конституционная хартия* — так был назван закон о конституции, который вынужден был издать 4 июня 1814 года Людовик XVIII. Согласно хартии, власть короля была ограничена двумя палатами (парламентом): палатой пэров и палатой депутатов. В палату пэров входили принцы крови и аристократы, получившие звание пэров от короля. Избрание палаты депутатов производилось на основе высокого имущественного ценза. Таким образом, хартия явилась компромиссом между старым дворянством и верхушкой буржуазии.

Стр. 102. *Эпиталама* — свадебная песня, стихотворение, написанное по случаю брака.

Стр. 103. *Маскариль* — популярный во французской комедии XVII—XVIII веков образ плутоватого лакея, ловкого пройдохи.

...как турки ловят «фетвы» султана.— Фетва — в мусульманских странах юридическое заключение или решение, имеющее силу закона.

Стр. 104. *Сен-Жерменское предместье* — во времена Бальзака аристократический район Парижа.

Стр. 105. *Держась в стороне как от партии Лафайета, так и от партии Лабурдонне...* — Маркиз *де Лафайет*, Мари-Жозеф (1757—1834) — французский политический деятель, участник буржуазных революций 1789 и 1830 годов. В период Реставрации — один из лидеров либеральной буржуазии. После Июльской революции 1830 года содействовал возведению на престол «короля банкиров» Луи-Филиппа.— Граф *Лабурдонне*, Франсуа-Режи (1767—1839) — французский политический деятель, крайний роялист, в период Реставрации резко выступал против Людовика XVIII, которого он считал «слишком либеральным». Принимал участие в реакционном министерстве Полиньяка, пришедшем к власти 8 августа 1829 года.

Стр. 108. *«Тысяча и один день»* — сборник персидских сказок, изданный во Франции в начале XVIII века.

Селимена — светская кокетка, действующее лицо комедии Мольера «Мизантроп».

Стр. 111. *Лоншан* — название старинного аббатства, некогда находившегося на опушке Булонского леса; любимое место прогулок парижан.

Стр. 112. *Министерство Виллеля.*— Кабинет министров во Франции в 1821—1827 годы возглавлял один из лидеров крайних роялистов, граф де Виллель (1773—1854).

Стр. 119. *Закон о возмещении убытков* — закон о вознаграждении эмигрантов, пострадавших от французской буржуазной революции конца XVIII века.

...она дожидается совершеннолетия герцога Бордосского.— Герцог Бордосский — внук французского короля Карла X; в описываемое Бальзаком время герцогу Бордосскому было пять лет, отсюда иронический смысл фразы.

Стр. 121. *Терпсихора* — в древнегреческой мифологии одна из девяти муз, покровительница искусства танца и хоровой музыки.

Эскулап — в римской мифологии бог врачевания.

Стр. 131. *Шестнадцатый век принес Европе только свободу религиозную...*— Имеется в виду движение Реформации — широкое социально-политическое движение, принявшее формы борьбы против католической церкви и носившее в целом антифеодальный характер, охватившее в XVI веке большинство стран Европы.

Стр. 132. *Дютэ*, Розали (1752—1820) — французская танцовщица и куртизанка.

Стр. 133. *Гиппократ* (460—377 до н. э.) — знаменитый врач Древней Греции, часто называемый «отцом медицины».

Стр. 134. *Аргус* — см. примечание к стр. 58.

Стр. 144. *Сен-Пре* — герой сентиментального романа Жан-Жака Руссо «Новая Элоиза» (1761), возлюбленный Юлии д'Этанж.

Сен-Жорж — см. примечание к стр. 68.

Барем, Бертран-Франсуа (1640—1703) — автор известного в свое время во Франции учебника по арифметике и счетоводству.

Стр. 148. *Майорат* — право нераздельного наследования недвижимого имущества старшим в семье или роде.

Стр. 152. *«Котидьен»* («Ежедневная») — газета, основанная роялистами в 1792 году в целях борьбы против революционных идей; в период Реставрации — орган крайних роялистов.

ВЕНДЕТТА

Рассказ «Вендетта» открывал собою первое издание «Сцен частной жизни», выпущенное издательством Мам и Делоне-Валле в апреле 1830 года в Париже. В этом издании произведение состояло из краткого вступления и четырех глав: 1. «Ателье художника». 2. «Непослушание». 3. «Замужество». 4. «Возмездие».

Глава «Ателье художника» была опубликована за несколько дней до выхода книги в свет в еженедельном журнале «Силуэт».

Включая произведение в первое издание «Человеческой комедии» (1842), Бальзак внес в него незначительные редакционные изменения.

Стр. 157. *Люсьен Бонапарт* (1775—1840) — брат Наполеона I. В 1799 году в качестве председателя Совета Пятисот участвовал в подготовке государственного переворота 18 брюмера; в 1804 году поссорился с Наполеоном и отошел от политической жизни.

Стр. 160. *Английская партия* — имеются в виду корсиканцы, боровшиеся с французами и получившие поддержку со стороны Англии. В 1794—1796 годах и 1814—1815 годах Англия воспользовалась этой борьбой, и Корсика находилась под властью англичан.

Стр. 162. *Ниобея* — по древнегреческому сказанию, царица, оскорбившая богиню Латону, мать бога Аполлона и богини Артемиды. В наказание за это последние убили всех детей Ниобеи, которая от горя и слез превратилась в каменное изваяние.

Стр. 165. *Сто дней* — см. примечание к стр. 99.

Стр. 166. *Вторичное восстановление Бурбонов.*— Первая реставрация Бурбонов произошла в апреле 1814 года, после отречения Наполеона I от престола, а вторичная — в июне 1815 года, после поражения армии Наполеона в битве при Ватерлоо и его окончательного отречения от престола.

«Беллерофон» — английский военный корабль, на который прибыл 15 июля 1815 года отрекшийся от престола Наполеон, отдавший себя в руки Англии.

Лабедуайер, Шарль (1786—1815) — полковник французской армии, в марте 1815 года присоединился в Гренобле со своим полком к Наполеону. После вторичного отречения Наполеона Лабедуайер был приговорен военным трибуналом к смертной казни и расстрелян.

Стр. 173. *Эндимион* — в древнегреческой мифологии прекрасный юноша, возлюбленный богини луны Селены. В повести речь идет о картине французского художника Жироде «Сон Эндимиона».

Ней, Мишель (1769—1815) — маршал империи Наполеона I. В период «Ста дней» присоединился к Наполеону. После вторичной реставрации Бурбонов был по приговору военного суда расстрелян.

Стр. 176. *Ватерлоо* — селение в Бельгии, где 18 июня 1815 года произошло решающее сражение между армией Наполеона I и англо-прусскими войсками. Потерпев поражение, Наполеон вторично (и окончательно) отрекся от престола.

Фельтр — был военным министром при Наполеоне I; в 1814 году перешел на службу к Людовику XVIII.

Стр. 177. *«...ей оставалось сказать, как аббату Верто: «Моя осада уже закончена».*— Аббат Верто, Рене-Обер (1655—1735) — второстепенный французский историк, считавший, что при изложении исторических событий допустим вымысел и что драматический эффект важнее точности фактов. Бальзак имеет в виду анекдот о том, что Верто, работавший над книгой «История Мальтийского ордена», ответил человеку, принесшему ему интересные документы об осаде острова Родоса: «Моя осада уже закончена».

Стр. 181. *Переправа через Березину* — один из последних военных эпизодов разгрома наполеоновской армии в России в 1812 году. В ноябре 1812 года при переправе через реку Березину были окончательно разбиты поспешно отступавшие части армии Наполеона. На западный берег Березины удалось переправиться лишь жалким ее остаткам. Французская армия после переправы через Березину перестала существовать.

Стр. 189. *Дарю*, Пьер-Антуан (1767—1829) — французский государственный деятель и историк. В период наполеоновской империи занимал ряд крупных административных постов.

Друо. Антуан (1774—1847) —французский генерал, участвовал в войнах французской республики, а затем в войнах наполеоновской империи.

Карно, Лазарь (1753—1823) — крупный военный инженер и математик; в период французской буржуазной революции XVIII века член Конвента, принимал активное участие в создании республиканской армии; позднее член Директории. В 1804 году Карно выступил против наполеоновской империи, но в период «Ста дней» оказал Наполеону поддержку. После реставрации Бурбонов был изгнан из Франции.

Фонтенебло — городок близ Парижа; здесь Наполеон подписал в апреле 1814 года отречение от престола.

Стр. 192. *Шнетц*, Жан-Виктор (1787—1870) — французский художник, ученик Давида.

Миссис Шенди — действующее лицо романа английского писателя-сентименталиста Лоренса Стерна (1713—1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена».

Стр. 205. *Паллий* — название верхней одежды древних греков.

ПОБОЧНАЯ СЕМЬЯ

Отрывок из этого рассказа, озаглавленный «Гризетка, ставшая дамой», был опубликован Бальзаком в журнале «Волер» в апреле 1830 года. Целиком рассказ был напечатан в том же году в первом издании «Сцен частной жизни» (Париж, издательство Мам и Делоне-Валле) под названием «Добродетельная женщина».

Название «Побочная семья» произведение получило в первом издании «Человеческой комедии» (1842). Включая рассказ в это издание, Бальзак не только изменил его название, но и внес некоторые исправления в текст. Так, писатель переменил имя графа Гранвиля (Роже вместо Эжен) и время действия заключительного эпизода произведения (1833 год вместо 1829 года).

Стр. 231. *Латинский квартал* — район Парижа, где издавна находились высшие учебные заведения, библиотеки, музеи.

Адонис — в греческой мифологии сын красавицы Мирры, превращенной богами в мирровое дерево. Младенец, рожденный мирровым деревом, отличался редкой красотой.

Стр. 233. *Лафатер* — см. примечание к стр. 33.

Стр. 240. *«Кукушка»* — во времена Бальзака небольшая карета на двух высоких колесах на пять — шесть мест, курсировавшая в окрестностях Парижа.

Стр. 244. *Маленький капрал* — так в целях конспирации сторонники Наполеона I называли его в период Реставрации.

Стр. 252. *«Амур и Психея»* — поэтическая легенда, рассказанная Апулеем в «Метаморфозах», согласно которой Афродита, оскорбленная красотой Психеи, дочери царя, решила ее наказать, послав ей своего сына Эрота (Амура). Последний, пленившись Психеей, перенес ее в свой чертог и там посещал ее только по ночам, чтобы Психея не могла увидеть его лица. Подстрекаемая любопытством, она нарушила этот запрет, и Эрот исчез. Лишь после многочисленных бедствий и приключений она вновь соединилась с Эротом.

Стр. 261. *Национальным имуществом* назывались во Франции во время французской буржуазной революции XVIII века земельные владения монастырей, а также конфискованные поместья контрреволюционных дворян-эмигрантов, перешедшие в собственность государства. Эти земли продавались с торгов; большую часть их скупила буржуазия, меньшую — зажиточное крестьянство.

Стр. 265. *Конгрегация* — религиозные организации католической церкви; во времена Реставрации один из важнейших проводников политической реакции.

Стр. 266 *«Роза и Колà»* — одноактная опера французского композитора Монсиньи, впервые поставленная в 1764 году.

Стр. 269. *«Пойди посмотри, не идут ли они!»* — слова из сатирической песни французского писателя Антуана Ламотт-Удара (1672—1731).

Стр. 277. *Фенелон*, Франсуа (1651—1715) — французский епископ и писатель, автор нравоучительного романа «Приключения Телемака».

СУПРУЖЕСКОЕ СОГЛАСИЕ

Рассказ «Супружеское согласие» был написан Бальзаком в 1829 году и впервые опубликован во втором томе первого издания «Сцен частной жизни», выпущенного парижским издательством Мам и Делоне-Валле в апреле 1830 года. В 1842 году Бальзак включил его в первый том первого издания «Человеческой комедии».

Стр. 298. *Ваграм* — селение в 18 километрах от Вены, где 5—6 июля 1809 года произошло сражение между французской армией Наполеона I и австрийской армней.

...испытание могущества, проявленного... при Дрездене.—Имеется в виду сражение при Дрездене 26—27 августа 1813 года между французской армией Наполеона I и антинаполеоновской коалицией.

Стр. 299. *Сен-Жерменское предместье* — см. примечание к стр. 104.

Стр. 300. *Мюрат*, Иоахим (1771—1815) — наполеоновский маршал. В 1808—1815 годы неаполитанский король.

Лукулл (106—56 гг. до н. э.) — римский государственный деятель, прославился своими пирами, богатством и роскошью.

Жозефина (Таше де ла Пажери) (1763—1814) — первая жена Наполеона I, вдова генерала Богарне.

Преторианцы — в Древнем Риме солдаты привилегированной императорской гвардии, пользовавшиеся значительным преимуществом перед легионерами.

Стр. 305. *Тантал.*— Согласно греческой мифологии, Тантал был любимцем богов. Однако, возгордившись, он навлек на себя их ненависть и был наказан ими тем, что не мог утолить мучительный голод: ветки с плодами, висевшими над Танталом, отодвигались, когда он протягивал к ним руки.

Стр. 320. *Сивиллы* — согласно римской мифологии, легендарные женщины-пророчицы.

ГОБСЕК

Сначала эта повесть называлась «Опасности беспутства». Под таким заглавием она полностью вышла в апреле 1830 года в первом томе «Сцен частной жизни». Первая глава ее была опубликована несколько ранее, в феврале 1830 года, под заглавием «Ростовщик» на страницах журнала «Мода». В 1835 году повесть вышла новым изданием в первом томе «Сцен парижской жизни», где была озаглавлена «Папаша Гобсек». Наконец, в 1842 году Бальзак включил ее в «Сцены частной жизни» первого издания «Человеческой комедии» под заглавием «Гобсек».

В первоначальном виде повесть была разделена на главы: «Ростовщик», «Адвокат» и «Смерть мужа». Названия глав подчеркивали наиболее важные части произведения: историю ростовщика Гобсека, поверенного Дервиля в начале его карьеры и историю графини де Ресто. Эти имена встречаются и в других произведениях Бальзака (Гобсек — в «Отце Горио», «Цезаре Бирото», «Чиновниках», «Брачном контракте»; Дервиль — в «Отце Горио», «Полковнике Шабере», «Блеске и нищете куртизанок», «Темном деле»; графиня де Ресто — в «Отце Горио»). Повесть сюжетно связана с романом «Отец Горио», где нашли отражение и страсть графини де Ресто к Максиму де Трай, ради которого она разоряет собственных детей, и совершенная графиней ради любовника тайная продажа фамильных бриллиантов, и борьба графа де Ресто с женой-расточительницей.

Стр. 335. *De viris illustribus* («О знаменитых мужах») — хрестоматия, содержащая главным образом биографии полководцев. Служила пособием для изучения латинского языка и истории Древнего Рима в школах.

Стр. 337. *Цивильный лист* — денежная сумма, предусмотренная государственным бюджетом на личные расходы монарха и содержание его двора.

Стр. 339. *Талейран*, Шарль Морис (1754—1838) — француз-

ский дипломат и политический деятель, отличавшийся крайней беспринципностью. Был министром иностранных дел при Наполеоне I и во времена Реставрации.

По примеру Фонтенеля он берег жизненную энергию... — Бальзак имеет здесь в виду в высшей степени уравновешенный и спокойный характер французского писателя Фонтенеля (1657—1757), единодушно отмечаемый его современниками.

Стр. 340. *Кожаный Чулок* — прозвище охотника Натти Бумпо, героя серии романов американского писателя Фенимора Купера (1789—1851) «Последний из могикан», «Следопыт», «Зверобой» и др.

Стр. 341—342. *Он знал господина де Лалли...* — Бальзак приводит имена ряда военных и политических деятелей Франции, Англии и Индии периода англо-французской вооруженной борьбы за владычество в Индии (50—60-е годы XVIII века), перемежая имена исторических лиц (Лалли, Сюффрен, Гастингс, Типпо-Саиб и др.) с вымышленными именами (Кергаруэт, де Портандюэр) персонажей «Человеческой комедии».

Стр. 352. *Сцена обольщения Диманша* — сцена из комедии Мольера (1622—1673) «Дон-Жуан», в которой герой пьесы так ловко обольщает изысканной любезностью своего кредитора Диманша, что тот не решается потребовать у него уплаты долга.

Мирабо, Оноре-Габриель (1749—1791) — деятель французской буржуазной революции конца XVIII века; представлял интересы либерального дворянства и крупной буржуазии. В дальнейшем стал агентом королевского двора.

Верньо, Пьер-Виктюрньен (1753—1793) — деятель французской буржуазной революции конца XVIII века, жирондист, член Конвента, казненный в 1793 году, считался одним из виднейших ораторов своего времени.

Стр. 358. *Гроций*, Гуго (1583—1645) — голландский юрист и реакционный государственный деятель, был провозглашен буржуазными законоведами «отцом международного права».

Стр. 361. *...Мирабо, Питты, Ришелье, но чаще всего — графы де Хорн, Фукье-Тенвили и Коньяры.* — *Мирабо* — см. примечание к стр. 352. — *Питт*, Уильям, Младший (1759—1806) — премьер-министр Англии, непримиримый враг французской буржуазной революции XVIII века. — Герцог *Ришелье*, Арман-Эмманюэль (1766—1822) — французский министр во время Реставрации. — *Хорн*, Антуан — убийца, колесованный в 1720 году. — *Фукье-Тенвиль*, Антуан-Кантен (1746—1795) — общественный обвинитель революционного трибунала, боровшийся с врагами революции; ненависть к нему со стороны монархической аристократии сказывается и в реплике персонажа данной повести графа де Борна, который упоминает его имя наряду с преступниками и с почтением говорит о Питте и Ришелье. — *Коньяр*, Пьер (1779—1831) — авантюрист, выдававший себя за графа; стоял во главе шайки воров.

Стр. 363. *Дисконтер* — человек, производящий учет векселей.

Стр. 391. *...Франция признала республику Гаити.* — Франция признала республику Гаити в 1825 году.

Стр. 393. *Карфология* — бессознательные движения рук у умирающего.

СИЛУЭТ ЖЕНЩИНЫ

Рассказ «Силуэт женщины» был написан в начале 1830 года и впервые опубликован в журнале «Мода» 12 марта того же года. В 1831 году он был включен писателем в трехтомный сборник «Философские повести и рассказы». В 1835 году Бальзак поместил этот рассказ, несколько изменив его название («Силуэт маркизы»), в четвертом томе первого издания «Сцен парижской жизни». В 1842 году, включая произведение в первый том первого издания «Человеческой комедии», Бальзак перенес его в раздел «Сцены частной жизни» и окончательно закрепил за ним название «Силуэт женщины».

Стр. 397. *Де Ментенон* (1635—1719), маркиза — воспитательница детей французского короля Людовика XIV, который впоследствии состоял с нею в тайном браке. Современники приписывали ее влиянию усиление набожности и чопорности при королевском дворе в последние годы царствования Людовика XIV.

Стр. 398. *Со времени Хартии* — см. примечание к стр. 101.

Стр. 399. *«Вильгельм Телль»* — опера итальянского композитора Д. Россини (1792—1868).

Сильфы. — По средневековым поверьям, сильфы — фантастические духи, обитающие в воздухе.

Стр. 401. *Морейская экспедиция.* — Бальзак упоминает, видимо, об отправке одной из партий добровольцев (так называемых филэллинов) в помощь грекам, боровшимся за свою независимость, против турецкого владычества (Морея, или Пелопоннес,— полуостров на юге Греции).

Стр. 403. *«Газетт де Франс»* — ультрароялистская газета.

ВТОРОЙ СИЛУЭТ ЖЕНЩИНЫ

Рассказ «Второй силуэт женщины» впервые опубликован Бальзаком в 1842 году во втором томе первого издания «Человеческой комедии». Писатель включил в него некоторые отрывки из своих ранее изданных, но не вошедших в состав «Человеческой комедии» рассказов (отрывок из рассказа «Беседа между одиннадцатью часами вечера и полночью», начало наброска «Светская женщина»). В 1845 году рассказ «Второй силуэт женщины» вышел отдельным изданием под названием «Первые похождения светского льва» (в этом издании произведение делилось на 27 небольших главок).

Стр. 408. *Сен-Жерменское предместье* — см. примечание к стр. 104.

Стр. 409 *...дельфин в известной басне...* — В басне Лафонтена «Обезьяна и дельфин» говорится о дельфине, который во время кораблекрушения спас на своей спине обезьяну, приняв ее за человека.

Стр 411. *...у всех нас, как у Ньютона, есть свое яблоко...* — Ньютон, Исаак (1643—1727) — знаменитый английский математик и физик Согласно легенде, Ньютон своим открытием закона всемирного тяготения якобы был обязан тому, что как-то случайно обратил внимание на падающее с дерева яблоко.

Стр. 417. *Кларисса* — добродетельная героиня романа английского писателя Сэмюэля Ричардсона (1689—1761) «Кларисса, или История молодой леди».

Стр. 420. *Малибран*, Мария-Фелиция (1808—1836) — французская певица.

Стр. 423. *Хартия* — см. примечание к стр. 101.

Стр. 425. *Кодекс Наполеона* — Гражданский кодекс, обнародованный в 1804 году, юридически закрепивший новые буржуазные отношения.

Стр. 429. *Мнемозина* — мать девяти муз.

Стр. 438. *Дезэ*, Луи-Шарль (1768—1800) — генерал наполеоновской армии, пользовавшийся репутацией прямодушного и искреннего человека.

Фуше, Жозеф (1763—1820) — в период наполеоновской империи и Реставрации министр полиции, хитрый, вероломный и беспринципный человек.

Стр. 439. *Сорель*, Агнеса (1409—1450) — фаворитка французского короля Карла VII.

Дю Дефан, Мария (1697—1780), маркиза — французская аристократка; состояла в переписке с Вольтером, Монтескье и др.

Салон г-жи *Дубле* (1677—1771) посещали многие философы, поэты и ученые того времени.

Тальони, Мария (1804—1884) и *Камарго*, Анна-Мария (1710—1770) — известные в свое время в Западной Европе балерины.

Сент-Юберти, Анна-Антуанетта (1756—1812) — французская певица.

Де Рекамье, Жюли-Аделаида (1777—1849), маркиза.— В ее салоне в период наполеоновской империи и Реставрации собирались видные политические деятели, ученые и писатели.

Де Севинье, Мария (1626—1696), маркиза.— Приобрела известность своими письмами, отражающими нравы французского дворянства XVII века.

Стр. 440. *Когда мы подошли к Березине...*— см. примечание к стр. 181.

Стр. 441. *...полковника Удэ, изображенного Шарлем Нодье.*— Полковник Удэ описан французским писателем-романтиком Шарлем Нодье (1780—1844) в его «Истории тайных обществ».

Стр. 442. *Принц Евгений* — пасынок Наполеона I Евгений Богарне (1781—1824); в период 1805—1814 годов вице-король Италии.

Редгаунтлет — герой одноименного романа Вальтера Скотта.

Стр. 449. *Атриды* — потомки Атрея; род, известный своими преступлениями (греч. мифол.).

Стр. 452. *Дядюшка Тоби* и капрал *Трим* — персонажи романа английского писателя XVIII века Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена».

Стр. 456. *Радклиф*, Анна (1764—1823) — английская писательница, виднейшая представительница жанра так называемого «готического романа».

СОДЕРЖАНИЕ

Жизнь Бальзака. *И. Лилеева* 3

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены частной жизни

Предисловие к «Человеческой комедии». *Перевод К. Локса* . . 21
Дом кошки, играющей в мяч. *Перевод К. Локса* 39
Загородный бал. *Перевод М. В. Вахтеровой* 96
Вендетта. *Перевод Н. М. Гнединой-Надеждиной* 155
Побочная семья. *Перевод О. В. Моисеенко* 228
Супружеское согласие. *Перевод Н. А. Коган* 298
Гобсек. *Перевод Н. И. Немчиновой* 335
Силуэт женщины. *Перевод Н. А. Коган* 397
Второй силуэт женщины. *Перевод Н. А. Коган* 407

Примечания 469

БАЛЬЗАК

Собрание сочинений
в 24 томах. Том I.

Редактор
О. С. Лозовецкий.

Иллюстрации художника
А. З. Иткина.

Оформление художника
А. А. Васина.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печ. 29/XII 1959 г. Тираж 350 000 экз. Изд. № 112. Зак. 2703.
Форм. бум. 84×108¹/₃₂. Бум. л. 7,56. Печ. л. 24,8+5 вкл. (0,5 п. л.).
Уч.-изд. л. 26,63.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.